ISSN 0321—1878. Звезда. 1991. № 7. 1—208. Цена 1 р. 80 к. (по подписке 1 р. 60 к.). Индекс 70327.



7

1991

В КОНЦЕ 1991 И НАЧАЛЕ 1992 ГОДА «ЗВЕЗДА» НАПЕЧАТАЕТ:

Повесть «МАСКИРОВКА» Юза Алешковского, одного из оригинальнейших авторов русского зарубежья, до сих пор не печатавшего свою прозу в Советском Союзе.

Роман «ЖИВИ» — последнее произведение автора «Зияющих высот» Александра Зиновьева, едкое, саркастическое повествование о современной жизни.

Роман Альберто Моравия «СКУКА» — анатомия любовной страсти, произведение, прославившее итальянского классика.

Роман Нормана Мейлера «АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА» — книга, три последние десятилетия будоражащая умы читателей в США.

Роман Джона Стейнбека «КОРОТКОЕ ПРАВЛЕНИЕ ПИПИНА IV».

Фрагменты повести философа Алексея Лосева «ТРИО ЧАЙКОВСКОГО».

Фантастический роман Андрея Столярова «МОНАХИ ПОД ЛУНОЙ».

Повести: Владимира Ляленкова «ПОБОЧНЫЕ МЫСЛИ РАЗДЕТОГО ГРАЖДАНИНА», Бориса Носика «БОЛЬШИЕ ПТИЦЫ», Михаила Чулаки «ГАВРИЛИАДА»,Марины Рачко «ЧЕРЕЗ НЕ МОГУ».

Стихи Дмитрия Бобышева, Иосифа Бродского, Глеба Горбовского, Льва Лосева, Олеси Николаевой, Евгения Рейна, Виктора Сосноры, Владимира Уфлянда...

Окончание документальной книги А. Антонова-Овсеенко о Берии «КАРЬЕРА ПАЛАЧА».

Подготовленные Еленой Боннэр интервью А. Д. Сахарова.

Работу Якова Гордина «ДЕЛО ЦАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ».

Работу английского философа Бертрана Рассела «ВЛАСТЬ».

В рубрике «Мемуары XX века»: Василий Яновский «ПОЛЯ ЕЛИСЕЙСКИЕ», Борис Вайль «ОСОБО ОПАСНЫЙ», Григорий Подъяпольский «АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ» (с предисловием А. Д. Сахарова).

«ЭТЮДЫ О ЛЮБВИ» испанского философа Ортеги-и-Гасета.

Сара Кульнева «СОРЭЛЭ» (трагические страницы из жизни актеров театра Михоэлса).

Статьи Бориса Парамонова в рубрике «Философский комментарий».

Статьи Петра Вайля и Александра Гениса в рубрике «Уроки изящной словесности».

Из литературного наследия впервые будут опубликованы:

Дневники Дмитрия Философова, письма Сергея Эфрона к Максимилиану Волошину, работа Аркадия Белинкова «ПОЧЕМУ И КАК БЫЛ ОПУБЛИКОВАН „ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА“».

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ЖУРНАЛ

Звезда

7
июль
1991

ЛЕНИНГРАД

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1924 ГОДА

Журнал «Звезда» сердечно благодарит организации и отдельных читателей, поддерживающих свое издание. На наш расчетный счет № 14000608435 в Дзержинском отделении ЖСБ Ленинградской городской конторы Госбанка, МФО 171047 прислали пожертвования:

Отделение «Инженерная экология» фонда УЭНДИСИ при АН СССР — 1000 руб.

Ф. С. Сачук, г. Белгород-Днестровский Одесской обл.— 10 руб.

А. М. Бычков, г. Воркута — 10 руб.

Г. П. Зуев, пос. Актас-1 Карагандинской обл.— 10 руб.

Учредитель: Союз писателей СССР Издатель: редакция журнала «Звезда»

Адрес редакции: 191028, Ленинград, Моховая, 20

Телефоны: главный редактор — 272-89-48, заместители главного редактора 273-52-56, 273-74-91, 273-76-92, ответственный секретарь — 272-71-38, зав. редакцией — 273-37-24, отдел прозы — 272-18-15, отдел публицистики — 279-33-74, отдел критики — 273-74-91, отдел поэзии — 279-30-41

Сдано в набор 21.03.91. Подписано к печати 20.05.91. Формат 70×108[1]/16. Бумага тип. № 2. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,9 усл. кр.-отт. 25,45 уч.-изд. л. Тираж 150 000 экз. Заказ № 776. Цена 1 р. 80 к. (по подписке 1 р. 60 к.).

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197110, Ленинград, П-110, Чкаловский пр., 15.

Евгений Рейн

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Памяти Михаила Алексеевича Кузмина

1

Много ты просил у Бога,
или так... чего-нибудь?
Хорошо бы для итога
в эту дверцу заглянуть.
Там светло, там свежий сумрак,
там неприбранный простор,
там датчанин или турок
произносит «Never more».
Все, что было,— это было
и пропало невзначай.

Расскажу тебе, пожалуй,
коль пожалуешь на чай.
Только не смотри угрюмо
в эту дверцу, в эту щель.
Мы глядим туда отсюда,
ну, а Он глядит в прицел.
Кипяток кипит бурливо,
ты меня не огорчай.
Все, что было,— это было
и пропало невзначай.

2

Широк Техас, игрок Техас:
ковбои, Кеннеди, нефть!
И если удача — она у вас,
а если уж нет — так нет.
За ним мелочуга всех Аризон
и конфедератский флаг,
а на дорогах под горизонт —
«ролс-ройс», «BMW», «кадиллак».
Приехал, и все хорошо, о'кей,
сто тысяч — чудо-оклад.
А по «week end'ам» спешит «free way»
в Мексику и назад.
На дальнем ранчо кипит бассейн,
и он сидит без штанов,
и вносят под полотняную сень
виски, джин и «Смирнофф».
Жена сияет, дети кричат:
«брасс, кроль, баттерфляй».

Развеется шашлычный чад,
«бай-бай», что значит «прощай».
Бегут года, он здоров и цел,
и в доме простор зверью.
«Эссо», «Эксон», а также «Шелл»
берут у него интервью.
Но все скучнее горят глазки
на кухне в двадцать машин,
и все жирнее летят куски
друзьям, не достигшим вершин.
А он возглавляет разведотряд
и вышки ставит вовсю.
И все щедрее куски летят
в Петроград и Москву.
Несносны семейные голоса,
жара приходит, пыля.
И в черную пятницу в два часа —
тоска, гараж и петля...

Евгений Борисович Рейн (род. в 1935 г.) — поэт. Автор книг «Имена мостов» (1984), «Береговая полоса» (1989), «Темнота зеркал» (1990), «Непоправимый день» (1991). Живет в Москве.

3

Мы жили на одном перекрестке
улицы Троицкой в Петрограде.
Раза два-три-четыре в неделю
он заходил ко мне,
чаще всего утром,
прогуливая фокстерьера Глашу.
Стертые дерюжные брюки,
какая-то блуза из Парижа,
солдатские ботинки.
У меня часто бывало пиво —
сидели, сидели.
Но пиво было ему не по нраву,
он предпочитал грубые, тяжелые вина
«Солнцедар», «Агдам», «Три семерки».
Говорили, говорили, говорили.
Тогда он говорил лучше, чем записывал.
А потом писал лучше, чем говорил.
Но больше всего — больше «Агдама» и
«Трех семерок», больше острот своих,
которые уже тогда повторяли,
он любил американскую прозу.
Хемингуэй, Дос-Пасос, Том Вулф,
Фолкнер, Воннегут, Джон Чивер...
Тут его сбить было невозможно.
Жили мы вместе в Эстонии,
жили в заповеднике Святогорском.
Рассыпали книгу его рассказов,
рассказов, ради которых он так
полюбил американскую прозу.
И тогда он уехал. Правильно сделал.
«Правильно сделал, правильно сделал»,—
все повторяло литературное эхо.
И долго, долго не было вести.
А потом пришли американские журналы,
где в переводе на американский, там же,
где когда-то Хемингуэй, Дос-Пасос,
Том Вулф,
Фолкнер, Воннегут и Джон Чивер,—
были напечатаны его рассказы.
Десять лет, десять лет только
не было его на Троицкой и в Святогорье.
Теперь уже не прилетит на «Panam»,
не доберется даже Аэрофлотом.
Неужели никогда-никогда больше?

4

«Как представляешь ты кружение,
Полоску ранней седины?
Как представляешь ты крушение
И смерть в дороге без жены?»
Е. Р. 1959

На Каменноостровском среди модерна Шехтеля,
за вычурным мосточком изображал ты лектора.
Рассказывал, рассказывал, раскуривал свой «Данхилл»,
а ветер шпиль раскачивал, дремал за тучей ангел.
Ты говорил мне истово о Риме и Флоренции,
но нету проще истины — стою я у поленницы,
у голубого домика, у серого сарайчика
и помню только рослого породистого мальчика.
А не тебя, плечистого, седого, знаменитого...
Ты говорил мне истово, но нет тебя, убитого,
среди шоссейной заверти, меж «поршем» и «тоётою»,
и не хватает памяти...
Я больше не работаю
жрецом и предсказателем, гадалкой и отгадчиком...
Но вижу обязательно тебя тем самым мальчиком.
Ты помнишь, тридцать лет назад в одном стихотворении
я предсказал и дом, и сад, и этих туч парение,
я предсказал крушение среди Европы бешеной
и головокружение от этой жизни смешанной.
Прости мое безумие, прости мое пророчество,
пройди со мной до берега по этой самой рощице,
ведь было это названо, забыто и заброшено,
но было слово сказано, и значит, значит... Боже мой!
Когда с тобой увидимся и табаком поделимся...
Не может быть, не может быть, но все же понадеемся.

Нина Катерли

СЕННАЯ ПЛОЩАДЬ

Повесть

Посвящается М. Эфросу

Это ведь роднна. Что же ты плачешь, дурак!..
Д. Бобышев

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Ужасные новости

I

Марья Сидоровна Тютина по обыкновению встала в восемь, позавтракала геркулесовой кашей, вымыла посуду за собой и мужем и отправилась в угловой «низок», где накануне определенно обещали с утра давать тресковое филе.

Марья Сидоровна заранее чек выбивать не стала, а заняла очередь в отдел, чтобы сперва взвесить. Отстояв полдня, уж полчаса всяко, она оказалась наконец у прилавка, и тут эта ей сказала, что без чеков не отпускаем. Марья Сидоровна убедительно просила все же взвесить полкило для больного, потому что она здесь с утра занимала, а к кассе полно народу, но продавщица даже не стала разговаривать, взяла чек у мужчины и повернулась задом. Из очереди на Марью Сидоровну закричали, чтоб не задерживала — всем на работу, и тогда она пошла к кассе, сказала, что ей только доплатить, и выбила семьдесят копеек. Но к прилавку ее, несмотря на чек, не пропустили, потому что ее очередь уже прошла, а филе идет к концу.

Когда Марья Сидоровна сказала, что она здесь стояла, то одна заявила, что лично она никого не видела. Бывают же люди на свете! Марья Сидоровна связываться не стала, а пошла в хвост очереди и отстояла еще двадцать минут, а за три человека до нее треска кончилась.

II

Петр Васильевич Тютин, муж Марьи Сидоровны, пенсионер, любит читать газеты и общественно-политические журналы, потому что он ветеран и член партийного бюро ЖЭКа. Выходя в среду утром из дому, он взял с собой мелкие деньги в сумме, требуемой для покупки «Недели» и «Крокодила», плюс две копейки, чтобы позвонить в квартирную помощь и вызвать врача к жене, забо-

---

Нина Семеновна Катерли — прозаик, член СП СССР. Автор книг «Окно» (1981), «Цветные открытки» (1986), «Курзал» (1990). Живет в Ленинграде.

левшей нервным расстройством от вчерашнего. В телефонной будке Петр Васильевич частично по рассеянности, а отчасти в расстройстве бросил в щель таксофона вместо двух копеек гривенник. В поликлинике ему грубо сказали, что невропатологи на дом не ходят, а к старше шестидесяти — так уж просто смешно, хоть стой, хоть падай, а когда Петр Васильевич потом пришел к газетному ларьку, то ему, естественно, не хватило восьми копеек, и пришлось остаться без «Крокодила».

III

Тютина Анна после окончания восьмилетки прошла по конкурсу в газотопливный техникум, где на танцах познакомилась с волосатым Андреем, сыном профессора из интеллигентной семьи. Непонятно, кстати, что это такое за интеллигенты в кавычках, если сыновья у них не могут постричься, как люди, а ходят похожие на первобытного человека.

На последнем курсе Анна с Андреем поженились, после чего он пошел учиться дальше, в Технологический институт, к папе, Анна же вынуждена была работать по распределению на абразивном заводе в три смены, чтобы содержать семью, а стипендии охломон не получал из-за успеваемости, которая, несмотря на блат, была намного ниже средней.

Родители Анны, Петр Васильевич и Марья Сидоровна, в качестве пенсионеров не могли все время помогать молодым материально, а отец Андрея оказался подлецом и, будучи профессором химии, не давал сыну ни копейки якобы из принципа — раз женился, потрудись сам себя содержать, а на самом-то деле потому, что ненавидел невестку, считая ее и ее родителей ниже себя. И, наверное, имел две семьи, как они все.

Закончив институт, Андрей при помощи отца все же устроился в аспирантуру, а Анна продолжала ломить сменным мастером термического цеха, имея к этому времени уже двух детей от трех до пяти лет.

Еще через четыре года Андрей защитил кандидатскую и стал получать двести пятьдесят рублей в месяц, у Анны же как раз в это время от недоедания и нервов открылся миокардит, и тут случайно выяснилось, что этот мерзавец встречается с другой женщиной, аферисткой и «сотрудницей отца», то есть дочерью другого богатого профессора, такого же прохиндея, как они все.

Марья Сидоровна и Петр Васильевич имели все основания обратиться к руководству, чтобы сохранить семью, но у них-то блата нигде не было, и они посчитали это ниже достоинства. Теперь Андрей живет в новой квартире на Типанова с новой бабой, похожей на селедку в шубе, оба профессора сами не свои от радости, а, между прочим, кандидатского жалованья ему бы сроду не видать, если бы Анна не отдала за это всю свою молодость и здоровье.

Сама Анна, оставшись с миокардитом и двумя детьми, теперь правильно думает, что, как говорят родители, лучше вырастить детей одной, чем жить с подлецом, недалеко укатившимся от своей яблони.

IV

Антонина Бодрова, соседка Тютиных по дому, сказала своему Анатолию, что если он с ней зарегистрируется, то она пропишет его постоянно к себе на 18 метров. Анатолий на это ей возразил, что поскольку она старше его на четырнадцать лет, то он поставит свои условия, а именно, что сына Антонины Валерика он кормить не собирается и считает ублюдком с еврейской кровью.

Антонина давно догадывалась, что Валерик, возможно, родился у нее от заведующего винным отделом Марка Ильича, но уверена не была, а уточнить не могла, так как Марк Ильич отбывал срок в колонии усиленного режима за растрату и дачу взятки должностному лицу.

Лично сама Антонина к Валерику ничего не имела — ребенок не виноват, хотя цвет глаз и нос ребенка намекали на его происхождение. Под давлением Анатолия Антонина пообещала устроить Валерика в круглосуточный садик, но

вскоре Анатолий раздумал, согласия на это не дал и сказал, что детский дом — это его последнее слово как гражданина и патриота своей страны.

Антонина трижды обращалась в райисполком и различные комиссии по делам несовершеннолетних, но ей везде указали, что это ни на что не похоже, когда мать так поступает. Антонина сутки плакала и побила Валерика, а Анатолий велел ей поторапливаться с решением вопроса и пригрозил, что его обещала прописать дворник Полина, женщина хоть и совсем в летах, но полная и безо всякого потомства.

Тогда Антонина выпила натощак «маленькую», отвела Валерика на Московский вокзал, взяла ему детский билет в один конец — до Любани, посадила в электричку, купила эскимо и сказала, что в Любани его встретит бабушка Евдокия Григорьевна.

Мальчик поверил родному человеку, хотя и помнил, что бабушка в прошлом году умерла в Ленинграде от паралича и лежит на кладбище, где растут цветы.

Когда поезд с Валериком ушел, Антонина вернулась домой и сказала Анатолию, что можно идти в загс. Они выпили пол-литра и еще «маленькую» за все хорошее, легли на тахту и уснули в обнимку, а Валерик в это время плакал в детской комнате милиции в Любани и никак не мог вспомнить свой домашний адрес, а только говорил, что ехал к бабушке, которая закопана в земле.

К вечеру следующего дня, а это был четверг, ребенок был все же доставлен к матери сержантом линейной милиции, но Антонина, находясь в нетрезвом состоянии, заявила, что видит этого жиденка в первый и последний раз, в то время как Валерик протягивал к ней худенькие ручки и кричал: «Мама! Мама! Это же я!»

Присутствовавший при этом Анатолий плюнул на пол, обозвал Антонину сукой и ушел навсегда к дворничихе Полине на ее четырнадцать метров.

По приказу милиции Антонина вынуждена была принять Валерика. Весь дом ее осуждает, а Тютины даже с ней не здороваются, причем Марья Сидоровна при всех сказала, что когда ребенок вырастет и поймет, он не простит.

V

Наталья Ивановна Копейкина вырастила сына одна. Являясь медсестрой, всю жизнь она работала на полторы ставки и часто брала за отпуск деньгами, чтобы у мальчика все было не хуже, чем у других детей, которые растут в благополучных семьях с отцами.

Таким образом, Наталья Ивановна себе во всем отказывала, десять лет ходила в одном пальто, и к сорока годам ей давали за пятьдесят и называли на улице «мамашей». Сына же звали Олегом, и когда он вырос, то получил образование и хорошую специальность шофера такси. Одевался Олег Копейкин всегда во все импортное, и однажды Наталья Ивановна заметила, что сын как будто стесняется матери. Например, когда она попросила Олега сходить с ней в овощной за капустой для квашения, он сказал: я и один могу сходить. А в другой раз посмотрел на ее пальтишко и говорит: «Ты в этом балахоне на чудище огородное похожа, не следишь за собой, даже люди смеются».

Наталья Ивановна, услыхав про людей, так сразу и поняла, что сына ее забрала в руки какая-нибудь. И, действительно, буквально через два дня зашла соседка Тютина из восьмого номера и рассказала, что видела Олега около кинотеатра «Искра» с девицей в такой юбчонке, что ни стыда ни совести — все наружу.

Наталья Ивановна в тот же вечер строго предупредила сына, что не допустит его встречаться с женщинами легкого поведения, что или мать — или эта. Но для него, видно, мать была хуже не знаю кого, и он на ее слова закричал, что в таком случае уходит из дому, сложил свои вещи в два чемодана и рюкзак, сказал, что за проигрывателем и пластинками зайдет завтра, и ушел, а наутро явился вместе со своей простигосподи и, даже не поздоровавшись, сказал, чтобы Наталья Ивановна дала согласие на размен площади, не то он подаст на принудительный раздел ордера по суду.

Наталья Ивановна заплакала и напомнила сыну, что растила его без отца, ничего не жалела, что пусть они с лахудрой сдадут ее лучше в дом хроников, а себе забирают всю комнату с обстановкой. Олег на это взял проигрыватель и пошел к дверям, а своей сказал, что с Натальей Ивановной хорошо вместе только дерьмо есть. Тогда Наталья Ивановна разнервничалась, подбежала и плюнула потаскухе прямо в намалеванные глаза, та разревелась, села у дверей на табурет и велела Олегу убираться на четыре стороны, потому что ей не нужен мужчина, у которого мать плюется и обзывается, и что, кто предал мать, тот и с женой не посчитается.

Теперь эта девушка, ее зовут Людмилой, и Наталья Ивановна лежат в одной палате в больнице Коняшина. У Натальи Ивановны травма черепа, а у Людмилы сломана ключица и укус плеча.

VI

Почему-то в семнадцатой квартире на четвертом этаже, как раз над Тютиными, всегда живут нерусские жильцы. Конечно, евреи евреям рознь, есть люди, а есть, с позволения сказать... вроде Фрейдкиных, которые предали Родину, уехали за легкой наживой в государство Израиль. Говорили, что эти Фрейдкины вывезли десять килограммов чистого золота, и это вполне похоже, иначе зачем бы они потащили с собой своего облезлого кота Фоньку. Антонина Бодрова, хоть и сволочная баба, правдоподобно сказала, что кота небось полгода перед отъездом силком заставляли глотать золотые царские монеты, а потом повезли, изображая, будто они такие любители живой природы.

Черт с ними, с Фрейдкиными, зато семья Кац, которую почему-то поселили в их квартиру, очень умные и культурные люди. Особенно сам Кац, Лазарь Моисеевич, кандидат технических наук. Да и жена его Фира, зубной врач-техник,— очень приличная женщина, не говоря уж о матери, Розе Львовне, которая после того, как потеряла на войне мужа, сумела воспитать сына, получить хорошую пенсию и до сих пор работает в библиотеке.

Жизнь складывается у разных людей по-разному. Взять двух женщин — Наталья Ивановна, кажется, ничем не хуже Розы Львовны, а вот почему-то одной повезло с сыном, а про другую говорить — только расстраиваться. Видно и правда: евреи — и сыновья, и мужья хорошие, всё — в дом.

После Фрейдкиных семье Кац пришлось вынести горы грязи и сделать дезинфекцию — клопов те в Израиль почему-то не взяли, наверное, там и своих достаточно.

А через неделю после дезинфекции Лазарь Моисеевич мыл во дворе свою машину «Жигули» и вдруг обратил внимание, что на скамейке сидит и смотрит на него оборванный и грязный старик с очень знакомой внешностью. Лазарь Моисеевич, не прекращая мыть, стал вспоминать, где же он встречал этого старика, но не вспомнил, а старик тем временем встал со скамейки, подошел к нему и спросил: «Это ваша машина?» Лазарь Моисеевич подтвердил, что да, но спросил, в чем дело. Тогда старик разрыдался, как ребенок, вытащил из кармана замызганный бессрочный паспорт и показал, что он как раз Кац Моисей Гиршевич, 1901 года рождения, по национальности еврей, то есть родной отец Лазаря Моисеевича, якобы погибший во время войны. Правда, как потом выяснилось, «похоронки» Роза Львовна не получила, а значит, не имела никогда никакой помощи на сына. Есть такие бестолковые женщины. Лазарь всем говорил, будто еще в детстве видел письмо фронтового друга отца, где сообщалось, что рядовой Моисей Кац героически пал смертью храбрых, что буквально на глазах этого друга бесстрашного Моисея разорвало вражеским снарядом на куски и, так как вместе с ним, скорее всего, разорвало и его документы, вдове нет смысла наводить справки. Естественно, Лазарь Моисеевич всегда считал отца погибшим и только теперь, через тридцать с лишним лет, вдруг узнает: оказывается, Моисей жив и здоров и вспомнил, что у него есть сын, как две капли, кстати сказать, на него похожий. Старик собрался было броситься Лазарю на шею, но тот аккуратно отстранил его и отвернулся, хотя надо было не отворачиваться, а задать вопрос: «А где вы были, так называемый папа, когда мы с матерью сидели в Горьком, в эвакуации, в качестве семьи без вести пропавшего? И где вы были потом, когда мать выбивалась из сил, чтобы дать мне высшее образование? А теперь, когда я стал человеком, вы являетесь и протягиваете мне документ. Вы мне не отец, я вам — не сын, и, кроме матери, у меня нет и не будет никаких родителей».

И хотя Лазарь по бесхарактерности ничего этого старику, к сожалению, не сказал, тот все равно зарыдал еще громче и попросил, раз уж так получилось, дать ему три рубля на дорогу не то в Шапки, не то в Тосно, где он живет с детьми от второго брака, а у них зимой снегу не выпросишь. Лазарь Моисеевич дал ему два рубля, хотя по роже старика было ясно, что он тут же их пропьет, и намекнул забыть дорогу к этому дому и не травмировать мать.

И, действительно, хотя сам он матери ни слова не сказал, Марья Сидоровна Тютина, которая слышала весь разговор, стоя с помойным ведром возле бака, на другой же день все сообщила Розе Львовне, слово в слово, вследствие чего Роза Львовна слегла, но теперь уже поправляется. Петр Васильевич выругал жену: зачем сказала. А та ответила: как это «зачем»? А чтоб знала...

VII

Петуховы живут на четвертом этаже в квартире № 18, рядом с семейством Кац. Еще три года назад Саня Петухов был обыкновенным молодым человеком, имел мотоцикл с коляской и в один прекрасный день привез в этой коляске из Дворца бракосочетания жену Татьяну. А потом что-то случилось такое, куда-то его выбрали, назначили, а может, повысили, неважно, зато теперь, вместо мотоцикла, Александр Николаевич ездит на службу на черной машине, и часто шофер носит за ним на четвертый этаж большую картонную коробку. Никого не касается, что́ в этой коробке, и поэтому, когда Александр Николаевич в сопровождении шофера проходит от автомобиля к лифту, никто, встретившись с ним в подъезде, естественно, глупых вопросов не задает. Зато в прошлую пятницу Антонина, которую давно бы пора лишить материнских прав, да жалко ребенка, поймав во дворе Танечку Петухову, нахально спросила: «Я вот уже который раз смотрю, ты банки из-под кофе растворимого выносишь и коробки из-под лосося в собственном жиру. Где это ты достаешь? Мне что-то, кроме хека с бельдюгой, ничего не попадается».

Танечка даже растерялась, но тут, на счастье, мимо проходила Роза Львовна. Роза Львовна посмотрела на Антонину и сказала, что интересоваться, Тоня, надо не пустыми консервными банками, а тем, какому делу служит человек. Александр Николаевич — большой работник, с него много спрашивается, поэтому ему и дано больше, чем нам с вами. Вы знаете, какая ответственность лежит на этих людях? Его могут в любой момент вызвать, и он будет решать вопросы...

Зря Роза Львовна связывалась с Антониной, потому что та сразу же заорала: «Воп-хо-сы! Имеет „Жигуля“, так думает — и она туда же! Да вас таких — хоть бей, хоть „Жигули“, все равно будете задницы лизать и улыбаться, как кошка перед тем, как гадить! Фрейдкины, и те лучше были, уехали по-честному. А вот возьмем хворостину и погоним жидов в Палестину!»

Роза Львовна, бедная, вся покраснела, руки затряслись, повернулась к Танечке за сочувствием, а та боком-боком — и в парадную. Кому охота участвовать в таком скандале, да еще когда муж занимает пост? А когда дверь за Татьяной захлопнулась, хулиганка сказала Розе Львовне, что вот то и оно, а вы чего думали? Так они и за всех нас заступаются: напьются кофе растворимого с лососем, сядут в черную «Волгу» — и пошли заступаться! Зла не хватает от вашей наивности, ну, пока — мне в детсад за Валеркой.

И ушла.

VIII

Дуся и Семенов, проживающие в одной квартире с Тютиными, не ответственные работники, не кандидаты наук, не торгаши с рынка и не лица еврейской национальности, однако у них все есть не хуже кого, а сами — простые люди: Семенов работает на производстве слесарем, Дуся там же — кладовщицей.

Непьющий Семенов работает не тяп-ляп, вкалывает как надо — и сверхурочные, и по выходным за двойной тариф, и в праздники. Халтуру, понятно, тоже берет, потому что все умеет, руки есть и разряд высокий. Вообще Семенов молодец, другого про него не скажешь: на производстве уважают, как собрание — он в президиуме, как выборы — его в райсовет депутатом, с начальником цеха — за ручку, да и сам директор всегда поздоровается: как дела, Семенов? — Да что — дела! Порядку мало.— Это вы правы, наведем порядок, товарищ Семенов. Как там у вас с квартирой? — Завком решает.— Думаю, решат положительно, товарищ Семенов.

Так что недолго осталось Семеновым мыкаться в коммуналке.

А про Дусю сказать: как у нее на работе — ее дело, на складе многое можно взять для семьи, мыло, допустим, перчатки резиновые посуду мыть и другие мелочи. Воровать Дуся не станет, они с мужем люди порядочные, оба не пьют, и Семенов на высоком счету, но смешно ведь идти в магазин за куском мыла, когда у тебя в кладовой полный ящик стоит. А дома Дуся — хозяйка, каких поискать, ломовая лошадь. День и ночь она что-то моет, чистит, скребет, таскает в скупку ношеные вещи, в макулатуру — бумагу за талоны: библиотеку надо собирать для сына. Главный принцип у нее, как она сама сказала Марье Сидоровне: хоть тряпка, хоть корка — всё в дело, обратите внимание — вы мусор каждый день выносите, а я — два раза в неделю. Поэтому Семеновы имеют обстановку не беднее, чем у тех же Кац: телевизор «Рубин-205», пианино и недавно купили «Москвича», подержанного, но будьте уверены, Семенов с его руками приведет машину в такой божеский вид, какого Лазарю Моисеевичу нипочем не добиться при всех его деньгах и ученой степени кандидата технических наук.

И вот этот случай: буквально на днях Семеновы достали для своего Славика в комиссионке письменный стол. Раньше Славик готовил уроки за обеденным, но теперь он перешел в английскую школу, и неудобно. Стол купили старинный и недорогой, что говорить — Семеновы барахла не возьмут, но только зеленый материал на крышке кое-где уже лопнул и обтерся, и Семенов, конечно, решил подреставрировать вещь своими руками: поменять сукно, покрыть дерево лаком. Вместо зеленой Дуся купила в «Пассаже» полтора метра голубой, в цвет к обивке кресла-кровати, костюмной шерсти с синтетикой. В воскресенье Семенов аккуратно снял зеленое сукно — Дуся собиралась сделать из него стельки в резиновые сапоги — и обнаружил под ним заклеенный конверт.

Когда Семенов при жене вскрыл конверт, то оказалось, что в нем лежат четыре пятидесятирублевые бумажки. Кто их туда спрятал — разные могут быть предположения и варианты: прежний хозяин был старик и отложил на черный день, родным не сказал, чтоб не отняли, а сам внезапно умер. Родные, ничего не зная, сдали стол на комиссию и наказали себя на две сотни. А может, кто по пьянке запихнул от себя самого, а, проспавшись, забыл. Много возможностей, теперь не узнаешь. Тютиным Дуся сказала, что, представьте, мы могли бы еще пять лет не собраться менять сукно, а тут вдруг раз — и реформа. Представляете? На что Семенов возразил, что этого быть не могло. И он прав. Не могло. Но самое интересное, что Семеновым этот стол вместе с перевозкой и голубым материалом обошелся в сто двадцать рублей. Представляете?

Нет, это верно: деньги идут к деньгам.

IX

А у Барсукова, старого пьяницы, негодного человека, когда он спал на автовокзале в день получки, вытащили, конечно, все до последней копейки. Это сам Гришка так думает, что вытащили, а, скорее всего, его же собственные дружки и взяли, когда распивали бормотуху где-нибудь в парадной. Потому что документы и ключи у него остались, а воры разбираться бы не стали, где деньги, а где документы с ключами. Так, например, считает Наталья Ивановна Копейкина, и с ней согласны все — и Семеновы, и Тютины, и Фира Кац. Танечка Петухова сказала, что, главное, противно: теперь Григорий Иванович начнет звонить по квартирам и у всех клянчить деньги и одеколон, лично она не даст, а Роза Львов-

на, к сожалению, даст, да и Антонина тоже, эта пьяниц любит, сама такая. Что же, Танечка совершенно права, жалеть людей надо с умом и смыслом, а у такого забулдыги, как этот Барсуков, никогда не будет ни денег, ни здоровья.

X

Копейкина Наталья Ивановна после больницы стала совсем другим человеком. Во-первых, живет она теперь одна, Олег после товарищеского суда у себя в автопарке сразу завербовался куда-то на Север и уехал за длинным рублем, даже мать из больницы не встретил.

Во-вторых, раньше Наталья Ивановна была полная и выглядела старше своих лет, а теперь — на французской диете, похудела, сделала укладку в салоне причесок и ходит в импортном плаще. Людмила — помните? — та самая — взяла над Натальей Ивановной шефство, навещает почти ежедневно, вместе в кино, вместе — в Пушкин, в лицей — в общем, подруги — не разлей вода. Людмила оказалась очень и очень порядочной девушкой, раздувать дальше скандал из-за полученной травмы не стала, сама служит в автопарке диспетчером, сутки работает, три выходная, и учится в вечернем техникуме. Родители, оказывается, тоже очень культурные люди, а не, как предполагали Тютины, тунеядцы вроде ихнего бывшего свата-профессора. Отец служит в речном пароходстве, а мать учительница. И брат в армии. А модные эти юбочки Людмила шьет сама, они ей копейки стоят, а одета всегда, точно из телевизора вышла. Такую невестку днем с огнем не сыщешь, и Наталья Ивановна всем сказала, что Люда ей как родная дочь, а если Олег там, на Севере, найдет какую-нибудь гулящую старше себя, Наталья Ивановна спустит ее с лестницы.

XI

Было лето. Палила жара и взрывались ливни, тяжело тащились по пыльным, засыпанным тополиным пухом улицам беременные поливальные машины, налетал ветер, то душный и жгучий, то тяжелый и мокрый, будто скрученный холодным жгутом. Давно ли из Таврического сада сладковато пахло сиренью, а потом — липовым цветом, а в начале сентября — отцветающими флоксами? Но вот запах флоксов сменился запахом прелых листьев и мокрой земли, выше и отчужденнее стало небо; природа, летом нахлынувшая на город всеми своими красками, звуками и запахами, теперь отступила. Как отлив, ушла далеко за окраины и будет существовать там до весны, отдельно и замкнуто, когда в пустых лесах сыплются с деревьев и летят день за днем сухие листья. Наступает ночь, а листья все равно падают, шуршат в глухой темноте, а потом принимается дождь, суровый, безжалостный, и сутками хлещет по окоченевшим стволам и сутулым черным корягам.

...Ноябрь. Самое городское время. Господствуют только камни домов и парапетов, решетки оград, высокомерные памятники и колонны. Прямые линии, треугольники, правильные окружности, черно-белые тона. Торжество геометрии.

Ноябрь. Прошли праздники.

Ноябрь. Александр Петухов гостит в далекой дружественной нам Болгарии у все еще теплого Черного моря, где расхаживают по солнечному берегу громадные серебристые чайки и прогуливаются западные туристы в белых брюках и кожаных, в талию, пиджаках.

Ноябрь. Темное утро. Дождь со снегом. В доме около Таврического сада все еще спят, ни одно окно не горит.

Антонина во сне пытается натянуть одеяло на остренькие плечи чернявого Валерика — кашлял с вечера, вот и положила вместе с собой.

Наталья Ивановна Копейкина всхлипывает, потому что видит странный сон, будто вернулся беглый сын ее Олег и стоит в дверях почему-то босой и без шапки, а пальто все мокрое, аж вода течет на натертый пол.

Роза Львовна Кац тоже плачет во сне, плачет тихо, с удовольствием, кого-то прощает за все свое вдовье одиночество, за чертову жизнь эвакуированной с ре-

бенком и без аттестата у прижимистой Пани в Горьком, за то, что теперь уже старуха, а, если вдуматься, что она видела в жизни? Завтра Роза Львовна и не вспомнит, что́ видела во сне, встанет в хорошем настроении и по дороге к себе в библиотеку сочинит стихи для стенгазеты: «...но было то не по нутру злому недругу-врагу, и задумал он войной разрушить мир наш и покой». Лазарь, конечно, опять начнет смеяться, так ему ведь все смешно — такой человек.

Весь дом спит. Кроме Григория Барсукова. Тот лежит в темной комнате, таращится в пустоту, думает. Как ему уснуть, когда он один в городе, да что — в городе, может, в целом мире, знает то, что никому еще пока узнать не дано.

Все мы, безусловно, правы: нет у бедняги Барсукова ни денег, ни здоровья. А вот насчет ума — это, уважаемые, извините-подвиньтесь со своими дипломами и кандидатскими степенями, это еще поглядим. Потому что если бы кто-нибудь из нас с вами обнаружил *такое*, то, возможно, не только бы запил, а сбежал бы прочь, в другое место. Или руки на себя наложил со страху.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Треугольник Барсукова

I

Этот треугольник расположен в центре города, а именно — на Сенной площади под названием площадь Мира. Вершина его приходится как раз на специализированный рыбный магазин «Океан», где каждое утро толкутся доверчивые любители селедки, не ведающие, где они стоят. Другие углы такие: здание станции метро, воздвигнутое на месте упраздненной с лица земли церкви Успения Пресвятой Богородицы — раз, и автобусный вокзал, бывшая гауптвахта, там еще Достоевский просидел как-то несколько дней. Это два. А еще летом,— наверное, помните? — на этом автовокзале у Барсукова пропала вся получка до последнего рубля. Но только по наивности можно предположить первое попавшееся: будто деньги были пропиты либо украдены. Только по наивности! И теперь Барсуков это знал.

Никто из нас с вами, слава Богу, не был и, будем надеяться, не окажется в Бермудском треугольнике, в этой мутной части Атлантики, где, согласно источникам, гибнут без вести, начисто пропадают среди ясного дня самолеты, где слепо дрейфуют покинутые мертвые суда, причем никто не знает, куда девались с них люди. Как-то на одном из таких судов была обнаружена воющая собака, но — что собака, она ведь только понимает, а сказать не может, а тот, кто мог сказать, то есть говорящий попугай,— тоже пропал совершенно бесследно.

Бермудский треугольник, по счастью, от нас далеко, тысячи миль до него и десятки надежных границ, и поэтому нам на него наплевать, он для нас вроде бабы Яги или как космические пришельцы, про которых мы ничего не знаем.

Нам и без Бермудского треугольника есть чего бояться: войны с Китаем, тяжелой продолжительной болезни, бандитизма отпущенных по амнистии, своего непосредственного начальника и еще кого-то неведомого, кто не ест и не спит, а денно и нощно дежурит у нашего телефонного провода, чтобы узнать, что же мы говорим о погоде.

А ведь наверняка те, кто живут рядом с Бермудским треугольником или имеют с ним дело по работе, тоже боятся войны с Китаем и бешеных собак, а также своих бермудских гангстеров и начальников. И, уж конечно, рака. А про истории с самолетами и кораблями думают редко и неохотно.

Барсукову же и думать было нечего, чего тут думать, тут не думать надо, а меры принимать, и потому Григорий Барсуков, человек, за пятьдесят лет своей жизни поменявший столько мест работы, что уже из-за одного этого, плюс внешний вид, мог считаться «бомжем и з», то есть лицом без определенного места жительства и занятий, так вот, этот субъект ранним ноябрьским утром подстерег во дворе кандидата технических наук Лазаря Каца и обратился к нему с антинаучным заявлением. Он сообщил Кацу, что на Сенной площади Мира якобы

безвозвратно пропадают вещи и деньги, люди и даже автомобили с шоферами и что лично он, Барсуков, был свидетелем этого явления многократно.

— Могу привести ряд примеров,— заявил Барсуков.

— Приведите, прошу вас,— поощрил его Кац, который потому и стал кандидатом наук, что всю жизнь отличался любознательностью к явлениям природы.— Приведите, приведите,— повторил он и вынул из кармана пачку сигарет, но, взглянув на свои окна, тотчас спрятал ее обратно и предложил Григорию Ивановичу лучше прогуляться через сад.

Небо над Таврическим садом сплошь было залеплено толстыми и белесыми тучами. Из разрывов этих туч нет-нет да и выскакивало солнце, ошалело плюхалось в пруд, секунду трепыхалось в холодной воде, как блесна, и тут же исчезало.

«...и равнодушная природа красою вечною сиять»,— вдруг ни с того ни с сего назидательно сказал Барсуков и твердо посмотрел в глаза Лазарю Моисеевичу. Тот, являясь человеком тактичным, никакого недоумения не проявил, как будто так оно и следует, что необразованный «бомж и з» цитирует бессмертные строки.

— «Красою. Вечною!» — злобно настаивал Барсуков и, когда Лазарь наконец кивнул, добавил: — Природа вечна, а человек в ней ничто. Сегодня он есть, а завтра нету.

— Люди, безусловно, смертны,— согласился Кац.

Барсуков посмотрел на него с жалостью, махнул рукой, снял с головы кепчонку и принялся яростно трясти ее, точно ботинок, в который набрался песок. Ничего не вытряс и деловито сказал:

— Привожу примеры исчезновения людей и предметов: сорок рублей восемьдесят четыре копейки, принадлежавшие лично мне. Так? Теперь: Виталий Матвеевич, старик...

— Какой Виталий Матвеевич? — спросил дотошный Кац.

— Какой он был, точно не знаю,— задумчиво ответил Барсуков,— но, полагаю, дерьмо... А как исчез — это видел сам: в прошлую среду около автовокзала попросил рубль, я ему: только, мол, трешка. Он взял, говорит: ничего, разменяю. Пошел к ларьку, через улицу шел, я видел, а потом вылез трамвай — и с концами. Пропал человек.

— Ясно,— сказал Кац.— Еще какие были явления?

— Еще явление с синей машиной. Пустая, без людей, с горящими фарами днем.

— Стояла?

— Ага. Хрен тебе в зубы! Прямо с Московского по середине площади как вжарит. И на Садовую. Милиционер еще свистел.

— Я думаю,— сказал Кац, закуривая,— что все это просто цепь совпадений.

— Тебе хорошо,— Барсуков снова тряс свою кепку,— тебе хорошо — ты дурак...

Он пожал руку ошеломленного Лазаря, который не сумел захлопнуть рта, и удалился величественной походкой человека, который знает, что ему делать. А кандидат технических наук долго еще стоял на пустой аллее у пруда с глупым выражением на интеллигентном лице.

Вечером того же дня, когда семья Кац сидела за чаем, а по телевизору показывали фигурное катание, раздался телефонный звонок.

— Лелик, тебя,— позвала Лазаря мать.— Ты бы все-таки объяснил им, что беспокоить человека после работы — не дело.

— Олег, может быть, я подойду? — сказала Фира.— А ты ушел и будешь поздно. Ага?

— Во-первых, я просил больше не называть меня Олегом...

— Ах, прости, пожалуйста, забыла о твоем гражданском мужестве в кругу семьи,— сразу же надулась Фира.— Между прочим, пока ты тут произносишь декларации о правах человека, человек ждет.

Человек действительно терпеливо ждал, хотя времени, как потом выяснится, у него было в обрез.

— Алло,— раздался далекий голос Барсукова, когда Лазарь наконец подошел к телефону.— Алло! Слушайте и записывайте для науки. Говорит Барсуков из треугольника. Я гибну. Сос. Местоположения в пространстве определить не могу. Сколько время — тоже не знаю. Выхода отсюда нету и мгла.

— Где вы? Какая мгла? — закричал Лазарь, глядя в окно, где с ясного черного неба иронически смотрели звезды.

— Мгла обыкновенная. Сплошная. Бело-зеленая. Видимости никакой. Гибну.

— Вы не пьяны? Слышите, Григорий Иванович, я спрашиваю — вы пьяны?

— В самую меру. Записывайте для науки: «Барсуков Григорий вышел из метро в 19.03...» — голос становился все глуше и гас, точно «бомж'а и з» уносило куда-то прочь от земли.

— Темно и выхода нет. Гибну смертью храбрых во славу... — Это были последние слова, услышанные Лазарем.

— Барсуков! Барсуков! — кричал он в опустевшую трубку.

Ни звука.

Никто, ни один человек на земле, никогда больше не видел Григория Ивановича Барсукова.

II

После возвращения из Болгарии Александр Николаевич Петухов начал задумываться. А задумавшись, замирает на кухне с горящей спичкой в руке или чашку с черным кофе поднесет ко рту, а пить забудет. И Танечка, видя все это, очень переживала. Как-то раз зашла к соседке Марье Сидоровне за рецептом печенья на майонезе и вдруг внезапно и неожиданно расплакалась. Получилось это совсем некстати, Марья Сидоровна была не одна, и к тому же больная. У нее сидели Дуся Семенова и Наталья Ивановна, так что слезы Танечки, хоть она и объяснила их зубной болью, конечно, стали обсуждаться.

— Гуляет он,— сказала Дуся про Петухова, как только Танечка ушла,— а чего не гулять? Ездит по Европам за казенный счет, кожаный пинжак себе купил.

— Татьяне тоже замшевую юбку привез,— вступилась справедливая Наталья Ивановна.

— Гуляет, это точно,— несмотря на юбку, стояла на своем Семенова,— давеча смотрю: идет домой в восьмом часу вместо шести, глазки, как у кота, так и глядят туда-сюда, туда-сюда. А как увидит Кац Фирочку, так уж вообще... Вчера вышагивают через двор, он ее сумочку несет.

— Фира интересная,— согласилась Наталья Ивановна,— полная и одевается.

— Это верно, жить они умеют, этого от них не отнимешь. Марья Сидоровна, корвалольчику еще накапать?

— Не надо,— тихо сказала Тютина. И все замолчали.

У Марьи Сидоровны было свое горе, и все из-за мужа. Конечно, старик Тютин кожаных пиджаков сроду не носил и глазами не зыркал, зато последнее время все его разговоры непременно сводились к близкой смерти, даже про бывшего зятя что-то стал забывать. То начнет распоряжаться, как поступить после похорон с его старым синим костюмом (слава Богу еще, Марье Сидоровне удалось уговорить его надеть в гроб выходной серый, а то заладил: синий да синий, а серый импортный, дескать, в комиссионку, ну не срам?), то решает вопрос, съезжаться ли Марье Сидоровне с дочерью и внуками, и приходит к выводу, что — не сметь! Анна выскочит замуж за какого-нибудь прощелыгу, а мать окажется без своего угла. Марья Сидоровна ему и так и сяк:

— Петя! Зачем, скажи, эти разговоры? Травмировать меня? Поднимать давление?

А он опять:

— Окончание жизни — это финал. Смерть тебя не спросит, когда ей прийти. Вон, Барсуков: был и нету.

Она ему:

— Так Барсуков же пьяница! Неизвестно, куда девался, может, в тюрьме сидит, может, в психбольнице на принудительном лечении.

— Это брось! Гришку искала милиция, они дело знают. Нигде не нашли и комнату опечатали, а ты — «неизвестно»! Если неизвестно, закон опечатать не даст. Нет Барсукова. И меня не будет,— твердит Тютин, а сегодня и вообще заявил, что настоятельно желает, чтобы на его похоронах обошлось без рыданий и кислых слов, потому что в таком возрасте смерть — дело житейское, вполне естественное и даже нужное, вроде свадьбы, например, или проводов в армию на действительную службу.

— У гроба моего завещаю петь песни,— велел он жене.

— Какие? — шепотом спросила Марья Сидоровна и присела на диван.

Петр Васильевич долго думал, глядел в окно, потом сказал:

— Солдатские. Поняла, мать? Я — ветеран. Солдатские песни, запомни.

— Господи, помилуй! — заплакала Марья Сидоровна.— Дай ты мне, Христа ради, первой помереть!

Тютин плюнул, покачал головой и отправился в киоск покупать «Неделю», а Марье Сидоровне пришлось звать Дусю: не могла уж сама накапать лекарство — руки тряслись.

Так что вполне понятно — не до Танечки Петуховой было в тот день Марье Сидоровне Тютиной.

К сожалению, и Петухову было теперь не до жены. Уже две недели прошло после возвращения его из Болгарии на родную землю, а он как был в первый день не в себе, так и остался.

Точно яркие цветные слайды, вспыхивали в его мозгу разные картины: ночной бар, тихая музыка, притушенный свет, сигареты «Честерфилд», коктейль «Мартини», элегантный бармен — друг, не лакей и не хам — нагнулся к Петухову, щелкает американской зажигалкой: курите. Холл отеля «Амбассадор» на международном курорте «Златны Пясци», где Александр Николаевич прожил три последних дня своей первой заграничной поездки,— так было предусмотрено программой: после заседаний, встреч и приемов — отдых у моря. Здание казино, вдоль которого всю ночь стоит вереница машин. И каких! «Мерседесы», «шевроле», «фольксвагены», «тойоты», «форды»... Огни, огни, огни... Толпа западных людей в зале казино около игральных автоматов — это рулетка такая, называется «однорукий бандит». Петухов сам был свидетелем, как какой-то джентльмен с бешеными глазами и голубыми ввалившимися щеками бросил в щель «бандита» серебристый жетон, дернул ручку — и целая груда этих жетонов со звоном высыпалась в лоток. А мистер Петухов, профсоюзная шишка, в только что купленном черном кожаном пиджаке и белых брюках, в одном кармане которых лежали американские сигареты, а в другом — турецкая жевательная резинка, он, причесанный на косой пробор в лучшем салоне Варны, он, к которому здесь, за границей, все обращались только по-немецки, мялся в углу, не смея подойти к автомату, поминутно оглядываясь на дверь: не войдет ли Павлов, руководитель их группы. А уж о том, чтобы самому сыграть в рулетку, и речи быть не могло. А почему? Почему?! И ведь им, павловым, все равно, что́ Петухов — человек с высшим профсоюзным образованием, знающий два языка со словарем, что́ это быдло из их так называемой делегации, жлобы, уроженцы города Саратова или какого-нибудь Челябинска, которые в варьете, в ВАРЬЕТЕ! — только и выжидали, когда замолчит наконец оркестр, чтобы грянуть свои «Подмосковные вечера». Зачем их возят по заграницам, позорище одно?! И изволь сидеть с ними у всех на виду в ресторане, среди их немыслимых двубортных пиджаков или жутких синтетических платьев с блестками! Изволь улыбаться, пить за то, что хороша, дескать, страна Болгария, а Россия лучше всех. Ну и сидели бы в своей России, в грязи и серости по уши! Так нет — им подавай Европу, а ты, как дурак, веселись тут с ними, лови на себе презрительные взгляды западных немцев, сидящих напротив. Немцы, кстати, и сидят иначе, и сигарету держат как-то красиво, и лица у всех культурные. Ведь вот — тоже выпили, а никто не красный, не потный, не орет и руками не машет.

И, главное, не встанешь, не закричишь: «Товарищи!», то есть, конечно: «Господа! Я не такой, как эти! Я все понимаю, мне смешно и противно смотреть на них, так же, как и вам! Это, ей-богу, не я покупаю в аптеке медицинский спирт и напиваюсь, как свинья, у себя в номере, а потом начинаю горланить на весь отель! Не я с утра до вечера дуюсь в холле в подкидного дурака! Не я под джазовую музыку пляшу в ресторане «цыганочку» или топчусь в медленном танго, как допотопный сервант. Не я это! Не я!»

Тонко улыбаются нарядные западные люди, кажется, если бы можно, вынули бы сейчас фотоаппараты и кинокамеры, запечатлели бы на память дикарей. Но — нельзя, неприлично.

А наши и понятия такого не имеют — «неприлично», им все прилично, вопят на весь зал, пялятся по сторонам и еще шуточки отпускают — у нас, мол, танцуют лучше и одеваются наряднее. Кретины! Неандертальцы! Толпа!

Так они сводили его с ума там, в Болгарии. А теперь — вот она, Родина. Родина — мать. Перемать. Россия, сплошь состоящая из них, из этих...

На второй день после приезда зашел днем в «Север» пообедать и сразу: «Глаза есть? Не видите — стол не убран? Ах, видите. Так чего садитесь?.. Мест нет? А у нас — людей нет. Вы к нам работать пойдете?» Сервис!

Можно было, конечно, показать ей кузькину мать, чтобы знала, с кем имеет дело, хамка, да связываться противно, тем более был не один, с начальством. Еще, слава богу, ему, Петухову, теперь не нужно стоять по очередям за продуктами, на дом возят... Ах, скажите, пожалуйста: на дом! Благодетели. Купили за банку паршивого кофе! Да, если уж на то пошло, плевать ему на их растворимый кофе и лососину! Да и на икру, если совсем на то пошло! Не хлебом единым! Орут везде, что у нас — права человека, а в городе ни одного ночного бара. Только на валюту, на доллары. В занюханной Болгарии, тоже мне — Запад, а сколько угодно этих баров! И девочки! Только не для нашего брата девочки, для нашего брата — руководитель Павлов, он тебя и...

Болгария... А где-то есть еще и Париж. Есть и Швейцария. И Штаты...

В гробу я видал этот вонючий кофе!

— Сашенька, почему так поздно? — робко спросила Таня, когда Петухов в третий раз явился домой в половине восьмого.

— Автобус сломался,— с горделивой скорбью отрезал он.

— Автобус?! Почему — автобус? А где Василий Ильич?

— А пускай твой Василий Ильич другую задницу возит! Ясно?! — заорал Петухов.— Сдалась мне их поганая «Волга»! И пайков больше не будет, поняла? Попили кофеев, хватит! Обойдешься чаем «Краснодарским», сорт второй, и городской колбасой!

— Что случилось, Саша? У тебя неприятности? — Танечка уже плакала.

— Приведи в порядок лицо! — завизжал Петухов.— Не женщина, а чучело! Плевал я! Принципы надо иметь! Дешево купить хотите, граждане-товарищи!

Долго еще бушевал Александр Николаевич, хлопал дверью, выкрикивал лозунги о демократических свободах, о том, что никому не позволит душить и попирать. Потом улегся на диван с транзистором и на всю квартиру включил «Голос Америки».

III

В середине декабря месяца Наталья Ивановна Копейкина случайно узнала, что в субботу в магазине «Океан» с утра будут давать баночную селедку. Новый год был уже вот-вот, и поэтому Наталья Ивановна с Дусей Семеновой и недавно прощенной Тоней Бодровой за час до открытия отправились занимать очередь. Марья Сидоровна, которой тоже предложили, сказала, что ей не до селедки, плохо себя чувствует, и женщины решили взять две банки и разделить: по полбанки Наталье Ивановне с Антониной, полбанки Тютиным, они старые люди, надо помочь, и полбанки Дусе. Антонине хорошая селедка очень бы кстати, так как Анатолий все же обещал первого зайти. Это надо: с лета ни разу не вспомнил, а тут... нет слов, одни буквы. А Валерку тогда заберут к себе с ночевкой Семеновы.

Селедку, действительно, отпускали, очередь шла быстро, так что к десяти часам все трое, довольные, стояли с банками на трамвайной остановке напротив метро «Площадь мира». Погода была ясная, светило солнце.

Трамваи не шли, на остановке собралась огромная толпа, говорили: кто-то должен проехать из аэропорта, не то король, не то кто из наших, и движение перекрыто. Минут через десять появилась милицейская машина, принялась кричать в мегафон, загнала всех на тротуар, давка началась невероятная. И в этой давке Антонина внезапно почувствовала, что в глазах у нее темнеет, ноги отнимаются, кругом зеленая мгла, как с хорошей поддачи, и что она не соображает, где находится и зачем.

Сколько времени продолжалось такое состояние, Антонина никогда потом сказать не могла, но, когда очнулась, увидела, что сидит на скамейке около автобусного вокзала, а рядом с ней сидят и Наталья Ивановна, и Дуся, обе бледные, не в себе и без сумок.

— Чего со мной? — спросила Антонина слабым голосом, но ей не ответили. Как выяснилось, ответить ей и не могли, потому что ни Семенова, ни Копейкина не знали, что и с ними-то произошло, как, например, попали они с остановки на эту скамейку, а главное, где их сумки с деньгами и банки с селедками. Обе они, как и Антонина, оказывается, видели только зеленую мглу и туман среди ясного дня.

— Несомненно — вредительство,— предположила Наталья Ивановна, и женщины с ней согласились.

Посидев с полчаса, придя в себя и переговорив, они решили все же ничего никому не рассказывать, все равно не поверят и еще засмеют, а деньги, которые дала им на селедку Тютина, собрать между собой и вернуть. Про банки же сказать, что их не давали, а была мороженая треска с головами.

IV

А ведь и верно: совсем скоро Новый год. Кажется, только что прошли ноябрьские, а через неделю опять праздник. Все скоро в этой жизни, так что и уследить не успеешь.

Петр Васильевич Тютин праздник Новый год любил и всякий раз радовался: смотри, пожалуйста, опять дожил — и ничего, сам, вон, с Некрасовского рынка (придумал какой-то болван назвать рынок именем великого писателя!) — с Мальцевского елку приволок. Приволок, украсил, подарки разложил, а как же? — придут внуки, Даниил и Тимофей.

Нравился Петру Васильевичу Новый год, а все-таки главными праздниками у него были другие. День Советской Армии и самый важный — это, конечно, Праздник Победы. Новый год — больше для внуков, для жены с дочерью, а это — собственные его.

В эти дни Петр Васильевич надевал на серый костюм орден Красной Звезды и Отечественной второй степени, прикалывал медали и шел к Петру Самохину, тезке, другу и однополчанину. У Самохина была большая квартира, и это уж, как говорится, создалась такая хорошая традиция — по праздникам собираться у него. Приходили ребята без жен, выпивали умеренно, пели, вспоминали. И если кто в десятый раз принимался рассказывать один и тот же случай, никогда не одергивали и не поправляли, мол, не так было, путаешь, старый хрен; этого у всех и дома хватало, наслушались от родных деток, которым что ни скажи — в глазах тоска: скоро ли он кончит, надоел, все одно и то же, да одно и то же. А товарищи, те и послушают, а если у кого слезы, дело-то стариковское, не заметят, виду не подадут, а не то что сразу охать да бегать с валидолами. Одно слово: мужская дружба фронтовиков.

Интересное дело, сколько времени прошло после войны, больше двадцати лет Тютин отработал на заводе мастером, на отдых вышел как полагается, с почестями, никто не гнал, сам захотел, и друзья были, а вот, пожалуйста, остались от этих заводских друзей только поздравительные открытки к календарным датам. И от завкома — открытки, и от партбюро. А эти парни, с которыми в войну самое дольшее три года вместе был, да что — три года, некоторых и года не знал,— эти мужики до самой, видно, смерти, до последнего дня. Почему так?

Встречи с фронтовыми товарищами считал теперь Петр Васильевич единственным и главным делом своей жизни, только с ними, с ребятами, чувствовал, *кто* он такой, *что* сделал, *какие* дороги прошел, потому что личное — это личное, это для женщин, а мужчина для другого живет. Но все меньше, с каждым разом меньше народу собиралось у Петьки Самохина на праздники. В прошлый День Победы только трое пришли, остальные — кто болел... Встречались вообще-то

последнее время довольно часто, но те встречи были далеко не праздничные, да и какие это встречи, это — проводы...

Так что не от злобы или плохого характера, не от жестокости Петр Васильевич мучил жену похоронными разговорами, а потому, что видел — подходит время, и смерть представлялась ему последним заданием, которое скромно и с достоинством предстоит ему выполнить на земле. Только дурак полагает, будто умереть можно кое-как и безответственно. Пускай, дескать, родственники беспокоятся и хлопочут, а мне что — лег себе в гроб, руки крест-накрест и спи, дорогой товарищ.

Петр Васильевич недаром был ветераном и солдатом, он, может, потому и войну без ранений прошел, с одной контузией, что все умел и привык делать как следует, хоть окоп вырыть, хоть автомат смазать. А теперь — это тебе не окоп, тут надо решить ряд важных вопросов: материальное обеспечение жены, то есть, конечно, вдовы, распорядок ее дальнейшей жизни, организация похорон. Естественно, и в этих делах не на родственников рассчитывал Тютин, а на боевых товарищей, знал, что помогут Марье Сидоровне и внуков не оставят, но надо же и самому руки приложить. Как раз сегодня утром он принялся составлять список — фамилии и адреса тех, кого обязательно надо пригласить, чтобы проводили его в последний путь, но жена, увидев этот список, ударилась в такой рев, дура старая, что Тютин разозлился, скомкал бумагу, сунул в карман и ушел, хлопнув дверью, в сад на прогулку. Вот ведь, ей-богу, бабий ум! Курица и курица. Будет потом метаться, кудахтать, кого позвать, как сообщить, где найти. Самой же приятно: пришли проститься с мужем хорошие люди, никто не побрезговал, вот, пожалуйста, фронтовые друзья, а это — рабочий класс, товарищи, ученики, смена то есть. А тут — руководство. Ладно... Допишет он свой список потом, без нее. Допишет и спрячет в стол, в тот ящик, где ордена и документы. Понадобятся тогда ордена, начнет искать, найдет и список.

...Петр Васильевич Тютин шел себе воскресным утром в валенках по узкой дорожке среди сугробов, смотрел на белые патлатые деревья, на простецкое светлое небо, на глупую мордастую снежную бабу с палочкой от мороженого вместо носа, шуршал в кармане мятым списком, думал, и вдруг так расхотелось ему помирать, так стало страшно и неохота проваливаться из этого обжитого уютного мира куда-то во тьму, где наверняка ничего хорошего нету, что вытащил он скомканную бумажку с фамилиями, торопясь бросил в мусорную урну и, как мог быстро, подволакивая ноги,— чертовы валенки по пуду весят! — пошел прочь. Надо еще конфет купить, а то в магазинах уже завтра будут очереди — жуткое дело.

V

В ночь под Новый год Фира сказала мужу, что она его больше не любит. Это надо еще суметь — выбрать такой день для подобного разговора! Вообще-то Лазарь уже давно, с месяц, наверное, чувствовал: что-то не то. Фира постоянно где-то задерживалась, у нее невесть откуда завелось огромное количество дел, а так бывает всегда, когда человеку плохо у себя дома. Все ее раздражало и выводило из себя, а особенно почему-то невинная просьба Лазаря не звать его больше никакими Олежками, Леликами и Ляликами. Раньше и внимания бы не обратила, может быть, даже с уважением бы отнеслась, а теперь:

— Ах, Лазарь? Понимаю... Это у тебя такая форма протеста. Мол, ничего не скрываю и даже горжусь. Очень, о-очень смело, ты у нас прямо какой-то Жанна д'Арк.

— Ты чего это?

— Потому что противно! Кукиш в кармане. Герой — борец за идею. Ты бы еще магендовид надел.

— Надо будет — и надену, вон, датский король с королевой, когда немцы...

— Слыхала. Ты мне про этот случай рассказывал раза три... позволь, четыре раза. Но ты, к сожалению, не король, тебе ничего надевать не надо, у тебя, как говорится, факт на лице.

— Я не понимаю,— вконец растерялся Лазарь,— ты что, антисемиткой сделалась?

— Просто, миленький, дешевки не люблю. Лазарь ты? Великолепно! Гордишься своим еврейством? Браво-браво-бис! Не нравится, когда кривят рожу на твой пятый пункт? Противно, что любой скобарь в трамвае может, если пожелает, обозвать жидовской мордой, и ничего ему за это не будет? И мне, представь, противно, только при чем же здесь «Лазарь»? Будь последовательным. Уезжай!

— Ты что это, Фирка, обалдела?

— Испугался. Вот она, цена твоего гражданского мужества.

— Подожди, ты что, серьезно?

— Я-то серьезно, я о-очень даже серьезно, а вот ты со своим тявканьем из подворотни, с вечными «я бы в морду...»

— Ты действительно хочешь уехать? В Израиль?

— А это уже второй вопрос: куда? Важно, что *отсюда*. Ясно?

— Ладно, Фира, давай поговорим... хотя я не представляю себе, чтоб ты... У тебя что-то случилось!

— Ну, знаешь, это уж вообще! «Случилось»! А у тебя ничего не случилось? Ни разу? Лелик, то есть, тьфу! Лазарь Моисеевич? Это не тебя ли как-то не приняли на филфак с золотой медалью? И не ты ли тут вечно рвешь и мечешь, когда твой доклад читает на каком-нибудь симпозиуме в Лондоне ариец с партийным билетом?!

— Тише ты.

— Тише?! Вот-вот. Надоело! Их — по морде, а они — тише! Чего ж не врезать? Да брось ты сигарету, мать увидит, будет орать!

— Не увидит. А меня ты напрасно агитируешь, я тебе могу привести и не такие примеры.

— Ну, так что ж?

— А... таки плохо. Как в том анекдоте. Плохо, Фирочка. И все-таки я не уеду.

— Боишься? Мол, подам заявление, с работы выгонят, а разрешение не дадут. Так?

— Если уж честно — и это. Но не во-первых, даже не во-вторых. Во-первых, то, что здесь, видишь ли, моя родина. Мелочь, конечно.

— Родина-мать?

— Да уж как тебе угодно: мать, мачеха, тетя, а только — родина, и никуда от этого не деться.

— Какая там тетя? Какое отношение имеешь к России ты, Лазарь Моисеевич, еврей, место рождения — черта оседлости? Нужен ты ей со своей сыновней любовью, как Тоньке Бодровой ее незаконный Валерик!

— Это черт знает что! Мне дико, что это мы, ты и я, ведем такой разговор. Лично я не верю в генетическую любовь к земле предков, может быть, потому не верю, что сам ее не чувствую. Конечно, кто чувствует — пускай едет, всех ему благ...

— ...А тебе и здесь хорошо.

— Нет. Не всегда хорошо. Но, боюсь, что лучше нигде не будет. И — почему такой издевательский тон? Неужели я должен объяснять тебе, что я тут вырос, что мне симпатичны их рожи, что русский язык — мой родной язык, что я, прости за пошлость, люблю русскую землю, русскую литературу, а еврейской просто не знаю. Кто там у вас главный еврейский классик?

— У *нас*?! Ну, вот что,— Фира стояла посреди комнаты, сложив руки на груди,— мне этот разговор противен. И ты сам, прости, пожалуйста, тоже. Это психология раба и труса.

— А катись ты... знаешь куда! — разозлился Лазарь.— Подумаешь, диссидентка! Противен — и иди себе, держать не стану!

Фира тут же оделась и ушла на весь вечер. Может быть, у нее на работе завелся какой-нибудь сионист? Их теперь полно, героев с комплексом неполноценности и длинными языками...

Лазарь долго стоял на кухне у окна и курил в форточку. Наконец он решил, что, скорее всего, Фирку кто-нибудь обругал в автобусе или в магазине, у нее-то внешность — клейма негде ставить, прямо Рахиль какая-то. Конечно, противно! Только нет из этого положения выхода, как она, глупая, не понимает?! Евреям всегда и везде было плохо и должно быть плохо.

«Успокоится, тогда и поговорим»,— решил Лазарь.

Но Фира не успокоилась. И вот в новогоднюю ночь, сидя за накрытым столом, она при свекрови официально заявила мужу, что намерена с ним развестись из-за несходства характеров и политических убеждений.

Роза Львовна сразу сказала, что у нее болит голова и она идет спать. А Лазарь выслушал следующее:

— Это счастье, что у нас нет детей, хотя я знаю, что вы с матерью за глаза всегда меня за это осуждали. Развод мне нужен немедленно. Мы с тобой чужие люди. Слабых не ругают, их жалеют, но мне жалости недостаточно, мне, для того чтобы жить с человеком, нужно еще и уважение, а его нет.

Тут Лазарь тихо спросил:

— Ты меня больше не любишь? У тебя кто-то другой?

— Не люблю,— отрезала Фира,— а есть другой или нету — в этом случае какая разница? Твоя приспособленческая позиция мне не подходит. Я считаю: кто не хочет ехать *домой*, тот пусть идет работать в ГБ!

— Можно утром? А то сейчас ГБ, наверное, закрыто,— спросил Лазарь, машинально откусывая от куриной ноги.

— Вытри подбородок, он у тебя в жиру,— с отвращением сказала Фира.— Я ухожу. Возьму пока самое необходимое.

Она вышла из-за стола, и через пять минут Лазарь услышал, как хлопнула дверь,— видно, самое необходимое было собрано заблаговременно.

Лазарь подвинул к себе фужер с недопитым шампанским, налил туда водки и медленно, не чувствуя вкуса, выпил. Выпил, вытер рот тыльной стороной ладони и посмотрел на часы.

«Полвторого. Куда она? Впрочем, транспорт работает всю ночь».

VI

Бодрова Тоня Новый год, почитай, и не встретила: забежала в одиннадцать часов к Семеновым, посидела, поздравила всех с наступающим, оставила Валерку, как договаривались, до второго,— и домой. Дуся: останься да останься, а Антонина — ну, ей-богу, неохота, не почему-либо, а такое настроение, решила спать лечь не поздно, чтобы утром выглядеть как человек. Потому что Анатолий точно сказал: зайду первого днем. Ему вообще-то верить не больно можно, бывало и раньше, обещает: жди, а сам не явится, но в этот раз другое дело, в этот раз чего ему врать, как ушел тогда, еще в августе, она за ним не бегала, не звала, хотя и знала: с Полиной живут плохо — пьянка каждый день, а после пьянки — драка.

Тридцатого вечером встретились в булочной, Антонина сделала вид, будто не признала, берет «городскую», а руки, как не свои, уронила булку на пол, пришлось платить — кассирша там вредная, разорется, а булка вся в грязи. Только вышла на улицу, Анатолий тут как тут, за ней.

— Гражданочка, извиняюсь, не знаете, сколько время?

Больше четырех месяцев Антонина каждый день, да не по одному разу, все представляла, как это будет, как они увидятся, и решила вести себя не грубо, но так, чтоб он понял — гордость и у нее есть. И если она тогда выла, как ненормальная, и чуть не за ноги его хватала, только чтоб не уходил, то теперь с этим уже всё, и перед ним, как говорят, другой человек. Пусть подозревает, что у нее кто-то есть, пусть не думает.

Но получилось по-другому. Про гордость она забыла, стала болтать какие-то глупости, мол, как живешь, а он: нерегулярно,— говорит. Что же нерегулярно-то? У тебя жена молодая. А он: во-первых, она мне жена только для прописки, а во-вторых, ты на ее рожу погляди, одно слово: сзади — пионерка, спереди — пенсионерка. Антонине бы сказать, что некрасиво так — о жене, а она наоборот: лицо, говорит, можно и полотенцем прикрыть, а дальше такое сказала, что и вспомнить неудобно. Главное, говорит, сама чувствует — не то, не так надо с ним разговаривать, а остановиться не может, вот и верно, что язык без костей. А Анатолию, кобелю, нравится, хохочет, доволен, боялся небось, что Антонина будет скандалить, а чего ей скандалить, хотела бы, еще летом морду бы Полине начистила, далеко ходить не надо, в одном дворе живут.

Что-то еще говорил Анатолий — хорошо, дескать, выглядеть стала, поправилась, Антонина вроде бы отвечала что надо, а сама только думала: сейчас ведь уйдет, вот сейчас — попрощается и всё, и опять только жди да гляди в окно — не идет ли мимо, и опять жди, и ночи эти проклятые, когда такое, бывает, приснится, что утром вспомнишь — и в жар кидает.

А он вдруг: чего же на Новый год не приглашаешь?

— Так ведь, Толя, Новый год — семейный праздник, в кругу семьи. Как тебя Полина отпустит? Или ты с ней вместе ко мне собираешься?

«И что это я говорю? Вот теперь-то он и скажет — шутка, мол, привет семье, до новых встреч, чао, бомбина!»

— Нет, конечно, смотри сам. Если хочешь, заходи. Хоть в Новый год, хоть первого.

— Первого? Порядок. Если не прогонишь, приду в два часа, готовь полбанки.

Вот, так и договорились. Придет. Чего ему врать, сам предложил, не напрашивалась. Придет.

Комнату свою Антонина, конечно, вылизала, себе купила новое платье цвета морской волны и приталенное. Это ведь еще надо найти — пятьдесят второй размер и по фигуре, у нас на полных шьют, как на старух, мешки, а не платья, даже обидно.

Тридцать первого сбегала к знакомой парикмахерше, уложилась и сделала маникюр. И легла спать, как наметила, сразу после гимна. Зато первого к часу дня была уже готова — платье, как влитое, на груди кулон, колготки, правда, порвала, когда натягивала, потому что импортные. У заграничных баб не ноги, а палки, а у нас ноги фигуральные, вот и тесно. Ну да ничего, подняла петлю, сойдет.

Потом накрыла на стол. Скромненько, не очень чтобы очень, потому что не покупать она мужика собирается за какую-то ветчину или икру. Поставила огурчики соленые, шпроты, «еврейский салат» (Роза Львовна научила: творог, чеснок мелко порубить, зелень — можно укроп, можно петрушку), ну и там сыр, колбасы твердокопченой триста граммов, у себя в магазине выпросила. Сволочи все же Катька с Валентиной, как надо что из бакалеи, так «Тося» да «Тося», и она им, конечно, всё оставляет, а у них вечно по сто раз проси, унижайся...

Короче говоря, стол получился не то что богатый, но приличный. А водки, как просил, купила пол-литра. И хватит. Это с Полиной они пускай пьянствуют, Тоня не Полина, что раньше было, то прошло, и вспоминать нечего.

В холодильнике, конечно, была еще «маленькая» и две бутылки пива на запас, но это — как получится.

Анатолий пришел точно в два. Снял в передней пальто, и Антонина даже обалдела, никогда таким его не видела. Костюм цвета беж, галстук весь переливается, волосы курчавые, а она уж забыть, оказывается, успела, какие у него красивые волосы.

Прошли в комнату. Антонина говорит:

— Ну, ты даешь. Прямо как из загранки.

А он хохочет:

— Это ты в точку, костюм у меня импортный, маде ин Поланд. Ну что, видела костюмчик? Больше не увидишь.

Снимает пиджак, вешает на стул, галстук туда же, и — за брюки. Антонина села на оттоманку и молчит, что говорить, не знает. Он брюки снял, хохочет, как чокнутый:

— Чего рот раззявила, деревня? Надо быть современной женщиной, к тебе не кто-нибудь, а любовник пришел. Раздевайся.

Антонина встала и опять стоит, молчит. С одной стороны, конечно, приятно, что он считает ее за современную женщину и не просто выпить пришел, но с другой стороны, у них, может, это и принято, а у нас не привыкли еще.

А он стоит в чем мать родила, одни носки оставил с полуботинками, и ухмыляется.

— Ну чего? Раздевайся, да побыстрее!

Антонина смотрит — он берет со стола бутылку, наливает ей стопку, себе стопку и говорит:

— Пей давай, тогда, может, смелее станешь, а то как все равно — дурочка. Французские кинофильмы смотрела?

Не ругаться же с ним, не для того полгода ждала. Антонина взяла стопку, выпила. Ладно. Французская жизнь так французская, хорошо хоть сорочку новую надела, нейлоновую. Сняла свое платье морской волны, а он: всё снимай, тут тебе не ателье мод и не поликлиника. А сам еще наливает. Антонина хотела опустить штору, а он: еще чего? Дикость, говорит, или, может, ты у нас с браком? Не помню, чего у тебя там не хватает, вроде всего полно и всё на месте. Ну, что с ним поделаешь,— шутник!

В общем, она разделась, стоит, а что дальше — не знает. Но Анатолий на кровать даже не посмотрел, сел к столу, ну, и она напротив, живот скатертью прикрыла. Холодно всё же. А Толька:

— Чего прячешься? Тело женщины — это, во-первых, красиво. В Русском музее была? И ты интересная, как Венера. А я,— смеется,— как этот... Ганнибал.

Может, со стыда или от волнения, а может, потому, что со вчерашнего дня крошки во рту не было, Антонина сразу опьянела. И стало ей плевать, что сидит тут, как дура, голая, и что тело-то, конечно, уж не то, и что от окна так и свищет. Весело ей сделалось и хорошо, потому что вот он, Анатолий, пришел все-таки, сам пришел, сидит, точно фон-барон, а на плечах веснушки, как у маленького...

— Толик, тебе не холодно? Я платок принесу.

— Иди ты с платком! Налей лучше! А потом погреемся.

...а плечи-то широкие, красивый до чего! Ну прямо в точности Ганнибал или какой-нибудь... Юлий Цезарь.

По-французски — так уж пускай на всю катушку! Антонина встала, прошла на каблучках через всю комнату и включила телевизор. Как раз показывали концерт артистов эстрады. И черт с ним! Достала из холодильника «маленькую» и пиво.

Еще выпили, за любовь. Антонина чувствует — опьянела, закусить надо, а не лезет кусок в горло, да и все. А тут еще Майя Кристаллинская как запоет: «Я давно уж не катаюсь, только саночки вожу», ничего вроде особенного, а у Антонины слезы.

— Толечка, миленький, я для тебя что хочешь сделаю! Что скажешь, то и сделаю!

— Да не могу я с тобой расписаться, Тонька, пойми ты это, чудачка!

— Не надо мне. Зачем? Я и так для тебя — что хочешь... Я бы и стирала, и обшила, а денег — на что мне деньги, я сама зарабатываю, я бы у тебя зарплату не брала... и какой хочешь можешь приходить, хоть пьяный, хоть какой...

— Кончай реветь. Ты — баба хорошая, лучше Польки. Но расписаться — это нет.

— Толик, я когда мимо ресторана «Чайка» прохожу, где мы с тобой тогда, так всегда плачу, как ненормальная...

— Я — мужчина... Поняла? Ты — баба, а я — мужчина... И всё... Еще керосин есть, нет?

— Меня все тут за последнюю, за не знаю кого считают, что я тогда с Валериком... ты пойми, я же мать! Я ребенка своего люблю, ребенок не виноват... Но тебя я больше своей всей жизни!.. Если бы ты заболел, я бы кровь дала...

— Это лимонад? Лимонад, да?! Не могла две поллитры взять, говорил ведь: жди!.. Я мужчина... бля... с-сука! И — всё!.. Поняла?! Не распишусь. И — всё!

— Толик, ты кушай, вон огурчики солененькие...

— Отстань! Сказал — от-стань!.. И всё... Одну бутылку... Пожалела... сука... Я мужчина! Титьки развесила, корова... Я — мужчина, а ты — сука... И всё... И всё...

— Толик, если что, я сбегаю, ты успокойся, миленький! Толенька!..

— Убери руки! Руки убери! Не трогай, б....! Убью суку! Убью!!!

— Толик! Не надо! Не надо! Прошу! Вот — на коленях прошу... Толечка! О-ой! Ногами — не надо! Толечка! Толечка-а!..

— Молчи, курва! Получила?.. Вставай! Разлеглась тут... сука! На́ тебе! На́! Заткнись, убью! Заткнись!!!

Хорошо еще — в квартире никого не было, жиличка в гости ушла.

VII

А Роза Львовна собирается на свидание.

Лазаря зачем волновать, ни слова вчера ему не сказала, хватит парню и своей беды. Матери — всё парень, а ему сорок лет, возраст, кстати, для мужчины самый опасный, если уж в этом возрасте случится инфаркт, то это очень и очень плохо. Говорят, беречь надо мужчин именно сейчас, следить, чтобы укрепляли сердечную мышцу, спортом занимались, легкой атлетикой, только судьба не спрашивает, сколько кому лет.

Каждому когда-нибудь достается настоящее страдание, вот и Лелику пришла очередь. В Горьком, в эвакуации, в самые страшные годы, был счастливым — маленький, ничего не понимал, мать рядом, а отцов тогда ни у кого не было. Голодать Роза Львовна ему не давала, не допустила, устроилась на макаронную фабрику, дали рабочую карточку, а по вечерам — шила. Ведь смешно сказать: до войны ничего не умела, а заставила нужда, научилась и кроить, и шить, и вязать, даже подметки ставить.

А потом пошло легче: учился Лазарь хорошо, товарищи его любили, очень способный был мальчик и общительный. Не приняли в университет — это, конечно, был удар, но он не растерялся, поступил в технический вуз, хотя мечтал стать журналистом. Способный человек — всегда и везде способный, вот и в технике всего добился, кандидат наук, физик! Такая сама и так воспитала: не ныть, не жаловаться, что есть — есть, а чего нет — и не надо.

Любой пример: разве кто-нибудь в семье, она или Лелик, сказал одно слово, что нет у Фиры детей? Вообще никогда Лазарь не пожаловался на жену, молодец, но и Роза Львовна ни разу себе не позволила; они друг друга нашли, им и жить...

...Как она могла бросить Лазаря, чем он ей не угодил? Не рахмонес, просто выдержанный и тактичный. Не слишком красивый? В мужчине не красота главное, и пятнадцать лет назад Фира это понимала.

Любовь... Сердцу не прикажешь, и хоть этот Петухов ничем не лучше Лелика, а гораздо хуже, что тут поделаешь, когда любовь? А что у Фиры — любовь, это давно заметила Роза Львовна, видела, вся обмирая, как та ничего не ест за обедом, отвечает невпопад и точно прислушивается к чему-то, что одна она только слышит. То ни с того ни с сего вся вспыхнет, то улыбнется. А глаза! Какие у нее были глаза, боже ты мой! Роза Львовна даже подумала, что Фирочка в положении, но тогда она была бы мягче, ласковее с мужем...

Лазарь ничего не рассказал матери о том вечере, когда Фира оставила их дом. Сама Роза Львовна ушла тогда в начале разговора, не хотела мешать, может быть, неумно поступила. А потом Лелик только и сказал: «Мы с Фирой решили разойтись». «Мы». И — больше ни звука об этом, а в душу лезть — не в характере Розы Львовны, не умеет.

А другие умеют. В доме всегда все известно, сперва смотрели *такими* глазами; Антонина, на что уж распущенная женщина, и та: Розочка Львовна, Розочка Львовна, как же у вас, а? А потом зашла Наталья Ивановна Копейкина да все и выложила — про Петухова, про Израиль, про несчастную Танечку.

Фира просто сумасшедшая, что решила ехать, но можно и понять — кто решил разрушать, идет до конца, а где жить с любимым человеком, это не имеет значения, ничто не имеет значения, лишь бы вместе. Разве сама Роза Львовна после известия о гибели мужа все годы тысячу тысяч раз бессонными ночами не думала: а вдруг ошибка? Вдруг живой? Пусть калека, пусть контуженный, душевнобольной, пусть — что хочешь, только бы вернулся! Даже если попал в плен и наказан — все равно счастье, они с Леликом поедут к отцу в любую даль, хоть на Сахалин. Только вряд ли. Немцы не оставили бы в живых пленного еврея, да

и не сдался бы Моисей — такой человек, в этом Роза Львовна была уверена, тем более письмо фронтового друга... Но бывают же и ошибки!

И вот вам парадокс: теперь, через столько лет, Роза Львовна вдруг узнает, что Моисей жив, и это для нее удар! И горе, и боль, и обида. Ты его любишь, так радоваться должна, кто это молил Бога: «Пусть какой угодно, только живой»? Вот — он живой, и что же? И оказывается: лучше калека, лучше преступник, лучше... страшно сказать... мертвый. Но — мой.

Ничего не объяснишь, ничего не поймешь, так не тебе и судить других за любовь к Петухову. Хотя, наверняка, будут еще у Фиры большие страдания — такой Петухов, чего доброго, и пьяница, и антисемит. Ни в чем не нуждался, занимал большой пост, и вдруг — Израиль! Предательство, если разобраться. Он же русский человек.

...А Лелик на руках ее носил...

Обо всем этом думает Роза Львовна, рассуждает сама с собой, хочет быть справедливой, а сама между тем собирается.

Главное свидание в жизни женщины бывает иногда и в шестьдесят лет. Конечно, что там прическа или наряды, но новое демисезонное пальто, купленное в декабре, сегодня оказалось очень кстати. Март на дворе.

Роза Львовна аккуратно укладывает в сумку фотографии: Лелика принимают в пионеры, Лелик с классом в день окончания школы, а это — она сама, с Доски почета, 1950 год, молодая, с медалью... Свадебные снимки, Фира, как ангел, это — в сторону, вообще надо спрятать подальше. А его кандидатский диплом возьму, и все авторские свидетельства, восемь штук. Восемь изобретений — нешуточное дело, один даже есть заграничный патент. Вот какого сына вырастила Роза. Одна вырастила, выучила и вывела в люди.

Роза Львовна защелкивает сумку, раздувшуюся от бумаг, и все-таки идет к зеркалу. Губы надо подмазать, платок — к черту! Надену вязаную шапочку. И никто этой женщине больше пятидесяти пяти не даст! Потому что не расплылась, не опустилась. А седые волосы — это благородно, сейчас модно, даже девчонки носят седые парики.

...Почему она выбрала местом встречи Юсуповский сад? Наверное, можно догадаться: потому что последний раз в жизни они гуляли там все втроем — она, четырехлетний Лазарь и Моисей. Было это в субботу вечером, двадцать первого июня. А жили тогда рядом, на Екатерингофском. Но, конечно, когда Моисей вчера позвонил, она ничего в виду не имела, сказала первое, что в голову пришло, а пришел в голову Юсупов сад.

— Здравствуйте, Роза Львовна, говорит Кац, по вашей открытке,— начал свой телефонный разговор Моисей,— я получил открытку и решил сразу позвонить.

Голос его оказался удивительно похожим на голос сына, только акцент, а Лелик говорит чисто, как диктор.

Старалась разговаривать достойно, без волнения:

— Здравствуй, Моисей. Так как теперь выяснилось, что все эти годы ты был жив, *моему* сыну необходимо уточнить свои анкетные данные. На случай заграничной командировки.

Никакой командировки не предвиделось, особенно теперь, после истории с Фирой, но Роза Львовна продолжала:

— Раньше он писал: отец погиб на фронте, теперь же необходимо указать место жительства и работы.

— Я на пенсии,— грустно сказал Моисей.

— Тогда последнее место и должность.

— Если надо, я могу сейчас приехать,— предложил он,— адрес я знаю, выяснил в справочном...

— Поздно тебе понадобился адрес сына,— сказала Роза Львовна заранее приготовленную фразу,— приезжать незачем, у тебя своя жизнь, у нас — своя. Если ты очень хочешь, можно встретиться. Завтра. Часа в четыре. В Юсуповском саду у входа.

— Хорошо. Я приду в четыре,— покорно согласился Моисей.

На двадцать минут раньше он явился, а возможно, и больше. Роза Львовна сама почему-то оказалась около сада без четверти четыре и издали, с противоположной стороны Садовой, сразу увидела: уже стоит. С Лазарем, кроме голоса, у этого гопника ничего общего не оказалось, разве что цвет глаз, но выражение совсем другое, как у старой клячи. Какой-то маленький, худенький... Эх, Моисей, Моисей, разве так выглядел бы ты сейчас, если бы не совершил предательства к жене и сыну!

— А ты, Роза, совсем не изменилась,— сказал Моисей, когда она подошла,— все такая же, я просто поражен.

Ну что, сказать ему всё, что думаешь, что он заслуживает услышать?.. Зачем?

— Пойдем, сядем,— предложила Роза Львовна, внимательно оглядев ношенные-переношенные ботинки Моисея и его куцее пальтишко без двух пуговиц, первой и четвертой,— или, может быть, ты замерз? Так я могу пригласить тебя в кафе.

Не ответив, он по грязной, раскисшей дорожке потащился к лавочке и сел, поддернув на коленях брюки, на которых, кроме пузырей, ничего не было. Роза Львовна не торопясь достала из сумки газету, постелила и аккуратно села, чтобы не запачкать новое пальто.

— Ну, говори,— сказала она.

— Что я могу сказать? Когда я решил... я встретил ту женщину... ну, когда мы написали тебе то письмо... я подумал: так будет лучше, ты гордая, и тебе будет легче оплакать мертвого, чем узнать...— забормотал Моисей.

— Это меня не интересует: женщина, твоя ложь,— перебила его Роза Львовна,— сообщи последнее место работы и с какого года на пенсии. Адрес я знаю. Тоже нашла в справочном.

— На пенсии я с 1965 года, а работал в торговой сети.

— Должность?

— Продавцом.

— Ты же имел образование?! Специальность техника!

— Ну, так получилось. Семья...

— Можно содержать семью и при этом работать честно. Да... Значит — продавец... А я вот еще не на пенсии. Старший библиотекарь. А Лазарь — кандидат. Скоро поедет в Москву, вызвали в министерство.

Моисей молчал. Она ждала, что сейчас он начнет расспрашивать о сыне, но он молчал. И в это время вдруг начался дождь. Сразу стемнело; мелкие-мелкие капли сыпались на скамейку.

— Пойду,— угрюмо сказал Моисей и поднялся,— поезд у меня в шестнадцать пятьдесят, а еще купить надо, в Шапках с продуктами плохо.

И тут Роза Львовна не выдержала:

— Поезд у тебя? — закричала она, вскакивая.— А совесть у тебя есть? Как у сына дела, чего он добился в жизни — это тебя не интересует?

— Интересует,— буркнул Моисей, переступая своими дырявыми ботинками в луже,— ты же сказала — кандидат. И соседей спрашивал. Квартира у вас и машина. Кандидаты. В министерство! Библиотекари! «Имел специальность техника»! А — когда трое детей и жена больная?! Когда жрать нечего?! «Содержать семью и работать честно»! Спасибо за науку, гражданин начальник! Конечно, тогда я пришел нетрезвый, это безусловно. Но зачем он от меня, как от заразного? Он же сын... Вот...— грязными, негнущимися пальцами он шарил по карманам, полез в пальто, потом в пиджак,— вот, отдай, скажи: спасибо от родного отца! Он мне тогда дал, так это я долг возвращаю! Я брал в долг! — Он совал в руки изумленной Розе Львовне смятый рубль и какую-то мелочь.

— Да что ты...— говорила она, отступая,— зачем? У нас есть, мы ни в чем не нуждаемся...

— Есть — и на здоровье! — кричал Моисей.— Не нуждаетесь, и прекрасно! Мне вашего не надо, я пенсию имею, за работу! Всем, чем обеспечен!

Внезапно он выхватил у Розы Львовны сумочку, открыл ее, высыпал туда деньги, повернулся и чуть ли не бегом направился к воротам. Роза Львовна, вконец растерянная, нерешительно пошла за ним. У ворот он замедлил шаг, видно, запыхался, но продолжал уходить, не оборачиваясь.

Так они и двигались к Сенной площади друг за другом. Роза Львовна в каких-нибудь десяти шагах видела впереди старческую спину, сутулые узкие плечи,

обтянутые старым пальто, желтую сетку с какими-то кульками — откуда он ее вытащил? В кармане была, наверное, так.

Моисей не оглядывался.

Они миновали рыбный магазин, перешли Московский проспект, теперь Роза Львовна почти догнала его. Куда он? К метро, конечно. На вокзал лучше всего — на метро.

Вот и состоялось их последнее свидание...

— Моисей! — крикнула Роза Львовна,— Моисей, постой!

Крик ее неожиданно пресекся, густой зеленоватый туман застлал глаза, ноги ослабели...

— Что с вами, мамаша? — участливо спросил молодой голос, и Роза Львовна почувствовала, что ее крепко взяли под руку.— Вам плохо?

— Ничего... остановите его... гражданина,— еле выдохнула она, пытаясь поднять руку,— вон тот, пожилой, с сеткой...

— Нету там никого, мамаша, вам почудилось. Вы не нервничайте. Можете стоять?

— Я стою. Все уже проходит. Прошло. Спасибо.

Зеленая мгла рассеялась, и Роза Львовна увидела рядом встревоженное лицо в очках. Совсем мальчик, студент, наверное.

— Все прошло, вы идите, молодой человек, спасибо вам, я сама.

Она освободила руку и шагнула вперед. Моисей исчез. Народу поблизости было немного, она внимательно вгляделась — нету. У входа в метро нет, и на трамвайной остановке, и у магазина. У Розы Львовны зоркие глаза, очков не носит, не могла она ошибиться. Моисей Кац пропал, как провалился.

В последний раз Роза Львовна медленно и тщательно оглядела Сенную площадь. Что ж... Нет так нет. Сорок лет не было — и опять нету. Значит, так оно и правильно, что ни делается — всё к лучшему. Роза Львовна крепко прижала к себе сумочку и пошла на остановку.

VIII

Наконец-то подошла очередь поговорить о Семеновых. А то уж так, по правде сказать, надоели все эти драмы и трагедии, пьяная Антонина с распухшим глазом и синяками по всему телу, заплаканная Роза Львовна, молчаливый и похудевший Лазарь. Да что их всех перечислять, бумаги не хватит, а мы с вами — тоже люди, у нас и дома хватает неприятностей, и на работе, а тут еще — видали? — сел человек раз в жизни в свободное от дел, хозяйства и телевизора время почитать книжку — и опять ужасы, разводы, слезы, треугольники какие-то... И все герои, как один, или сволочи, или вовсе — моральные уроды. Как будто нет вокруг здоровых, веселых, румяных людей, спортсменов, как будто никто не едет на БАМ и КАМАЗ, будто не ходит по нашему городу умная интеллигенция с портфелями, мольбертами и творческими замыслами... И погода — всегда плохая. И в магазинах — очереди.

Всё. Передых. Расслабились.

Мы у Семеновых. Семья у них крепкая, дружная, здоровье отличное, и это не случайное везение, просто никто не пьет и не валяется по диванам с книгами, а все работают, так что болеть и ныть тут некогда. В комнате тепло и чисто, всё блестит — от пола, покрытого лаком, до мебели и окон. Сын — отличник английской школы, председатель совета отряда; глава семьи Семенов — передовик производства, портрет его висит во дворе завода. Не фотокарточка какая-нибудь, а настоящий портрет, нарисованный настоящим художником. И характеры у всех спокойные и уживчивые, с соседями никогда никаких ссор. Вот, Тютины, старики уже, Марья Сидоровна, когда ее уборка, бывает, и пыль в коридоре в углу оставит, и плиту плохо моет. Но разве ей когда слово сказали? Ни разу. Наоборот, всегда: Марья Сидоровна, я — в молочный, вам кефиру взять?

Счастливые люди редко бывают злыми, это известный, проверенный факт, а Семеновы со всех точек зрения имеют право называться счастливыми людьми.

Вот только что такое счастье?

Один не очень уважаемый человек говорил, что счастье, мол, это максимальное соответствие действительного желаемому. Если отбросить наши с ним личные счеты, то, может быть, он и прав? Все дело в том, что для кого — желаемое. Какая цель? А если не дубленка, а Коммунизм?

Но, с другой стороны, есть мнение, что цель — ничто, а движение — всё, и это уже не кто попало придумал, а какой-то классик, чуть ли не теоретик перманентной революции.

Есть еще люди, которые утверждают, что счастье — это когда нет неприятностей. Что-то в этом есть, и как-то, лежа бесплатно в больнице «25 Октября»... Ладно. А вот счастье Семеновых как раз заключается в том, что они не ищут этому состоянию никаких определений или — себе оправданий: почему, дескать, нам хорошо, когда другому, той же Розе Львовне, плохо. Вообще они не занимаются решением проблем, а просто живут. На вопросы знают ответы, знают, чего хотят и что надо сделать, чтобы их мечты стали явью. И делают дело, а не ждут, когда придет дядя или детский волшебник Хоттабыч. Поэтому я считаю, что если уж где и отдохнуть нам с вами, так только у Семеновых, где в настоящее время хозяин, сидя за столом, ест борщ. Восемь часов утра. Семенов пришел с ночной смены, сын уже в школе — сегодня сбор металлолома, а Дуся на больничном. Вот тоже повезло, всего день была температура, а врач уже неделю не выписывает, но платят сто процентов.

Чистая клеенка. Тарелка с золотым ободком. Борщ украинский с чесноком и сметаной. Свет еще горит — темно на улице.

— На Пасху буду две смены работать, в ночь и в день,— говорит Семенов, откусывая хлеб.

— Чего?

— Мастер сказал: двойной средний и к майским премию выпишет. А может, и живыми деньгами. Четвертной. Никто не хочет выходить, все верующими заделались.

— Еще не скоро Пасха...

— Доживем. Парню, если перейдет с пятерками, велосипед надо покупать, обещались... Ты небось тоже пойдешь куличи святить?

— Пойду. А что мы, не люди?

— Верующая, значит?

— Ладно тебе.

— Если богомольная, то где твоя икона?

— С ума сошел! Сын же у нас. Пионер! Ребята из класса придут, потом Майе Сергеевне скажут — у ихнего председателя дома религиозная пропаганда.

— Ишь ты, «пропаганда»! Пошутил я. И куда их нам, эти иконы, всю комнату портить. Только тогда скажи другое: как вам Христос велел? «Не воруй»?

— Не укради.

— А из чего ты пододеяльник вчера строчила?

— Ой, да отвяжись ты с глупостями!

— Нет, а все же: купила бязь на свои или все-таки с завода приволокла?

— Это не воровство. Воровство — это если у людей, а я со склада. Там этой бязи знаешь сколько валяется? Девятый год работаю, все валяется, скоро в утиль спишут. Не я возьму, другие в два раза больше утащат. Не обеднеет твое государство, все берут — ничего. Хоть ваш начальник цеха, а хоть и замдиректора.

— По-твоему, честно?

— А на улице если нашел, поднять — честно? Да хватит тебе болтать лишь бы что! Не на собрании. Доедай и ложись, я уж постелилась. Разговорился тут, депутат!

— Дуська, не нервничай, я так. Тебя дразню. Борщ вкусный, будь здоров! Хорошо, когда жена дома.

— Ясное дело, гулять — не работать! Ой, чуть не забыла! Эти-то в Израйль собрались.

— Кто?!

— Лазаря жена с Петуховым, ну, с начальником-то. Чего делаешь квадратные глаза? К Петухову она ушла, уезжают в Израйль.

— Ну?!

— Вот и «ну». Татьяна в нервную больницу попала.

— Ну, дают. Не ожидал от Петухова. Все было: машина казенная, по заграницам бесплатно ездил. У кого все есть, всегда мало.
— Я вот думаю, а может, он еврей? Похож.
— Ладно, Евдокия, я спать пошел. Хрен с ними со всеми, нас, слава богу, не касается, я с этим Петуховым и знаком, считай, не был — «здрасьте — до свиданья».
И верно, прав Семенов, не касается. И пусть он спит, слесарь шестого разряда, золотые руки, ударник труда. Он не после гулянки спит, а после смены.
А мы посидим еще немного около батареи парового отопления, неделю назад выкрашенной масляной краской в голубой цвет. Молча посидим, чтоб не мешать, только отодвинем жесткую, накрахмаленную занавеску и увидим, что за окном среди темного осевшего снега раскинули ветки мокрые деревья.
Тает, со вчерашнего дня тает, с крыш вода течет и капли стучат по железному карнизу.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Праздник

I

Если в первомайский день посмотреть с вертолета, праздничная площадь похожа на лохань, в которой стирают белье. Колышется, плывет многоцветная пена, лопаются в воздухе пузыри воздушных шаров, ручьями стекает в улицы толпа, устало опустив свернутые, отслужившие знамена и тяжелые портреты.
Если же посмотреть с вертолета на Марсово поле — это тоже очень внушительное зрелище: точно факелы, поднялись над ним обернутые красными полотнищами фонари, расставленные какими-то особыми геометрическими фигурами, только с высоты различимыми и понятными. А в самом центре днем и ночью вечным пламенем полыхает желтый костер.
Красные флаги хлопочут на ветру вдоль решетки Кировского моста, красные флаги свисают со стен домов, красные флаги в руках тысяч людей, заполнивших в это праздничное утро улицы, набережные, переулки и скверы. Красные улицы, красные набережные, красные переулки и скверы. Красный город, если смотреть с вертолета.
И красные повязки на рукавах румяных дружинников, спорящих с женщиной в несвежем белом халате около белой машины с красным крестом во лбу.
— Проезд закрыт. Прохода нет, нельзя здесь,— устало повторяет и повторяет один из дружинников, главный; не в первый раз произносит он эти слова, и давно бы надо гаркнуть, но он говорит так тихо только потому, что — воспитанный человек, не может грубить пожилой женщине, да и неохота портить настроение в такой день. Но, наверное, тоже не в первый, похоже, в десятый раз твердит свое бестолковая и настырная докторша, талдычит охрипшим сломанным голосом:
— Там возможен инфаркт, вы что, не слышите?! Там инфаркт, понимаете, нет?
— Проезд закрыт,— из последних сил говорит дружинник, даже и теперь не повышая голоса.— Видите, грузовики? Ваша машина просто не пройдет, что я могу сделать?
Грузовики стоят сомкнутым жестоким строем, перегородив улицу. Врачиха замолкает — дошло наконец. Секунду она бессмысленно топчется, уставившись на широкий неумолимый зад грузовика, потом мрачно лезет в свою машину и громко хлопает дверцей. Взревывает мотор, и, медленно развернувшись, «скорая» уезжает искать объезд.
А на Марсовом поле уже толпа — флаги, портреты, шары,— хлынула демонстрация.

II

Приглашение на трибуну Петру Васильевичу Тютину прислал Совет ветеранов. Помнят черти, ценят, уважают старого солдата, опять, смотрите,— *солдата*, не мастера, тем более не пенсионера, а именно солдата!
Получив пригласительный билет, старик долго ходил с ним по квартире, показал жене и Дусе Семеновой, потом пошел во двор, тоже показал кое-кому, а еще позвонил на работу Анне и торжественно объявил, что берет с собой на площадь обоих внуков, Тимофея и Даниила. Дочь, однако, сказала, что долгосрочный прогноз обещал холодную погоду и осадки, а мальчики оба кашляют, пусть лучше посидят дома. Ну что ты скажешь! Обычная женская глупость, как будто не ясно — для любого мальчишки пойти с дедом-фронтовиком на трибуну в сто раз полезнее любых горчичников с микстурами! Петр Васильевич крякнул, выгреб из кармана груду двухкопеечных и принялся названивать друзьям: поздравлял с наступающим, спрашивал, как в части здоровья, встретимся ли на День Победы, а в конце между прочим сообщал, что вот, хочешь — не хочешь, а Первого мая придется идти на трибуну. Совет ветеранов требует, билет на дом принесли, так что болен — здоров, никого не касается, будь любезен явиться в 10.00 и принимать парад трудящихся, товарищ Тютин.

В день праздника с утра хлестал дождь, ползли по небу мордастые и злобные тучи, похожие на армии Антанты со старого плаката, и в груди жало, в силу чего Петр Васильевич тайком от жены принял нитроглицерин.
Марья Сидоровна несколько раз с тревогой поглядывала на мужа, но сказать ему, чтоб остался дома, не смела, да и правильно: что без толку раздражать старика?
До Дворцовой Тютин добрался быстро и хорошо, дождь как раз попритих, по звенящим от репродукторов улицам бежали опаздывающие на демонстрацию, многие, конечно, уже хвативши, нехорошо вообще-то — с утра, да у кого язык повернется осудить — такой день! Еще во дворе Петр Васильевич столкнулся с Анатолием. Тот был в сбитой на затылок кожаной шляпе, в расстегнутой нейлоновой куртке, с распахнутым воротом белой рубахи.
— С праздничком, Петр Василич! — рявкнул Анатолий, и на Тютина понесло сивухой.
— Тебя также,— сдержанно отозвался Петр Васильевич. Анатолий ему не нравился.
— Демонстрировать идете? — не отставал тот.— А и я тоже. Знамя до Дворцовой понесу, у нас за знамя два отгула обещали.
— Постеснялся бы ты, Анатолий! — все же не выдержал Тютин.— Кто это у вас придумал такой цинизм? Вот напишу в райком. И ты — хорош! Это же честь — нести заводское знамя!
— Не смеши человека в нерабочий день, папуля! «Честь»! Это все словечки из до нашей эры. Вы уж их забирайте с собой на заслуженный отдых, а нам давай деньгами.
Тютин больше не стал разговаривать с дураком, ушел, но настроение все-таки подпортил паршивец, и сердце опять засосало. Как у них все просто, черт его знает! Такой за целковый будет тебе крест вокруг церкви на Пасху таскать, ничем не побрезгует, лишь бы платили, беспринципность полная. Это поколение такое — горя не знали. Черт с ним, паршивая овца, хороших людей у нас намного больше.

...Что там ни говори, а приятно стоять на трибуне среди заслуженных людей, почти рядом с руководителями города, приветствовать — руку к шляпе — проходящие мимо мокрые, но все равно веселые, гулкие колонны. Демонстрация только еще вступила на площадь.
— Слава советским женщинам!
— Ур-р-а-а!
Это уж верно, слава, сколько они на своих плечах вытащили, наши бабенки,

и до сих пор тащат. А вон идут — нарядные, красивые, точно не они — и у станков, и на машинах, и в поле. Нету в мире красивей наших женщин, знаю, Европу прошел, повидал. Нету!

— Слава советской науке!

...и в космосе мы первые, Саяно-Шушенскую, вон, сдаем...

— Ур-а-а-а! — ревет площадь.

Что-то в груди как будто стало тесно, как будто сердце там не помещается, жмет на ребра, подпирает под горло. Петр Васильевич вынул нитроглицерин, пальцы плохо слушались, и уже чувствовал — надо уходить, быстрее уходить, не хватало еще грохнуться тут в обморок, чтобы сказали: наприглашают на трибуну старья, а они и стоять уже не могут... И в глазах смутно... наверное, упало атмосферное давление, для гипертоников — последнее дело. Торопясь, стараясь не думать про тупую боль в груди, не думать про нее и не бояться, Тютин спустился с трибуны и пошел к выходу, к улице Халтурина.

Боль в груди, однако, не утихала, она была другой, не такой, как обычно, была незнакомой и грозной, росла. Но сейчас-то не страшно, вон уже и Марсово поле, добраться бы как-нибудь до Литейного, а там автобусы, да и машину какую-нибудь можно остановить... только бы домой, скорее бы домой... темнеет, дождь, что ли, опять собирается, воздух, как мокрая вата, дышишь, дышишь, а все без толку...

Боль сделалась громадной, ослепительной. И захлестнула весь город.

На Марсовом поле веселье. Докатилась сюда исторгнутая площадью людская масса, повсюду — на скамейках, на дорожках, на газонах — обрывки расчлененной толпы. Прямо на мокрой земле, на только что продравшейся траве расстелен кумачовый плакат. Вдоль белой надписи «Мир и социализм неразделимы» — батарея пивных бутылок, две «маленькие», груда пирожков, бутерброды с сыром.

— С праздником, старики!

— Будьте здоровы!

Подняты бумажные стаканчики и сдвинуты.

— Ура, ребята. Вздрогнули.

— Глядите, дед-то как накирялся. Вон, на скамейке. Лежит как труп. Когда успел?

— Долго ли умеючи.

— Умеючи-то долго!

— Ну ты, Валера, даешь! Специалист... Не шевелится. А вдруг ему плохо?

— Ага. Сейчас. Ему-то как раз хорошо.

— Пойти поглядеть...

— Иди, иди, Галочка, протрясись, человек человеку друг, товарищ и волк.

— Гражданин! Гражданин!.. Пальто расстегнул, как будто лето. А медалей сколько, и ордена... Гражданин! Эй!.. Колька! Колька! Валерка! Ребята, надо «скорую»! Валерка!..

III

...Совсем уже синее, пронзительно яркое небо над Марсовым полем. Из кустов, из-за голых веток сумрачно и с обидой глядит розовощекий, нарисованный на фанере портретный лик. Косой пробор в гладких волосах, темный пиджак, звездочка на груди. И у Петра Васильевича на груди — тоже звездочка, орден Красной Звезды, приколол по случаю праздника.

Смотрит из кустов брошенный кем-то приколоченный к палке портрет. Смотрят в празднично-синее небо застывшие глаза ветерана Тютина. И уже не видят, как далеко в космической вышине пролетают над городом и лопаются радужные пузыри детских воздушных шаров.

IV

Наталья Ивановна Копейкина на демонстрацию не ходила. В семь часов утра сорвался с цепи будильник, долго радостно трещал, но иссяк. За окном лило, кричали мокрые репродукторы, и она подумала, что в праздник человеку должно быть хорошо, а это — когда живешь как хочешь. И, виновато посмотрев на поджавший губы будильник, она повернулась к стене и с головой залезла под одеяло.

Оттого, что все должны вставать и тащиться куда-то по дождю, а она лежит себе в теплой постели, как королева, Наталье Ивановне сделалось совсем уютно, и она заснула под марши, несущиеся из-за окна.

В пол-одиннадцатого, открыв глаза, подумала, что — хорошо, чисто, вчера полы натерла, в серванте посуда блестит. И пирог. А впереди целый день, который можно провести как хочешь. Потом вспомнила, что позавчера было письмо от сына, он здоров, работает механиком. Может, и станет еще человеком? Правда, Людмила последнее время стала редко заходить, как бы не любовь у нее, как же тогда Олег?

Не спеша, Наталья Ивановна попила чаю с пирогом, оделась и пошла гулять. Потому что, сколько она себя помнила взрослой, никогда не ходила просто так, без дела, по улицам. Гуляла в садике с маленьким сыном, а как вырос, только: купить, отнести, к врачу, на родительское собрание, на работу, с работы, на работу, с работы... Эту зиму, правда, грех жаловаться, Людмила где не таскала — и в музеи, и в Музкомедию, и в Пушкин, в лицей. Но это все равно были дела для повышения культуры, тоже заботы: прийти, что положено — увидеть и запомнить, сколько положено — отбыть. Нет. Сегодня она пойдет одна, куда захочет.

— С праздником, Марья Сидоровна! Здоровья и долгих лет жизни! Петру Васильевичу тоже.

— Спасибо, Наташенька, тебя также. А Петр Васильевич на трибуну пошел, рукой махать. Не слышала по радио: кончилась демонстрация?

— Еще идет. Рано ведь.

...Наверное, сегодня весь город на улицах, идут, взявшись под руки, по трое, а то и по пятеро... Почему так: человеку хорошо, когда можно делать что хочешь, а делать что хочешь можно только, если ты один?.. Много все же у нас одиноких женщин, и сразу их узнаешь — семейная идет и по сторонам не смотрит, а вот те, три, здоровые, на всех мужчин заглядывают, улыбки, как ненастоящие, и лица незамужние... Смешные бабы, вцепились друг в друга, как три богатыря с той картины, самая полная — Илья Муромец... Нет, все-таки обязательно надо иногда походить одной...

Мимо старухи, торгующей «раскидаями», мимо пьяненького инвалида со связкой дряблых воздушных шаров Наталья Ивановна подошла к лотку и купила себе шоколадный батончик за тридцать три копейки, с коричневой начинкой. Давно она не ела шоколада, ну как это — ни с того ни с сего взять да и купить себе шоколад?.. А народу на улице все больше, наверное, кончилась уже демонстрация.

...Господи, что это? Крик. Да страшный какой, точно кого убивают.

У входа в гастроном толпа. И, ударяясь о стены, о лица, мечется ржавый, хриплый, отчаянный женский крик. Драка.

— Чего они?

— А пьяные...

— Милицию надо, вечно их нет, когда что...

— Побежали за милицией.

Наклонив вспотевшие лбы, набычив шеи, они наступают друг на друга. Медленно, как в кино. Наталья Ивановна, конечно уж, протиснулась в первый ряд. В руках — это ж с ума сойти! — знамена. Наперевес, как ружья. Блестят на солнце медные острые наконечники, похожие на школьные перышки № 86, теперь такими не пишут, теперь авторучками...

— Стойте! Ребята, стойте!

Наталья Ивановна вцепилась в рукав одному из дерущихся, тащит:

— Брось! Слышишь? Брось! С ума сошел?

— Отойди... с-сука... сука... убью! Уй-ди!

...Батюшки! Толька! Зверюга пьяная...

— Сука!

Здорово бы Наталья Ивановна расшиблась об асфальт, да воткнулась в толпу, подхватили.

— Ах ты, гад! Ну, погоди же...

— Куда вы, женщина, обалдели?! Такой зарежет и не охнет!

— Две собаки дерутся, третья не приставай!

Вот идиот какой, еще в очках! Вцепился в рукав и не выпускает.

— Пусти! Твое какое дело? Пусти, говорю! Чего пристал, очкарик, тоже мне еще!..

— Женщина, вы что, выпили?

— А ты чего лезешь?! Сам пьяный, дурак чертов! Пусти, сволочь, как дам вот по очкам...

А Анатолий и тот, второй, поменьше, точно сигнал получили, кинулись, матерятся, целят друг в друга своими копьями.

И опять кричит от страха, визжит в толпе какая-то женщина.

Два наконечника — перышки. Два древка. Две пары побелевших от напряжения рук. Да где же эта милиция?!

А из серебристого репродуктора над головами толпы вдруг посыпался вальс. Точно летний, грибной, солнечный дождь. Зазвенел, заглушая крики, а дерущиеся всё ближе друг к другу, лица всё темнее, у́же глаза...

— Гражданка, прекратите хулиганить! Хотите, чтобы и вас укокошили?

— Пусти, идиот!!!

— Совсем одурела, чего руки распускаешь? По очкам?! Дружинников надо! Тут баба пьяная дерется!

...Вырвавшись, выставив вперед руки с растопыренными пальцами, раздирая толпу, вслепую, по чьим-то ногам Наталья Ивановна уходит прочь. Скорее отсюда, скорее домой... домой!

А сзади музыка, рояль... И — вопль! Это уже не женщина кричит. Скорее, скорее, наступая на бумажные цветы, на мертвые комочки лопнувших шариков... скорее... только подальше от этой толпы, от того места, где, наверное, стекает на шершавый асфальт густая красная кровь.

Вечер. Зажглись над накрытыми столами, над белыми скатертями праздничные теплые огни, свет во всех окнах. С праздником!

— С праздником!

— С праздничком!

— С праздником!

— Ах, дед у нас. Вот дед, безобразник! Все собрались давно, все его ждут: и дочь, и внуки Тимофей и Даниил. А он... Отправился, не иначе, к своему дружку Самохину, встретил небось на трибуне. Ну, я ему...

— Да ладно тебе, мама, придет. Не трогай старика, пусть гуляет, ветеран.

...Ярко горят разноцветные фонарики, высвечивают контуры военных кораблей.

— Линкор. Вот, самый большой — это линкор. Видишь, Славик?

— Да ты чего, папа! Не линкор, а ракетоносец, линкоров сейчас не строят.

— Дожили: яйца курицу... Слышишь, Дуся?

— Ну, это надо же, какие дети стали, больше нас разбираются!

— Лелик, ну что ты — как пришибленный? «Плечи вниз, дугою ноги и как будто стоя спит». Никакой выправки. Пошел бы куда-нибудь, к товарищам. Ведь ты же совсем еще молодой человек, а киснешь в праздник около телевизора. Надо быть мужественнее, мальчик, я вот — одна тебя растила, сколько перенесла, а духом никогда не падала. Ты, наоборот, докажи, что ты сильный...

— Хорошо, мама, сейчас я докажу. Хочешь, подниму тебя вместе со стулом?

— Все твои хохмы! Лучше подойди к окну, посмотри, какая красота.

...И верно: красота. Багровое зарево огней полыхает над городом, разливается по светлому весеннему небу.

Грохочет салют, рассыпаются над Невой ракеты.

— Ой, как здорово! Раньше я внимания не обращала. Саш, я не знаю, мы там с ума сойдем, такого второго города нет!

— Лирика, Фирочка. Салют — зрелище довольно варварское, особенно в сочетании с пьяной толпой приматов. Уверяю тебя: карнавал в Венеции ничуть не хуже.

— Я понимаю... но все же, если знаешь, что ни-ко-гда...

— ...Ур-ра-а!!! — кричит набережная.

— Вот сейчас они кричат «ура», а завтра им велят кричать «бей жидов», и они, все как один...

— Саша, ты прав! Ты всегда прав, а я сентиментальная, глупая дура.

— А то еще не поздно, можешь вернуться к своему патриоту Лелику, к его маме и «Жигулям»...

— Не надо, Саша. Давай лучше посидим, вон скамеечка. Как тут мрачно, фонари в каких-то красных саванах.

— В саванах — это точно. А что же, Марсово поле — это ведь, если разобраться, кладбище.

— Ой!

— Ну что «ой»? Обыкновенный портрет. Кому-то из трудящихся было лень нести — и бросил.

Еще залп. И ракеты. И — снова залп.

— Ур-а-а-а! — несется над домами.

— Ура-а-а-а! — со звоном встречаются над столами, ударяются друг о друга рюмки, бокалы, стаканы, жестяные кружки.

Праздник. Хорошо, когда праздник. Весело людям — и слава Богу. Ура.

ЭПИЛОГ

Что ждет нас там, куда мы попадем, когда все наши дела здесь кончатся? Никто ни разу не дал окончательного ответа на этот вечный вопрос. Мог бы теперь, в качестве очевидца, ответить на него Петр Васильевич Тютин, но молчит. Не потому ли молчит, что знает такое, чего живым знать раньше времени не положено? И не потому ли, не затем ли, чтоб поставить на место тех, кому постоянно не терпится, всегда так надменно-загадочны отрешенные лица мертвых?

Чужой и строгий лежит, сложив на груди руки, Петр Васильевич. Одет он в старый свой синий костюм — все-таки по его получилось, серый оказался весь в масляной краске.

Пахнут новогодним праздником венки из еловых веток, пахнут летом, сырым тенистым оврагом букетики ландышей. Похоронный автобус движется сквозь дождливый полдень, капли стекают по запотевшим изнутри стеклам, молча сидят провожающие — родственники и близкие соседи.

Фронтовики поехали в другом, обычном автобусе, и правильно поступили. Старые все люди, для каждого похороны друга — репетиция, пусть себе едут отдельно и даже разговаривают на посторонние темы, пускай, успеют еще...

Марья Сидоровна молчит, вздрагивая от толчков, на переднем сиденье. Дочь, распухшая от плача так, что и не узнать, обнимает ее за плечи, вдоль стен неудобно выпрямились Роза Львовна, Лазарь Моисеевич, Семенов — вот кто помог с организацией похорон, золотой мужик! — Дуся, Наталья Ивановна. Антонины нет, сама не своя с того дня, как забрали Анатолия, ничего не понимает, никого не слушает, бегает где-то целыми днями, говорят, нашла ему какого-то особенного адвоката. Роза Львовна ее уговаривала: таких бандитов, Тоня, надо, извините, расстреливать на месте, он же человека инвалидом сделал, а мог и убить.

Куда! Наберет продуктов — и в «Кресты», а подследственным передачи не положены, вот и тащит со слезами обратно, а назавтра — опять. Похудела, глаза, как фонари, живот уже торчит — на пятом месяце, о чем только такие бабы

думают! Второго хочет рожать, и снова без отца, а самой сорок с лишком. Подумала бы лучше о Валерке, мальчишка хилый, слабенький, как картофельный росток, а она убивается по этому бандюге, сына от него, видите ли, ждет.

Зато Полине, той хоть бы что. Так, говорит, паразиту и надо. Осудят, возьму развод, отмечу заразу на хрен к такой-то матери! Пьяная всегда, ему, Анатолию, самая пара.

Ехать еще далеко — по Садовой, по Стачкам, к Красненькому кладбищу, где с большим трудом — фронтовые друзья в больших чинах хлопотали — удалось добиться разрешения похоронить. В могилу к отцу, скончавшемуся сорок с лишним лет назад, положат теперь Петра Тютина, это называется «подхоранивать», но пока выколотишь нужные бумаги, все ноги сносишь.

Марья Сидоровна не плачет, отплакалась. Да еще утром дочка дала выпить какую-то таблетку, от которой все внутри задеревенело, и руки как чужие, и мысли в голове как не свои. Что-то силится вспомнить вдова Тютина, а никак не может, что-то важное, неотложное, долг будто какой.

Мелькают за дождем дома, трамваи, чужие люди едут в них, небось многие еще недовольны: что за черт, приходится в такую погоду куда-то тащиться. Не понимают, какие они счастливые, раз не пришел пока к ним день, когда и они поедут в таком вот автобусе — провожать...

Не отстает, мучает Марью Сидоровну тень какой-то мысли, треть пути проехали, а она все не вспомнит, что же это такое. Вот и Сенная площадь, автобусный вокзал, отсюда они с Петром прошлое лето ездили в Волосово... А вон метро, а была когда-то церковь... Церковь Успения Богородицы... И вдруг поплыло в глазах, разъехалось, стало мутным, грязно-зеленым, черным...

...Да где ж это она? Так спокойно, тихо, не хочу просыпаться, не трогайте, что они будят, трясут за плечо?..

Не хотелось Марье Сидоровне возвращаться, остаться бы там — в темноте и покое, где нет похоронного автобуса, нет тяжелого запаха вянущих ландышей, нет гроба... а это ведь вовсе не он лежит, не он, вчера кричала, звала, по всякому упрашивала — не отозвался.

...Но пришлось ей вернуться, заставили. Лили в рот какое-то лекарство, плакала дочь, говорила что-то про внуков, Наталья Ивановна растирала руки.

...Автобус остановился перед светофором.

И тут зеленая мгла совсем рассеялась, ясно стало в памяти, и Марья Сидоровна строго и громко сказала:

— Надо петь. Он велел: у гроба — чтоб песня была.

— Мамочка, успокойся, мамочка, не надо...— запричитала дочь и полезла с каким-то пузырьком.

— Молчи,— Марья Сидоровна отвела ее руку,— я не с ума сошла, я тебе говорю — он велел. И надо выполнить. Больше никогда ни о чем не попросит, сказал, чтоб была песня, военная, потому что — солдат.

— Мамочка,— опять попробовала дочь,— как же, на похоронах — и петь?!

— Дикость! — ужаснулась Дуся Семенова.

— А когда живой человек умирает — не дикость?! — закричала Марья Сидоровна.

— Ладно,— решил Семенов,— чего спорить, когда покойный сам распорядился. Какую петь?

— Солдатскую,— стояла на своем Марья Сидоровна.

Все молчали. Роза Львовна смотрела в окно, точно происходящее ее не касается, да и не знала она подходящих песен. Лазарь во время войны был маленьким, а на действительной не служил, тоже не знал. Наталья Ивановна, посматривая на вдову, вытирала слезы — пожилой человек, а до чего додумалась... Дуся только покачала головой, пожала плечами и отодвинулась к спинке сиденья.

— «Землянку», что ли? — предложил Семенов, но жена гневно взглянула на него, и он замолчал. Замолчал и виновато посмотрел на Марью Сидоровну, сперва виновато, а потом даже испуганно, потому что она опять побледнела, глаза громадные, губы трясутся.

— Марья Сидоровна, вы не волнуйтесь... а ты, Евдокия, помолчи,— решается Семенов.— Сейчас, Марья Сидоровна. Сообразим.

. . . .

Письма добрые очень мне нужны,
я их выучу наизусть,
через две зимы, через две весны
отслужу, как надо, и вернусь...

Молодец Семенов, хорошо поет, ему бы в театре выступать!

...Через две, через две зимы,
через две, через две весны,
отслужу, отслужу, как надо, и вернусь...

Ох, если бы так! Пусть — не через две, пусть через пять, хоть через десять зим, только бы вернулся живой! Пусть раненый, больной, виноватый, пусть старый и беспомощный, а — живой!

Вы ведь тоже это понимаете, правда, Роза Львовна? И вы, Наталья Ивановна, потому что сын ваш сейчас далеко, кто знает, как он там, и ничего вам не надо — пусть плохой сын, эгоист, пусть грубый, пусть даже хулиган и бездельник, а пусть вернется, пусть вернется!

Ну а вы, вы-то что сцепили зубы, Лазарь Моисеевич? Песня наша не нравится или переживаете? Чего вам переживать? Отца вы знать не знали, а ее, глупую, разлюбившую, ту, что даже сына вам родить не удосужилась, стоит ли жалеть? Да, не стоит. Да, глупая. Разлюбила, променяла на подонка, карьериста, на беспринципную сволочь, потеряла рассудок, не видит, что не она вовсе нужна Петухову, а виза в Израиль, а останься он тут, на своем руководящем посту, он на нее, на евреечку, и плюнуть бы побрезговал. Дура сумасшедшая, но... пусть вернется!

Пусть они все вернутся, все, кого мы потеряли по собственной вине, по легкомыслию, слепоте, трусости или равнодушию, кого не захотели вовремя понять, не сумели защитить, простить, не смогли удержать, и вот уже подхватила их и, крутя, всосала черная воронка — прошлое.

Сколько таких «черных дыр» на пути, пройденном каждым из нас? Они не зарастают травой, их не заносит песком, не засыпает снегом, они не заживают, становясь рубцами. А между тем и старость недалеко. Все быстрее проходят долгие зимы и мелькают короткие весны, все чаще и длиннее бессонные ночи. Скоро будет поздно.

Пусть они вернутся, мы ждем, мы не забыли и уже никогда не сумеем забыть их. Пусть вернутся!

Анна плачет, ревет в голос, Дуся скупо и вороватенько крестится, с опаской поглядывая на мужа, а Семенов — тот вовсю разошелся. Голос у него громкий, он везде хорошо споет, хоть на сцене, хоть в строю. И Наталья Ивановна подпевает, выводит тоненько и чисто, с переливами.

Застыла с сухими глазами вдова Марья Сидоровна Тютина. Нет, не может быть того, чтобы так все и кончилось — этим гробом и дождем за окнами. Ведь не для холодного глухого мертвеца, чужого и молчаливо-враждебного, поют сейчас Семенов с Натальей. *Он* их не слышит. А Петр Васильевич Тютин обязательно слышит.

Марья Сидоровна не плакала. Теперь она наверняка знала: в этом страшном ящике Петра нет.

Проехали Сенную площадь.

...Сколько жить-то осталось? Ну, год еще, ну — два... Через две зимы... Ничего, она подождет, потерпит, в войну больше ждали. Ничего... А пока все правильно. Так он хотел. Так велел. Все сделала. Выполнила.

«...через две, через две весны...»

1977

Нина Королёва

МОЙ ОТЕЦ

Мой отец собирался жить долго.
Мой отец собирался жить счастливо.
Он завел троих детей (третий — мальчик)
И над красною рекой дом построил.
Он был врач и всю жизнь горожанин.
Но хотел, чтобы мы любили землю.
Потому он решил купить корову,
Чтоб ходила за ней теща-казачка.

Как дышала та корова боками!
Как звенело молоко о ведерко!
Всю войну потом, в голодные годы
Вспоминали мы веселые струйки
И под ними пузыристую пену.

А в роду отца все были врачами.
Он хотел, чтобы я росла хирургом,
И водил меня с собою в больницу:
Пусть привыкнет к операционной.
И когда бабка резала куриц,
Я следила за ножом с интересом.

А потом пришла война, сорок первый.
Я запомнила отца в синей форме
И фуражке с серебряным «крабом».
Он уехал на остров Осмуссаару,
На чужое Балтийское море,
И прислал фотографию маме:
«Клавочке от усача-мужа».

Вот он: врач на морской батарее.
Рядом с ним лихие вояки.
За плечами у них винтовки,
А глаза озорно смеются,
Точно все игра, а не вправду.
Не стреляли еще фашисты,
Не пришел декабрь, месяц смерти.

А потом — началось, помчалось,
Загремело, загрохотало.
Батарея ушла на Ханко,
Но и там пробыла недолго.
...Раненых грузили под вечер
Под обстрелом, с мокрого пирса,
На буксирный маленький кораблик,
А с него на военный транспорт,
На корабль ВТ-508
Под названьем «Иосиф Сталин».
И командовал той погрузкой
Мой отец, хирург Осмуссаары.
А еще грузили солдаты
Под обстрелом в черные трюмы
Всю муку из военных складов.

Поздней ночью, декабрьской ночью
В минном поле, в открытом море
Взрыв раздался около борта,—
Первый взрыв, а за ним другие.
И корабль слегка накренился,
А потом повалился набок.
И помчало его теченье

В минном поле, в открытом море...
В темноте подошел к ним катер.
Покачался, с трудом причалив
К накрененной груде металла,
И ушел к родному Кронштадту,
Не забрав и трети «ходячих».
И кричали вслед ему люди,
Обезумев, прыгали с борта
И тонули в черной пучине.
А кругом грохотали взрывы.

Выносили раненых сестры
С поля боя, с покатых палуб,
И спускали раненых сестры
По отвесным трапам в каюты.
И врачи надели халаты.
И хватало у них работы
В накрененных операционных.

Мой отец вынимал осколки
И накладывал швы на раны
При свечах. А вода в каюты
Между тем быстрей прибывала,
И уже леденила ноги,
И уже дошла до коленей.

Через месяц мы получили
В ярославской деревне Поповка
Извещенье, что смертью храбрых
Пал отец на Балтийском море.
Много раз за сорок лет мира
Собирались защитники Ханко.
По-военному, как команды,
Говорили с трибуны речи,
И читал стихи о погибших
Михаил Александрович Дудин.
Поднимали в буфете тосты
За погибших и за живущих
И отца порой поминали
Как героя и коммуниста.

Но однажды после победы
Нам пришло письмо-треугольник
В ленинградскую коммуналку.
Адрес был написан коряво,
Карандашными кривулями:
«Ошкадерову Валерьяну Ивановичу».
«Здравствуй, друг Валерьян Иваныч!
Пишет Гриша, твой бывший фельдшер.
Помнишь, как мы с тобой бежали,
Помнишь, как глушили спиртягу,
Помнишь, как мы с тобой растерялись
Возле Кракова, после боя?»

Мать моя не искала Гришу.
Мать моя сожгла треугольник.
Не положено было пенсий
Детям воинов, в плен попавших,
А детей у нее было трое,
И кормить нас ей было нечем.
Двое выросли, третий умер...
Было ей, вдове, двадцать восемь,
И она не верила в чудо.

Было так: ВТ-508
Не погиб декабрьскою ночью.
До рассвета его качало
На волнах Балтийского моря,
Но мешки с мукой в черном трюме,
Намокая и тяжелея,
Утонуть ему не давали.
И сносило его теченье
Прямо к немцам, к городу Таллинн.

Двое суток с мертвого борта
По врагам стреляли живые,
Прижимая ко льду винтовки
Обмороженными руками.
А потом они оказались
На земле, в фашистском застенке,—
Моряки, солдаты, балтийцы,
Расстрелявшие все патроны.

Вот об этих людях отважных
На собраньях не говорили.
Их фамилий не называли.
Им ни памяти, и ни славы,
И ни почести, и ни чести,—
Потому что знали мы с детства:
Коммунисты в плен не сдаются.
У России нет военнопленных,
В плен идут изменники и трусы.

Мой отец никогда не был трусом.
Был врачом. И был коммунистом.
Военврач третьего ранга,
Он сошел с корабля на берег
За последним раненым лежачим,
А носилки выносили немцы.

Октябрь 1975 г.

Нина Валериановна Королева — поэт и литературовед. Публикуется с 1948 года. Первая книга стихов — «Хвойный дождь» — увидела свет в 1960 году. В настоящее время в качестве ведущего научного сотрудника Института мировой литературы АН СССР руководит подготовкой академического издания А. А. Ахматовой. Живет в Москве.

Александр Солженицын

Март семнадцатого

Роман

603

Разгоралась по Петербургу буржуазная травля «Правды» — что большевики все прослоены провокаторами и ещё неизвестно чьими агентами. А в самой «Правде», между тем, сильно поменялось, Шляпников и разобрать не успел: он радушно просил приезжих сибирцев писать в «Правду» — они и написали. Вклинили в газету каждый по статье — и сразу нарушили её установку: потребовали поставить свои подписи. До сих пор всё печаталось без фамилий — разве важно, кто именно пишет?— без фамилий статьи и вся «Правда» приобретали грозную беспрекословность, как будто катится беспощадный каток революции: только так! и разбегайся, раздавим! А подписи — сразу делали газету трибуной частных мнений, которые и оспаривать не запрещено. Ольминский как старый газетчик — ставь и его фамилию. И Бонч полез за сибирцами — ставь и его.

Ну, Сталин ничего вздорного не написал и никаких претензий не выпячивал, вся статья его была — укреплять Советы. (Хотя: почему Советы, а не свою отдельную партию?)

И Муранов, в позиции защитника «Правды» от травли, говорил в общем правильные вещи: не верить подобревшим фабрикантам, не верить генералам, служившим трону. Но вся статья была не для этого, а: пролетариат знает, под чьим контролем «Правда» издавалась, издаётся и будет издаваться,— правдистов, членов Государственной Думы, и всех пятерых по именам, себя тоже. Позвали гостем — а он уже и ноги на стол. И дальше совсем с потолка: хотя все помнили, хотя большевицкая думская фракция была сослана за антивоенную позицию, Муранов писал теперь вполне бессовестно: «они пошли в ссылку за то, что в самом начале войны провозгласили революционную борьбу за свержение старого строя и за демократическую республику». После совершившейся революции это, конечно, неплохо звучало.

И этого Муранова фотографию в арестантском халате сам же Шляпников и распространял по Петербургу.

Такого напроломного манёвра, без прямого товарищеского объяснения или предложения, таких приёмов Шляпников не ожидал. Не знал, что и возразить. Он таких методов не знал: как же можно не допустить их до газеты? С чего бы вдруг — с ними и бороться? Но если «издавали и будут издавать» — значит, они хотят «Правдой» руководить сами? (Муранов и больше захотел: чтобы Шляпников уступил ему место в Исполкоме. Ну что ж, может и уступить.)

Однако в сегодняшнем номере приезжие начали и теоретическую борьбу. В статье, уже не подписанной (Каменева, что ли?), они начали и принципиальный подкоп под линию Бюро ЦК: «Было бы политической ошибкой ставить сейчас вопрос о смене Временного правительства».

Даже не сказано, что это — новое для газеты мнение, что вот мы спорим,— а просто вот так, как ни в чём не бывало! Распоряжались — не спросясь.

Этот удар — приходился по главной политической линии, которой Шляпников гордился как лучшей революционной догадкой, и которую он с таким усилием пробивал через ЦК. Не вышибать Временное правительство, а только контролировать его?— так думали и меньшевики, и эсеры. Значит, прощай настоящая большевицкая линия? Чему ж научили нас все французские революции XIX века, если не тому, что буржуазные правительства надо сметать, а не подталкивать? Чему же учит Ленин?

Нет, в *этом* уступать нельзя!

И само же собой шла в газете статья и нашей линии: о том, как несутся события, подтверждая любые «самые крайние» требования большевиков.

Получился в газете винегрет.

Не занимался Шляпников «Правдой» сам, но знал, что она — как крылья у него за спиной. И вдруг — начали подшибать.

Очень дурное стало состояние. Будто испакостили и раздавили всё, что он тут два года строил.

А тут ещё — передал ему сегодня Каменев свой «контрпроект» Манифеста к народам мира. И в нём так откровенно и писалось, что наша революционная армия даст отпор немцам — до полной победы у нас демократии!

И это — большевицкий «контрпроект»? Да это хуже, чем гиммеровский проект! Такого соглашательского текста Шляпников, конечно, дальше не пустит. (Но он у них вырвется теперь в «Правде»?)

А у самого Шляпникова не был свой текст готов, понадеялся! А с этим разделением — как было и выступать на пленуме Совета? А сибирцы выступят открыто против? Раздваивалась линия партии на глазах у всех врагов!

Раскола внутри партии Шляпников на себя взять не мог. И оставалось сегодня — не вмешиваться, чтоб только и каменевская группа не полезла.

Ещё и подумать же было некогда: среди дня спешил на большевицкую фракцию Совета в кинематограф «Аза» на Васильевском. А оттуда пошёл с товарищами в толкучку Морского корпуса — с крутыми-крутыми сомнениями. Митинг был, конечно, полезный, но не в те руки попал, а к празднику оборонства. Вот досада: революционные массы свободно метались, а всё равно не загребались к большевикам. И ещё теперь допустить раскол? Ни за что!

Вошёл Шляпников и стоял с товарищами в толпе, не пытаясь подняться в президиум. Но хорах устроен был оркестр, подбадривать голосование. И после каждого выступления играли марсельезу.

Стеклов выступал революционно. Всё ж он не меньшевик, скорее наш. И даже больше наш, чем Каменев, Муранов.

Потом раскатисто читал текст Манифеста, все его оппортунистические выверты.

Вообще ничего хорошего в этом манифесте нет. Много громких слов, почти Циммервальд, а простой формулы — без аннексий и контрибуций — в нём нет. И после всех громких слов — русская революция не отступит перед штыками завоевателей. И чем это отличается он непрошенной телеграммы дружка Вандервельде? Так манифест создаст общедемократическую формулу патриотизма, оборончество получит штемпель революционной демократии,— и теперь все вместе будут нападать на большевиков за нарушение национального единства и ставить в пример революционного солдата, готового умереть за родину. Выступать с прямыми антивоенными лозунгами теперь будет значить — выступать против Совета?

О-хо-хо, плохо поворачивается.

Но это всё смечал только острый партийный глаз. А большинство радовалось. А в ораторы ещё полезли патриоты: как бы нам этим манифестом — да не ослабить Россию, противник примет за слабость?

Чхеидзе стал отвечать — как будто и ничего — и тут же всё испортил: не выпустим винтовки и будем защищать свободу до последней капли крови!..

Типичная меньшевицкая лазейка: под видом борьбы с войной — продолжать войну. Оборонческим оборотом он отнял у воззвания ту небольшую долю интернационализма, которая в нём была.

Но на Чхеидзе ещё не кончилось: на помосте вдруг появился Муранов с выпученными глазами, как весь надутый. Не хватило у него партийного такта воздержаться от выступления! Ну как же: задолбил, что он — член Думы, и нельзя ему отстать ни на полплеча от Чхеидзе, ни в чём. Да после Сибири ему особенно поговорить хотелось, а сказать-то нечего:

— Поздравляю вас, дорогие товарищи, с рухнувшим произволом. Пали оковы, вы дали нам вернуться с каторги и ссылки. Я предлагаю не пугаться тех громких фраз, будто немец своим бронированным кулаком раздавит нас. Не верьте этому. Если было бы опасно — *мы бы сказали вам об этом*!

Вот зачем он вылезал: мы бы! Всем напомнить, кто он такой, и что он всё знает, за всем следит. А путёвого — ничего не сказал. И только тем выявил позицию, что пригрозил:

— Есть ещё гады, попрятавшиеся в норы.

Явное дезорганизаторство, выпад против единства партии. Переглянулся Шляпников с Каюровым, с Шутко,— нет, решили зубы стиснуть и молчать, а потом поговорим у себя внутри.

Тут стали спорить, прекращать прения или продолжать. Поднялся шум. Одни крича-

---

Продолжение. См.: «Звезда», 1991, № 4—6.

ли: манифест не готов, отложить, дайте ещё обдумать. Другие кричали: «А что скажут союзники?» — «А нам никакого наследства не надо!» — «Обсуждали меньше двух часов!» — «Вопрос не освещён!»

Но уж если столько тысяч собралось — как не принять? Чхеидзе объявил принятие — и грянул оркестр, сперва интернационал, потом марсельезу, кричали и ура, но оркестр заглушал.

Но и на том не кончилось, а вылез зачем-то тщедушный Чхенкели и дребезжащим голосом объявил:

— Рабочие и солдаты! Я чуть не умер.

Можно было подумать: чуть не умер от радости манифеста. А это он объявил, что тяжело болел, может не все знали.

— Сейчас я свободен, и это достигнуто вами. Я благодарю вас, что я — свободный гражданин. Мы присутствуем сейчас в один из великих моментов истории. Мы утвердили великий документ: это призыв к революции! Он не повредит фронту, но поможет. Он будет понят нашими товарищами за границей. Вас будут помнить наши внуки...

А ему с места:

— Не кричи «гоп», пока не перепрыгнешь!

604

От того вечера 6-го марта, как налетела на Цюрих буря и всю ночь толкалась на старый город, а на рассвете повалила густым снегом, и вскоре дождём, а днём крупой, и снова снегом, и опять дождём, а к вечеру снегом, и только за следующую ночь весь город убелив, успокоилась,— от той бурной ночи и того дня, исшагивая и избегивая скудное камерное пространство своей комнатёнки от обеденного стола до полутёмного окна, не выпускаемый из клетки Швейцарии, непогодой запертый в комнате и не удерживая клеткой грудной, как выпрыгивала страсть вмешаться в действие,— Ленин не сам решил, но за него решилось: раз он задерживается, то отсюда, не мешкая, писать и посылать питерским большевикам программу действий, писать и посылать, и посылать, не окончивши писать, а значит как бы вроде писем, и едва кончивши, сколько есть за сутки, скорей нести кому-нибудь на почту, а самому бросаться в газеты (теперь уже их покупая все подряд, вся комната завалена) и выискивать, выискивать по кусочкам из того, что схватили и разглядели близорукие западные корреспонденты и отобрали как достойное для своей газеты убогие буржуазные умишки,— выискивать и выхватывать, и понимать в разящем свете партийного проникновения — и разворачивать, разъяснять перед непонимающими,растерянными или глупенькими. «Защита новой русской республики»?— обман и надувательство рабочих! Лозунг «а теперь вы свергайте своего Вильгельма!» — ложный, все силы на свержение буржуазного правительства в России! Временное правительство — правительство реставрации монархии, агент английского капитала! И — лучше раскол с кем угодно из нашей партии, чем сотрудничество с Керенским или Чхеидзе, чем доля уступки им!

А в этом разворачивании и разъяснении сам для себя находя, тут же и для партии встраивал недостающие звенья и планы организации: в ответ на великолепный манифест большевицкого ЦК (и чья это голова там вытянула?), объявленный в Питере ещё 28 февраля, а сюда дошедший через 10 дней отрывком в случайной газете,— предложить им и объяснить, *как* же организоваться (не так, как он советовал в 905-м, а теперь): вооружение народных масс целиком! *народная милиция изо всего поголовно населения* от 65 до 15 лет (втягивать подростков в политическую жизнь!) и обоего пола (вырвать женщин из одуряющей кухонной обстановки!),— и чтоб эта милиция стала *основным органом государственного управления*! Только так: *оружием в руках у каждого* будет обеспечен *абсолютный порядок*, быстрая развёрстка хлеба, а затем вскоре — мир и социализм!

И от вторника 7-го до воскресенья 12-го вырвались четыре таких «письма из далека» и тут же сдавались на почту экспрессами (когда уже написано — тем более жжёт, нельзя задержать, нельзя удержать) — кому же?— Ганецкому, умному, славному расторопному Кубе, а он будет отправлять, налаживать туда дальше, в Петербург! (А копии — сразу Инессе, а та — Усиевичу, а тот — Карпинским, а те — назад, и всё экспрессами, это всё крайне важно для спевки о тактике.) Почти всё время кто-нибудь спотыкается — на почту, а ещё же искать по киоскам и читальням непрочтённые газеты и снова анализировать, угадывать — и светом луча выбрасывать вперёд новые пункты программы! А тут Луначарский увиливает выступить против Чхеидзе,— предупредительную холодность ему. Там Горький, недоумок, суётся в политику: приветствие Временному правительству да басенки «почётного мира», архивредное выступление, придётся ударить по рукам! (Не можешь выдержать партийной линии, так и не суйся, пиши свои картинки.) А там неприятности с Черномазовым в Питере, мало им Малиновского, хотят и вовсе залить нашу партию помоями. (Но Черномазов интриговал против сестры Ани, его безусловно убрать и забыть.) А там Коллонтай уезжает в Россию, счастливая! А тут, пока застряли, успеть бы на машинке перепечатать 500 страниц «Аграрной программы», кто бы взялся? А ещё:

как не написать листовки к русским военнопленным, их 2 миллиона: заявите громко, что вы вернётесь в Россию как армия революции, а не армия царя (вполне бы их могли использовать и против); а мы, социал-демократы, поспешим уехать и будем посылать вам из России деньги и хлеб... А ещё: как же при отъезде не написать прощального письма к швейцарскому пролетариату, ещё раз заклеймить шовинистов, ещё раз указать им путь (только это опасно, может помешать отъезду. А вот как: написать, оставить здесь, а уже из России телеграммой взорвать, пусть печатают). А тем временем...

...а тем временем совсем плохо с Инессой. Обижена. Сердится. Сидит в Кларане (а может уже и не в Кларане? вот письма прервались, может уже и не там).Сердится, но, как всегда у женщин, это выворачивается во что-то другое, стороннее: будто бы «теоретические разногласия», возражает и капризничает, где ребёнку ясно. Как бы нужна была тут, рядом! Какое время!— неужели время для женских обид? Некому собрать, систематизировать все телеграммы из России, ведь что-нибудь пропустишь наиважное! Но не только не захотела испытать английский путь возврата, а даже в Цюрих не хочет приехать на денёк! В Четырнадцатом году ехала для него с Адриатики в Брюссель, бросив детей, а сейчас без детей и из Кларана — ни разу не приехала на денёк.

И нельзя понять: вообще ли поедет с нами?..

Но всё это, всё это кружилось как внешние воронки на воде, даже с Инессой,— а главные события большими толстыми тёмными рыбами беззвучно проходили близ дна.

Ганецкий коротко отозвался: *будет*! Но пытка была — дождаться. По расчёту дней уже мог быть приготовлен в Берлине паспорт и прислан сюда — а не было.

И молчал всесильный Парвус.

Да он справедливо мог быть и в обиде. А не исключено: испытывал Ленина нервы, усилял свою позицию выжиданием.

Но некуда было деться им друг от друга: события соединяли их.

Если платили ему миллионы ради призрака,— то сейчас то есть для чего платить.

И — будет, куда принимать. И теперь-то и нужно, не как тогда.

А тем временем в шумных «комитетах возвращения», хотя и с перевесом циммервальдистов, льнули все к *законности*, ждали разрешения от продажного гучковского правительства, а оно уже слало 180 тысяч франков от частных сборов — на возврат дорогим соотечественникам, только конечно через союзников (где и германские подводные лодки топят транспорты дураков),— и уже вокруг этих денег начинались интриги, могли обделить большевиков, собрания шли чуть не до драки.

Ильич на те заседания конечно не ходил, но ему подробно рассказывали. И чем больше все эти споры накалялись — а швейцарско-эмигрантское настроение было только отблеск того, что в России подымается,— понял Ленин, что он поспешил, сорвался: никакого отдельного паспорта получать нельзя, ехать одному невозможно.

И 10-го, ровно через неделю после фотографии, послал Ганецкому отменную телеграмму: «Официальный путь для отдельных лиц неприемлем.»

Всё, отказались.

Зато Цивин ходил и ходил к послу Ромбергу. Тот уверял, что идёт усиленная переписка с Берлином, даже курьерами. И постепенно — из темноты, из будущего, из никогда не бывалого, проступали контуры крупного замысла — как большой паровоз из тумана — да только медленно-медленно проворачивал он свои красные колёса или всё ещё стоял.

А за ним — вагон.

Проступал из тьмы — вагон.

Неплохо. Приемлемо.

Но там пока для этих болтунов, для комитета по возвращению, надеюсь...? эти условия не открыты?..

Нет, нет. Нет-нет. То — официально, здесь — конфиденциально.

Хорошо, хорошо. Так постепенно, несколькими головами, общими усилиями — что-то выявляем, выявляем, находим. Стало потвёрже. (Но — как тянулось! Но — непохоже на немцев как! Да ведь их ещё больше должно припекать, когда объявило Временное, что продолжает войну.)

Стали готовить список, кто поедет. Запрашивали своих по всей Швейцарии, но — тайно, это важно, никого чужих не примешивать. Одновременно (тоже важно!) вслух говорили всем обратное: и Англия нас не пустит, и через Германию ничего не выйдет. И шумно обсуждали анекдотические попытки: Сафарова просилась в английском консульстве, кто-то слал телеграфный протест Милюкову, а Равич придумала фиктивно выйти замуж за швейцарского гражданина — и так получить право прямого проезда. Смеялся Ленин и советовал ей «подходящего старичка» — старого Аксельрода, ничем другим уже не годного революции.

У немцев с одной стороны тянулось, с другой — крутилось и чересчур проворно, верней — одна машина крутила независимо от другой. Сегодня вечером, воротясь из Народного дома, где два с половиной часа делал швейцарцам доклад о ходе русской революции — что истинная, вторая, революция ещё впереди, и есть для неё хорошая форма — Советов депутатов, и уже сегодня надо готовить против буржуазии восстание,— хорошо

отвлёкся докладом, освежился от этих изжигающих безвыходных планов отъезда, охотно возвращался пешком по приятному вечеру, поднялся к себе — и ахнул: маленький, сухой, седовьющийся, с уголком платочка из кармана, сидел и улыбался, как ожидая радостной встречи, и от своей важности не торопясь подняться для рукопожатия,—

Скларц!!!

Не укорив, но и не похвалив, не сказав ни «плохо» ни «хорошо»,— Ленин пошёл на Скларца с пронизывающим косым взглядом (такой взгляд всегда пугал),— тот поднялся, теряя уверенность, и Ленин пожал ему руку, как хотел оторвать:

— Да? Что привезли?

Без путевых впечатлений, без вводных, без сентиментальностей: что привезли?

Коммерсант, всё более входящий в большую политику большой Германии, почтенно принимаемый заметными генералами и в министерствах, и при щедрости своей сегодняшней миссии,— опешил перед этим режущим взглядом щёлок глаз и недобрым изгибом бровей, усов, а всё остальное — как мяч футбольный, накативший ему в самое лицо,— опешил, потерял улыбку и то приятное многословие с предисловием, которыми думал развлечь, и даже приготовленные шуточки,— а сразу высказал главное и выложил на стол.

И не садился.

И Ленин не садился.

А Зиновьев сидел и сопел.

Вот что было. Скларц приехал уже не только от Парвуса, хотя Бегемотская голова всё и начал (начал сам, ещё до ленинской просьбы, она пришла потом, начал по первым известиям о петербургской революции, рассудив, что не хуже Ленина знает, что́ нужно), Скларц приехал со всеми полномочиями от Генерального штаба на проезд через Германию и с обеспеченным выездным содействием здесь германского консула в Цюрихе, а если нужно, то и посла в Берне,— Скларц привёз готовые документы,— и вот они лежали, чудо, хотя чудес не бывает,— лежали на блеклой клеёнке в жёлтом круге керосинового света.

Вот. Господин Ульянов. Госпожа Ульянова. Всё в порядке.

А — Зиновьев?..

Пожалуйста. И госпожа Лилина. Всё в порядке.

Да, но... А...?

И ещё один, пятый, да, вот: госпожа Арманд.

Всё знал, всё сам предусмотрел гениальный Парвус!

И — Инесса...

И всё! И все проблемы решены! И ни часа больше не ждать, не маневрировать, не дипломатничать, не раздражаться, не посылать посыльных, не ждать известий, ни от кого не зависеть — собрать вещи — а их нет у революционера! — и ехать хоть завтра утром! Двенадцать дней назад отрёкся царь — а мы через три дня будем в Питере — повернём всю российскую революцию, куда надо! Может ли быть быстрей во время мировой войны? Ещё никто ничего не успеет испортить — а уже вырваться первым на петербургскую трибуну, опережая даже сибирских ссыльных,— и отворачивать Совет депутатов от гучковского подлого правительства, и создавать всенародную милицию от 15 до 65 лет обоего пола, да что угодно!

Документы — лежали. С немецкими готическими вывертами, немецкими орластыми печатями и с пригодившейся, уже приклеенной, вот вернувшейся ленинской фотографией,— в керосиновом свете, драгоценные документы на дешёвой клеёнке, местами протёртой до переплёта нитей.

Таким документам сам канцлер должен был сказать: «да», чтоб их изготовили.

Парвус отплачивал долг, что перескакал когда-то.

И мешок Зиновьев — расплылся, руки протянул к бумагам.

Ленин вскинулся как на врага — тот замер.

Увы, уже понятно было: так просто сунуть руку в пламя революции — обжигалось.

И потерев, и нервно потерев над документами уже чуть обожжённые ладони, Ленин резко взял их назад, сведя за спиною вместе.

Т а к а я сделка не могла бы потом укрыться. Невозможно будет прилично объяснить. И размотается, и размотается до самого Парвуса — и не прикроешься славным революционным прошлым,— а влепят тебя в ту же мразь, и руль революции вырвут из рук.

Да вот что: не потому ли Парвус так и старается, чтоб именно — Ленина замарать с собою вместе? Вот такой индивидуально-семейной поездкой накинуть петлю — а потом и в руки взять? а потом и условия диктовать — как революцию вести?

Но — вовремя разгадал Ленин ловушку!

— Так вы же сами заказывали, господин Ульянов! — Нет коммерсанту оскорбления хуже, чем когда на хороший товар говорят: плохой.

— Заказывал. Но это была ошибка. Обстановка исправляет,— мрачно говорил Ленин, всё так же не садясь, всем напряжением не в речи, а там, внутри, в мысли, и оттуда чревовещательно диктуя: — Надо — большую группу. Человек сорок. Вагон. Изолированный, экстерриториальный вагон.

Поднял глаза, посмотрел на Скларца внимательней, внимательней — и уже сочувственней, и даже веселей. (Сообразил: да этот человек за сутки может доехать до германского правительства! Да это великолепно, что он приехал. Спасибо, Парвус! Ну, немножечко изменим вариант, ну — несколько дней.)

И почувствовав, что Ленин к нему подобрел,— расслабился, улыбнулся Скларц: он и в высоких сферах не привык к такому обращению, он ничем его не заслужил.

— Израиль Лазаревич просил торопиться,— напомнил он.— А то — как бы это «правительство народного доверия» не заключило бы мира!

— Не заключит, не заключит,— развеселились глазные щёлки Ленина.

Усадил его, сел сам через угол стола — и не только словами, но всеми глазами внушал, гипнотизировал, чтобы тот запомнил и точно исполнил:

— Поезжайте и договоритесь прямо. Другие линии очень долго работают. Пусть хорошо поймут, что мы не можем себя скомпрометировать,— и не ставят нас в такое положение. Пусть не ставят нам ограничений — кого там нельзя, годных к военной службе и так далее.

(Как раз сам Ленин и был годен, да перешагнул 44. Но никогда не призывался, как старший сын в семье,— казнь брата дала ему эту льготу.)

— Или — отношение к войне и миру, не надо, и так ясно. И не устанавливали бы проверки паспортов, личного контроля. Как въехали — так и выехали, как неразбитое яйцо, понимаете? И чтобы — ни слова в печати.

Всё — внезапно. Вагон пропустить — как снаряд. Не дать публике времени узнать, обсуждать.

— Да! — вспомнил Скларц, порадовать ещё приятным.— Стоимость проезда германское правительство берёт на свой счет.

— Ещё чего! — темно вспыхнули, и по-разному, два глаза Ленина.— Странно бы выглядел такой проезд. Какие ж там глупые у вас. За проезд обязательно платим мы! — Смягчился: — Но — по тарифу третьего класса.

И ещё отдельно:

— Идёте ко мне — и не можете одеться скромно. Вас могли заметить товарищи. Из-за этого завтра ещё перебудьте здесь, сидите в отеле, а ко мне пусть придёт Дора. Разумеется, без документов, а что-нибудь мямлить, а я ей буду отказывать. И только после этого завтра уедете. А как только будет согласие правительства — чтобы нам дали знать немедленно!

Когда Скларц всё понял и документы собрал, пожал руку очень почтительно, благодарственно, и ушёл,—

— Как ещё можно *им* ставить условия? — удивился размяклый Зиновьев, колыша вялыми плечами.

Ленин остро щурился:

— Никуда не денутся. Заинтересованы больше нас.

— Про Скларца — скроем.

— Нет, Платтену скажем. Хуже, если узнает сам. Платтена, Мюнценберга — нам терять нельзя.

А ещё, для страховки,— немедленно письмо Ганецкому (может, кому и покажет):

«Пользоваться услугами людей, имеющих касательство к издателю «Колокола», я конечно не могу...»

И даже:

«...Ваш план поездки через Англию...»

Чем больше прыжков и ложных ходов, тем безопасней нора.

Вот — предложенный Ромбергом *вагон*. Вагон. Надо проговорить его словами, надо помочь этому вагону, как цыплёнку, вылупиться в общественное сознание. Говорить, писать, бросать фразы:

— А может быть, *швейцарское* правительство получит вагон?..

— А не согласится ли *английское* правительство пропустить вагон?..

— Как это?

— А... от порта до порта. Отчего бы Англии не пропустить *запираемый* вагон? Например, с товарищем Платтеном и любым числом лиц, независимо от их взглядов на войну и мир?

— Но как же: Англия — остров, а — вагон?

— А... дальше — нейтральным пароходом. С правом известить все-все-все страны о времени его отхода. (Чтобы германская подводная сдуру не потопила.)

ПЯТНАДЦАТОЕ МАРТА

СРЕДА

605

После вчерашнего пленума Совета в Морском корпусе создалась в голове и груди Гиммера сумасшедшая неразбериха: он сам не мог понять, одержал ли блистательную победу или сокрушительное поражение. Хотя самый текст Манифеста, который он так изощрённо сбалансировал, был принят без поправок, и это надо было понимать как победу,— но от разных расстройств, от своего опоздания, оттого что не сам он это читал, и что нагородил постороннего Нахамкис, и от самовольных комментариев Чхеидзе, извращавших смысл Манифеста, было ощущение кошмарного поражения, заплёванности, гибели лучшего своего творения. И это разыгрывалось в Гиммере весь поздний вечер и ночь, так что он почти и не спал в своей квартире на Карповке,— и как только, ещё в темноте, донёсся первый грём самого раннего трамвая на набережной — он накинул свою дохлую шубёнку, нахлобучил шапку, надел галоши, подламывая края,— и побежал догонять трамвай.

Он как будто просвистывал внутри от пустоты и тоски и нуждался в новом наполнении, а наполнение такое мог ему дать только Таврический.

Конечно, по-настоящему понять значение объявленного Манифеста можно будет не раньше как недели через две: когда он уже провернётся по Европе и услышим, как отозвалась Европа. Но Гиммер не мог легко дождаться того срока: он нуждался чем-то жить и в чём-то сгорать — сегодня.

Совсем ещё были пусты коридоры и залы Таврического. Ещё не пришли служащие Совета, новый аппарат его, не пришли и служащие думской половины, а служители лениво подметали Екатерининский зал после вчерашнего тут митинга. Ни на какую пищу ума как будто нельзя было и надеяться — но фанатически несло Гиммера в комнату Исполнительного комитета, будто он уверен был, что Комитет заседает там и в виде ночных призраков.

Открыл дверь — и в ещё не разошедшемся сумраке комнаты действительно увидел: на большом столе заседаний, меж бумаг, лежала человеческая фигура, со стопкой же бумаг под головой. Могло причудиться, что это — подброшен труп или залез вор,— но Гиммер не успел так подумать и испугаться, как фигура подняла голову, а на турецком диване зашевелилась другая,— и не только это не оказались воры или враги — но лучшие из лучших друзей, но давно желанные, жданные товарищи из-за границы, первые вернувшиеся революционные эмигранты! — товарищи Лурье-Ларин (длинный, на столе) и Урицкий (толстенький, на диване). Лурье особенно легко узнавался, как только выявлялось, что обе руки у него — сухие, с трудом владеемые, и весь вид болезненный.

О, сколько же радости! прямо хоть кидайся-обнимайся (впрочем, такие сентименты не были приняты меж революционерами). И Лурье, едва проснувшись, даже со стола не слез, лишь ноги спустил, и не спрашивал, где бы умыться,— а Гиммер подсел на ближайший стул, и залились они во взаимном живительном перехлёбе. Ещё сон не стерся с лица — а чувства Лурье клокотали. (Урицкий же оказался ленив и глуповат: подымался медленно, от разговора отставал, лицо было всем недовольное и глаза совиные, когда рассвело вполне.)

Оказывается, они приехали только сегодня, среди ночи. На финляндско-шведской границе по неисправности въездных документов — не оформлены у нашего посла в Стокгольме — просидели полсуток в жандармской комнате. И главное возмущение их сейчас было — эта задержка, саботаж посла, а значит и Милюкова, в возврате революционных эмигрантов,— и как надо ударить за это Милюкова. И Гиммер страстно поддержал их.

Естественно, они ничего не знали о вчерашнем грандиозном пленуме Совета, ни о Манифесте. Но Лурье был весь переполнен своими новостями, сужденьями и предположеньями, так и сыпал ими, так и лил. А Гиммер навстречу — своё. И всё это было захватывающе до дрожи, так они и просидели пару ранних утренних часов, полные симпатии друг ко другу.

Лурье не знал подробностей ни о чём здешнем, с приезду ему всё казалось легко,— и тем более непримиримо он был настроен против Временного правительства: оно явно саботировало посылку русских газет в Европу, и там неоткуда было узнать истинных сведений о происходящем тут. Да хуже того! — из встречных перебивов Гиммера ещё утверждался Лурье, что Петроградское телеграфное агентство подаёт в Европу новости в искажённой пропорции: всю революцию старается представить как дело рук либеральной буржуазии: революция как бы не от того, что народ вообще возмущён войной, а лишь плохим ведением её. Пригашает значение Совета, а будто русская армия и рабочий класс стремятся к войне. И оттого немецкие социал-демократы стали нашу революцию называть в кавычках, мол она попала в руки воинствующего либерализма. Обо всём этом Лурье рвался скорей, сейчас же печатать в «Известиях», ударить по наглости Временного правительства!

Лурье не знал здешних взаимоотношений, трудностей — но даже и не спешил заглотнуть всё, что встречно выпаливал ему Гиммер,— ему как будто было вполне довольно привезенного в груди из Европы. Зато оттуда он привёз полную бескомпромиссность в борьбе за мир, за интернационализм, за переворот во внешней политике России,— Лурье оказывался просто-таки радикальнее и динамичнее самого Гиммера — и склонен был действовать ещё троекратно решительней! Да он просто предложил, чтобы Совет, без всякого стеснения, немедленно сам послал бы по телеграфу мирные предложения германскому правительству — как будто русского Временного правительства и не существует! Нечего и дней терять! Революции — всё доступно!

Могучие огни Европы, Интернационала! Это увлекало Гиммера! Он-то — готов был действовать так. Но — другие? но — Чхеидзе? Умрёт от робости! Да может ли Лурье представить, что вчера сотворил Чхеидзе? Он испортил всю революционную силу Манифеста, выступив от себя с непрошенными, самозваными пояснениями, будто бы мы будем с оружием в руках защищать Россию!.. Пошёл в болото капитуляции перед империалистической буржуазией. По сути — предал Циммервальд! Он повернул дело так, будто наши мирные усилия возможны только при революции в Германии,— но этого в Манифесте не было!!!

Ну конечно, ну конечно! — было ясно им обоим, и они ещё друг друга уверяли. Наша революция победит или погибнет, всё в зависимости от того, удержит ли она знамя Циммервальда!

Ну, подождите, обыватели Невского и патриоты биржи! Вам кажется — попутный ветер? — так он разведёт вам хорошую бурю!

Лурье хотел пояснить, Лурье настаивал: получилось так, что русская революция пока укрепила союзный шовинизм! И германских интернационалистов душит их милитаристский режим, они думают, что мы капитулировали перед «защитой отечества», они теряют надежду освободиться от военного кошмара, им неоткуда узнать о нас, русских интернационалистах,— потому они и не отзываются, потому и не бросаются в решительную схватку! Лишь затаённо бьются братские наши сердца — а не дают революционного эффекта!

Воодушевление Лурье заражало тем сильней, что, при сухорукости, ему даже писать пером составляло труд.

Урицкий тоже к ним подсел. Хоть он и сова — но вполне крайних убеждений.

У всякой революции есть своя логика, она не может стоять на месте! Нам надо не упускать из вида самую общую конъюнктуру революции.

Вот что, совершенно понятно: сегодня же Лурье и Урицкий начинают организовывать и издааать циммервальдский журнал «Интернационал». Мировая буржуазия мобилизует силы — и мы будем тоже! Можно ли для этого получить в Таврическом комнату? Да конечно, да вот например № 10.

Но ещё важней и быстрей: надо дать сегодня же бой на Исполкоме. А отчего бы нет? Гиммер не мог представить, почему бы Исполнительный Комитет не зачислил бы в свой состав таких двух славных революционеров. Это — просто формальность, а пока оба товарища могут сегодня же прийти на заседание — и включиться в обсуждение. Да! Выдвинем сегодня на ИК: необходимо побудить правительство немедленно публично выразить саоё согласие с Манифестом! (Добить Милюкова!) И в Контактной комиссии не попасться, как бы правительство их не перехитрило. Вчерашний Манифест (да Лурье ещё не читал его как следует, Гиммер совал ему свой черновик) просто обязывает советскую демократию к борьбе с правительством цензовиков! (В дальнем плане — отбросить пиетет и к интересам всякой частной собственности.) Ясно, что откладывать нельзя ни минуты! Надо смело развёртывать программу советской внешней политики. Теперь прибыло наших циммервальдских сил — надо атаковать. Сегодня есть своя повестка, может не удаться,— но требовать назначить специальное заседание ИК по вопросу войны и мира!

А не надо ли прежде отдельно собрать циммервальдское крыло ИК? Да, пожалуй, это верно, сперва сговориться самим циммервальдцам. Теперь нас прибыло!

Да ведь отношение ИК к войне ещё не разработано, просто жуть как запущено! Объединяющей платформы нет никакой. Вопрос о войне — это и борьба за армию! Если Совет примет оборонческую позицию — он легко завоюет армию, но это обречёт революцию на бесславное будущее, на коалицию с буржуазией — а там дальше и на капитуляцию. Нет, бороться за армию надо с циммервальдской платформы, надо преодолеть мужицкую косность, эту толщу атавизма, этот примитив национализма, носимого в сердце с колыбели, и заразу шовинизма, привитую либеральными газетами.

Да, задача трудна. Надо разработать тактику, как выиграть бой на классовой платформе Манифеста. (Уже прочёл Лурье Манифест.)

Проговорили вот так, друг к другу прилипнув, со стола на стул, потом и на трёх стульях,— что-то много времени прошло, уже с исполкомской кухни несли хороший завтрак, в сдобренной каше мяса кусок и чай сладкий с булочкой. Дружно поели — про-

светилось Гиммеру, что надо же прессу смотреть сегодняшнюю, что же пишут о Манифесте?

Сбегал в канцелярию, принёс охапку газет, с густым типографским запахом. Расхватали, уселись читать. В «Известиях» замечательно выглядел гиммеровский Манифест — обширный великий Документ, которым будет отмечен XX век, у Гиммера даже сердце сжалось, не ожидал такого впечатления. И стал совать Лурье и Урицкому — пусть сперва прочтут Манифест как следует ещё раз. И сам ещё покашивался — но ему надо было читать, как отзывается буржуазная пресса.

И он-таки расстроился. Ещё несколько дней назад проглядывал он номера буржуазных газет с усмешкой победителя: такая в них была растерянность перед Советом и даже услужливость. Но что это, они как будто набирали свою силу — в вязкости, по плетению вязких нетель они были специалисты, буржуазные перья! Ловко же обработали они Манифест! Бесстыжая «Биржёвка» подала его как продолжение традиционной патриотической политики, а?! А «Речь» холодно обошла 1-ю часть — как истраты на доктринёрство крайне-левых социалистов, а зато возвысила 2-ю часть как оборонческую, вот мол и революционная демократия поддерживает защиту родины! Ну, и особенно, конечно, хвалили комментарий Чхеидзе: что вся сплочённая победившая демократия таким образом выступает против режима бронированного германского кулака.

Ну, Чхеидзе сам виноват,— но и как же они Манифест препарировали, негодяи! Никто не приводил его полностью, а только в обрывках и невинностях. Со стыдом и отчаянием Гиммер схватился за голову! Что же осталось от его виртуозного балансирования между левым и правым крыльями ИК? А может быть, он сам виноват: в этом балансировании не заметил, как перевесил чашку оборончества и не догрузил Циммервальд?.. Кошмар, если так!

(А между прочим зацепил в газете, что сенатора Крашенинникова, его собственного гиммеровского пленника, вчера освободили из Петропавловки. Жаль-жаль, ну ладно, и две недели посидел — будет помнить.)

И — где же было Гиммеру ответить громово? На заседании исполкома — это был не ответ. Надо было отвечать — в прессе. Но где? В «Известиях» — не принято выражение личных мнений. А в меньшевицкой газете Гиммер всё-таки писать не мог, ибо был определённо левее их. А свой независимый орган собирались с Горьким создавать — но за революционной колотьбой некогда было. И получалось — хоть печатайся у большевиков. Позавчера он и сказал в полушутку Шляпникову: «Мне не остается нигде писать, как в „Правде"». Шляпников отнёсся серьёзно (у них-то совсем литературная пустыня, на Демьяне Бедном едут): «Что ж, я своим предложу. Но только придётся публично заявить, что вы стоите на позиции большевиков.»

По сути — по политической сути — это недалеко и было. Но заявить так публично — была пошлость, которая затискивала бы многогранную, многоискристую, всю в метаниях личность Гиммера — в тупую партийную колодку.

А сейчас, покинув товарищей читать, Гиммер выскочил пробежаться — и вдруг в Купольном зале встретил — Розенфельда-Каменева —

— Ба! Лев Борисыч! А я уже читал, что вы приехали, да что же не показываетесь в советских сферах? Что, у себя в партии порядок наводите?

Интеллигентный, мягкий, умный, Лев Борисович не скрыл подтверждающей усмешки между усами и бородкой.

— Да, ваши ребята уж такие грубые, правда, и такие неловкие, не дипломаты.

Лев Борисыч посасывал мундштучок, прищурил один глаз. Он как будто стыдился своих большевиков. И вид его и манера говорить были барские:

— Читайте сегодняшнюю «Правду», её нельзя узнать. Это теперь — солидная, настоящая газета. Действительно, у неё был совсем неприличный тон, и репутация... Хоть закрывай совсем. Но я решил её перестроить.

— Ах, так вот и кстати! А мне негде печататься как раз. Я хотел бы, может быть, у вас — но Шляпников говорит: надо объявить себя большевиком?

— Ну, ерунда какая, мало ли что Шляпников. Пишите, пожалуйста, охотно напечатаем.

Так, так,— с поворотом ещё этой новой комбинации спешил Гиммер к Лурье и Урицкому. А что ж? Такая перепрыжка произведёт сенсационное впечатление в советских кругах. Уж во всяком случае, большевики — верные циммервальдисты. И резко оторваться от Нахамкиса, с которым рядом им невозможно быть, тот мешает развороту гиммеровского таланта.

А тем временем в комнате Исполкома набирались члены. Лурье и Урицкий здоровались со многими знакомыми — все петербургские социалисты, в общем, знали друг друга, хоть и отлучаясь порой в эмиграцию или в ссылку,— и уж теперь никому не могла прийти такая неловкость: попросить их покинуть заседание. Лурье уже многим оживлённо сообщил свой проект журнала «Интернационал».

Кончали завтракать, Шляпников пришёл с Мурановым, тоже рыло.

Собралось десять, пятнадцать, восемнадцать человек, и утомлённый, ото всех дней невыспавшийся, да и старше их тут всех, Чхеидзе, в потёртом порыжевшем пиджаке, открыл заседание, зовя к тишине.

Против включения Муранова, не вместо Шляпникова, а лишним, сразу же стал ершиться Чхенкели: лишний большевик? — тогда и нашего лишнего меньшевика! Ничего не могли решить, отложили вопрос на бюро.

Да, придётся Гиммеру ещё придумать манёвр, как вставить Лурье. А уж Урицкого, наверно, не удастся. Да он какой-то мешок.

Дальше упёрлись в финансы. Когда разрешали две недели назад создание Временного правительства, не догадались — никто не догадался! — связать их ещё и финансовым обязательством в пользу Совета: революция тогда пылала, и все умы были заняты одной политикой. Но постепенно остыли, куда ни кинься — нужны деньги, и вот рассчитал Брамсон потребности Исполкома — а денег-то у Совета нет! а деньги-то оказались в министерстве финансов.

А презренное лицемерное цензовое правительство так до сих пор ничего не ответило на требование о 10 миллионах.

Так подошёл момент потребовать этих денег окончательно. Поручили Нахамкису и Эрлиху: сегодня же срочно сформулировать повторный категорический текст требования на 10 миллионов. И за подписью Чхеидзе и Скобелева — послать с курьером в Мариинский дворец.

Тут выступил Громан (он был член с совещательным голосом), очень взволнованный, крупнокалиберный, тучный, и говорил (постоянно гулко гундося, как будто с неизлечимым насморком), что продовольственный кризис катастрофически обострился, а договориться с министром Шингарёвым невозможно... Громан уже тискался к столу со своими многими бумажками, собирался тут же и доклад начинать. Но на Исполкоме стали очень не любить внеочередные вопросы, каждый метил свой вопрос провести, или может быть раньше уйти,— и так закричали на Громана, что вопрос не подготовлен, что надо пригласить специалистов,— отложили на завтра. (Да просто никто Громану не поверил, зная его манеру пугать, что за три дня продовольственный вопрос вдруг стал катастрофичен. Честно говоря, открылось, что он ни перед революцией таким не был, ни сейчас.)

А Лурье — цвёл, через болезненный свой вид, что он первый, самый первый вестник из-за границы. И не упустил, уже освоясь с обстановкой, взять слово, хотя и не был членом Исполкома, и докладывал о своих собственных переговорах в Германии с комитетом профсоюзов, и что они ему говорили, на каких условиях германские социал-демократы согласились бы на мир. Ещё дальше осваиваясь, как будто он тут заседал уже не первую неделю, не он сегодняшней ночью спал тут на столе, Лурье предложил образовать при Исполнительном Комитете Международный отдел (куда, очевидно, он бы и первый попал как знаток тех дел). И ещё — послать комиссара Совета в Петроградское телеграфное агентство, чтобы контролировать, как они освещают русские события на Западе. И ещё предлагал: выписывать немецкие газеты, и послать агентов Совета в Стокгольм, и послать делегатов Совета по всей Европе...

Всё дельно! И ещё неизвестно, что б он напредлагал, у него-таки был *kopf* на плечах, и говорил он увлекательно, и уже очевидно было предрешено его участие в Исполкоме,— но давлением приехавших делегаций его пока остановили.

А делегаций пёрла — чёртова вереница. Какие-то жалобы на самовольно захваченные партиями помещения в Петрограде, и стали решать вопрос о захвате помещений.

А делегаты какой-то маршевой (но остановившейся в своём марше) роты из Ельца приехали жаловаться, что генерал Эверт издал приказ солдатам не заниматься политикой,— и смеялись тут за столом, что уже и Эверта того давно сняли, и приказа такого не было,— а елецкие делегаты радовались, что с ними разговаривают, и просили ещё, ещё объяснять.

А делегаты казанского Совета депутатов пришли доложить, почему и как они сместили и арестовали своего командующего Округом,— и искали поддержки петроградского Совета, чтоб не уступать перед военным министром.

(А какой-то очередной полк или батальон в сию минуту входил в Таврический, отдавалась тряска и гул по полу, если не по стенам. Началось по второму разу это круговое сумасшествие — паломничество всех полков гарнизона зачем-то в Таврический дворец. Понятен был энтузиазм первых дней революции, но зачем сейчас — опять мусор, грязь, нигде не протиснуться, и ещё уборные надо оберегать от наплыва нечистоплотных гостей.)

И: собрать съезд Исполнительных Комитетов Советов сорока городов России,— надо укреплять свою всероссийскую власть.

И опять же с похоронами жертв: план похоронной процессии для послезавтра всё недостаточно разработан. И могилы не готовы. Так отложить похороны до 23 марта, благо трупы по морозу терпят и месяц.

Но после того как Лурье уже утвердился, Гиммер не очень внимательно следил за происходящим. Он развернул на столе перед собою «Известия» на всю широту окрылённого Манифеста — и озирал его, и впитывал, и перечитывал, и снова любовался. Ему,

с его слабым горлом не могшему прокричать речь с крыльца Таврического,— удалось-таки крикнуть на весь мир. И теперь наступят неисчислимые исторические последствия. До пролетариата всех европейских стран донесётся его чарующее революционное слово — и преобразится сознание всех, и преобразится вся война, и западные рабочие крикнут помимо своих правительств, и революционное эхо докатится обратным гулом к потрясённым стенам Таврического дворца.

На столе лежало колечко из красной резины. Гиммер возбуждённо-рассеянно раскручивал, раскручивал его на карандаше. Оно кружилось, как пропеллер аэроплана.

Вытягивалось, расширялось,— откуда брался такой охват?

И мелькало как сплошное, красное.

ДОКУМЕНТЫ — 29

15 марта

ГЕНЕРАЛ ПАЛИЦЫН (русский военный представитель во Франции) — ГЕНЕРАЛУ АЛЕКСЕЕВУ

Ответ французского Главнокомандующего:

«В настоящее время невозможно внести какие-либо изменения в операции и подготовку к атаке, она уже в ходу. Я прошу поэтому, чтобы русская армия, согласно постановлениям конференции в Шантильи... В интересах операции коалиции и принимая во внимание общее духовное состояние русской армии, лучшим решением был бы возможно скорый переход этой армии к наступательным действиям»...

Генераль Нивель верит в содействие нашей армии, как бы трудны ни были условия исполнения.

606

Союзники считают, что наша армия возродится, если мы перейдём в наступление?.. Пусть не видят своими глазами, но удивительно, как военные люди могут такого не понимать.

Или уж только: выложись и отдай, а с вами — что будет, то будет?..

Англичане сегодня же настойчиво запросили: английские планы действий в Месопотамии и Сирии опираются иа раннее и решительное наступление всех русских войск в Азиатской Турции,— так как будет с ним?

Хотя генералу Алексееву уже всё стало ясно, но не хотел взять на себя бремя окончательного отказа. А — переспросить всех своих главнокомандующих. Разослал.

Из главнокомандующих кто уже отчётливо осознал положение, это Рузский: в спину Северному фронту развал ударил быстрей и сильней всего. Но Рузский перешагнул сразу и в панику, прося четырёх добавочных корпусов. От кого же их взять? Алексеев был возмущён, и сам подсчитал всё до батальона. И теперь писал Рузскому: «Только ваш единственный фронт имеет двойное превосходство над противником — 505 батальонов против 250.» И к тому же — никаких данных, чтоб удар противника был направлен против Петрограда.

Вчера Алексеев отправил и правительству секретную сводку настроений Действующей армии. В Петрограде правительство хотело получить в нескольких абзацах впечатление обо всём Фронте. Где-то со штабов корпусов начался сбор мнений, и штабные офицеры записывали то, что случайно было у них в памяти, упуская 99 неизвестных им долей,— а затем эти докладные сводились в следующих по старшинству штабах, что-то опускалось, а что-то подчёркивалось,— и так потом явилось целое. Оказались в сводке фразы и бодрые, но больше проступало изо всего собранного, что множество солдат в разных частях всего великого Фронта восприняло отречение царя с удивлением, недоумением, огорчением, сожалением, хотя и не сделало попытки сопротивиться. В иных местах толковали солдаты и так, что долго без царя оставаться нельзя, надо скорей выбирать нового. В общем, Действующая армия поначалу просто ничего не поняла в событиях — это было Алексееву ясно, но не было ясно в Петрограде, судя по газетам.

Да он и сам до сих пор не понимал. Что такое Совет и как он может властно распоряжаться наряду с правительством — невозможно понять военному человеку. Две власти могут означать только развал.

А между тем и сам Алексеев в самом Могилёве не мог помешать Советам, в Могилёве стало даже два Совета-комитета: гарнизонный и солдатско-офицерский комитет самой Ставки,— Алексеев разрешил своим офицерам примкнуть, надеясь таким образом сдержать и направить.

Что вообще было можно придумать против расходящейся волны Советов? Если правительство ни в чём не мешало им — как могло сопротивляться командование. И Алексеев собственными руками направлял Советы в свою армию: дал указание главнокомандующим создавать центральные комитеты при всех фронтах, и дальше в армиях, и дальше в корпусах, дивизиях, повсюду в смешанном составе, а где уже возникли солдатские комитеты — стараться включать туда офицеров.

В разум не вмещалось: как это, при неотменённых военных уставах и государственных законах,— самозваные Советы присылали на фронт никем не разрешённые депутации, которые сразу же, миновав командиров, обращались к солдатам? В разум не могло вместиться,— но это уже происходило, и не было сил запретить,— и ничего не мог Алексеев придумать, кроме как тоже пытаться канализировать.

Временное правительство плохо понимало, что происходит в армии, но армия, но Алексеев ещё хуже понимал, что происходит во Временном правительстве и вообще в Петрограде. Прямые аппаратные переговоры давно прекратились. Присылаемые документы — были специальны. И Алексеев и все штабные стали как никогда со рвением читать газеты — но быстро почувствовали, что и во всех газетах изложение как бы специальное: слишком горячо, а затуманено розовым и не доглядеться до дела. И потому особенно набрасывались на живых приезжающих.

Так, сегодня вернулся из Петрограда начальник военных сообщений Кисляков, ездивший на доклад к Некрасову. У Алексеева с 28 февраля остался недоразуменный камень, чувство обиды к Кислякову, что тот солгал тогда, не объяснил как следует,— а то ведь не отдали б им железные дороги и могло быть иначе многое. Но — и удержаться не мог от расспроса и вызвал Кислякова тотчас же, хотя этот хитрый рыжий чиновник заведомо не возьмётся передать правду. Он охотно делал доклад по железным дорогам, а выше и дальше будто сам не понимал. Вот, выяснялось, что всякая охрана железных дорог прекратилась повсюду — жандармерия вся распущена, а на замену никто. Ещё кое-где охранялись большие мосты, но уже и тут уверенности нет. Дичь!? Во время войны?

Ну, а как Бубликов? (Ещё один, самый неловкий камень.)

Бубликов? Никто, ничего, его и близко нет в министерстве.

Короткие часы гремел на всю Россию как Робеспьер — и вовсе нет?

А Родзянко?

Родзянко — не у дел, никакого влияния не имеет. Сидит себе в Таврическом дворце.

Это исчезновение гремящих имён трудней всего уразумевалось. Вот, недавно, всё сосредоточивалось только в них — Родзянко, Бубликов,— и вдруг рассеялись как дым?

Но оставались реальны — министры, и, как уже знал Алексеев, они собирались ехать в Ставку, несколько сразу. Вот и предстояло во всём разобраться в прямой беседе наконец.

По-деловому он должен был бы радоваться этой разъяснительной встрече,— а испытывал тягость, тянуло его.

Ещё недавно именно он и дал этому правительству власть — а вот обернулось, и они ехали контролировать его, упрекать, а может быть увольнять.

Если бы 1-2 марта в грозе своей силы (как никогда не бывал) вернулся бы в Ставку император — должен был бы генерал Алексеев складывать объяснения о своих упущениях в государевой службе за последние перед тем дни. Но вот ехали министры Временного прааительства — и тех же самых дней те же самые поступки Алексеев должен был истолковать обратно: как упущения признать свою верную службу, и как верную службу — упущения.

Теперь ему предстояло объяснить, почему он всё-таки осмелился собирать войска против Петрограда. А дело, мол, в том, что генерал Алексеев был введен в заблуждение относительно действительного смысла петроградских событий. Сообщения Беляева всё извращали. Из Ставки в те дни нельзя было понять, что это — великое народное движение. По отрывочным и неверным сведениям можно было представить, что это — волнение кучки людей смутьянского характера и, значит, подлежит, так сказать, успокоению. Теперь-то ясно видно, что двинуть войска на Петроград была лишь отчаянная попытка бывшего царя спасти свою корону. Но в те часы ещё не существовало Временного прааительства, чтобы дать генералу Алексееву прямые указания как поступать,— и всё, что генерал Алексеев мог сделать, это отговаривать царя от репрессивных мер, уговаривать его дать ответственное министерство, вплоть до слёз и даже угроз,— да, он даже нашёл форму ему угрозить. В те дни генерал Алексеев не был властен удержать царя от его поездки, от его попыток,— но в решающий день 2-го марта генерал сыграл перевесную роль в том, чтобы подтолкнуть царя к отречению, это теперь всем известно. А когда отречённый царь почему-то приехал снова в Могилёв,— он не был допущен до дел нисколько. И по первому требованию Временного правительства был ему выдан. Не мог генерал Алексеев послужить Временному правительству вернее и лучше!

Изрядно гадко было давать такое объяснение — да ещё будет ли оно и принято?

Как стеснённо, как обидно, как жаль было генералу Алексееву всей своей долголетней честной службы, своего неоценённого умения, старания,— вот и всё никому не

нужно, вот, теперь смахнут как муху. Если ещё не вздумают отдать под суд за нерасторопность в перевороте.

Ещё не сегодня министры приезжали, где-то в конце недели, ещё несколько дней оставалось запасу до неприятного разговора.

И не ждал Алексеев, что удар по нему придётся ещё куда быстрей — и опять в форме «Известий Совета», пришедших с сегодняшним поездом.

Дежурный полковник читал газету за столом. При проходе генерала сделал неловкое движение спрятать её, генерал заметил — и сердце его сжалось. Уж от этой газеты он не привык ожидать себе доброго. Хотел пройти, да он может вызвать себе полную пришедшую почту, но понял, что уже не найдёт покоя, и спросил дежурного:

— Там что-то есть?

Дежурный вытянулся:

— Так точно, ваше высокопревосходительство. Мерзейшие статьи.

— Дайте,— протянул руку Алексеев. Взял эту, неровно сложившуюся, полускомканную гадость. И забыв, куда и зачем шёл, вернулся к себе в кабинет. С опалённой, не то охолодавшей грудью стал читать.

Заголовок: «Ставка — центр контрреволюции».

И — всё оборвалось внутри. Уже не читал с полным смыслом, а жалко тащился по строкам.

Ах, это от георгиевского батальона пошло, от них... «Офицеры-мятежники... обещают восстановление Николая II, угрожая несогласным солдатам — пулю в лоб.» Какая ложь, какая чушь... «безотлагательно назначить Чрезвычайную следственную комиссию для раскрытия монархического заговора...» И каков язык — военно-полевого суда, а не газеты! «...Действовать беспощадно к шайке черносотенных заговорщиков.»

Кровь била в вялые старые щёки. Ничтожная чушь — а страшно. Именно по полной бессмыслице и страшно, ибо тут и оправданий не будут слушать.

Но это — было не всё! Сразу дальше — крупней, жирней: «Генералы-мятежники вне закона... Среди нашего высшего командного состава... Мрозовский, Иванов... Но таких генералов немало и среди тех, которые ещё пока гуляют на свободе... Неотложно издать декрет, объявляющий генералов-мятежников вне закона... После издания декрета солдаты... смогут безнаказанно убить таких господ, которые посмеют повести их на усмирение народа... Временное правительство обещало такой декрет.»

Пол наклонялся — и скользил генерал по полу куда-то в пасть, в отсечение головы. Ноги плавились, он опустился на стул. Но не расплавились его глаза, и он читал ещё следующую, третью статью, точно вослед, вплотную. Это всё было не о каких-то вообще изменниках, то могло его минуть, но это было прямо о нём.

«...Генералы-реакционеры. ...Справедливое негодование на распоряжение генерала Алексеева насчёт 'революционных разнуздданных шаек'... Генерал Алексеев и многие другие, надевшие на себя личину друзей народа, прямо опасны и вредны для свободной России...»

Вот вцепились! Вот не простили! В тот грозный момент, когда банды ехали арестовывать всех по пути,— начальник штаба Верховного не должен был защищать свою армию, но должен был предвидеть, что не угодит революционному Совету,— и за это вот теперь расплатится!

Всё стреляло в Алексеева. Очевидно, мишенью был избран — он. И такой тройной прицел грозил, что с мушки они его уже не спустят.

«...Этот царский приспешник исподтишка старался взять за горло Земский и Городской Союзы...»

Ну да, это помнят, оттуда и пошло...

«...Как может во главе нашей армии стоять лицо, которое для сохранения старого порядка готово...»

В своей прежней службе — честной, ясной, прямой военной службе, генерал Алексеев не потерпел бы десятой доли таких оскорблений — тотчас потребовал бы снять с себя обвинения, либо подал в отставку.

Но — не было теперь над ним такого прямого, ответственного и понимающего лица, кому можно было такую отставку подать. Какое-то расплывчатое, многоликое и подмигивающее было перед ним мурло — и подавать в отставку звучало смехотворно, его обещали обезглавить или резать или потрошить, они легко могли прислать вооружённую шайку и сюда, в Могилёв,— а оставалось бездеятельно ждать. Это была опасность непредставимая, неохватимая, неотразимая,— и отказывали ноги, соображение и язык.

И всё сходилось как нельзя хуже: печатали, что монархически настроен штаб Бориса Владимировича,— так это заговор в Ставке?

А великий князь Сергей Михалыч, хоть и подал прошение об отставке, хоть и снял свитские аксельбанты — но расхаживал по Ставке в генеральской форме,— вот и связь Алексеева с павшей династией.

А Николай Николаевич так и застрял в Ставке, всё не уезжал (его не пускали без сопровождения) — так и сидел в своём поезде на станции, пленник в собственной бывшей Ставке, это стесняло и мучило Алексеева, опасно и неприлично было бы его посещать, и неудобно совсем не оказывать знаков внимания,— и вот опять связь с династией. (Кажется, уедет сегодня вечером.)

Наконец — тут же рядом печатали крупно об аресте генерала Иванова в Киеве,— а Иванов совсем недавно свободно жил в Ставке,— и уже понимал Алексеев, что его обвинят: зачем не арестовал Иванова после похода на Петроград?

607

Окончательный отказ Крымова лёг на гучковское сердце обидой. Совсем не на многих, совсем на редких боевых генералов он рассчитывал опереться — и вот главный из них отрёкся. А верные и живые, кто были с Гучковым,— военная молодёжь, не годная для расстановки на крупные посты. Но — уже он начал, и не могло быть у него другого пути. Обновление всего генеральского состава русской армии могло бы стать делом его жизни. Ладно, он переворошит и с молодыми! Выгнать генералов сотню — другая будет армия! Наполеоновского духа.

Как раз в эти дни Гучков дал санкцию на арест окружения великого князя Бориса Владимировича. Это было и неизбежно: притёк донос из Ставки, и нельзя было не дать ему хода, особенно в дни, когда Совет гремел, что Ставка — гнездо контрреволюции. Такой арест, пятка офицеров, прозвучит сейчас в Ставке как звенящее предупреждение. Что военный министр шутить не будет. Предварительно напугать всех тех, кто думал бы сопротивляться.

Красиво бы — и самого Бориса! Совет бы ликовал. И это было бы даже как бы продолжением давней борьбы Гучкова с великими князьями. Но чтобы быть честным — материала не хватало. Борис — щенок, и безответственный,— но не вредный.

Тем более необходима какая-то суровая мера в дни, когда расслабляется вся военносудная система. Вчера Гучков упразднил военные трибуналы всюду вне театра военных действий. Полевые суды на фронте решено оставить, но без права смертной казни. То есть глядя вперёд: теперь ни измена, ни бегство с поля сражения уже не будут караться серьёзно. Очень может быть, что не избежать в армии института присяжных — то есть судьями посадить солдат же. От военно-полевой юстиции не оставалось ничего.

Парадоксальность положения была в том, что двигаться к укреплению армии Гучков мог лишь через частичное её ослабление.

Ещё появилась от Совета довольно безумная «Декларация прав солдата»,— по безобразию уже опубликованная в газетах — ещё прежде чем поливановская комиссия её рассмотрела, а и рассматривая — пасовала. Но уж эту — Гучков имел решимость не утверждать, или во всяком случае потянуть подольше.

А ещё присяга. Правительство назначило армии присягать (вероятно зря), а вот все петроградские батальоны отказываются. (Один штаб Корнилова присягнул.) И — что делать?

И с отданием чести Гучков уклонялся день за днём, надеясь, что просветится чтонибудь к лучшему. Однако не просвечивало. В Петрограде никто не отдавал, кроме юнкеров. На всех просторах железных дорог, этапных перевозок — чести не отдавали. Армия уже перестала выглядеть армией. Так стоило ли военному министру ещё упираться?

А тут — кажется, неизбежность, под напором общественного мнения революции, отменять все боевые ордена, из-за их царского или церковного звучания,— и только георгиевский крест, конечно надо отстоять.

А тут накладывали прошений и запросов от интеллигентов, которые раньше скрывались от военной службы: надо дать им право, не подвергаясь каре, явиться к исполнению службы ныне, наряду с новопризываемыми. И — неужели же им в этом можно отказать при торжестве революции?

А на возврат дезертиров-солдат придётся положить долгий срок, месяца два, иначе и не вернутся, кто уехал далеко в деревню.

А заводы и мастерские Главного Артиллерийского управления требовали себе теперь тоже 8-часового рабочего дня — и как же в сегодняшней обстановке стать поперек рабочего прогресса?

22 депутата Государственной Думы, крестьяне, обращались к Гучкову с просьбой — увеличить выплаты солдатским семьям: 3 рубля 20 копеек в месяц по сегодняшней дороговизне ничто. И не отпускают казённых дров.

И придётся добавлять.

А тут подкладывали подписать увольнение великого князя Михаила Александровича с генерал-инспектора кавалерии и председателя георгиевского комитета.

Телеграмму от суматошного истеричного Пуришкевича, уже не знающего, как выслужиться перед новым строем, как заказаться своим: что он лично раздал на фронте полмиллиона воззваний Временного правительства и 20 тысяч «приказов № 3» (совмест-

ных Гучкова с Советом). Заверял, что настроение в армии внушает уверенность. Зато писал, накопления немцев — лихорадочны, и зловещий признак — молчание их артиллерии. Старый шут, позабывший вовремя сойти со сцены. После убийства Распутина мог бы уже и перестать трястись на виду у всех.

А тут — ожидал самим Гучковым вызванный из далёкого Карса комендант его, а прежде — комендант Ивангородской крепости, талантливый военный инженер Шварц, которого, несмотря на его немецкую фамилию, рисковал теперь Гучков назначить начальником своего Военно-технического управления.

Так минутами — Карс! Ивангород! — толкало сознание огромности, обширности всей этой трёхлетней войны, этой Армии, навалившейся теперь на Гучкова и ожидающей от него — всего.

Но уже докладывали, что прибыла и дожидается депутация Черноморского флота. Фронтовых депутатов разных, уж он привык, приезжало теперь каждый день по две-по три. Однако сегодняшняя делегация была исключительная — и Гучков, глотнув кофе и подтянувшись, вышел к ней в залик.

Чернело от формы. Стояло 30 молодцов — больше матросы, но и солдаты и штатских немного (выяснилось: рабочие). Среди моряков был капитан 1-го ранга, но Гучков благоразумно удержался подойти пожать ему руку: невозможно было теперь отличить его и возвысить, а жать руки всем подряд — Гучков брезговал, это выверт Керенского. И действительно, главным в депутации оказался не каперанг, а солдат молодой, кажется нестроевой части, Зорохович,— с живыми глазами, ещё гражданскими манерами (так и показался ряженым) и очень свободным языком. Нисколько не робея от обстановки, от министра, от солдат (он назвался председателем Центрального комитета Черноморского флота), чуть шагнул вперёд и залпом произнёс речь. И — целиком положительную. Он заверял, что боевая мощь флота не понизилась ни на йоту (так и сказал), флот и гарнизоны объединены желанием войны до победного конца, достойного великой нации (так и сказал). А поэтому они, черноморцы, приехали *требовать* от тыла неослабной работы на оборону, а Временному правительству окажут всемерную поддержку вплоть до Учредительного Собрания. А министра просил прислушиваться ко мнению севастопольцев.

Как посвежело. Гучков воодушевился:

— Старая власть по своей неспособности и равнодушию вела Россию к гибели. Теперь великая помеха убрана с народного пути. Жалкий сор, оставшийся на месте былого величия, Временное правительство выметет начисто. Не скрою: каждому из нас предстоит тяжёлая работа, но её нам облегчит глубокий государственный инстинкт, вложенный в душу народа.

Только — е с т ь ли он в народе? Смотрел, смотрел по глазам. И простодушные, и старательные, и любопытные. Больше — на Зороховича, с надеждой.

— Вы знаете, как наш прошлый режим был связан с немцем.— (Уж так прямо не думал Гучков, но так было доступнее народу.) — На наш переворот враг отозвался сосредоточением дивизий, угрозой столице...

И дальше — о свободе, о победе, о единстве,— уже привыкал язык перемалывать.

— Я стал министром — и в моих руках большая лопата, которой я выгребу всё, что себя запятнало. Но помните, господа...— может быть, надо было «товарищи» сказать? не выговаривалось,— что ошибки возможны везде. Может быть, допущу ошибку и я,— но я задумаюсь над её исправлением.

Вернулся к своим занятиям приподнятый. Корреспондентам отвечать: никаких оснований для пессимизма, настроение в войсках благоприятное, и вера в победу окрепла.

А всего-то, после великих обещаний, подкладывал ему заместитель проект демократической реорганизации военно-учебных заведений: не могли ж они остаться прежними для новой русской армии! Во-первых, принимаются в них евреи. Во-вторых, менять воспитательный состав. Но уже и не хватало толковых чинов для возглавления,— и не оставалось назначить сюда никого другого как директора военно-педагогического музея.

И: остановить трудовую мобилизацию среднеазиатских инородцев, чтобы не возникли новые волнения.

А затем пришёл Ободовский. Гучков любил этого неоценимого инженера, постоянную живость его сочувствия к военным делам, принимал его вне очереди среди военных и даже своих сотрудников.

Но вот — и он хлопотал: для технических артиллерийских заведений подписать 8-часовой день при прежнем заработке и возможности сверхурочных. И — выплатить за все революционные дни. И заводские комитеты.

Встретились молча глазами.

— Но разве это будет работа? — сказал Гучков.

— Ничего не поделать,— вздохнул Ободовский.— Всюду так. А иначе будет хуже.

Вздохнул и Гучков. Перешёл поприятнее.

— Ну как в поливановской комиссии?

Ободовский был там вне всех личных натяжений, напряжений и соперничества, наиболее беспристрастен.

— Да может, вы меня оттуда исключите? — хмурился.— Нелепо я там выгляжу, единственный штатский.

— Да за это я больше всего вас там и ценю, Пётр Акимыч.

Брови Ободовского под русо-седеющим бобриком головы иронически передёрнулись. Он не улыбнулся, но искринка юмора прошла в глазах:

— Я думаю, им недостаёт военной косточки.

— Ах вот как! — засмеялся Гучков. Повысилось у него настроение после черноморцев.— И в чём же?

— Перед Советом. Уж очень заискивают. Уж очень спрашивают разрешения и выкладывают им все материалы. И каждое только мнение, высказанное на комиссии, попадает в газеты и разносится во все казармы и окопы. И солдатами воспринимается как уже реальность. Что ж это будет?

— Да, это чёрт знает что! Подкрутите их.

Тут Гучков вдруг решился: ни у одного генерала не спрашивал, а у Ободовского первого и спросить.

— Скажите мне, Пётр Акимович, совершенно *entre nous:* а что вы думаете о генерале Алексееве? Можно его назначить Верховным?

Брови Ободовского застыли асимметрично. Сжатые губы прокачались в раздумьи.

— Вот,— решился Гучков, достал ему из стола папку с последним унылым письмом Алексеева о развале и слабости армии. Ни от одной фронтовой делегации не веяло подобным.— Прочтите.

Ободовский не удивился. Отсел в комнате тут же, быстро прочёл, вернул.

— Ну что?

Пожал нервными плечами. Но ответил без всякого колебания:

— В настоящее время — не годится он в Главнокомандующие.

Гучков мысленно поставил в графе Алексеева второй минус, первый был свой.

Ободовский ни минуты не задерживался дольше дел. Вот уже всё кончил, и:

— Некоторый неловкий случай. Сегодня Керенский просил меня привезти к нему на встречу нескольких полковников из Военной комиссии.

Что такое?..

— Зачем?

— Как говорит: хотел бы немного познакомиться с военными делами.

— А зачем ему?

Ободовский пожал плечами.

Бестактно. Как и всё бестактно, что делает Керенский. Само по себе бестактно — да ещё почему же не спросить Гучкова прямо?

Мальчишка! Приказчик революции.

Но запрещать — смешно. Чувство юмора.

— Ну что ж, свозите.

Пока Гучков готовил ведомость на генералов — кто-то уже готовил и на него.

608″

(п о с в о б о д н ы м г а з е т а м, 13—15 марта)

АМЕРИКА НАКАНУНЕ ВОЙНЫ.

ГЕРМАНО-АМЕРИКАНСКИЙ КОНФЛИКТ. Великая заатлантическая республика в случае открытия военных действий... Правительство Соединённых штатов будет в изобилии снабжать державы Согласия деньгами и снарядами.

...Великая Заатлантическая республика не могла примириться с лишением прав целой категории русских граждан на том основании, что они исповедуют другую религию. Соединённые Штаты отказались от заключения торговых договоров с Россией. Во время войны американские банкиры охотно финансировали Англию и Францию, ао Россия не могла пользоваться американским кредитом. Теперь всё это разительно изменилось. Из телеграммы банкира Якова Шиффа мы видим... Приветствие американского посла носило интимно-сердечный характер. Америка становится из преданнейших наших друзей. Воинственное настроение американских политических и финансовых кругов... «Самая молодая» демократия увлекает за собой «самую старую»...

(«Биржевые ведомости»)

Речь сэра Бьюкенена произвела на многих тягостное впечатление. Она заключала такие указания, от которых представитель Великобритании при Временном правительстве мог бы удержаться. Если при господстве старого режима сэр Бьюкенен выходил из рамок дипломатического представителя, то это объяснялось понятным недоверием британского народа. Заподозрить же русскую демократию в возможности нарушения международных обязательств... С правительством русской демократии надо говорить иным языком, чем с германофильским правительством Николая II.

НЕМЕЦКИЙ НАТИСК. Почему именно на Петроград? Значение Петрограда для России ярко выявила революция: достаточно было совершиться желанному перевороту в столице, как сейчас же и уже легко стала под знамя свободы вся провинция.

Телеграмма генералу Корнилову. Редакция «Утра России», отражая патриотическую тревогу, горит желанием отдать все силы достижению святой цели победы и просит вас, любимого армией вождя, дать нам возможность обратиться вашим именем к миллионам читателей с призывом: Отечество в опасности! враг у ворот!

У ЕПИСКОПА АНДРЕЯ УХТОМСКОГО. «Сейчас выезжаю на Северный фронт, меня вызывает Гучков телеграммой. Надо спасти родину, озарённую ярким светом свободы. Я ехал три дня по России. Русь святая сейчас великолепна в своём величии. Она знает, что грозный враг при дверях, и молится. А на улицах Петрограда многое мне не понравилось. Нет, не так нужно праздновать великие дни свободы.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПОЕЗДКИ НА ФРОНТ. Прибывшие из поездки по Рижскому фронту депутаты Ефремов и Макогон... Настроение армии не оставляет желать лучшего. Офицеры и солдаты клянутся в дальнейшем проливать свою кровь. Какое вдумчивое понимание момента! Какое спокойное сознание своего достоинства. На защиту интересов дисциплины стали сами солдаты. Как они теперь подходят с рапортом, как стоят на часах! — гвардейцы! Праздничный энтузиазм слился с будничным экстазом.

...член ГД Дзюбинский заявил: Я только что вернулся с фронта. Повсюду мы видели полное единение офицеров с солдатами. Только теперь, говорили солдаты, мы поняли, за что мы боремся. Напрасно из Петрограда нас тревожат разными листками. Мы умрём все до единого, но не допустим немца.

...При старом режиме между офицерами и солдатами была пропасть... Офицер, избавленный от полицейской роли, станет вождём на поле битвы. Если подвиги совершали прежде рабы — то что же теперь совершат свободные люди!

(«Новое время»)

ХЛЕБ ВЕЗУТ! Известия с мест всё более отрадны...

Норма реквизиции хлеба у землевладельцев с посевной площадью более 70 дес. На продовольствие до нового урожая оставляется по 1,25 пуда на душу в месяц... Для ярового посева... Для рабочих лошадей...

Речи к народу... Но, согласитесь, правительство не с улицы пришло и не вчера познакомилось с государственными вопросами... Бросается в глаза их длинная заслуженность в общественной работе. О таланте подождём говорить, пока не выяснятся успехи. Прежде чрезвычайно трудно было сочувствовать власти, при смрадном происхождении правительства... В нашей несчастной стране, доведенной самодержавием до политической одичалости...

...Господа рабочие и господа солдаты! Ради вашего же спасения не откажите поддержать выдвинутую власть. Народ тоже обязан связать себя клятвой верности правительству. Образованные народы удивляются спокойствию и порядку, с каким у нас совершена революция.

(«Новое время»)

БУНТ ИЕРАРХОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. Они протянули свои белые руки к власти. Они не хотят, чтобы церковные преобразования провёл бы представитель Временного правительства. Шесть епископов вышло из состава Синода, осталось три члена. Они тешат себя надеждой, что образуется клерикальная гвардия для борьбы с Временным правительством.

Но правительство несомненно полней выражает голос мирской церкви, чем иерархическая среда,— и назначить петроградского митрополита предпочтительней правительству, чем на соборе архиереев. Церковное переустройство можно осуществить только путём внутреннего переворота, подобного революции...

(«Русская воля»)

РЕЗОЛЮЦИЯ ЛИТЕРАТОРОВ. Высоко оценивая огромную роль Совета Рабочих Депутатов, глубоко сожалеем о его попытках ограничить свободу слова и печати. Не должны первые шаги освобождения страны направиться на путь угнетателей свободного слова.

...В. Л. Бурцев, поставивший своим девизом борьбу за свободное слово, скорбит, что в настоящее время вынужденно замолкли так называемые черносотенные газеты.

...Свобода печати может быть скверно использована злостными демагогами. Свобода печати для них — механическая свобода писать и набивать умы читателей дребеденью.

(«День»)

СВОБОДА СЛОВА. Временный суд разбирал обвинение солдата в критике вслух в трамвае Совета Рабочих Депутатов за запрет «Нового времени». Допрошены свидетели обвинения. Обвиняемый не агитировал, а лишь критиковал постановление СРД в спокойном разговоре с соседями... Обвиняемый в последнем слове заявил, что всецело признаёт новый строй. Найдено, что он невиновен.

ОТМЕНА СМЕРТНОЙ КАЗНИ ... В военно-судное управление министерством юстиции было представлено два проекта: абсолютной отмены и с сохранением казни за шпионство и измену. Утверждена — абсолютная отмена.

...Военно-прокурорский надзор 5 армии с беспредельной радостью принимает весть об отмене смертной казни.

ПРЕТЕНЗИИ АРЕСТАНТОВ. Многие лица, обвиняемые по чисто-уголовным статьям, причисляют себя к политическим — и требуют полной амнистии. Рассмотрение дел затруднено тем, что все документы многих арестантов уничтожены во время пожара в Бутырской тюрьме.

...По роковой случайности из кронштадтских тюрем при освобождении политических были освобождены и все уголовные...

АРЕСТ БАДМАЕВА. По приказанию следственной комиссии произведен обыск... Ведь должны понимать люди, что в Тибете не знают ни химии, ни физики, ни физиологии. Нет и не может быть никакой «тибетской медицины».

К аресту Марии Павловны... Стояла во главе заговора. Много компрометирующих документов...

Постановление об аресте Кшесинской... Прокурорскому надзору поручено ознакомиться с корреспонденцией, забранной на квартире балерины... Кроме того, предстоит арест двух сослуживцев её по сцене.

БЕСЕДА С КНЯЗЕМ ЮСУПОВЫМ, ГРАФОМ СУМАРОКОВЫМ-ЭЛЬСТОНОМ.

...Юсуповский дворец на Мойке, особняк одного из богатейших людей России... Хозяин уже прибыл из ссылки. Прислуга дворца влюблена в молодого князя. «Вы, конечно, приехали узнать о Распутине? Но стоит ли говорить об этой грязной личности? При дворе знали, какого я мнения, я открыто возмущался. Узнав о перевороте, я не был удивлён. Я давно предвидел, что Двор катится по наклонной плоскости. Государыня вообразила, что она — вторая Екатерина Великая. Они не вняли голосу своих близких. Николай Александрович за последний год окончательно потерял волю и всецело попал под влияние Александры. За последнее время государя довели почти до полного сумасшествия, его поили тибетскими зельями. Я бы сказал многое, но не хочу в такое тревожное время обливать грязью тех, которые для России уже не играют никакой роли. Одно скажу: при дворе царил какой-то кошмар.»

...Трезво и насмешливо смотрит русское общество на запоздалый либерализм Кириллов, Михаилов и т. д., не очаровано новоявленными Филиппами Эгалите с их голштинскими дамами. Первой крысой оказался Кирилл Владимирович, любимец пресловутой Марии Павловны, которую надо поставить во главе немецкого шпионства. Его нелепые интервью... Достаточно нам сказать: «мой дворник и я» — чтобы мы растаяли?..

ОТМЕНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ. Временное правительство постановило снять с акционерных компаний ограничения относительно лиц иудейского вероисповедания и иностранцев.

Одесса. Прибыла депутация жителей города Ольвиополя и сообщила, что темные силы угрожают еврейским погромом. Генерал-губернатор предписал херсонскому губернатору послать комиссара в сопровождении войск. Туда же из Одессы послан летучий отряд.

Письмо в редакцию. Гвардейский экипаж сим заявляет, что слухи о том, будто бы на колокольне морского Николаевского Богоявленского собора в великие дни революции были поставлены пулемёты, производившие обстрел восставшего народа, лишены всякого основания. Подтверждено осмотрами.

...Великое событие, единственное в истории всех революций по скоротечности в бескровию, когда в несколько часов одна шестая часть света руками петроградцев скинула с себя оковы. Петроград, которому особенно надоел старый строй, взял да и бросил его в тартарары. Сделал это самый нерусский город в России,— и вся Россия сразу приняла весть из Петрограда как благовест. И наша умная Россия взяла да и стала свободной.

(«Новое время»)

Необходимо срыть чудовищно-мрачные мозолящие стены Петропавловки, а на открывшейся площади воздвигнуть памятник Свободы, не ниже шпица Петропавловского собора... И строить памятник Свободы не из простых камней, но из казематов со всей России.

...Леонид Андреев боится развала. По его мнению, необходима дисциплина. Смешно! У нас о развале нет и помину. Вместо развала — спокойные ряды. Говорили, что усиливается пораженчество. Но я не видел ни одного знамени «долой войну». Наше настоящее прекрасно.

Срочные меры к охране заводов спирта...

ТОВАРИЩИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ! Перед нами — ядовитый соблазн. Уже вспыхнули горячие споры, кого из начальства выбросить, страстно заговорили о предъявлении всяких требований, возможны забастовки,— и всё это захватит в плен нашу душу. Сколько же сил останется у нас для

выполнения служебиого долга? Жалкий остаток. Нет, товарищи! Прочь все шкурные интересы, а святой долг перед родиной пусть наполнит пламенем нашу душу...

К населению Петрограда. Комиссар Петрограда и Таврического дворца обращается к населению с призывом возвращать войскам оружие, как-то: пулемёты, винтовки, револьверы, штыки, ручные гранаты, пулемётные ленты...

...В радикальности устройства милиции мы уже обогнали Англию. Не надо жертвовать интересами охраны нового строя ради ложно понятых принципов демократизма.

ПРАЗДНИК РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В МОСКВЕ. Демонстрация 12 марта в Москве... Около часа дня показалась группа всадников. Гремит «ура». Это едет командующий войсками подполковник А. Е. Грузинов во главе своего штаба. «Ура» переносится из конца в конец, с колоколен раздаётся звон. Праздников праздник!

Собрание духовных певцов г. Москвы. Наиболее желательной формой правления признана демократическая республика. Затем собрание перешло к обсуждению, как певцам свергнуть иго хозяев.

МИТИНГ ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВ в Михайловском театре... К сожалению, немало времени было потрачено на патриотические заявления общего характера, становящиеся уже общим местом. Были также выпады чисто личного характера. Страстное и сбивчивое отношение к речам постепенно повышалось. Немало выступало ораторов, совершенно неведомых миру. Ряд выпадов против Горького... Выбрать комитет не смогли: не прошел ни один список.

...В воскресенье 12-го я председательствовал на митинге искусств. У меня лично осталось несколько кошмарное впечатление от того, что происходило, и от принятых резолюций... Мейерхольд совершал оскорбительные личные нападки против Николая Бенуа, чьи критика его спектаклей... Ограниченный фанатизм, требующий, чтобы прекратилась всякая свободная инициатива в вопросах искусства...

Вл. Набоков

УСПОКОЕНИЕ. Харьков. Жизнь протекает в образцовом порядке. Всякие легкомысленные выступления и грабежи локализованы в их начатках. После освобождения политических из каторжной тюрьмы возникли переговоры уголовных с окружающей толпою, причем арестанты стали пилить наручники и решётки. Толпа грозила арестовать начальника тюрьмы. После убеждения толпы словом, а арестантов военной силой, волнения улеглись. Было предположено выпустить 50 военных арестантов, но вместе с ними двинулись к воротам 700 уголовных, которые сдержаны подоспевшим конвоем. Двое убиты.

Киев. В исправительном арестантском отделении неспокойно. Военный комиссар посетил все камеры и разъяснил происходящие в стране события. Заключённые возбудили ходатайство о снятии с них позорных кандалов и поклялись, что не воспользуются этим для нарушения порядка. Кандалы сняты. Заключённые передали комиссару 1300 рублей на национальный памятник свободы.

Винница. Из местной тюрьмы сбежало 300 уголовных преступников. Часть их направилась в Киев.

Одесса. Родственники арестованных уголовных собирали толпы вокруг полицейских участков якобы для освобождения политических.

Баку. Торжество омрачилось бегством из центральной тюрьмы свыше 600 арестантов: уже несколько дней в тюрьме волновались, требуя участия в торжествах.

Астрахань. В связи с происшедшим 9 марта побегом трёхсот арестантов местной тюрьмы Исполнительный комитет постановил арестовать всю тюремную администрацию.

Тифлис. На митинге казаки заявили, что преисполнены готовности снять с себя пятно злополучного 1905 года. ... Казак заявил от имени своего полка: «Долгие годы мучила нас совесть, что в 1905 пошли мы против народа. Прости нас, Русь,— поклонился на 4 стороны,— мы постараемся смыть с себя старый позор.»

Одесса. Многолюдное собрание купечества решило обратиться с воззванием к фабрикантам и купцам отказаться от высоких прибылей, чтобы доказать чуждость спекулятивным намерениям.

Омск. Брешко-Брешковская встречена командующим войсками Округа и восторженной толпой. С митинга вынесена на руках, объезжала казармы. Остановилась в бывшем дворце генерал-губернатора.

Екатеринослав. Мало работников, особенно в уездах. Теперешним грозит переутомление.

В Харьковской губернии состоялись крестьянские сходки. Крестьяне относятся к событиям вдумчиво и в огромном большинстве высказываются за республику. Авторитет царизма совершенно пал.

...Деревенские женщины по большей части плачут, что нет на престоле царя: пусть хоть плохонький, а должен быть.

В Бендерском уезде крестьяне доставляют комиссару золотые монеты.
В Мензелинском уезде ограбили мануфактурных торговцев.

...Готовятся под Москвой и в Крыму санатории для освобожденных политических.

...В Таврическом дворце получено известие, что Плеханов в Россию не приедет...

...Среди арестованных за последнее время — много бесприютных детей, по подозрению в краже.

...Всемирный пансоциалистический союз пяти угнетённых — рабочего, женщины, интерриториалия, учащегося и личности — зовёт всех угнетённых на собрание в столовой вегетарианского общества. Учащиеся! Если желаете освобождения из школы-казармы... Развитые личности, тяготящиеся принудительными нормами,— прийдите!.. Прийдите все обиженные, оскорблённые и вдовольные!

Общее собрание евреев-учащихся средних учебных заведений переносится на...

ИСТОРИЯ ЦАРСТВОВАНИЯ НИКОЛАЯ II. Художественное издание. *Открыта подписка...* **Темные силы, эпоха Распутина, интимная сторона царствования — будут широко и полно освещены.**

ИНДЕЙКИ И ГУСИ откормленные, из Воронежской губ., по сходным ценам.

ДОХИ ИЗ СИБИРИ.

Требуется хорошая кухарка, знающая еврейскую кухню, умеющая хорошо готовить в пасхальную неделю, на хорошее жалованье.

МАЦА *1-го сорта с гехшером Раввина продается по выгодным ценам.*

ПОДВОДНАЯ ВОЙНА. БЛОКАДА СЕВЕРО-ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА.

НАЧАЛО БОЛЬШОГО СРАЖЕНИЯ НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ.

Голодные беспорядки в Германии. Уменьшение рационов вызвало тревогу...

РЕФОРМЫ НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ. Отставка генерала Эверта встречена с большим удовлетворением. Началась чистка армии от престарелых военачальников и различных протеже. Устраняются командующие армиями генералы Горбатовский и Смирнов. Омоложение командного состава вызывает одобрение армии.

Впечатление депутатов от поездки на фронт. Боевая сила армии увеличилась по крайней мере в 5 раз. Если бы теперь пришлось перейти в наступление, то никакая сила не остановила бы солдат, воодушевлённых переворотом. Пораженческие газеты рвутся солдатами.

...Явление самовольных отлучек солдат является позорным и недопустимым. Воины свободной России должны знать и твёрдо помнить...

...Всё очарование революции в этом лозунге: «Победить или умереть». Когда был «нижний чин» — тогда нужен был и «устав внутренней службы». Но когда солдат — свободный гражданин, то нужны сознание долга и любовь к родине. Пусть дым фабрик сольётся с дымом орудий — и тогда мы победим врага.

(*«Новое время»*)

... Не умер ещё, к несчастью, лозунг «долой войну», на митингах к нему прислушиваются. Но удельный вес его падает. ...Большевики почему-то предполагают, что их обращение прекратить войну будет уважено немецкими рабочими.

...Трон Вильгельма будет опрокинут штыками вот этих депутатов, которые составили Воззвание к народам. Ибо оно несёт не мир, но меч.

Учредительное собрание будет в Петрограде. Вопрос решён бесповоротно. Совет Рабочих Депутатов находит...

В ТАВРИЧЕСКОМ ДВОРЦЕ. НАСТРОЕНИЕ ДЕПУТАТОВ. Одни утверждают, что с созывом Учредительного Собрания следует ждать конца войны... Другие: нельзя откладывать, оно само будет работать более года. Раздаются иронические возгласы: «с каких пор кадеты стали выдвигать лозунг демократической республики?»

СКОЛЬКО ВЛАСТЕЙ? Совет Рабочих Депутатов не представляет собой правительства. Но как орган тех классов населения, которые дали России свободу, должен стоять на страже интересов революции — и в тех случаях, когда им угрожает опасность со стороны Временного Правительства,— демонстрировать силу.

...Страна должна знать, кто говорит именем Рабочих и Солдатских Депутатов. Совету необходимо опубликовать полный список всех его членов — притом подлинные, настоящие фамилии и имена. Общее собрание Совета не знает, кто выступает в законспирированном под старым псевдонимом виде. О какой политической ответственности может быть речь, когда деятели скрывают свои подлинные имена и фамилии? Мы не станем разбираться в мотивах, почему считают нужным прибегать к маскировке. Она была понятна в самодержавное время. Теперь, в изменившихся условиях, нелепо продолжать старые приёмы, в сущности оскорбительные для революционной свободы. Такая же анонимность принята и при подписании резолюций митингов. «Правда» публикует резолюцию Бюро ЦК РСДРП против войны и общаться с германскими солдатами — и никем не подписано. Какие деятели выпускают на свет такие ответственные лозунги?

(«Русская воля», 15 марта)

ИНТЕРВЬЮ КНЯЗЯ ЮСУПОВА. ...Я считаю, что новое правительство спасло Россию и русский народ от гибели и выведет его на путь прогресса. Новая Россия уже куётся. Сейчас у власти стоят сильные люди. Родзянко и Гучков пользуются огромной популярностью, также и среди крестьян... Деревня? — ещё не осилила совершившегося и с трудом разбирается в том, что произошло.

О ХЛЕБНОЙ МОНОПОЛИИ. Старое продовольственное ведомство обратилось к хлебной повинности,— но отсутствовал широкий государственный масштаб. Теперь при известном крутом повороте руля возможно поднять результативность. Нужно вызвать отток хлеба от крестьянских амбаров и умело направить в потребительские центры. Это — вопрос успеха русской революции. Нужны решительные действия... Хлебная монополия — героическое мероприятие. Она неизбежна для России, но нельзя проводить её карьером без общественной призмы, которая даст преломление основных линий мероприятия.

...С большой неосновательностью поднимается вопрос о свободной торговле хлебом. «Революция должна расковать хлебную торговлю» — вот погудка крупных аграриев. Но у русской торговли ещё мало развит государственный инстинкт.

(«Биржевые ведомости»)

...После введения таксы исчезли из продажи мясо, колбаса, масло... Эти алчные грабители ставят нам преграды... Свести с ними быстрые и решительные счёты. Трёхмесячное заключение для них ничто, нужны самые суровые кары!

(«Русская воля»)

8-ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. Не столь простой вопрос. Реформа совершилась с лёгкостью, не соответствующей моменту. Сокращение рабочего дня не должно уменьшить производительность предприятий, связанных с обороной, накануне может быть генеральных боёв с немцами. Разумеется, если на рабочих лежит долг отдавать силы, то владельцы предприятий должны забыть о невероятных прибылях, которые извлекали они из работ на оборону. Мы надеемся, что компромиссы будут найдены, чтоб Россия не пострадала от успеха петроградских рабочих.

У т е ч з о л о т а русского за границу принял опасные размеры. Перекупщики, китайцы и корейцы, платят старателям больше, чем предлагает русская казна. Вдоль всей нашей китайской границы германские агенты устроили скупочные конторы. Ежегодно с приисков исчезает не менее 1600 пудов золота...

Заем Свободы должен стать делом всего народа. Создать комитеты пропаганды... Привлечь к агитации...

Когда же отмена смертной казни? ...Чем радостней было принято известие об отмене смертной казни, тем тягостней проходили последующие дни, не принося официального акта. Каждый день промедления ложится пятном на русскую демократию.

...Трепетания красного флага над Петропавловской крепостью я не забуду до моего смертного часа. Д. Минаев писал много лет назад:

Есть у нас одна нелепость:
От Петра до наших дней
В Петропавловскую крепость
Возят мёртвых лишь царей.
Но когда ж те дни настанут,
С нетерпеньем ждём мы их,
Что возить в ту крепость станут
Императоров живых?

Почему бы не свезти туда Николая Романова?

...Временное правительство распорядится с бывшим царём по-своему, и пусть никто не смеет требовать правосудия.

(«Русская воля»)

АМНИСТИЯ УГОЛОВНЫМ ПРЕСТУПНИКАМ. В министерстве юстиции идёт срочная разработка проекта. По отдельным видам преступлений амнистия будет полная.

Арест ген. Н. И. Иванова в Киеве... Очень взволновался. Заявил, что уже присягнул новому правительству и готов ему верно служить.

А р е с т о в а н редактор газеты «Земщина» Глинка-Янчевский.

Б О Р Ь Б А С О Ш П И О Н А М И... Контрразведывательные органы обслуживаются верными людьми. Этих людей нельзя смешивать с агентами прежнего полицейского сыска.

ЕСТЬ ЛЮДИ! Предстоит организационная работа громадной важности — и она будет сделана блестяще. Все охвачены энтузиазмом, опрыснуты сказочной водою жажды свободы. Людям больших дарований старое деспотическое правительство не давало простора, подбирало никаких угодников, бесстыдных опричников. В общественное сознание вбивалась клевета, что нет людей. И посмотрите, сколько оказалось людей, способных мудро творить государственные дела! Первые шаги, самые трудные и опасные, сделаны художественно-мастерски! А уж вести Россию дальше — тем более люди найдутся, страна может быть спокойна.

(из письма военного летчика) ...Энтузиазм я подъём духа такие, что если не подгадите там, в тылу, то границы между возможным и невозможным падут. Дойти до Вены, до Берлина? — кажется совершенно правдоподобным. Революция произошла на фронте как дивная святая молитва.

...Получен ряд телеграмм от различных еврейских общин и кооперативных объединений из Нью-Йорка, Гааги, Лондона с приветствиями по поводу совершившегося переворота.

...Еврейский и немецкий вопрос требуют в крестьянстве правильного освещения.

О портретах Александра II. ...он не запятнал себя ничем позорным, подобно своим потомкам,— и присяжные просят повесить портрет в зале окружного суда.

...За все унижения и притеснения латышского народа — латыши ответили верностью русскому государству: стали стальной щетиной на Двине.

Телеграмма из Ниццы. «Всецело становлюсь на сторону Временного Правительства. Савинков.»

ПЛЕХАНОВ ПРИЕЗЖАЕТ! — слух был неверен.

У х о д Г. Г. П е р е т ц а. Ввиду сильного нервного переутомления комендант Таврического дворца полковник Перетц подал рапорт об уходе. Это вызвало всеобщее сожаление. Пожелали уйти и все адъютанты, состоявшие при нём, и преображенцы, несшие караульную службу.

8-часовой рабочий день начинают осуществлять явочным порядком. Извозопромышленники и ломовики постановили не выезжать на работу после установленного часа — и останавливается разгрузка продовольственных продуктов на станциях, а есть подверженные порче.

...На всех столичных рынках происходят собрания прислуги.

На телефонной станции. Из 19 тысяч испорченных во время революции телефонов приведено в исправное...

П Р О И С Ш Е С Т В И Я. 14 марта на Николаевском вокзале задержана группа милиционеров в студенческой форме, вооружённых с головы до ног. Оказались самозванцами, выслеживали удобный момент для производства кражи серебра, прибывшего в двух вагонах.

М о л е б е н н а м о с к о в с к о м п о ч т а м т е в честь совершившегося переворота.

В КРЕМЛЕ. Специальная комиссия по распоряжению комиссара Москвы приступила к приёму дворцов и соборов. Для приёма икон будут приглашены специалисты и опытные оценщики камней.

В Гельсингфорсе скончалась жена убитого адмирала Непенина.

Владикавказ. Грандиозная встреча депутата Караулова.

Киев. Клуб националистов переименовался в клуб прогрессивных националистов.

Елизаветград. Из тюрьмы бежало 500 уголовных. Говорят, имели в виду устроить погром. К вечеру 200 беглецов возвратились.

Николаев. Уголовные местной тюрьмы сообщили депутату Государственной Думы, что решили получить свободу хотя бы через тела надзирателей.

Одесса. В Одесском тюремном замке — «конституционное управление». Стража устранена. Власть начальника тюрьмы строго ограничена, управление тюрьмой — в руках комитета из 10 заключённых, в нём — знаменитый бессарабский «рыцарь больших дорог» Григорий Котовский, смертник, помилованный ген. Брусиловым. Охрану тюрьмы несут сами заключённые, давшие честное слово. Митинг арестантов отправил приветственную телеграмму правительству. Выборные ходят в город за покупками.

Харьков. Специальная комиссия работает над архивом охранного отделения. Найдены списки агентов, среди которых оказались видные деятели рабочих организаций, представители интеллигенции, кооперативов и учащиеся высших учебных заведений.

Сызрань. Бежавший из Симбирска под видом извозчика исправник арестован. Пытался повеситься, вынут из петли.

Понижение цен на продукты. Обильный привоз на базары... В Нижнем-Новгороде отпечатано четверть миллиона воззваний Родзянко с призывом подвозить продукты.

Голос земли. В Исполнительный Комитет продолжают поступать приговоры волостных сходов. Вот выдержки:

«...желателен республиканский образ правления с избранием президента по образцу Америки и Франции. Конституционный образ теперь является запоздалым...»

«...Учитесь терпению у крестьян. Берите всех нас на войну. Отберите зерно, скот и всё имущество, но пусть русское „ура" докатится до Берлина.»

...В деревнях настроение у всех праздничное. Об отречении Николая II говорят: «Так и надо, давно пора!» Крестьяне воспрянули духом и ждут разгрома немцев.

Устюжна. В уезде — лесные порубки.

Кое-где отбирают у помещиков землю, избивают агрономов. В с. Конюхове Рязанской губ. крестьяне разгромили квартиру присяжного поверенного, рояль разрубили на дрова, а бархатную обивку мебели разделили на штаны.

В Нижегородской губернии крестьяне радостно встретили весть о свободе. Преобладают республиканские тенденции. Были случаи разгрома помещичьих усадеб и вырубки частных лесов.

Отменить постоянные абонементы в Мариинском театре, наследственное право кучки феодалов...

ПОКУПАЮ ПО ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ Бриллианты, Жемчуг, Золото, Серебро, Ломбардные квитанции.

СЧАСТЬЕ ЖЕНЩИНЫ В ЕЕ РУКАХ. Особый японский крем для лица.

Нужна прислуга без мужских знакомств.

КУЧЕР НУЖЕН, хорошо знающий езду на молодых кровных лошадях.

Добрые люди, укажите отцу, где находится пропавшая 5-летняя дочь, ушла к Николаевскому вокзалу, одета в...

609

В мирном домашнем Тамбове все дела во всех учреждениях всегда успевали сделаться до двух часов дня. По всем бумагам принимали решения, успевали отписать, куда надо, убрать в столы и в шкафы и разойтись по домам, кроме разве уж самых мелких служащих. И после того, в разумно просторное оставшееся время суток, отдавали себя удовольствиям: обильным медлительным трапезам (никто никогда в Тамбове голодным не сидел); карточным играм; катанью по Большой улице в экипажах; гулянию в городском саду, где играл военный оркестр; летом — катанью на лодках по Цне и её рукавам — от самого городского берега и в дальние прибрежные леса на пикники, с раздольными песнями на пойме; зимой — ёлки, балы, маскарады, взаимные визиты и опять же катанье на рысаках (губерния изобиловала конными заводами). А ещё ж любительские спектакли и в них соревнования дам!

С войны стало потемней: и в учреждениях больше работы, и треноги о своих, ушедших на фронт.

А уж с революционных дней и вовсе стало напряжённо: пришли в движение неожиданные, до сих пор не известные горожане и вопросы.

В центре стал председатель губернской земской управы — а теперь вновь губернский комиссар — дворянин Юрий Васильевич Давыдов. При нём создался и губернский комитет — как новая революционная власть, и губпродсовещание, а заместителем к комиссару стал присяжный поверенный Шатов, убеждений весьма левых (впрочем, и Давыдов тоже). И тамбовский губернатор Салтыков и гарнизонный генерал признали комитет и подчинились ему без сопротивления. Распахнули двери тюрьмы, и оттуда освободились семеро задержанных по политическим мотивам. И так уже 3 марта в Тамбове бескровно совершилась революция. 8 марта догадались снимать государственные гербы. Давыдов одним приказом устранил от должности всех классных и низших членов полиции и приказал сдать дела. Только начальник губернского жандармского управления с помощником не подчинились тому честно, а вырывали из дел страницы, из папок вынимали листы

и уничтожали их, якобы «по нравственным соображениям»,— и Давыдов распорядился арестовать их обоих и сам архив. Поступали и свежие политические доносы, но большей частью анонимные, Давыдов велел не рассматривать их. Рядовых полицейских, кто моложе, направляли в армию, а старших возрастом охотно приняли в новую революционную милицию (возглавленную нотариусом), ибо оказалось, что некому нести службу порядка: никто новый не соглашался идти за 52 рубля в месяц. Да что там — домовладельцы и дворники стали тротуары плохо чистить.

Теперь выдавали полноправные документы административно-ссыльным — Тамбовская губерния всегда была разрешена для проживания их, да и собственного славного революционера когда-то выдвинул Тамбов — Балмашова, убийцу Сипягина, не говоря уже о несколько смутной, но ярко взлетевшей Марии Спиридоновой.

Открывались светлые просторы, омрачённые, однако, конкуренцией власти. Хотя в городской думе, только что избранной, была сильная интеллигентская группа «прогрессистов», да и противники их, «деловая группа», тоже не консервативны,— в Тамбове возник и стал собираться в лучшем зале города, в Нарышкинской читальне,— Совет рабочих депутатов и требовал признать себя высшей властью в городе. Но лица — совсем неизвестные, а собственно рабочих в Тамбове почти не было. Собирался Совет — не густо, и в читальном зале находились дни для собраний то торговых приказчиков, то еврейских ремесленников, то гимназистов, а то было устроено молебствие трёх тысяч магометан за спасение России.

Ещё одна была видная фигура в Тамбове — губернский предводитель дворянства владетельный князь Челокаев, гофмейстер и член Государственного Совета. Ещё 10 лет назад он был довольно прогрессивен и против губернатора. Но в 1907 крестьяне сожгли его имение — и он стал сторонник жёстких консервативных мер. Однако сегодня у него не было опорных сил для оппозиции, и шёл ему 77-й год, и наконец он приходился Юрию Васильевичу — родным дядей.

Положение губернского комиссара равнялось прежнему губернатору, и Давыдов должен был бы занять губернаторскую канцелярию. Но он больше держался своего привычного кабинета на 2-м этаже земской управы — массивного каменного здания на углу Большой и Араповской, откуда и видна была ему вся центральная городская площадь перед собором и монастырём. Продолжая и дела земской управы, там принимал он большую часть посетителей — и туда же к нему пришёл сегодня и его шурин Александр Львович Вышеславцев, москвич.

— Саша! Откуда? Сейчас приехал? с вокзала?

В другое время, поспокойней и повнимательней, заметил бы Давыдов, что шурин его что-то слишком рассеян, даже расстроен. Но сейчас он сам был так возбуждён и переполнен деятельностью, да и не виделись от дня революции:

— Ну, каково, а? Каково, голубчик, мы отмочили? — встретил его на середине кабинета, обнимал и тряс.— Дождались, а? Ещё при нашей жизни вдруг дождались!

Вышеславцев виновато улыбнулся. По мягкому лицу его — со лба, через глаза и на щёки, как бы постоянно стекало тихое облачко осветлённости, как это нередко бывает на русских образованных лицах.

А Давыдов, усадив его и рискуя оказаться неучтивым, расхаживал по ковру и с размахами рук рассказывал о себе, о своём — да потому что это было не своё, а Тамбов, а губерния, а вся Россия! Ослепительна была общественная победа, и каждое событие и известие пело об этом, и безграничны, бездонны развернувшиеся перспективы, но может быть самое затаённое, да, вот что чувствовала всякая душа болельца за народ, и конечно изгнанника брата Васи бы сейчас: происходит искупление столетней дворянской неправоты! — нашим участием в революции, и как доверчиво революция приняла нас и свой поток!

— Но что в Москве? А в Москве как? Ты рассказывай!

Нет, Вышеславцев не вскидывался из кресла, не разбегался размахивать руками, хотя был моложе зятя почти на десять лет. Он всё так же смотрел мягко-рассеянно, светло-растерянно.

Да он, оказывается, и не прямо из Москвы: он сейчас на обратном пути, из Волохонщины. Туда ехал по борисоглебской ветке, через Жердёвку. (Кстати, мужики стали драть за пару лошадей по рублю с версты.) А оттуда сейчас, своими лошадьми, через Каменку и Ржаксу.

— В Каменке, Юра, за что Владимира Мефодьича арестовали? Как это может быть?

— Да этот дегенерат, учителишка Скобенников! Объявил себя волостным комиссаром, таких и не бывает. Вместе с акушеркой вытребовали милиционеров, что, мол, попечитель — враг нового режима и *сеет семена.* А просто акушерка мстила ему, он увольнял её. А Скобенников раньше перед попечителем просто лакейничал, и в соглядатаи лез, а теперь, видишь, взыграло, распрямился. Но пока туда-сюда, пока в Сампуре приняли моё распоряжение — а старик две ночи отсидел ни за что, и в клоповнике. Безобразие! И сейчас я его пока просил в Каменку не ездить, не дразнить. Но и тоже наш народ! Какую больницу, какую школу старик им поставил, лечил, научил,— а выводили под саблями — стояла толпа, смотрела бараньими глазами, и никто в защиту.

— А Плужников?
— Плужников был тут, в Тамбове. И ко мне приходил.— Усмехнулся Данылов.— Ещё не хватало нам этих деревенских политиков. Плужников возмущается, что у Родзянки лучшего слова не нашлось, зачем и новое правительство с того ж начало: «везите хлеб!». Мол, сперва пусть город нам товары везёт. Сейчас если все вот так за политику возьмутся... Ну, а что в Волохонщине? Что ты ездил? Проведать? Как Людмила Христофоровна?
— Мама? — вздохнул.— Мама — пока ничего...
Спинка кресла за Вышеславцевым была не ровная, а откинутая назад — и так он сам как бы падал назад. И с тем же растерянно-озабоченным выражением:
— Да не просто проведать, а знаешь... Сердце не на месте. Поехал... как бы чего...
— Ну-у-у, куда! Ничего такого не будет! Посмотри, какая светлая дружелюбная общая атмосфера! Крестьяне всё понимают — и ничего не тронут. Во всяком случае тех, кто был к ним хорош. У меня в Каменке — усадьба, лес, и я ни за что не беспокоюсь. И ваша Волохонщина в Пятом году тоже не бунтовала, чего ты вдруг?
— А у меня — сразу встала тревога... И я поехал. И у мамы, оказалось, тоже. Даже, знаешь, такое настроение: если б можно было всё продать как попало да перевезти своих в Тамбов или в Москву...
— Ну — что ты придумал?!
— Три женщины, что они там могут? Да и кому теперь продашь? Да и не поднимется рука... Разрушить родной угол?..
Медлил. (Подъезжал — краснели почки на берёзовом молодняке, дальше сизой стеной стояли дубы, потом липы, и широко дымились трубы села...)
— Что я выдумал? Всё по-старому? А нет, Юра, сердце не обманывает. Вот собрал я перед домом всех мужиков. Знакомые те же самые мужики. Но вместо прежних глаз — и просительных, и дружелюбных, и, догадаться, лукавых,— новые, любопытные, жёсткие. И шапки сняли не все.
— Так и не надо!
— Так и не надо, я понимаю. А — знак. Столетняя наша неправота — это я понимаю. Нельзя было так широко и роскошно жить на глазах народа. Но когда видишь на лицах новую неприязненную решимость... И несколько совсем чужих, какие-то подбиватели из города появились...
Медлил.
— Я — сильно волновался. Всё же постарался изложить им твёрдо: отдаю им в аренду, пониже цены, почти всю мою пахотную землю, несколько десятин себе оставил — прокормить лошадей, птицу. Отдаю им луговой покос — исполу. Избыток теперь лошадей рабочих — отдаю в долг безлошадным. А что ж? — и в минувшем году не все помещики убрались, хлеб так и остался в рядах, рабочих рук не найти...
— А что? Я и говорю: правильно! правильно! — энергично одобрял Даныдов.
— Другие соседи — жестоко порицают меня, за сдачу. Ну, остались мои мужики как будто довольны. Сочувственно приняли. Сговорились. И видя эту благорасположенность — я после того сам шапку снял, поклонился миру. И просил: в моё отсутствие не обижать родных. Загалдели, что не обидят.
— Да конечно! Да совсем не та атмосфера, я тебе говорю!
— Как знать? А страшно — лишиться всего сразу, под корень.
— Да нет, Пятый год не повторится!
— А начали распределять лошадей — где там прежнее благочиние в барской усадьбе! — такое торжище подняли с криками и руганью — страшно их. Нет, они за эти недели стали не те...
Вышеславцев, полуоткинутый в кресле:
— Да хоть бы не землю, но усадьбу сохранить. Разрушится — вся наша жизнь, от младых ногтей? И всего нашего рода?.. Знаешь... просто никогда я так не любил нашей Волохонщины, как сейчас. Обходил как прощаясь, так сердце ноет. Как прощаясь... Обе веранды, крытая и открытая. Сколько чаепитничали там... В зной. И в лунные ночи. А снизу, из села, неслись деревенские хоры... Ничего этого больше не будет.
Безусый, открытыми губами, хотел улыбнуться — а боль одна.
— Во дворе дряхлеют конюшни, амбары. В парке дубы — каждый знакомец. Несколько лип — такие уже старые, скованы железными обручами, чтоб не развалились. Сколько труда, теперь уже непосильного, потрачено — полоть дорожки, аллеи, поддерживать ветхие беседки. Сад. Мироновка, грушовка, наливные, китайские, апорт, анис. Летняя печурка из кирпича, под два варенных таза. Тёмный прудок. Ореховая аллея — и калитка в конце. За ней — закат солнца смотреть и как возвращается стадо с поля. И этот высотный вид — на Журавлиное Вершинское. На Синие Кусты... Боже мой...
Взялся за лоб, а верней — прикрыть глаза.
Он ещё многое мог бы перевспомнить, даже из этих угасающих десятилетий. А — библиотека? Сколько собрано, сколько читано... А дальний колокольный звон над полями? А летом на рессорной коляске из именья в именье? — остывающий сухой полевой воздух, стрекочут кузнечики, ровный звук бегущих лошадей, спокойное пофыркивание, мягкий

постук по просёлку. Среди ржи. Вальки упряжки задевают за дорожную траву. Или от речки — запах мяты: там, на костре, у шалаша, гонят её...
— Да если мы потеряем даже этот дряхлеющий быт, эту зелёную заглушь — куда привезём мы детей летом? И в знойный день — никогда не увидим, как находит туча без дождя — и перепела опадают в рожь?
Но к губернскому комиссару ждали посетители, просители, предлагатели.
Ну да он же теперь — к сестре, домой? И расскажет ей.
Она — поймёт. Она всё это — вместе помнит.

610

Опять, опять ожил Таврический! Безошибочное сердце вело народ к своей водительнице Государственной Думе! Военный оркестр (уж пусть марсельеза) гремел на улице, потом замолк — но тысячный топот ног отдавался гулом по самому зданию. Пришёл опять лейб-гвардии Семёновский батальон! И как же переменилась жизнь Таврического!
Волны радости так и вздымали Родзянко, он чувствовал себя невесомым. Пусть неблагодарные министры забыли материнское думское лоно, откуда они все вышли, пусть неблагодарные журналисты пренебрегли этим истинным центром русской жизни,— но русский народ знал, где его духовный центр, знал, кого он любит, знал, чему он верит,— и тянулся сюда!
Этот возврат солдатских масс в Таврический был мало сказать торжественный,— эпохальный. И Родзянко ощутил, что надо выйти к нему более чем достойно: не просто единолично, но в окружении свиты из членов Думы — собрать их вокруг себя как можно больше, всех, кто сейчас в Таврическом, чтобы явить символически весь облик Думы.
Собирали спешно из разных комнат — собрали человек двадцать, неплохо, обычно их стало тут меньше. Застёгивались, подтягивали галстуки.
Пошли. Прошли не через Екатерининский зал, а на хоры другой лестницей — чтобы к площадке над собранием спуститься сверху, величественнее.
Весь зал был полон, и сверху это могуче выглядело. Несколько тысяч солдатских голов, без строя,— а над ними растянутые двухпалочные плакаты: «Война до победы», «Берегите завоёванную свободу!», но и — «Да здравствует демократическая республика», но и — «Земля и воля».
Однако же, Родзянко не мог привыкнуть, это не помещалось в его голове: он не был единственный присутственный хозяин в Таврическом дворце! Здесь же был ещё Совет рабочих депутатов, здесь же был ещё Чхеидзе. И уже на выступательной площадке, ниже его, Чхеидзе стоял и вещал — сразу обо всех народах мира и как они объединятся.
И явление Родзянки со свитой не было достойно замечено, ни отдельно приветствовано.
Впрочем, Чхеидзе и этот раз не так уж глупо выбрызгивал:
— Пока немцы не свергнут Вильгельма — наши штыки будут обращены против Германии. Докажите, семёновцы, что вы — львы революции. Да здравствует армия, в которой есть дисциплина, основанная на взаимном понимании солдат и офицеров. Учредительному Собранию и демократической республике — у-ра!
Это «ура» у него звучало так комично-козлино, сорванным голосом, как в водевиле. Но солдаты приняли и кричали «ура». Что ж. Ладно.
Но и тут не успел Родзянко занять главного места — как выступил полковник, выборный (других теперь не было) командир батальона. Он заговорил звонко, молодецки, голосом, привыкшим к тысячам,— а главное, сказал верные, золотые слова:
— Мы приветствуем Государственную Думу,— и обернулся назад и выше себя, и все теперь заметили думцев,— за то, что она взяла в свои руки борьбу с проклятым старым режимом!
Удивительно легко некоторые видные офицеры выговаривали теперь «старый проклятый режим». Но это было — так, он был проклятый и сметен именно Государственной Думой, и за это ей спасибо.
Ещё поговорил полковник, самого себя укрепляя, что семёновцы теперь — сорганизовались, и являют силу, которая сумеет защитить свободу и счастье России,— и ему отчаянно горланили «ура». А он — деликатно и с пониманием уступил место опускающемуся Родзянке.
Всё внимание тысяч собралось сюда. Безмолвная внушительная свита высилась на ступеньках за плечами Председателя.
Шумно хлопали в ладоши уже заранее. Теперь простодушные семёновцы поняли, что наступает главный момент. Родзянко могуче вобрал кубическую сажень воздуха — и прогремел:
— Благодарю вас, храбрые товарищи...— уже без этого слова было неудобно,— семёновцы, что вы пришли показать свою готовность стоять на страже счастья и свободы нашей матушки Руси!

До «матушки Руси» он, как всегда, выговорил уверенно — но неожиданно быстро она появилась, когда должна была быть в заключение речи. А уже после матушки Руси что можно было добавить? Он понадеялся, что всегда найдётся на речь,— а вот скособочилось и нечего было говорить.

Добавил о борьбе со страшным врагом немцем.

Но и этого было достаточно. Во всём зале наступил энтузиазм.

И ответив, ответив поклонами на приветствия, Родзянко счёл удобным теперь продолжить спуск по лестнице со своей свитой.

Так до низу они и спустились под аплодисменты, и Родзянко подумывал, не подхватят ли его солдаты на руки.

Но — стихли, а наверху опять задребезжал голос Чхеидзе (упустил Родзянко: пока он там, надо было и самому оставаться там):

— А спросите, товарищи семёновцы, председателя Государственной Думы,— исходя ехидством тона, предлагал Чхеидзе,— что он думает насчёт созыва Учредительного Собрания? И — что он думает насчёт демократической республики? А главное, спросите господина Родзянко, что он думает насчёт земли? А спросите, сколько у него самого десятин земли и думает ли он свою землю отдать народу? Отдаст ли он землю, из которой сам не обрабатывает ни клочка? Я отвечу за него: не отдаст ни десятины! И другие помещики тоже не отдадут!

Как полыхнуло в лицо и грудь Родзянко — то ли горячим, то ли холодным, то ли красным, то ли белым, как ослепило,— он остановился, внутри загорячило, упало сердце,— такого оскорбления никто ему никогда не наносил, и он не знал, что делать. Он мог рвануться вверх назад по лестнице — но ещё не был готов, не знал, что говорить.

Какой отвратительный выпад, какая бестактность и грубость! В своё время Родзянко сколько щадил этого гнусавца, допускал говорить с думской трибуны совсем непозволительное,— и вот благодарность. Утеряно было торжественное настроение, солдаты насторожились,— а что мог ответить Родзянко? Революционеры распускали про него слух, что у него 200 тысяч десятин,— но то было у дальнего предка, а у него только четыре с половиной тысячи.

А тем временем какой-то развязный, сплошной солдат-охальник взобрался и захватил слово — и нёс свинский бред, поток оскорблений всем достойным людям России, какую-то уличную похабщину,— и уже начинались одобрительные отголоски из толпы. А солдат всё разгонялся — и прямо предложил семёновцам: не верить ни помещику Родзянке, ни всей Государственной Думе!

Родзянко пылал. Родзянко дышал запышенно. Он понимал, что на него обваливался один из важнейших моментов жизни, хотели изничтожить и его и Россию. Он не должен был промолчать! Он не мог уже теперь пробираться через зал как побитый. Он должен был ответить! Но — что? И ехидная подача Чхеидзе и развязность солдата обнажили в нём какую-то новую, непривычную уязвимость.

Плохо понимая, он стал топать по лестнице на площадку наверх опять. Солдат ещё нёс своё, но Родзянко отодвинул его властной рукой. И с новым большим залпом воздуха выкинул в зал:

— Господа! — Уж про «товарищей» он и забыл совсем, язык говорил, как привык.— И я, и Государственная Дума приложим все усилия, чтобы Учредительное Собрание было собрано как можно скорей.— Да он так искренне и намеревался, только от него это уже не зависело.— Мы не позволим никому воспрепятствовать! И Оно будет выразителем воли свободного народа — и все мы подчинимся этому безропотно, и будем защищать тот строй, который будет установлен.

Таким образом, эту гадкую «демократическую республику» он, кажется, обошёл. Но ещё же надо было ответить о земле. Ему вообразились в совокупности свои любимые екатеринославские просторы — чернозёмная ширь, моря пшеницы, и приречные левады, лошажьи табуны. Он и все просторы южнорусские любил, а к своему-то имению особенно нежное чувство. И почему же в момент торжества России — он должен был пожертвовать всем лично своим? Но хорошо, пусть, его сердце готово было и на самую широкую жертву,— однако спрашивали его о большем: готовы ли и все помещики отдать свою землю крестьянам? И что об этом думает не он один, но вся Государственная Дума.

Момент был велик, но велик и Председатель, он привык знать мненье своей Думы и душу России — и мог теперь взяться ответить:

— Что касается земли, то я от имени Государственной Думы заявляю вам, что если Учредительное Собрание постановит, чтобы земля отошла ко всему народу,— то это и будет выполнено безо всякого сопротивления.

Сказал — и только потом сообразил, что Учредительное Собрание и не может заниматься землёй, оно занимается государственным устройством. Ну, уж сказал. Ещё горячей теперь и уверенней:

— Не верьте, товарищи семёновцы, тем, кто нашёптывает вам, что я или Государственная Дума будем мешать счастью и свободе России! Это неправда, мы сделаем всё! — и да живёт народ русский так, как он сам хочет!

Он выкрикнул это всё — превосходно, чувствовал. Благодарное рыдание жертвы, любви и самоумаления подступило к его горлу. Это — передалось залу, и зал заревел неузнаваемо. Забыт был и мелкий Чхеидзе, и тот дерзкий солдат,— и уже так ревели, так хлопали, что когда Родзянко спустился с лестницы — до последних ступенек ему не удалось дойти, солдаты подхватили его на руки — и понесли через зал, пробиваясь, и потом передавали другим,— хотя весил он 7 пудов, но не обронили.

А зал — ревел и ревел несравнимое «ура».

Родзянко — победил. Родзянко снова был со своим народом.

Кто-то там опять лез на лестницу, кто-то пытался вякать,— это уже было бесполезно, Родзянко победил.

Через весь зал его так пронесли, около коридора спустили на пол, и он пошёл в свои комнаты.

А уже стояли в приёмной какие-то моряки. Оказалось: депутация Черноморского Флота. Родзянко отпил воды, приосанился и, неутомимый, вышел к ним.

Потом переходил к каким-то письменным занятиям, но обнаружил, что заниматься чем-либо ему невозможно: так он был обожжён, и что-то вынуто из него большое безвозвратно — там, в речи перед семёновцами. Он потерял душенное равновесие, он не мог найти себя, он сделал что-то не то, изменил кому-то,— и ему надо было время для осознания и успокоения.

Живя не на земле, живя в Петербурге,— он, оказывается, вот как был слит со всею ширью своей земли, вот как! Без неё — всё опустело, посерело.

А тут надо было распределять Фонд Освобождения России, решать что-то с Красным Крестом, с посылкой делегатов на фронты,— он отвечал и распоряжался, плохо понимая. Вынули из него душу.

А пожалуй: как же это его угораздило обещать всю землю, да не только свою, а всех помещиков России? И от имени всей Думы?

И почему-то так это легко сказалось, а теперь отдавалось неуклюжей тяжестью.

Не имущества было жалко. А той души, которая есть земля.

Всё не ладилось — а доложили ему, что опять делегация. А, будь ты неладен, да какая же?

Крестьянская. Новгородской губернии.

Крестьянская? Это была первая такая. Ну что ж, надо выйти.

В приёмной комнате, где этих депутаций проходила череда, теперь стояло два — всего-то два? — чудесных бородача — в посконных азямах, и лаптях и оборах, со светлыми струистыми бородами, а — в силе, крутоплечие, крепки, стройны. И один держал в руках неизвестно как донезенные и такой целости — блюдо, на нём ржаную буханку и солонку с солью и с красной десяткой. А другой держал — развёрнутую бумагу. Они стояли уже в полной такой готовности, может уже не одну минуту и не пять,— стояли как в театре, или как у дороги, ожидая проезда высокого лица, надёжно достоверные, земные, деревенские.

А едва вошёл Родзянко — тотчас ещё приосанились, ещё выпрямились — узнали сразу, глаза их заблестели. Миг один как будто думали — потом первый ступнул раз, ступнул два навстречу Председателю и — поясно истово поклонился, а блюдо держа ещё передей себя, прежде головы — и нисколько не перекосив при поклоне.

— Прими, батюшка,— сказал он только. А голос его звучал церковно.

Родзянко принял, конечно. Миг подержал — кто-то сзади подскочил, перенял.

Первый мужик ничего больше не нашёлся, а всё так же блистал глазами на Председателя, сам не веря такому чуду.

А второй, помоложе, развернул бумагу поприёмистей, кашлянул, и, от себя ни слова, стал читать с бумаги. Грамотен был хорошо. Лилось у него:

— Многоуважаемый и дорогой Михаил Владимирович! Мы, крестьяне трёх деревень, Рахлиц, Старой Пересы и Горок Ловатских, Старорусского уезда, собрались вкупе обсудить совершившийся государственный переворот. И через своих выборных — Якова Соколова и Павла Соколова...

Братья? Нет, не столько были похожи,— но и похожи, общим типом северорусским, крупностью, русостью, открытостью. Может быть — дальние.

— Как вам, главе Государственной Думе, так и через вас всеми любимому князю Львову, которого видим из далёкого уголка необъятной матушки-России, решили преподнести по старому русскому обычаю — хлеб-соль и деньги. Пускай этот дар от чистого мужицкого сердца скажет вам, борцам за нашу свободу, землю и волю,— спасибо! Пускай он окрылит вас.

Давно-давно, все эти круговоротные революционные недели, и произнося вереницу пламенных патриотических речей,— не был Родзянко тронут так, как вот получив назад свою матушку-Русь из непритязательных уст. Он почувствовал себя пронятым — ещё больше, чем когда солдаты несли его на руках и он читал лозунги поверх голов.

— Верьте и надейтесь,— ровно, звучно и с достоинством читал один из Соколовых.— Вы всегда найдёте у нас силу и средства. Мы вам ни в чём не откажем. Как некогда

Минину, мы принесём вам последние наши сбережения и благословим, как с Пожарским, наших любимых сынов, мужей и отцов на ратное дело.

Они — это з н а л и всё? Так это не выдумка была столичных гостиных?

Вот они, ясноглазо смотрели на Председателя с благодарностью за землю и волю!

И почувствовал Председатель, что подступают слёзы. Короткой этой грамотой, своим светящимся видом — как очистили его эти два мужика ото всей досады на ехидство Чхеидзе и на свою опустошённость от опрометчивого бряка с трибуны про землю.

А — кто ж на этой земле и работал, разве он? А кому ж она и отповедана Богом?

Теперь — он к ним шагнул и — первую депутацию, не услышавшую от него ответного слова,— поцеловал в бороду одного Соколова и поцеловал другого Соколова.

Да размахнуться — и отдать.

На тот свет всё равно ничего не возьмём.

А уже тянули его за локоть: в Таврический входили царскосельские стрелки, и слышалась музыка опять на весь дворец.

— Пойдёте выступать, Михаил Владимирович?

Но — первый раз он не пошёл. Был — полон всклонь.

611

От штаба дивизии к своему полку попались Ярику санки с каким-то чужим солдатом: вёз неполные, можно было и чемодан вскинуть и даже сесть. Но курносый солдат предупредил:

— Вашбродь, я не прямо. Тут — митин будет, я к нему заверну.

— Какого Мити? — не понял Ярослав.

— Ну как? — удивлялся и тот бестолковому поручику.— Митин, не знаете? Послухать, о чём гуторят.

Ах, митинг! Этого слова и образованные-то люди не знали, кто не бегал по левым сходкам,— а вот солдат уже знал, и на круглом лице его отображалась важность прикосновения.

— Чей же митинг?

— Епутатов! — так же важно заявлял картофельный нос.— С полков.

После того, что произошло в поездном тамбуре, ещё каждая жилка болела в теле, ещё не расслабла. Ведь — какой случайностью спасся? Уж не был бы жив, он бы кончил с собой от позора. Или выбросили бы его из поезда на ходу. Но и — уходить ото всего этого нового — тоже слабость.

— Ну давай завернём.

Дорога уже была раскатанная скользкая, чуть подтаивало. Снег везде уминался, а ещё не подсочился водой и не рыхлел. Стоял пасмурный тёплый денёк.

Проехали меньше версты — солдат свернул отвилком в огиб леска. Там дальше было открытое, никакой частью не занятое польце у опушки — и толпилось солдат, да сотни как бы не с три,— конечно, больше свободный дивизионный народ, из полковых линий не могло столько придти.

И повозок и санок несколько, составленных тут, у края.

А посреди солдатского сгущения тоже стоял запряжённый парою возок — повыше и с решётчатым бортом, как возят сено или навоз, и в том возке стояло трое — один высокий статный унтер с далеко разложенными стоячими усами, другой — подпрапорщик, тонкий, петушистого вида и с красным лоскутом на шинели, третий — солдат в папахе набекрень, гололицый, литоголовый, так и распирающий щеками и через шинель грудью (он чем-то Качкина напомнил Ярославу, тот же тип, кольнуло). Этот солдат,— он речь и держал,— хоть и маленький, но подбородком был всё же выше повозной вязки, и двумя руками за вязку держась,— всё чуть поднимался и всё как будто хотел наружу вылезти. И сколько вылезти не мог — столько голосом додавал, крякал, гакал по-над толпой:

— ...Был я с пороху приехавши узнать, как у них там идут дела, в Петрограде. И передать им привет от нижних чинов... от самых последних животных прежних, которых раньше и за людей не признавали... Ну, идут дела ничего, хорошо. Промеж себя идут у них разговоры. А у тёмных людей — напротив. А вы, говорю, старайтесь силою их сломить! Вы, говорю, боритесь внутри — с теми, кто настаивает на прежнем дворянстве! А мы тут, на фронте, всю усиль приложим, чтобы сломить врага. Правильно я говорю?

— Правильно! — загудели охотно.

У кого за спинами торчали винтовки,— а многие были без оружия, налегке,— то ли по близости своего расположения, то ли распущенности второго эшелона. Стояли с важностью события, даже рты приразинув,— и глядели на тех, в возке.

У Ярослава всё забилось: кем эти солдаты собраны, почему и как? Знает ли начальство? И — теперь это всё можно говорить? И в их дивизии это уже всё принято так?

— Ну и, однако, крути так, как следовает, концы равняй! Не соблюдается очередь в постановке на позицию. Эт-та надо отрегулевать да направить. Или посылают людей на гибель для захвата единого пленного. Это тоже-ть не война, мы так не одобряем. Нас как мишеньку под пули ставят. В такую содому суют!.. Так ведь он, гляди, прапорщик, а призвести его — только бумажки в отхожее место носить. Правильно я говорю? — это он каждый раз с наседаньем на вязку и толстую морду свою высовывая да потрясывая.

— Пра-авильно! — гудело.

— Потому что,— аж рвалось из литомордого солдата, на язык он был поспешен и оборотлив, а папаха всё больше сползала набок,— потому что ахвицера — они все желают восстановления прежнего режима! Они, значит,— кон-ле-ворюционеры! Вы, братва, офицерам — не слишком-то верьте, не слишком. А от кого к нам забота дурная, полускотняя? А от кого к нам вытяжка и все несправедливые издевательства?

Ярослава оглоушивало. Говорили против офицеров, значит и против него самого. И уже он испытал, чего это стоит и чем кончитьси может. Но и с уважением всматривался в соседей, какая же неведомая сила проявлена в солдатах, когда они собраны вот так, вне строя, рассвободнённою толпой.

— А наши товарищи в окопах молят, что и они хотят пользоваться жизнью при свободе, а не только умирать медленной смертью в окопах! На что же нам тая свобода — да без мира? Это же глумёж один! — подхватил, пристукнул на голове падающую папаху.— Зачем тебе свобода, если теби убьют? Так ещё, может, немцы нас послушают — да и своего Вильгельма погонят? Да и замиримся, а?

— А-а-а! — отозвалось изумлённым вздохом.

Ободренный, солдат и кулаком уже помахивал:

— Война как хотит — так пусть себе и остаётся! Не мы её начинали, не нам кончать! А Германия нам никакого зла не причинит. Какой бы ни вышел конец — а подкатило кончать войну! Народ не хотит молодые головы отдавать!

И молодые и немолодые головы двигались, покачивались или были неподвижны,— а головы-то все человеческие, а лица все индивидуальные — никак не менее офицерских, хоть суровые, угрюмые, тупые, или светлые, юные,— и вот что: хотя и шёл гулок всё время, а это не соседи друг с другом разговаривали — нет, все стояли в необычной обрядной завороженности, кто и в робости, в одну сторону лицами, как во храме, и если вырывались вполголоса, то — никому, сами с собой или вообще всем. А нетерпеливые и громко:

— Верно выговаривает! Чо-ож головы-то отдавать?

— Ну, ладно, размотал тряпку с языка! Дай и другим погуторить.

Мордолитый и ещё бы хотел говорить, за петроградскую поездку видно разлакомился, но уже шумели, убирали его, слезал он нехотя с возка,— а туда, ногу через вязку закинув, полез степенный, плотный, средних лет с жидковатыми усами и подбородным волосьём. Унтер и подпрапорщик между собой поспорили — и не препятствовали этому говорить.

Стал он тоже, за вязку взявшись, и заговорил голосом скрипло-тёплым:

— Ты, парень, с кем это в Питере балабонил — больно они все бойки да много кричать. Им там, в Питере, жизнь сохранная — а ещё им и восемь часов день подай. А как мы тут дудим — двадцать четыре и под обстрелом? Им паёк выдають, под обстрел идтить не надо, глотки здоровы,— отчего не пошуметь? Нет, пусть они сюды придуть, да в наши окопы сядуть, где мы полторы годы сидим невылазно, а воюем все два с половиной. Пусть они нас тут заменять — а мы б на отдых подались бы, с нас довольно. Со всех бы тылов подсобрать, кто мочен носить оружию,— да в армию их, заместо нас...

Это вызвало сильный одобрительный гул.

И оратор, с видом старого плотника, не крича, а глаза сощуривая:

— В мирное время — что за служба была? Хоть и два года восемь месяцев, а помаршировали молодцы-удальцы, да побегали на полигоне с винтовкой, вот и уся старания. С такой службы ворочаешься домой — задница жиром зашлась. А ноне служба — чо? Смертоубийство. Теперь если домой каленный воротится — дак уже счастье, обнимают!

Ярослав поглядывал, искал, кого видел в спину, кого сбоку,— своих ротных никого не нашёл, а полковые были.

— А всё ж дозвольте в постепенность дойти последственно, с разумением,— вёл своё непростецкий оратор.— Если нам своим офицерам не верить,— нас и вовсе тогда пули посекут, мы тут будем кидаться как бараны в загоне. А что ж, офицеры — не с нами зараз погибают? Не так же кровь у них льётся? Только надоть им осознать неправоту того, что промеж нас состояло. Кажная личность, бросившая презрение, не сознает, что под формой находится строевой солдат. Эт всё должно отступить на старый план, а дать место правде. Пусть заручаются любовью солдата, не отталкивают его, если хочут идти с нами рука в руку. И таких офицеров немало, братцы. И мы в обхватку примем все их добрые чувствия к нам.

Боже мой, что за милый солдат! Что за голос у него приятный. Ведь вот же, вот он, народ, только надо было уста ему разомкнуть — и видно теперь, как можем мы обняться дружески, всю эту ложную злобу отбросив. Как верно говорит: «дать место правде между нами»! Защекотало, засжалось в горле у Ярика,— и благодарность к этому солдату, и к

Качкину, и к другим хорошим — отвалила от его сердца пережитое оскорбление. Терпеливо, терпеливо надо искать открытого общения.

И из толпы не кричали тому солдату против — вот и с ним толпа была согласна, добрый знак.

Пока так волновался, пропустил Ярик у солдата дальше, а к концу услышал:

— Ежели англичанам да французам есть антирес — пусть они и наступают. А нам-то чего по чужим странам сохнуть, по чужой земле? Тая земля нам никогда не сгодится. Так что — обороняться будем, разумительно. А наступать — отказываем! Мы то ж носами не чмыхаем, не! Так и немецкий солдат, братцы, он тоже как мы, подневольный мужик.

Галдели одобрительно.

Этот солдат покончил и тихо слезал с возка. Ещё двое потянулись вместо него — но статный унтер с красивыми усами и победно презрительным видом оттолкнул их вниз и заговорил сам. Вязка была ему по пояс, руки на неё — свободно вниз, а стоял он в телеге — стройно, как на лошади б держался.

— Чмыхи вы чмыхи! — сильным голосом разнёс он.— Поджатый хвост и псу не помеха, правильно! Вы на фронт приехали галушки есть, да? Как это так возможно: обороняться, а не наступать? Где это вы такую войну видали? На месте топчась — вы и во сто лет войны не кончите. На чьей земле воюем? На нашей! Так ежели нам горло сдавили — надо сбросить, чтоб можно дышать. Ежели вы хотите врага разбить — так надо на него идти прямо, а не оставиваться, задницу чесать! Стоять на месте — это уже и обороны нет, вас только толканут — вы и посыпетесь.— Молодецки-властно он всё это толпе выговаривал, видно, что привык с солдатами, и видно, что — с правом, что сам — воин первой статьи.— Да не нужны нам ни пол-Германии ни даже-ть один германский город. Но мира без победы тоже-ть не будет, это кто придумал — так дурацкая голова! Этакого русский солдат не мог придумать. Победа нам нужна, чтоб не немцы нам указывали, какой мир, а — мы бы им!

Тут закричали ему истошно-враждебно два-три голоса:

— Верхогляд ты с тонкой кишкой!

— Кати и отхожее, а то запаскудишься!

— Почево залез, ахвицерскую науку нам вгонаривать, мы её слыхали!

Унтер не потерял ни осанки, не презрительной гордости, так и смотрел глазами суженными над своими красивыми усами, но перелаиваться не стал — и теперь дал себя отодвинуть тому молодому петушистому подпрапорщику с красным бантом. Этот был безусый — и из молодцов другого рода, заязистого. Одну руку он в боки взял, а другою потрёпывал нервно перед собою к толпе:

— То-ва-ри-щи! Только такие беспрепятственные собрания представителей и могут довести сынов России до конца кровавой расправы! Старый режим делал из солдата бессловесное животное, убивал в нём сознание человеческого достоинства! Но события революции показывают, что убить солдата не удалось. Самый надёжный оплот власти был — косность и невежество народных масс. Но теперь вы прозрели! Нет у нас больше царя-предателя и нет его развращённого правительства! А его прислужники офицеры должны теперь сильно задуматься. Уже командующего нашей армии генерала Литвинова сняли — и так их и всех могут поснимать.

Узнал его Ярик! — как раз из их полка он и был, взводный 4-й роты. С выражением зубастой самоуверенной находки звонко-дерзко кричал толпе, иногда добавляя к чувствам и обе руки:

— Но не в железном кулаке, не в отдании чести будет спасение. Надо крепить наши солдатские ротные организации, мы только в них сильны!

Слушали с большим напряжением прихмуренных лиц, половины слов и связи их не понимая — но ожидая, что это — к их пользе говорится, помогали им прозреть себя обманутыми, какими они себя и не ведали раньше.

До сих пор простоял Ярик в каком-то обомлении, в неразборе чувств, как на странном спектакле, в который, однако, не полагается вмешиваться. Но при вступлении этого язвительного подпрапорщика он одумался, что ведь заведут толпу куда угодно, её куда угодно заведут. Что он, офицер и командир роты, раз сюда попав, не должен оставаться безучастен! Однако — что он мог сделать? Лезть вот так же отталкивать и выступать? Балаган недостойный. Да он и не умел, и слова не подготовлены. Окрикнуть командно, перебить? Не к тону всего сборища, и не послушают, ещё худшее унижение.

Он — не один тут был, видел по краям ещё трёх-четырёх офицеров, тоже младших. И — никто не вмешивался. Положение их было общее — удавленное.

— Получшить питанию! — кричали меж тем, одобряя оратора.

— Даёшь скореича замиренье!

— Товарищи! — быстро улавливал и поворачивался молоденький подпрапорщик.— Но и мирное разрешение так просто не предвидится. Совет рабочих депутатов должен требовать от Временного правительства, что оно не ставит целью никаких завоеваний и контрибуций.

— Чего эт — трибуций? — не выдержал один лохматый солдат.

— Эт значит,— обернулся подпрапорщик,— после войны не платить, ну... налогов не платить.

— Налогов не платить! — наконец-то поняли и подхватились сразу в нескольких местах.— Это — хорошо! Это верно! Та-ак!

Высокий лихой унтер с презрительным видом соскочил вниз.

— Мы, конечно, войны не хотим! — вился подбодренный подпрапорщик.— Но мы и не можем так просто бросить окопы. Пусть и в Германии и в Австрии власть перейдёт в руки народа! Тогда мы сразу, все страны, сговоримся о мире. А пока этого не случится — всякий натиск наших врагов есть покушение на нашу свободу! И мы встретим врага грудью, под красным знаменем! И будем железной стеной стоять в окопах за нашу демократическую республику!

— Че-воо? Че-воо? — завыл голос, кажется уже слышанный, тот, что ссаживал патриотического унтера.

И быстро растолкав несколько спин, и легко взлетевши через вязку телеги, так что ноги взметнулись поверху,— рядом с подпрапорщиком и отводя его сильной рукой,— тяжело стукнулся ногами какой-то бешеный ефрейтор, вида переполошенного и злого.

— Че-во это? — кричал он уже сверху. И описал одной рукой косую дугу, как отрезал: — ле-во-рюция — это значит делай, как народу надобно! А не как начальству! Эт значит делай каждый — что хошь!

И — страшен был он, полубезумный, над толпой,— страшно подумать, что вот именно этому да дать делать, что хочешь. Пёрла из него сила и злость немерянные, а лицо у него было просто каторжанское.

— Что вы хиляетесь туды-сюды, не знаете, кого слушать? Поднимают крик, что не хотят подчиняться Вильгельму, имеют в виду достичь, чтоб солдат погибал для буржуазии, как раньше для царя. Чтобы все мы, кто ещё тут уцелел,— голову сложили.

— Так что? — крикнул ему снизу тот унтер красавец, он и сейчас на полголовы ото всех выдавался: — Бросай оружие и пусть немец русскую землю захватывает?

— Та-аких чудаков нет,— по-бычиному этот бешеный с телеги головой поводил. И снова вперился и снова нагорячивая — даже трясся от гнева, и так должно было из него выхлынуть: — А только эту русскую землю — прежде отдайте н а м! У помещиков заберите — нам отдайте. У монастырей заберите — да нам! У уделов! А то — нашими животами больно щедры! Мол — до победы! Вишь, проливы кому-то нужны! А в мирное время они и так для всех открыты — так и воевать зачем? До победы! А там, глядишь, с теми англичанами сцепятся, али с французами,— и где она будет, победа? На кой же мы чёрт царя свергали? На кой чёрт нам война, давайте её кончать! Разбирайся с офицерьём, штык в землю, да айда домой!

Масса — так и захолонула! Не кричали ему «правильно», смотрели с разинутыми ртами: можно ли такое даже высказать? И что теперь случится?

А кто напугался — лошади! Или перекуснулись две соседних, или что-то им почудилось,— метнулись, лягнулись,— и там, где возки и санки стояли — раздалось ржание, треск и скрип разъезда.

А из солдатской толпы отозвалось матюгами и гоготом. И кто-то кинулся разбирать, распутывать, догонять, и сама телега с ораторами тоже поехала,— смеялся митинг, и не досталось тому оголтелому продолжать.

В толпе тем временем пооборачивались в разные стороны, и соседи заметили рядом поручика.

И какой-то один молодой вихлястый солдат, скорей, что из штабной обслуги, вдруг засиял как знакомому — а незнакомый, и — пошёл к поручику походкой гоголиной, ещё издали протягивая руку:

— А, господин поручик! Здравия желаю!

Ярик был тронут его улыбкой — и свою руку протянул охотно. И жал его совсем не солдатско-мужицкую руку, с опозданием отметив насмешку, какая была и и его походке и в выговоре.

Пожали, отпустили — тот ничего больше не имел сказать, но стоял, разглядывая и улыбаясь.

Тут другой солдат по соседству — смурной и с шишкой сбоку челюсти — увидал пожатье — и сам туда же, к праздничку, и свою сунул поручику жёсткую руку. И сквозь его бессмысленно глупый вид тоже засветилось удовольствие.

Что ж, Ярослав пожал охотно и эту — грубую, неухватную. Это ж и был наш русский воин и русский человек — и из какой чванной гордости Ярослав мог бы стыдиться рукопожатия с ним? Эта черта запрета всегда была искусственна.

И третий — заметил, подбежал, подскочил, чтоб не упустить. Весёлый, лихо провёл рукавом шинели по носу, хоть и нос сухой,— и руку свою выложил наперёд:

— Господин поручик? Дозвольте.

И принимая пожатие, тряс, тряс радостно,— и в радости его не было насмешки, как у первого.

А уж за ним сразу и несколько тянулось. Один — с винтовкою за спиной и торчащим наверх штыком, длинный вислоусый пожилой дядька, ничего не сказал.

И сразу за ним — цыгановатого типа пройда.

И — с усами свешенными, хохлацкого вида, самознатный.

И — пряча всё же дымящуюся цыгарку в левый рукав.

И — бородач простоватый, со ртом незапахнутым.

И — ещё, и ещё. Уже второй десяток.

Уже не вид, не выражения их различал Ярослав — а только их ладони жёсткие, бугорчатые, плоские, да крепкие схваты, иные как клещи.

И — жали, и — жали. Больше — молча, а кто приговаривал «господин поручик», а кто бормотал «ваше благородие».

И — шли, и — шли, как в церкви к кресту прикладываются, все по порядку.

И сам Ярослав как шёл сквозь эту череду жёстких притираний и схватов. Он шёл — не от растерянности, он шёл с добрым сердцем сперва — к этому нашему доброму мужику, которому так долго было отказываемо во всём. И поначалу он улыбался, как обычно сопровождают рукопожатие.

Но — не было конца этому потоку, всё шли — и, кажется, некоторые по второму разу. И больно наминали ему кисть, всё подходили — но только ли из любопытства, но для того ли, чтоб ощутить себя не униженными? Или унизить его?

Со страхом представил: да если так — каждый день придётся, и у себя в роте тоже?

Это пожатье в черёд он ощутил как новый вид беззащитности, хоть и обратный позавчерашнему. Не приложиться стояли к нему в рядок, а — приложить, как становится взвод в очередь к насилуемой девке.

612

В эти последние дни, в уже возобновившемся размеренном покое читальных залов Публичной (теперь переименованной в Национальную) библиотеки, появился веретенно-тонкий, сюртук в талию, ботинки самой последней моды и иаблещены, умные глазки сквозь пенсне, остро вскрученные усы,— один из самых известных кадетов Кокошкин. Не только каждый новый день, но если и в день два раза — он появлялся в новом свежейшем крахмальном воротничке, тот словно оковывал его маленькое личико. За суматошные дни революции многие стали разрешать себе разные недосмотры в одежде — тем язвительней была белизна и даже франтоватость Кокошкина, удивительная среди интеллигентов.

Друзья-кадеты срочно вызвали его из Москвы, но во Временном правительстве уже не нашлось места, а поручили ему вести Юридическое совещание при правительстве по вопросам, требующим предварительного правового изучения. Он был теоретик кадетской партии (но и модный успешный лектор),— ему вполне подходила порученная теперь работа. В связи с нею он и приходил в библиотеку, требовал много разных томов и перелистывал их.

От одной из его собеседниц передалось по заполочной глубине библиотеки, что он сказал:

— Хотя мой род записан в Шестой Книге, но я ещё поискал бы человека, кого бы революция сделала счастливее, чем меня.

(Впрочем, за Выборгское воззвание Кокошкин был лишён дворянства. Впрочем, имение его близ станции Кокошкино от этого не пострадало.)

А другой сотруднице он, от весёлости настроения, рассказал из своей жизни анекдот. Когда он ещё только ухаживал за своей Марьей Филипповной, нынешней женой, а тогда состоявшей ещё в первом браке, она как-то собиралась на скачки (любила играть, и они с мужем вообще промотали состояние) — но внезапно захворала. И в хандре и в нездоровьи поручила: «Фёдор Фёдорыч, если вы действительно любите меня — то поезжайте сейчас на эти скачки и поставьте на коня Мистраль.» Фёдор Фёдорович любил её без ума и тотчас поехал на скачки, где никогда не бывал, и поставил что-то рублей триста на указанную лошадь. Но и по дороге туда на извозчике и в зрительном ряду он читал захватывающую политическую брошюру, пришедшую из эмиграции,— и пропустил собственно картину скачек. Наконец общий шум свидетельствовал ему, что забег кончился. Он спросил, кто же победил, ему ответили, что именно Мистраль, и притом очень крупно, должны платить двадцатикратно! Поражаясь чутью любимой женщины, Кокошкин последовал к оконцу тотализатора и предъявил свой билетик. И каково ж было его смятение, стыд, сокрушение, невозможность показаться Маше на глаза, когда ему заявили, что он поставил не на Мистраля, а на соседнего по списку Магика! (Это он рассказал в связи с ходячим выражением «на какую лошадь ставить», то есть на какую партию.)

А сегодня Вера Воротынцева подносила к прилавку заказанные Кокошкиным книги по церковному праву, и досталось им тоже разговориться, по обе стороны прилавка, сниженными библиотечными голосами. О нынешнем слухе, что Владимир Львов подаёт в отставку из-за конфликта с Синодом, сказал:

— Много им будет чести! Скорей весь Синод в отставку пойдёт.

Он чуть шепелявил: «ш» вместо «с» и не выговаривал «л». Ровный в спине, пронзительно уверенный, а тут ещё и презрительный:

— И какое же жалкое зрелище эта церковь! Едва их тряхнуло — и уже воззвание Синода: покоряйтесь, чада, революции, всякая власть от Бога. Но отчего ж они не проследили, и какой момент власть Протопопова перестала быть от Бога? Сегодня они смекнули и потянулись к дарам свободы, дайте и им! А отчего же они раньше упустили отказаться от прислуживания царскому правительству, от своего инквизиторски-клерикального духа, например в разводах? Синодальные архиереи не слишком ли долго поддерживали всё гнилое и растленное на Руси? Почему их голос никогда не поднимется в защиту невинных жертв? Или почему эти пастыри в былые годы не выходили провожать гробы революционеров?

— Но, может быть, они молились за них? — осмелилась вставить Вера.

— Шёпотом? — остро сверкнул Кокошкин через пенсне. Хотя он был юрист, но не юридическое проступало в нём первое, а скорей эстетическое, он сравнивал не с буквой закона, а с красотой: — А почему они не вышли на амвоны и не возгласили: вечная память убитым за свободу?! Или крикнуть власти: не смейте больше лить крови! На гонения и смерть шли безбожные интеллигентные юноши, а иерархи, обязанные носить в душе Бога,— смиренно молчали? Нет уж, пришла пора кончать эту нечистую игру!

Новая свободная Россия не может принять в своё лоно старых иерархов с доверием. Пусть прежде отрясут прах старого режима и докажут свою честность. Нет, они не могут понять и примириться, что церковь перестала быть государственным ведомством православного вероисповедания, а становится независимым юридическим институтом.

Как всюду и всегда, когда в обществе заходил вопрос о церкви, о религии,— Вера чувствовала себя принудительно стеснённой, с головою, наклонённой против воли. Она любила это общество, его смелые свободные разговоры, но когда касалось религии — вдруг аргументы казались ей грубыми, а возражать всегда выглядело неловкостью, отсталостью, чем-то стыдным. Вот, от няни знала она: в иных петроградских церквах плакали об отречении. В одной церкви на Лиговке священник произнёс скорбное слово об отречении царя. Зашедшие в церковь солдаты прервали проповедь и повели его вон. «Что ж, убивайте за правду»,— сказал священник. Формально этот рассказ не относился сейчас к их разговору — а и очень относился. Но невозможно было его привести. Очень выбирать приходилось выражения.

— Но вы навязываете Церкви язык гражданского мира,— возразительно улыбнулась Вера.

— О нет, нисколько! — легко отклонился от упрёка Кокошкин. Узость его сухенького лица выражала острую направленную мысль, свободнее многих свободных. Искливый ум, отнюдь не выставляющий себя, и по нему вдруг настилалась мечтательность: — Напротив, я могу выразиться ещё гораздо церковнее их: «Галилеянин вновь победил!» — в этот раз в виде нашей революции. Победа нашей революции — это и есть победа того, что не умела защитить церковь. Давно уже отмечено, что в формальном неверии русской интеллигенции было больше истинного религиозного пафоса, больше, если хотите, литургической святости, чем во всей нашей казённой обезличенной церковности!

А эта казённая церковность и отталкивала от официальной церкви всех искренних людей.

— Хватит! Церковь — слишком долго не могла существовать без полиции. Теперь упразднена полиция — будет упразднена и полицейская церковность.

Юридическое положение православной церкви будет решено безо всякого участия церковной иерархии — и лишь исходя из предпосылок правового государства. Ни одна государственная копейка не должна тратиться на церковь. Никакая церковь не должна иметь права преподавать своё учение в школе. Ни одна школа не должна находиться в ведении какого-либо духовенства. И брак, и похороны станут гражданскими. Венчание не должно добавлять никаких прав к гражданской регистрации. И наших покойников мы будем хоронить без участия духовенства.

Однако, это был уже рубеж, где нельзя не спросить:

— А вам не страшно, что так опрокинется весь русский образ существования?

— Нет, я хочу сказать, что религия перестанет быть казённым кощунством. Это право — как воздух: верить или не верить, во что хочешь. Все должны быть свободны и в неверии!

В условиях всеобщей свободы и всеобщего равенства — какая же мыслима государственная церковность? Как может государство поддерживать или признавать какую-то одну из религий как истинную? Тогда эта церковь получит преимущественное право пропаганды, а все остальные из снисхождения останутся только терпимыми?

— Да рассуждая в самом общем виде: всякая религия есть мировоззрение иррациональное, а современное правовое государство — рационально. И — какая же между ними может быть кооперация?

— Однако,— осмелилась Вера, но ещё раз смягчая улыбкой, давая повод истолковать

и шутливо: — У государств нет вечной души, а у каждого из нас есть. Поэтому каждый из нас, со своими духовными опорами,— выше государства.

— Ха-ха-ха-ха, великолепно! Парадоксально! — сверкающе засмеялся Кокошкин, превысив библиотечную тишину, закинул узкую схватчивую голову, а острия усов ещё кверху.— Даже ослепительно парадоксально!

Он брал под мышки полученные книги.

— Впрочем, о чём говорить? Разве Россия к сегодняшнему дню ещё была православным государством? Да со времён Петра Великого она уже переставала им быть в полном смысле. Например, в уставах уголовного судопроизводства с Петра допускалась замена религиозной присяги простым обещанием показывать правду. То есть втеизмом в скрытой форме. Конечно, мы пока не отделяем Церковь полностью, оказываем православию предпочтение перед другими религиями.

— Предпочтение? Нет, уж тогда — и отделяйте! дайте настоящую свободу! Зачем же сохраняете обер-прокурора?

— А это требуется для предупреждения всякой контрреволюции. Временно. Переходный период. Пока мы не достигли полной религиозной свободы — наш долг очистить церковь от негодных элементов. А если уж и нынешний переворот не обновит церкви — ну тогда, знаете, она безнадёжна.

Вера иногда — вынуждала себя слушать, вбирать или возражать, чтобы только оторваться от собственных мыслей.

И что такое унылое, неподъёмное она вбила себе в голову, чего на самом деле и нет на земле?

Вот спорила с Кокошкиным,— а в самой-то в ней простреливало: Крест? Крест. Нести крест! Но — и не так же нести, чтобы, подламываясь под ним, ожесточаться? Это — не больший ли грех?

Она думала, думала, думала: неужели же вот так, самой, отказать Михаилу Дмитриевичу — навсегда?..

613

С каждым днём успеха революции уже не было у Половцова ни малейшего сомнения, что правильно он сделал, в первые же сутки толчком сердца к ней присоединясь, а свои служебные обязанности покинув.

Так-то так, но возврат в свою туземную дивизию стал ему как бы и невозможен: это солдатам прощали сейчас хоть и трёхнедельную отлучку, только бы вернулся в часть,— но не полковнику же генерального штаба. Ну, разумеется, с бумажкой от военного министра вернуться можно. Но просто в старую должность — ради чего тогда всё городилось? (Правда, он сумел из Петрограда оказать немалую услугу своему командиру дивизии князю Багратиону: команда связи дивизии прислала в Петроград донос, что князь — приверженец старого режима. Донос попал в Военную комиссию, Половцов его погасил — и дал знать князю о его недоброжелателях.)

Поездка с Гучковым на фронт была для Половцова очень успешна: всё время рядом с министром, всё время нужный ему — быстротой соображения, чёткостью, военным опытом, памятью, отличным письменным слогом (с тонкими переливами дерзости и лести, расположения или холодности — по заказу). Знанием английского, французского и способностью в каждой ситуации понять её юмористический наклон. Полковник Половцов за несколько дней стал для Гучкова важнее всех адъютантов и всех чинов министерства. Министр сказал: «Будете вести мою экстраординарную и щекотливую переписку. Послу́жите так месяцок?»

Половцов щёлкнул шпорами. Преотлично! Экстраординарная переписка военного министра! При гениальной памяти на все лица и все обстоятельства — да ещё такая доверенность, такая власть! Но почему — только на месяцок?

Во всю красу своей длинной фигуры, кавказского мундира, полковник Половцов двигался, играл бровями рядом с невысоким, рыхловатым министром в пенсне и придавал ему недостающий военный блеск.

(В поездке была только одна неприятная очень встреча: во Псков приехал генерал Абрам Драгомиров, у которого Половцов когда-то служил в дивизии,— приехал гордонезависимый от революционного министра, иронически рассматривая его окружение, а Половцова — укорно. Этого прямого генерала Половцов привык бояться и уважать — и тут, попавши в перекрест острых взглядов, чувствовал себя как переломленным. «Грустно видеть своего бывшего офицера революционером»,— отвесил ему Драгомиров. При Гучкове Половцов не возразил, дотерпел до позднего вечера, а потом пришёл к Драгомирову в вагон с готовым монологом: почему нельзя было не вмешаться в события и насколько, конечно, легче отойти в сторону. «Нет,— сказал Драгомиров,— эти доводы и эта служба не для императорского офицера.»)

А при возврате в Петроград позавчера Гучков почувствовал себя опять неважно, уехал отдыхать домой. И вчера за целый день, уже в довмине, не вызвал Половцова ни разу. Из гордости Половцов не пошёл о себе напоминать. И вот, вдруг, сразу зашатался его превосходный пост, ни по каким штатам не обозначенный, и стал как бы ничто.

И пришлось Половцову внезапно снова задуматься: что ж он от революции получил? Только-то и всего, что членство в поливановской комиссии и в Военной? Правильно-то правильно сообразил он принять сторону революции,— но в то ли место угодил, которое было его достойно?

Поливановская комиссия всё увеличивалась в числе заседателей, уже перешли в готическую столовую довмина за длиннющий стол, определились и наращивались два конца его — генеральский и офицерский,— а между тем быстро падало значение каждого члена. Да мельчилась и сама работа комиссии — дробное рассмотрение параграфов уставов, уже ротное хозяйство. Трезвому человеку давно было понятно, что это — бюрократический тупик, отсюда не выдвигаются. Мельчал и сам Поливанов. День-два предполагалось, что пошлют его в Ставку с миссией смещать Николая Николаевича,— отпало и это.

И что ж оставалось — одна Военная комиссия? Но хотя полковницкие гении, вроде Туган-Барановского и Туманова, ещё бодрились и составляли разные проекты высшего управления российской революционной армией — с каждым днём эта комиссия сдвигалась в сторону призрака. Да кто создал её? по какому плану и для чего? Это сейчас уже никто не мог установить. Она создалась как-то сама, в революционные дни,— а потом существовала лишь потому, что никто не догадался её разогнать — по двусмысленности её положения, то ли органа Совета депутатов, то ли правительства. Существовала на задворках Таврического, в низеньких комнатах 2-го этажа, и никто значительный и серьёзный уже не приходил к ним туда, а пёрлись смурые фронтовые депутации, а то могла прийти и группа студентов какого-нибудь Электротехнического — и Туган-же-Барановский давал им подробные объяснения о военной угрозе Петрограду.

А впрочем, как ни докучливы были эти визиты — на них-то и держалась Военная комиссия, в этом-то деятельность её и была?

Вообще — в чём была её деятельность? Надо было как-то объяснить это самим себе и публике — и тем утвердиться.

Сели три полковника генерального штаба за стол — и сочинили такое коммюнике для газет.

...Отыскала путь соединения с народом тех воинских частей, которые тёмные силы пытались направлять на защиту старого режима... Была военным штабом революции... (В полном согласии с Исполнительным Комитетом, добавьте! А то получится вообще: не они, а мы?.. Самонадеянно.) ...Теперь же, до созыва Учредительного Собрания (всё в России сейчас существовало, действовало, делалось только до этого созыва, а после созыва всё должно сказочно обновиться)... не принимая участия в борьбе партий... но в единении с Советом Рабочих Депутатов... и в контакте с Временным Правительством... Каждый воинский чин может получать здесь разъяснения по вопросам общего характера... (А уж как надоели!)

Чёрт, какая мерзкая писанина! И — этим заниматься? Военную комиссию пока подкрепили, ничего не скажешь,— но тоска, но тоска, до ломоты в рёбрах.

Во что превратилась революция!

Половцов выходил и, отменяясь своею кавказской формой с газырями и страшной папахой, с брезгливостью похаживал по огрязнённым коридорам Таврического, униженным залам его, то встречая морды из Исполнительного Комитета, то революционный канцелярский аппарат из их жён и родственников, то, иногда, растяпистым мешком трусящего Родзянку, превратившегося в посмешище и ничто, или робких бывших депутатов этой гордой Думы, теперь переодевшихся попроще и жмущихся неслышно по задним комнатам в своих мертвецких заседаниях. В министерском павильоне ещё додерживали каких-то арестованных, уже 5-й сорт.

Деловая мысль могла быть одна только такая: переходить в штаб Военного округа. Это была прямая и настоящая военная служба. Там были все возможности стать в центре действий. Но кем бы туда перескочить? Пока бы всего естественней — адъютантом Корнилова. Однако невозможно предложить себя самого.

Половцов придумал — и уговорил двух офицеров порекомендовать его Корнилову по цепочке знакомых.

А каждый день после полудня нагнеталась во дворец и в Белый зал заседаний какая-нибудь солдатская или рабочая публика, и полный вечер кричала, выла, рыдала, курила под купол и набрасывала окурков. То притащили позавчера ещё и несчастных офицеров из Совета офицерских депутатов, и даже иностранных посадили в ложу, и заставили выслушивать солдатских ораторов, и пункт за пунктом одобрять «декларацию прав солдата»,— как солдат будет членом любой партии, и ходить в штатском,— и вытягивали офицеров благодарить солдат за произведенную революцию и целоваться с ними на помосте.

Половцов иногда захаживал туда, послушал: какое же мерзавство! И неужели вот это

и есть революция? И неужели вот это для неё он покинул свой пост, свою часть, свою честь — а дальше?

Дальше — нога обрывалась. Если не удастся уцепиться за Корнилова...— да что же Гучков, чёрт его раздери, где ж его экстраординарная переписка, неужели уплыла? Именно близ Гучкова в смутное время генеральских перетасовок можно и выскочить в генералы!

И, всё не вызываемый в довмин, Половцов решил туда сегодня ехать.

Но явился Ободовский — и отзывая полковников по одному, объявлял, что просит их сегодня задержаться тут до позднего вечера, а он повезёт их к одному влиятельному лицу, для того чтобы осветить тому некоторые военные вопросы.

— Моё сердце, Пётр Акимович, лопнет от любопытства до вечера, я не доживу! Скажите мне хоть шёпотом — к кому именно?

И Ободовский тихо:

— К Керенскому.

О-хо-хо-хо-хо-хо! Фью-фью-фью-ю-ю-ю! Гениально-комбинаторная голова Половцова сразу дополнила и домыслила всё остальное: Керенский готовится стать военным министром!

Хо!-хо!-хо!-хо!-хо!-хо! Надо ему понравиться.

Будущее несколько переориентировалось.

— А Александр Иванович знает?.. И не возражает??..

Ну, так тогда это и беспроигрышно!

614

В минской газете прочитал Саня манифест «К народам всего мира». Нет, войны уже не будет. Прокликав такие слова, вряд ли можно воевать. Читали ведь и солдаты.

Это звучало, действительно, фантастически и патетически: через железные фронты, или, как там писали,— через горы братских трупов, через реки невинной крови и слёз, через дымящиеся развалины городов и деревень,— вдруг звучал какойто новый, не государственный, голос,— от рабочих к рабочим других стран, от солдат — к солдатам чужих армий,— и могла ли после этого голоса по-прежнему продолжаться война?

И — не Сане было эту войну жалеть. Он сам себе удивлялся теперь, что мог два года с таким старанием и интересом служить. Что мог — добровольно на эту войну пойти.

Он пошёл — потому что тогда Россия нуждалась в защите. А теперь она нуждалась: как благополучно армиям расцепиться да всем разойтись по прежним занятиям.

А Сане, значит, опять в Москву и кончать университет? Мог ли он ещё вместиться на студенческую скамью? Да пожалуй ещё мог.

Всякая мысль о Москве приходилась ему особенно сладка — и хотелось именно туда скорей.

Надоели газеты, столько дребедени и пошлости было в них, распухала голова. Бросил, пошёл пройтись. По задней опушке Дряговца, мимо всех землянок, в сторону 2-й батареи.

Стоял податливый пасмурный денёк. Подтаивал снег, рыхлел повсюду — а на наезженной дороге зеркалили лужи. Близко кричали грачи, в перелётах и суетне.

На берёзках набухали почки.

Тут Саня встретил прапорщика Фокина, идущего в штаб бригады, очень мрачного. Повернул с ним.

По пути Фокин рассказал о своих злоключениях. Желая повеселить солдат — он поигрывал им на скрипке по вечерам. «А барыню можете?» «А комаринскую можете?» Подбирал, иногда и плясали. И быстро прошёл об этом слух — и стали его уже вызывать каждый вечер,— сперва своя батарея и на передки, потом уже и соседние в Дриговце части: «Прийдить, господин прапорщик, а то весь коленкор без музыки линяет.» Наконец, это ему надоело, уже не осталось ни одного вечера свободного, он стал отказывать. Стали обижаться и даже смотреть по-волчьи. Тут нашли какого-то парня со стороны: «Дай ему скрипку, раз сам не подыгрываешь!» — «Да как же я дам в неумелые руки?» — «А он по ярмаркам играл.» Отказал — ещё хуже стало. Вот: как с ними правильно себя вести? и — можно ли по-доброму?

Саня в душе уверен был, что — можно. Но и с Фокиным не видел: где тот ошибся?

Что его самого соединяло с солдатами — это то, что он знал мужицкий труд и был из мужиков же. А без этого — легко было совсем потеряться. Выходило так, что всякий надевший погон со звёздочкой — уже был обречён на отъединение. Все офицеры до единого — и надменные гвардейские служаки, но и молодые недавние интеллигенты,— все своими погонами отъединились бесповоротно.

Вот, запрещены были всегда карточные игры солдатам. Но офицеры, напротив, всегда играли,— зачем? Неужели нельзя было воздержаться, отказаться? А теперь — из Петрограда разрешили и солдатам. И они в землянках сидели и резались в карты. И — что можно возразить? А при картах — уже не те солдаты.

Расстался с Фокиным — в расположеньи своей батареи уже слышал знакомый рогочущий, как жеребячий, голос. Чернега! Саня обрадовался: неделю его не было, как уехал на противоаэропланные курсы в штаб гренадерского корпуса.

Пошёл на голос.

Чернега с большим красным бантом на груди шутил с группой солдат, те вдвое перегибались-смеялись. Вот что в нём осталось — фельдфебельское, это да, Чернега был всегда с солдатами заедино, ещё гораздо свободней, чем Саня.

— А, Санюха! — прилопатил тяжелой рукой.— Ну, как ты тут? Ты, говорят, член батарейного комитета?

— Да выбрали вот,— улыбнулся Саня.

— И председатель батарейного суда? — уже всё выспросил Чернега.

— Да,— ещё улыбнулся, неуверенно.

Уже влёк его Чернега под локоть в землянку и спросил:

— А Бейнаровича — председателем выбрали? Как допустили?

— Да он выступал, кричал... Конечно б, Дубровина.

— Зря, зря,— уже в землянке отпыхивался Чернега, но не очень заботно.— А у нас в корпусном — тоже еврей, ефрейтор, но образованный, умный, зараза.

— В корпусном — что? — не понял Саня.

— Комитете! — хохотал Чернега.— Ты разве не знаешь? Я же теперь в корпусном комитете, ты не знаешь?

— Всего корпуса? — так и сел Саня на чурбак.

— Ну! А ты не знал?

Со своей купеческой койки ноги спустя, Устимович сиял, он уже знал.

— Да как же ты попал? — изумлялся Саня.

— А я ж там рядом был! Речь им двинул — и выбрали.

Смеялся, очень доволен.

— Тут ещё мою койку не заняли? Сейчас меня Цыж обещал кормить. За всю неделю, что я не добрал тут.

И руки тыкал под умывальник наскоро.

— Всего Гренадерского корпуса? — продолжал изумляться Саня.

— Всего всего! — бодро хохотал Чернега, руками в полотенце.— А скоро будет армейский съезд — и туда уже выбран, поеду.

— Так ты у нас что? И в батарее не будешь? И служить не будешь?

— Вот, скажи, Санька, и сам не знаю,— посерьёзнел Чернега. Пошёл сел на санину койку.— Никто меня, конечно, с должности не высвободил, но и сполнять её мне никакой возможности нет. Вот, как теперь с комитетскими будет — никто не знает. Сегодня ж опять в корпус назад надо гнать.— Посмотрел: — Да вы тут с Устимовичем — неужели не справитесь?

Устимович улыбался — с надеждой ли на Чернегу или почтительно, как на героя. Устимович от всегдашней мрачности повернул последние дни к весёлости, то и дело улыбался. Шёл один тот конец, которого он и хотел.

— Ну и койка у тебя неудобная! Как тебе жердь в подколенку не давит? — пошёл, пересел к столу. И по столу хлопнул толстой ладошкой, как прибил: — Всё, Санюха, начинается житуха — ещё такой солдат не видал. Долой баронов, фонов и шпионов! Стоять в окопах будем — а вперёд ни шагу!

И — попыхал, попыхал задыхательным смехом, нельзя понять: и сам так думает или это он про других.

Увидел санин недоверчивый взгляд, и:

— А что? Плохой привал лучше доброго похода. Не я придумал: вон, в газетах пишут: все уставы будем ломать! Наверно и правила стрельбы! Зря ты, Санька, учил! — и смеялся, трясся.

Ещё заново подивовался Саня на своего неиссякаемого приятеля. На всё встречное в жизни был у него избыток силы и веселья. Так и теперь. Зная Чернегу, можно было предсказать, что его и революция с ног не собьёт. Но ещё новой силы он за эти дни нахватался.

— Так ты же мне... Ты — что? Эти дни — где?..

Ещё колесей грудь выкатил Чернега, кашлянул для приосанки:

— Я, Санюха, полки объезжал.

— Полки?

— Перновский, Несвижский, Киевский, Самогитский. Объезжал, знакомился, на передовке везде побывал, комитет должен всех знать! Теперь, Санюха, эти звёздочки,— себя по погону пошлёпал,— ничего не стоют. А вся власть будет у комитетов, привыкай. И имей в виду: не верят солдаты, что офицеры революции рады. «Ещё куда господа потянут!» Закоренело, попятно. Офицер мол и хороший-хороший, а кровь чужая. И не без этого. Езжу, убеждаю: рады мы! вот, на рыло мне смотрите! В пехоте, знаешь, не как у нас, меж собой ворчат: везде начальство поснимать, а чтоб свой брат стал. А другие уже домой бегут: боятся, без надела останутся. А на кой ляд эта война, правда? Фу-у-у!.. Да что ж Цыж не идёт, не несёт?

Всем своим чёрным долго-усталым лицом Устимович передавал согласие и восторг.
Да и Саня смотрел на Чернегу едва ли не с восхищением — на эту жизненную силу прущую, безмерную.

— И думаешь, справишься, Терентий? В корпуспом?

Важно провёл Чернега большим пальцем по натопыренным коротким усам:

— Мордой в грязь не ткнёмся!

В который раз, подавленный его опытом, Саня спросил:

— И — что же ты думаешь, Терентий? Как же это пойдёт?..

— А что? — бесстрашно примеривался Терентий крепким шаром головы.— У народа мышцы затекли, надо и размяться. Туда их всех, Санюха,— Николашку, Алексашку. И Родзянке народ тоже не доверился. Не управили Россией, руки у них слабые. Да ею управлять, знаешь каки жилисты надо?

Как руки мыл — у самого по локоть закачены остались — вот она, жила!

— А революцию — её тоже, как лошадь без вожжей, пускать на произвол не надо. Надо её, Санька, поднаправливать! Потому я и в комитеты пошёл.

Не спросил уж Саня о батарее, но пошутил:

— А как же — Беата? Эт'ты до неё теперь добиратьсн не будешь?

Ещё подприосанился Чернега, надувом:

— Теперь, Санька,— не до баб! Всё! Перерыв! Теперь — надо революцию высматривать. Шоб не завалилась.

Толкнув дверь ногой, шёл за тем Цыж и нёс перед собой двумя руками духовитый чугунок.

— А, денщичья сила! — заорал Чернега.— Что несёшь?

— Так что — чебанскую кубанскую кашу, господин прапорщик! — весело отозвался и старый Цыж.

— А, молодец! А, угодил! А ну,— двумя руками,— стол расчистить! А ну, где моя ложка на четыре вершка!

И правда, с человеком этим всегда забывались горе, сомнения, а возвращалась здоровая охота к еде.

615

Превосходно всё шло и могло идти в министерстве иностранных дел, и Павел Николаевич с пониманием и тонкостью уже задумывал внутреннее целесообразное преобразование департаментов, и ещё новые послы — японский, испанский, португальский, бельгийский, сербский, норвежский, персидский, сиамский, посещали его с признанием Временного правительства, а уж с британским и французским он совещался через день,— и всё бы могло течь преприятнейшим и умнейшим образом — если бы не тяжеловесный, тупоумный и дерзкий Совет рабочих депутатов.

Как четырёхпудовую гирю навесили косо на ремне через плечо — и ходи так, действуй и управляй.

Вот, уже не насыщаясь своей фактической властью над Петроградом, над железными дорогами, над тыловыми частями, не насыщаясь своей «контактной комиссией», здоровенной и наглой фигурой Нахамкиса, нависшей над министрами (смесь отвращения, но и страха стал испытывать к Нахамкису Милюков),— Совет полез и в международные дела! Вчера было слышно об их возне в Морском корпусе,— а сегодня на разворотах не только советской газеты можно было прочесть их безответственное преступное воззвание «к народам всего мира» — и даже, что особенно встревожило Павла Николаевича,— одобрительные отзывы о нём на страницах вполне серьёзных газет.

А это был — типичный, откровенный и разрушительный циммервальдизм! Но наибольший взрыв состоял в том, что петроградский Совет уже присваивал себе международные функции, игнорировал правительство своей страны да и других стран. Он создавал грозную ситуацию, когда правительство должно было твёрдо заявить о себе либо перестать существоваать.

Но — кто, кто? — в этом совете министров был тот твёрдый человек, который мог бы решиться на твёрдое проявление, особенно против Совета депутатов? Да никто, кроме Милюкова. Тем более, что вот уже и в его же коренную область Совет вторгался.

Рано утром за кофе, как только пришла вся охапка свежих газет, Павел Николаевич прочёл это воззвание *ex officio* один раз, тут же и другой раз. Нет, его не обманули эти декорации, что «русская революция не отступит перед штыками завоевателей»,— может быть, не отступит, но и, во всяком случае, не *наступит*, так? А главная фраза была другая и даже дважды повторена: «решительная борьба с захватными стремлениями правительств всех стран», и тут же — «противодействовать захватной политике господствующих классов».

Как только начинают козырять «классами» — так тут же зияет и пропасть внутри каждой страны и всего человечества. (И «классы» воспринимаются как виноватое Временное правительство и ты сам посреди него.)

Совет депутатов не только вмешиаался ао внешнюю политику Временного правительства — но и прямо навязывал изменить её!

Как?! Да главный смысл всей революции и был — остаться верными союзникам вопреки измене царя! И теперь Совет депутатов хотел повернуть правительство на ту же измену?

И ведь: своей безответственной декламацией только создают впечатление слабости России: так, чтоб нам перестали верить союзники и перестали бояться враги.

За последние дни несколько раз публично, а в частных беседах бесчисленно,— заверял Милюков союзников а нашей верности союзным обязательствам, что Россия для этого принесёт безоглядно все необходимые жертвы. И — какая же теперь создавалась постыдная неловкость перед послами? И — какой куклой тряпичной выглядел он сам?

Да не только а этом, но вся логика нашей балканской многолетней политики, но вся логика борьбы этих лет,— разве они допускали так безответственно хлопнуть крыльями и отряхнуться ото всех национальных целей России и прежде всего от жизненной потребности в Босфоре-Дарданеллах? *Cui bono*?

Газетчики всего мира сейчас с сенсационными криками разволочат этот «манифест» на позор русскому правительству — и кто же в правительстве способен не испугаться и сказать властное «нет» этой деструктивной стихии? Что ж, Милюков всегда славился своей способностью высказывать неприятные твёрдые вещи. Придётся продемонстрировать это ещё раз, уже при новом режиме. Придётся стать для асех — *bête noire*.

Какая ирония судьбы: свои главные дипломатические усилия направить не в лавировку меж держав — но: обойти этих сиволапых?

Хорошо, он их заманеврирует.

Безо всяких манифестов он твёрдо направит Россию по руслу верности союзникам и собственным российским интересам. Он — реально так проведёт, и не обойтись как-то и заявить об этом вскоре — против всего тысячеротого Соаста.

Однако если бы — только одна эта дерзость! Но вчера же, на том же Совете, они успели принять и ещё одно воззвание — к полякам! Это уже вовсе взбесило Павла Николаевича! За Польшу боролись все — и павший Николай со своим дядей Николаем, и Вильгельм с Францем-Иосифом, и левое крыло собственной кадетской партии, и все сыпали полякам заманчивые декларации и обещания,— и теперь, обогнав Временное правительство, с беспечностью проанл и Совет: Польша имеет право быть независимой, создавайте независимый демократический строй! Братский привет! А сегодняшние «Известия» писали так ещё чище: да поднимется восстание во всех трёх частях разделённой Польши! Не теряйте этих дней! (То есть — и против нас восстаааайте!)

Легко раздаривать, чего не собирали.

Да Милюков и сам уже начал переговоры с польскими кругами. Но польский вопрос такой сложный: поляки рассеяны по разным странам, мнения у них разные. А сама страна оккупирована, и немцы успели выступить инициаторами польского освобождения — там уже национальная школа, суд, самоуправление, набранные легионы. Но и великий размах русских событий открывает простор для польского вопроса. Однако, не давали ничего подготовить *omnium consensu*, но забивали крикливыми декларациями.

Нет, Павел Николаевич не принадлежал к тем горячим головам, как Родичев, кто страстно жаждал всегда независимости Польши. Павел Николаевич понимал, что для силы и крепости Российской империи удобнее держать царство Польское в своём составе. При широкой автономии, конечно.

Однако, этого уже не скажешь так прямо вслух, тут своя филиация идей. Приходится действовать — и стремительно даже! Теперь никак не избежать публичного обращения правительства к полякам. И обращению этому неприлично отстать от советского более чем на сутки: эти сутки ещё можно объяснить технически, а готовили будто бы уже давно.

То есть: надо было буквально сейчас, за несколько часов — Павлу Николаевичу, конечно, кому ж ещё? — написать это воззвание, и сегодня же вечером принять его на заседании кабинета, и чтобы завтра оно уже было в газетах. Прямо вот сейчас, за утренним кофе, не отрываясь, тут же, набрасывать его — да не социал-демократическим шавканьем, а достойным государственным языком.

Но именно сейчас-то надо было ехать на дурацкую церемонию — церемонию принятия присяги Временным правительством в Сенате.

Тем более дурацкую, что вчера же, под давлением Совета, правительство должно было отменить присягу для армии, так торжественно установленную. Присяга для армии хоть имела смысл, потому что простые люди верят в этот акт,— но какой смысл имела присяга образованных министров? — только нежелательный оттенок легитимности к порядкам старой России.

Однако надо было спешить к 11 часам в Сенат — и надевать — что же? торжественный чёрный сюртук.

Глубоко в душе уложив своё намерение ответить Совету о войне, мире и верности союзникам,— Милюков по поверхности памяти и души шарил, составлял воззвание к полякам. И по пути, в автомобиле, уже записывал некоторые фразы.

Ещё несколько дней назад должна была состояться церемония этой никчемной присяги, всё откладывали её — то из-за отъезда Гучкова, то из-за неприезда Владимира Львова,— да этот разиня и сегодня не доехал.

А Керенский! — Керенский явился на церемонию не в сюртуке, но в наглухо застёгнутой своей полурабочей куртке (из которой он, очевидно, хотел изобразить сюртук Наполеона). Оделся так, совершенно не считаясь с общей формой, и даже нарочито, чтобы выделяться демократичностью. И, ещё более нарочито, проходя помещения Сената, здоровался за руку со всеми швейцарами и курьерами.

Ах, поздно осознал Павел Николаевич, какого же он дал маху, сам позвав этого демагога в правительство.

Ещё он обратил внимание на уныло-усталое лицо сильно постаревшего Гучкова. Но не обменялись с ним ни словом. А князь Львов светился торжественной глупой радостью.

Тем временем министров пригласили войти в зал 1-го департамента. Здесь, как и во всех залах Сената, был снят портрет бывшего царя, светлел-зиял прямоугольник на стене. Вот уже стояли буквою «П» в своей позолоченной форме 24 престарелых сенатора — и сгруженной кучкой в центре стали министры.

Всё это напоминало детскую игру, когда нужно делать как можно смешней, но не рассмеяться, а то проиграешь. Всех министров попросили поднять правые руки и в такой неудобной позе долго стоять, выслушивая и повторяя слова сенатора-председателя. И слова, конечно, самые банальные: ...перед всемогущим Богом и своею совестью... служить верой и правдой народу державы Российской... подавлять всякие попытки к восстановлению старого строя...— (как будто в этом состояла теперь борьба) —...все меры к скорейшему созыву Учредительного... и преклониться перед его волей...

Прежде чем «преклониться перед его волей» — надо было поворачиваться побыстрей да действовать как мужчинам. А вот Гучков — что-то дремал, не оказывался союзник.

Дневное заседание правительства отменили, а до вечернего Павел Николаевич успел составить не только великолепное обращение к полякам, а ещё придумал и более ловкий ход: создание Ликвидационной Комиссии Царства Польского (с участием видных поляков)! Это уже, действительно, был настоящий ход действия, язык правительства, а не какого-то митинга в случайном помещении,— и показывал, что Временное Правительство не первый день и серьёзно готовится к освобождению Польши.

Ликвидационную комиссию министра сразу поняли и приняли. Выяснять местонахождение имуществ Царства Польского и передавать их полякам, ликвидировать наши там учреждения. И председателем комиссии — поляка.

Но само воззвание? — министры вдруг закапризничали, стали критиковать. И никто не мог возразить по существу: какие же его мысли неверны? Освобождённая Россия в лице своего Временного Правительства спешит обратиться к вам с братским приветом? — так, в лице правительства, а не совета депутатов. Срединные державы Европы воспользовались ошибками лицемерной старой русской власти? — верно. Они предлагают вам призрачные государственные права и этой ценой хотят купить кровь поляков, которые ещё никогда не боролись за деспотизм? — абсолютно правильно. Свободная Россия зовёт вас в ряды борцов за свободу народов? — но это оборот, которым Милюков гордился: что мы — опередили их в свободе, пусть нос не задирают, и теперь зовём *их*. А дальше — главное программное заявление: что Временное Правительство считает создание независимого польского государства...

Ну да,— боязливо жался князь Львов.— *чем* считает? Тут очень нужно осторожненько.

Залогом мира! — предложил кто-то. Прекрасно.

Да, но в каких границах независимая Польша?

Разумеется, за счёт всех трёх — России, Германии и Австрии.

— Но,— тяжело возразил Гучков,— если им самим дать определять, где кончается Польша, то они отхватят Минск и Киев, и всю Литву.

— Я думаю так,— искал Милюков: — из земель, населённых *в большинстве* польским народом.

— А где пополам с малороссами?

— Нет, тут надо доработать, подумать, как бы не ошибиться. Поляки — слишком чувствительный народ.

— Но уже Совет брякнул, мы не можем откладывать, поймите! — сердился Павел Николаевич. Который раз он чувствовал, что ему не хватает в правительстве полноты власти. Совершенно зря он не рискнул взять премьерство в первый же день.

— Надо оговорить,— хмурился Гучков,— что, дескать, Россия надеется, что те народы, которые, ну... связаны с Польшей веками совместной жизни, тоже получат, и в Польше, обеспечение национального существования.

Милюков и сам понимал, что поляков надо укоротить, но его формулировка была более тонка.

Дальше — про будущий братский союз с Польшей — правильно. И ссылка, что только Учредительное Собрание может дать согласие на территориальное изменение России — юридически безупречна, этого не может сделать даже правительство, не то что совет депутатов. Светлый день истории, день воскресения Польши, союз наших чувств и сердец — это всё хорошо, но сошлись на том, что надо всё же дорабатывать. Тем более, что, по важности декларации, должны будут подписать все министры. Ну, к завтрашнему заседанию, Павел Николаич.

Теряем день. Уже и так всё отлично выражено. Какой набор нерешительностей! Павел Николаевич надулся. Завтра представит в том же виде — и всё примут.

И — потянулась, потянулась занудная череда мелких дел, это правительство не умело отбирать главное от неглавного. Что делать с комитетом по борьбе с немецким засилием? Ведь он был по сути орудием правых,— но сейчас неприлично бы выглядело ликвидировать его. Передать в министерство торговли и промышленности. А Коновалов, воодушевлённый своим успехом снятия национальных ограничений с покупки акций всех видов (еврейские круги приняли восторженно), теперь хотел бы иметь большую свободу с неограничением так называемого неприятельского, то есть австро-немецкого, капитала, зачем нам лишать себя лишних средств? И нужны средства на разработку горючих сланцев по южному берегу Финского залива. Хорошо, миллион двести тысяч. А междуведомственное совещание по устроению и развитию Русского Севера запрашивает: своевременно ли ему существовать или кому оно должно передать свои дела и денежные остатки? Совсем неожиданный вопрос, и никто в правительстве не знал, что тут решить. А Мануйлов тоже просил внимания: облегчить процедуру оставления теперь за штатами профессоров, назначенных прежним правительством без представления факультетов и советов. (Боже мой, неужели это нельзя проделать, самому? Да у Павла Николаевича своя есть тоже неотложная работа: быстрей использовать возможности свободы: готовить к изданию свои думские речи с восстановлением выпущенных мест — русская публика заслужила прочесть их полностью. Нет, сиди слушай эту ерунду.) А Набоков предлагал сокращения в составлении официальных бумаг. А вот была телеграмма от духоборов из Канады: они, 10 тысяч, бежавшие от зверского царского правительства, теперь хотели бы вернуться на родину, рассчитывая, что новое правительство не будет же их привлекать к воинской повинности.

Казалось бы: мечта Льва Толстого, и князь Львов особенно рад выполнить?

Но это был бы совсем невозможный и нетактичный шаг сейчас! И как у них не хватает терпения посидеть тихо в этой Канаде? Но если мы их сейчас освободим от воинской повинности — то какие будут обиды в армии? во что превратится государство?

Однако прерывая череду и этих вопросов — подошли шепнули князю Львову, а он объявил, не благоугодно ли будет министрам прервать заседание и в полном составе выйти в круглый зал Государственного Совета — нельзя не выйти — для принятия депутации Черноморского флота.

Нечего делать. Покидали все бумаги и портфели на столах, и потянулись в ротонду. Эти депутации начинали уже вконец заматывать.

Министры стали недружной кучкой, не доходя до центрального паркетного круга, а со стороны розово-мраморного зала вошли под сень колончатой ротонды человек 30 черноморцев, многие молодцеватые.

Сразу выступил бойкий прапорщик, и завёл пышную речь: от имени гарнизона и флота какая высокая честь приветствовать в лице присутствующих министров... с чувством благоговения перед великим актом русского народа... с чувством восторга перед поборниками священных прав... (Этот прапорщик, несомненно, в армии был новичок, а на каких-нибудь студенческих сходках выступал не раз.)

И такой же смышлёный и речистый юный солдат вослед ему стал говорить от имени 40 тысяч солдат, матросов и рабочих, что они не положат оружия, пока враг не будет сломлен.

Старший средь них офицер стоял даже не в первом ряду, задвинутый.

Рядом с Милюковым Гучков изнемогал от скуки. Ему бы, кажется, отвечать, но он не двинулся.

И досталось, конечно, масляно-благодушному, всегда в хорошем настроении князю Львову. Князь сообщил морякам, что Россия вступает в новую жизнь и для этого не должна быть сломлена врагом.

И вдруг как пробка из бутылки, как проталкиваясь через расслабленных министров, вьюном, затянутым в своей узкой куртке, вывинтился Керенский. Быстрые шаги — казалось даже перебежит всё пространство и сольётся с моряками! Нет — остановился в самом центре, под верхним купольным светом. И, отвечая на незаданный вопрос, звонко объявил депутации:

— Товарищи! Вы знаете: я — социалист и республиканец! Не верьте слухам, пытающимся подорвать связь между Временным правительством и народом! Я — ваш заложник среди Временного правительства! — и ручаюсь, что нам и народу бояться нечего!

Этой непрошенностью, непредугаданностью шагов Керенского Милюков уже не первый раз был застигнут врасплох, обомлевал: старый боец либеральных диспутов, он не привык к таким повадкам, и не умел осадить. Кто Керенского вызывал? Кто этот вопрос

о доверии тут ставил? Какой такой заложник? Что это за «нам и народу»? За годы 4-й Думы Милюков привык к нервной дёрганности Керенского, но тогда она ничего не значила — а за эти недели Керенский преобразился в победительного необузданного актёра, который всё время лез на авансцену и удивительно нетактично декламировал.

— Если бы была,— драматически звенел его голос,— хоть малейшая мысль, что Временное правительство не в состоянии выполнить свои обязательства,— я сам бы первый вышел к вам и объявил об этом! — (где б это он «вышел», в Севастополе?) — Повторяю: вам бояться нечего! — Освобождал он черноморцев от страха, которого и тени они не выразили.

Милюков чувствовал, как в середине груди у него сгущается к Керенскому комок ненависти. Этот дешёвый актёр превращал всё правительство в балаган, всех оттеснил к нолю — и ещё неизвестно, до чего дорвётся.

Вернулись к заседанию, сбитые уже с последнего настроения.

А теперь лез вперёд и настаивал выслушать его этот рослый чёрный горящий дегенерат Владимир Львов, уже явившийся из поездки. (Недавно на закрытом заседании правительства Милюков знакомил министров с тайными договорами России,— Львов кричал ополоумело: «Ах разбойники! Ах мошенники! Немедленно отказаться от всех договоров!» С той ночи Милюков про себя не звал его иначе как дегенератом.)

Дали ему слово для отчёта. Но он не стал кипятиться меньше, а так же всё подпрыгивало его темя как крышка на кипящем чайнике. Он — возмущён Синодом! и митрополитом Владимиром! и митрополитом Макарием! И ещё более возмущён, что они самовольно отправились к Родзянке, не спросив обер-прокурора. И ещё более возмущён, что Синод за это время сносился прямо с правительством — и правительство это допустило, унизив своего обер-прокурора. И обер-прокурор узнаёт обо всём этом из газет. И как мог князь Георгий Евгеньевич без обер-прокурора дать заверение иерархам, что Синод не будет распущен до Учредительного Собрания? А между тем члены Синода проявляют полную неспособность ориентироваться в новой обстановке и никак не могут разучиться говорить старым языком!

И этого дегенерата — ведь тоже пригласил в правительство Милюков. Где были его глаза?..

Керенский безвыходно-нервно громко щёлкал замками портфеля.

Гучков обвис головой и плечами и ещё внутри самого себя как будто осел.

Терещенко сидел свеженький, в бабочке, блистающий,— как будто отсюда спешил на ночной концерт или в кабаре.

А где-то за стенами наливался ненавистью тридцатиголовый Исполнительный Комитет и тысячеголовый Совет.

И в первый раз самоуверенный Милюков усумнился: что несмотря на всё доброжелательство Англии и Франции, несмотря на пачки приветственных телеграмм от межпарламентского союза, от парижского муниципалитета,— ни у него, ни у Временного правительства может не хватить силы ног — устоять.

Он уже не был так уверен, что проведёт российский корабль между всех рифов.

616

А в «Правде» со вчера на сегодня произошёл переворот.

Это случилось в отсутствие Шляпникова, у него ноги не успевали везде быть, да он и не ожидал от приезжих такой быстроты. А Молотов, который и сидел в «Правде» и должен был направлять дело,— поддался, струсил, уступил в один вечер. («Я протестовал!»)

И сегодня Шляпников развернул родимую «Правду» — на первой странице разлился вчерашний полуоборонческий Манифест Совета,— уже ошибка, такого места не следовало ему давать. А на второй, в верхнем углу, жирно: о том, что все трое, имярек, вошли в редакцию и теперь поведут «Правду». Не спросили ни БЦК, ни ПК,— всё сами, как будто «Правда» отдельный остров, никому не подчиняется.

Руководство партии складывалось в подполье, а его устраняли, как муху сгоняют.

Обидно. Но эту обиду Шляпников бы сглотнул: в партийном деле не лица важны, не самолюбие, а — насколько дружно взялись. О, если бы дружно! Но нет, сразу же за Манифестом шла передовица, подписанная Каменевым,— оборонческий шовинистический плевок во всю политику большевиков как Шляпников её вёл, как понимал во всю войну. И этакое — прочесть из «Правды»! Стянулось небо в овчинку, потемнело,— лучше бы Шляпникова подстрелили 27 февраля на улице! «Долой войну»,— писал Каменев,— это не наш лозунг. На немецкую пулю ответим пулей, на снаряд снарядом.

Но что завертелось в Таврическом! Это был день оборонческого ликования! — «Правде» обрезали ногти, когти, если не руки и ноги! Уж не только в думском крыле ликовали, но на самом Исполнительном Комитете встретили Шляпникова ядовитыми улыбками.

А что началось на Выборгской, на заводах, среди низовых членов! — каково было им среди товарищей, хуже, чем Шляпникову на Исполкоме, они и вовсе не знали, как отвечать. Кто вызывал Шляпникова к телефону, от кого гнали нарочных узнать: что за поворот? как это сталось и как понимать? Без всякого предупреждения, за одну ночь сломалась «Правда» и показывала уже в другую сторону. Другую правду. Как переломит ветром ствол, и он свисает набок, не оторвавшись.

Уж не считай униженья, стыда — какой же ты руководитель? — но смутно, грозно: как же из этого спасать? как выводить партию?

В ПК тоже ничего не знали, были потрясены (а кто и рад).

Шляпников не в дни, но в часы должен был принять решение — исправить положение или сдаться.

Товарищи его и винили, что это он допустил. Да получалось и действительно, что он.

Более сокрушённого и запального дня не выдавалось ему за всю революцию. Без сна, без сил тянули — но было радостно, а тут повернулось тошно, разгромно — и всё внутри, от своих.

Один выход был: сегодня же устроить заседание всей головки партии и сокрушить приезжих голосованием и заставить их подчиниться партийной дисциплине! Созвать расширенное БЦК? Расширенный ПК?

Но даже не было уверенности, что приезжие явятся туда или сюда, так они себя самовластно поставили. Шляпников был для них — необразованный рабочий парень, неизвестно как оказавшийся во главе партии. И все они могли просто не придти туда, куда он назначит,— тогда уж совсем позор. Шляпников не имел привычки — властно приказать, он голоса такого не имел.

И приходилось собираться на территории «Правды» же, на Мойке. Идти всем туда — это и были поддавки с самого начала. Но ничего не оставалось.

И весь день ушёл на то, чтобы сбить такое совещание в «Правде», хотя бы к позднему вечеру. Не ко всем доставали телефоны, надо было слать посыльных, не хватало кого и послать,— Шляпников и сам немало побегал по сборам, как и привык бегать все дни.

Теоретически — к бою он не готовился: вся теория у него залегала в груди, как хорошая простуда, прочно, уж там как выкашлянет. Новых цитат искать-листать ему было некогда, да не умел он. Но не было у него сомнения, что бой — надо дать. Просто отчаяние брало, что так легко предать и сломить коренную ленинскую линию, протянутую эти годы стальной паутинкой — через рыгающие фронты, через моря, через заполярные границы, из Швейцарии в Петербург.

Итак, собрались поздно вечером в «Правде» — а считалось, что это — совместное заседание БЦК, ПК, редакции «Правды» и приезжих товарищей. И ещё навязался сухорукий, тщедушно-длинный Лурье, сказываясь всячески большевиком.

Расселись в редакционном залике с зашторенными окнами на Мойку. Задымили.

Прямо из Выборгского райкома нужны были бы соратники, но их неудобно было сюда ввести. Итак, надеялся Шляпников на горячих, верных, шумных Хахарева и Шутко из ПК. Хитрый Калинин сидел смирно. Молотов совсем раскис. А Залуцкий — как всегда печальный, но не от того, что происходило перед ним, а как от чего-то своего.

С приезжими чувствовалась напряжённость, но лицом к лицу куда было легче, чем Шляпников целый день метался удавленный. Собирал совещание он — ему и начинать. Он и начал. Никаких записанных тезисов у него не было (никогда не бывало), но в нём самом так уверенно всё было заострено, так изгорало второй день бесплодно, что он не боялся потерять мысль, только что не всё по порядку скажет.

Рабочие массы, заявил он, потрясены и в недоумении: что сталось с большевиками за двое суток? То, что напечатал товарищ Каменев,— это обычное оборончество, которого только и жаждет наша буржуазия. Это — союз с меньшевиками и эсерами. (Не добавил, но про себя: они в Сибири не знали настоящей партийной борьбы и по-обывательски объединялись с меньшевиками.) И Петербургский комитет, присоединял к себе Шляпников, и Московский комитет (он надеялся, что так, а оттуда никого здесь не было),— мы ведём борьбу с такими взглядами.

— Товарищ Каменев предлагает: «народ имеет право знать цели войны». Так грабительские цели войны ясно нам определены в 47-м номере «Социал-демократа», у товарища Ленина есть там такой ответ: «если бы в России вдруг победили революционеры-шовинисты,— мы всё равно были бы против обороны их «отечества» в этой войне!» А сейчас — даже и не они победили, а сомнительные двухдневные республиканцы с монархическим подбоем. А наш лозунг: союз международного пролетариата для социалистической революции.

Каменев снисходительно слушал с интеллигентской усмешечкой превосходства, что́ с тобой, простым рабочим, спорить. Но, почувствовал Шляпников, ленинской цитатой хорошо он его по лбу угрел, сразу не найдёшься, что ответить.

И Муранов брови нахмурил, усы длинные расставил, выражение дурашливое.

До сих пор, нажимал Шляпников, «долой войну», дай землю и 8-часовой день были три кита нашей пропаганды. Да мы вот на днях издали, распустили брошюру «Кому нужна война» (сашенькину), 200 тысяч экземпляров. И что ж теперь — отказываться от самих себя? На чём же мы плывём? Не достойно революционного социал-демократа повто-

рять оборонческие кивки на немцев — мол, пусть они теперь делают революцию, а если у них нет мужества свергать Вильгельма — то мы пока законно обороняемся. «Давить на Временное правительство» — это не ахти какой выход, с этим и все соглашатели согласны, но это близоруко. Давите, давите, а правительству важно только, чтоб армия ему подчинялась и шла бы в бой. Для обмана простачков они какие угодно заявления сделают и от завоеваний откажутся, лишь бы каждый солдат оставался на своём посту, как и призывает товарищ Каменев. Значит, «долой войну» по Каменеау бессодержательно, а содержательно — подкреплять собой спину буржуазии?

До сих пор Шляпников нёс одним дыханием, сильно разгорячился. Но на этой «содержательности» Каменев ему сразу тихим голосом и подставил:

— А что же именно содержательного вы нам предлагаете? Как же содержательно понять вашу тактику?

— А то, что недостаточен переход власти в руки либерально-монархической буржуазии. Она должна переходить к пролетариату.

— Нет, по насчёт войны,— глаза Каменева сжимались, будто он готовилсн рассмеятьсн.— Бросай окопы, и пусть туда немец заходит? Бросай винтовку, и пусть он её подбирает?

— Нет, такой глупости мы не предлагаем! — обошёл Шляпников.— Это обывательские сплетни. Это так «Правду» поноснт.

— А — что же? Содержательно — что же? — щурился Каменев.

Чёрт его знает, это действительно было ещё не продумано, не известно, что именно делать. Да ведь и обстановка небыаалая. Постепенно нащупаетсн. Не мог он сейчас точно сказать, но чутьём трезвого человека чувствовал, что лозунг — самый сильный, он будоражит солдатское сознание и облегчает агитацию. Что призвать не воевать — это сильней, чем призвать воевать.

— А — вступать с немецкими солдатами в беседы, разъяснять им мировую революционную обстановку. Чтоб они против войны повели борьбу снизу. В общем, объяснннть, что мы братья.

— А на каком языке объясннть? — Каменев ехидно.

— Ну, найдётся кто-нибудь. У австрийцев — и славяне, по-нашему понимают.

— А если он в беседу не вступит? — спросил угрюмо бровастый Муранов.— А если он нашего штыком в живот?

Да уж кто из них в переделках бывал больше Шлнпникова, вам бы так, господа думские лидеры.

— Так надо с умом. Сперва перекрикнуться. А как — вы предлагаете содержательно? Что вот Манифест опубликовали — так он по воздуху к немецким солдатам перелетит? На немецкую революцию надеяться — так надо ж и нам не воевать. А что вы предлагаете практического?

Теперь Каменеву что-то приходилось ответить:

— Переговоры социалистических верхов.

— Так это само собой, никто вам не мешает. А братание в траншенх — само. Тогда и верхушки будут переговариваться поживей.

Тут — и Хахарев и Шутко тоже голосов поддали. И Шмидт косой помычал. (По Временному правительству в ПК колебались, но против войны — дружней.)

А Сталин сидел в сторонке тихо, благоразумно, папиросы искуривал. Да он — не вредный, он даже, может,— и не против. Из троих он меньше всех был замешан в правдинском перевороте, и у Шляппикова не было к нему упрёка.

Каменев только что не смеялся открыто. Он понял, что Шляпников сам не понимает, что такое «долой войну», и не может предложить разумного способа поведенин. А Шляпников горячился, асем чутьём ловя, что поведение такое есть, только не мог он его, действительно, назвать точными словамн. Шутко и Хахарев вступили в обсуждение, какие могут быть на фронте случаи. Залуцкий высказывался как бы в рассеянности. Молотов ни мычал, ни телилсн.

Бурно было, покрикивали, призывали к порндку. Во всё обсуждение мешался ещё Лурье как свежий человек из Европы и всё может рассказать про обстановку в Германии. Слушали его, но не вытекало нсно: так будет в Германии революция или нет. И опять спорили: что делать нашему солдату на фронте?

Горнчились, только не Каменев. Он выслушивал с запрокинутой головой, через пенсне, и всё как старое, ничего нового:

— Что мировую войну может кончить только мирован пролетарская революция — это большевизм всегда утверждал, это так. Но пока её нет — мы против дезорганизации военных сил революции.

— А так вы её никогда и не дождётесь! — кричал Шляпников.

Спорили с ним люди безо всякой практической хватки, безо всякого подпольного опыта. Он же — глубоко знал, что говорит — дело, он сам бы сейчас в окопе не растерялся, но доказать этому интеллигенту не мог. Конечно, в социалистических книгах такие случаи не предусматривались.

— Да,— в потеху кланялся он Каменеву,— мы не знатоки. Мы не знаем! Укажите нам такую форму борьбы, которан не дезорганизовала бы армию. А вы не указываете, но предлагаете — вообще не бороться.

— От вашей борьбы,— указывал Каменев,— только травят «Правду».

— Ну и что ж?! Травля на «Правду» нам вполне годится. Мы эту травлю хорошо нспользуем для укрепленин нашей партии в рабочих кварталах. По сравнению с меньшевиками. Собираем резолюции в защиту «Правды»! А сейчас добрались от Исполкома, что и милиция будет защищать продажу «Правды». А ещё на «Русскую волю» в суд подадим, поручили Козловскому и Соколову. А свёртывать наше политическое знамн мы не можем! Буржуазия оправится от февральских дней и перейдёт а контрнаступление на пролетариат! А вы предлагаете их тем временем поддерживать!

Спор разгорался шумно, но и весело. Весело было Шляпникову, что ни в чём он не побит, а на всё находит ответ не худший.

В подобных случаях, при таком неразумном упорстве протианика, Ленин всегда бесстрашно шёл на раскол! Но Шляпников не мог взнть на себя раскола: не имел права допустить его в таком слабом положении партии.

И первый призвал:

— Где же, товарищи, наша большевицкая дисциплина?

Напоминание подействовало. Что они знали все крепко: что именно дисциплиной они выделялись изо всех партий. Не избежать было и сейчас, в этой комнате, найти общее решение.

Тем более, что Муранов что-то потерял спесь, почти уже и не спорил.

А Сталин — и с начала не спорнл.

А Политикус и Кривобоков охотно кинулись заглаживать.

И Каменев, поняв, что остаётся в меньшинстве, согласился впредь на умеренно-революционную позицию.

Зато надо было и Шляпникову согласиться, что все трое они остаются в редакции.

Уже к полуночи на том поладили — и тут допустили Лурье с его жалобой на Петроградское телеграфное агентство, что оно скрыаает размах нашей революции от Европы.

Постановили дружно: написать разоблачительную статью и поддержать реквизицию агентства Советом депутатов.

Туда ему, так ему.

Уже и к полночи — а стояли ещё два предложенин о слияннн: с межрайонцами и с меньшевиками-интернационалистами.

Межрайонщики — ребята боевые, вполне наши, и Шляпников был — за. Но теперь новоприбывшие своим правым курсом будут этому слиянию мешать. Межрайонщики и не захотнт, пожалуй.

А насчёт меков-интернационалистов — так надо погодить. Угар объединенчества — тоже ни к чему. (Это ещё добавитсн двадцать таких Каменевых — все заумные, шаткие, небоевые.)

Но по позднему часу решили перенести обсуждение на пятницу или на субботу.

Вышли — трамваи давно не ходят, блюдут свой 8-часовой день. А автомобиля тоже нет ни одного. У Шлнпннкова, как у члена Исполкома и выборгского комиссара, был — но он одолжил его вчера товарищам из ПК.

Так и расходились в разные стороны, под ясным, но уже и не морозным небом, по опустевшему пустынному городу. Пошёл Шляпников ночевать на Выборгскую.

Что изменилось в городе? Не то чтобы света меньше — да и меньше (часть фонарей разбита, часть окон плотно зашторена), но безлюдней. Автомобили если проносятсн — то без прежнего шика, а по будним революционным делам. И шикарные санки не носятся, ни фаэтоны не плывут с обеспеченной самоуверенной публикой — подпугнули буржуазию, подобралась. Да всех лишних прохожих ранёй с улицы сметает — боятся встреч, раздёва, кражи.

Только члену ЦК, БЦК и ИК Саньке Шляпникову нечего беречь, нечего опасаться, а при случае так и двинуть нападчика прнмо в физию. Пришла революция, свалнли царн, победили,— а шёл Шляпников в том же неподбитом пальтишке, в тех же ботинках и галошах, в которых таскался прошлой осенью по ночным улицам и пустырям, только тогда он смекал, нет ли слежки, да сейчас не подъедешь за 8 копеек на трамвае, а надо шагать да шагать, опять отмерять наискосок по пустырям питерские волчьи тропы.

Да хоть в груди уляжется, разойдётся, а то ведь и не заснёшь. Пекли его эти разговоры, непонятливость, несогласность или невозможность доказать. Да что ж от Леннна до сих пор ни строчки? Хоть бы он им доказал!

Весь вечер не мог Шлнпников ещё понять: чем ему так неприятен был суетливо-суёмый Лурье — ничего вредного он не говорил, а скорее в пользу. Но весь вечер мешал, как заноза, а мысли не собрались понять.

И только на пустыре, на бугре, где перед ним раскрылось небо, уже заходящая предполная багрован луна да крупные звёзды, отникающие от её засвета,— тут он понял: Лурье приехал из Копенгагена, добралсн, ничего.

4*

А Сашенька была в Христиании, ближе. И не ехала.
И тоска-тоска потянула, хоть завой!
Как же могла не спешить?! Что же с ней?
Да уж хоть не на любовь, хоть на революцию,— как же не поспешить?

617

Поздно вечером, уже Таврический опустел, Ободовский усадил в автомобиль четверых полковников — Половцова, Якубовича, Туманова и Энгельгардта — и повёз их в министерство юстиции на Екатерининскую.

Энгельгардта можно было вполне не везти: мундир он надел во вторую революционную ночь, на минуту ему показалось, что он — во главе революции, издал несколько громких приказов и до сих пор жил ими, ещё не поняв, что оттёрт в ничтожество. И какие ценные военные советы и соображения мог он произнести перед Керенским? Просто смех.

Якубович и Туманов были неплохие штабисты. Если бы Керенскому предстояло разрабатывать стратегическую операцию — что ж, они могли бы ему предложить совет (может быть и негодный).

Но ведь вопросы Керенского наверное будут касаться реального состояния сегодняшних войск, границ возможных настроений, чего-то живого,— а это всё знал и мог высказать только Половцов, единственный тут боевой офицер.

Но и он не мог угадать: какие же именно вопросы намеревается задавать Керенский? Вообще, вся поездка была исключительно пикантной: группа ближайших сотрудников военного министра ехала под полночь к министру юстиции консультировать того по военным вопросам. Это могло означать подготовляемую смену военного министра? (Ну разве ещё: что министр юстиции готовит военный переворот.)

Так ли, не так,— при всех обстоятельствах эта поездка увеличивала значение тех, кто едет, и следовало использовать эту ночь. Половцов выпил крепкого кофе и привёл себя в состояние высшей догадки и проницательности. От этой ночи могла зависеть вся его дальнейшая судьба.

Адъютант министра юстиции (он назывался именно так, не чиновником!), скромно одетый, но такой же ловкий и быстрый, как Керенский, пригласил их в кабинет.

Кабинет был отлично обставлен, достаточно просторен, но и не великолепен, не подавлял,— а большая удобная комната для разговора десятка человек.

Керенский в своём новоизлюбленном серо-чёрном австрийском френчике сидел за огромным столом как-то избоку, как заскочивший на минуту, не министр,— и будто бы писал.

Будто бы писал, но при входе их как бы отбросил ручку, рискуя забрызгать стол чернилами, и резко поднял голову. И — встал. И по резкости его движений можно было ждать, что он испуган, застигнут и сейчас убежит вон.

Но — ничего подобного. Он — вытянулся, опираясь недлинными руками еле-еле о стол, поклонился сразу всем, с оттенком церемонности, даже дважды, но одною своей бодрой быстрой головой, а не выскочил из-за стола трясти им руки. (Всё-таки штаб-офицеры — слуги старого режима, а он — революционный министр?) Он был весь радостен и свеж, несмотря на поздний час, да оказывается, и спать не собирался ложиться:

— Я, господа, сегодня ночью выезжаю в Гельсингфорс.

Половцов уловил, что Керенский любуется собой, каков он со стороны, как энергичен, как звучит эта фраза и как не может быть всем безразлично, что он выезжает направить дела Финляндии.

В важнейших встречах решают самые первые две минуты: надо понять собеседника ещё прежде, чем потечёт главный разговор. Половцов впитывал Керенского острыми глазами, острым слухом, но ещё более — своим гениальным шестым или седьмым чувством, познающим суть характеров.

Ободовский, замученный, нисколько не польщённый, и ощущая себя тут совсем не к месту, с выдохом представил:

— Вот, Алексан Фёдорыч, по вашей просьбе, для вразумления по военным вопросам, по которым всему правительству приходится иметь суждение...— он маскировал неприличие визита,—...полковник... полковник... полковник...

Половцов, когда был назван и Керенский взглянул на него,— послал министру из своего кавказского обрамления взгляд переливчато-находчиво-готовный. (Вообще, кавказская форма очень помогает выделяться.)

Сели. А Керенский, не выходя из-за своего стола, там за ним прошёлся, как за трибуной, потирая руки. Он был в бодрости пафотической, сильно повышенной, не рядовой.

И не маскируясь и не прикрывая своего интереса, сразу же резковатым голосом задал в аудиторию свой главный вопрос:

— Господа! Правительству — (сразу ото всего правительства!) — необходимо знать. Знать ваше мнение: годится ли Алексеев в Верховные Главнокомандующие?

И пытким взором уже считывал ответы с их лиц или предупреждал их не ошибиться в ответе!

Ого! — Половцова даже отбросило.— Ого! дело шло очень о серьёзном! Военный министр, у которого он работал, не говорил ему, что решается такое! Ого! (Ещё раньше чем себя провернуть — а что ты об этом думаешь,— уловить: а что хотят услышать?)

Но самый пожилой, солидный и седоватый, был Энгельгардт — и Керенский ждал ответа от него.

Керенский то присаживался, то вскакивал, переходил,— в общем, больше стоял. Тем более и полковники вынуждались отвечать стоя.

Энгельгардт, со своей размазанной манерой рассуждать, сперва сказал несколько никуда не клонящихся фраз. Лишь потом стало из них выступать, что Алексеев опытен как никто другой, уже полтора года начальником штаба, а фактически Верховным,— всякому другому пришлось бы сейчас долго осваиваться, а время не ждёт, весенние бои на носу. Он — очень трудолюбив, очень знающий. Все его уважают. Нет, в короткое время не может быть никакой лучшей кандидатуры.

Собственно, полковники в Военной комиссии между собой от нечего делать и часто болтали на эту тему: кто достоин быть Верховным (про себя примеряя, кем достоин и каждый из них). И как-то всегда, действительно, приходили к тому, что хотя Алексеев никакими полководческими талантами не блещет, и вовсе, со стороны, даже трудно было придумать — зачем бы его так высоко возвышать, как это могло царю втесаться? — вместе с тем соглашались, что и уверенно заменять Алексеева тоже некем. Ибо тогда б: или Рузским? или Брусиловым? Но оба — тонкие штучки, честолюбивы, несправедливы, а Брусилов ещё и хитёр как муха, и ненадёжен. А — решительно-превосходящих качеств всё равно ни у того, ни у другого нет. Так что менять — не стоит.

Так что Энгельгардт выражал сейчас общее их мнение. И от Якубовича и от Туманова последует примерно то же.

Но — корнями волос Половцов чувствовал над собой крыльный ветер (как крыши чувствуют над собой срывающий ураган)! Вот — перед ним самый сильный человек, выдвинутый революцией, и он как бы не уже имеет замысел, даже уже движение,— и надо помочь ему в том направлении, и дать увлечь себя туда же! (Правда, тут и такая опасность: что Керенский уже намечает Брусилова — очень неблагосклонного к Половцову,— но почти не может быть, чтобы всего лишь такое решение было у Керенского,— для этого зачем бы ему всё начинать? Такое могло быть решено и в военном министерстве, Гучков тоже относился к Алексееву очень скрепя, скрипя...)

И тут помогла любознательность Половцова: хоть и мерзовато, но он почитывал газетку Совета депутатов, а там сегодня была речь Стеклова, что Ставка — гнездо контрреволюции и неверные генералы подлежат аресту. И хотя Керенский явно сторонился Совета, из которого произошёл,— но не мог или не отозваться или не опередить событий.

Подошла очередь Половцова — он почти вскочил в свою длину (не подобострастно, а просто от избытка джигитской силы) и сказал так:

— Таланты честности, порядочности, работоспособности и знание техники дела — от генерала Алексеева не отнять. Работник — отличный. И к нему все привыкли. Но,— сверлил Керенского горяще,— работник — это не полководец. Революционная армия в грозные часы нуждается в великом полководце!

И видел, что — попал! Что — так!!

Из неуспокоенных перебирающих рук своих правую — Керенский вдруг всунул на груди под борт френчика между двумя пуговицами — но тут же сам заметил, что слишком под Наполеона, и отдёрнул. Он весь был — живчик, он искал разрядки рукам, ногам, ему тесно было позади стола.

Ободовский, который, кажется, и не собирался высказываться, однако покивал:

— Боюсь, боюсь, что Алексееву не справиться в новых условиях. Да он — и не принимает их всей душой. Он и переворот-то встретил как-то... с оговорками.

— Благодарю вас, господа! — стоя, с торжественностью объявил Керенский, и вырвал свою руку, снова уже вставленную под борт.— Теперь... ответьте, пожалуйста, мне...— тут в его бодром голосе проявилась первая заминка, но что́ он спросил! — Как вы думаете? — И сам думал. И во взгляде и в позе его оттенилось пренебрежение.— Как вы думаете: может ли Александр Иваныч Гучков с успехом совмещать должности и военного и морского министра?

Ого!!! Ураган-таки срывал крышу, визжали скрепы, вылетали гвозди: министр юстиции спрашивал у полковников только что не прямо: годен ли на что-нибудь их министр?

И — в полсекунды полёта взвесивши весь риск (а без риска не бывает и успеха!) и радостно чувствуя в себе, летящем, слитие двух дуг — и того, что правда он думал, и того, что надо было,— Половцов, как лучший в классе ученик, вскочил, всех опережая:

— Совместить — невозможная задача! Слишком много работы, разнообразия вопросов, лиц.

Он же не сказал, не сказал о своём шефе, чью экстраординарную тайную переписку вёл, что тот в о о б щ е не годен,— а только не может неестественно совмещать.

Как, видно, и надо было Керенскому.

И тот — тряхнул своей плоскосдавленной с боков головой — и не стал ожидать ответов от остальных.

Встреча была выиграна! — Половцов замечен, запомнен.

Но она ещё продолжалась, всё более непринуждённо. Ещё были минуты до отхода финляндского поезда — и министр спрашивал ещё. Но — не об артиллерийских накоплениях, не о группировке войск, не о дислокациях,— вообще, военные интересы его на этом закончились. А спрашивал он, уже выйдя ближе к ним и откидисто сидя посреди комнаты в кресле, то улыбаясь (неприятно обнажая верхний ряд зубов), то громко хохоча,— разные подробности о членах царской фамилии, кто что знает,— просто как весёлая лёгкая беседа. Спрашивал, и не дослушивал, сам перебивал.

Оказалось, министр юстиции поразительно мало знает о династии и даже трёх юных из шести Константиновичей считал опасными реакционерами. И о ком только он был самого наилучшего мнения — это о Михаиле Александровиче: как корректен! как благороден! не стал держаться за корону!

— Вот думаю, господа, на днях съездить посмотреть и самого царя.

ШЕСТНАДЦАТОЕ МАРТА
ЧЕТВЕРГ

618

Это Саша все недели бескорыстно делал только революцию. Это он — мучился, к кому примкнуть, с кем соединиться, за кем идти, вот возвращался в социал-демократию, и теперь вместе с Рыссом носился с объединением её ветвей. А обыватели тем временем вернулись к своей обычной жизни, поняли и новую эпоху вполне по-старому, и опять у них вечерами играли граммофоны. И проходя по лестнице мимо двери второго этажа, чуть не каждый раз слышал Саша на площадке:

Что ты — одна всю жизнь.
Что ты — одна любовь,
Что нет любви другой.

И выберут же пластинку. Эта песенка прохватывала Сашу на прострел, и даже до обиды: точно как про него. С какой непонятной узостью, с каким отчаянным постоянством, почему он так привязался к одной, к одной, которую и видел мало, и отдалилась она, отчуждилась,— а Сашу растравно тянуло всё только к ней, а не к каким другим, кто с пониманием, ясным взглядом, ясной речью. Сам Саша был ясен, прям, отчётлив, и всё замудро-запутанное его обычно отталкивало,— и только одна Еленька, с её смутностью, нечёткостью, привлекала неборимо. И Саша отсечь не мог, и хуже того — не хотел.

Врезалось, как она сказала ему последний раз, на своих именинах: «Я — плохая! так и знай: я могу изменять!» На что ещё надеяться, если девушка сама о себе так говорит?

А тянуло, тянуло, всё равно.

Минувшие дни он настойчиво звонил ей по телефону, требуя встретиться: теперь спохватился и понимал, что за эти недели мог и совсем её упустить. Но знал он свою прямоту и силу: как повилика, как горох не могут расти сами, но должны обиваться на твёрдом стебле,— так и Еленька, сама того не понимая, нуждалась в нём, чтобы выжить, определиться, да ещё в такое шаткое революционное время. Пусть не понимала она, но Саша понимал за двоих, до чего они друг другу нужны!

Он телефоном искал её с воскресного вечера, как загляделся на покорность Вероники Матвею. Он хотел её видеть тогда же немедленно,— в понедельник? во вторник? — но два вечера подряд не заставал её звонком, потом застал днём, предлагал придти к ней в этот же вечер — она сказала, что занята. И, сколько можно по телефону угадать тон,— никакой обрадованности не отозвалось в её голосе, не соскучилась.

Но Саша не дал движения гордости, не покинул трубку, а настаивал и даже просился на свидание: только увидеть её нужно, лицом к лицу, а там напорным убеждением он её оборет! Чего в ней нет — это стойкости постоянства.

А она всё отказывалась. Да неужели в с е вечера заняты? Все вечера. Но тогда днём, ведь курсов нет сейчас. (От Вероники знал, что Еленька не мелькает и на курсовых сходках.)

Нет, оттягивала. Нет. Потом. Недельков позже.

А сегодня проснулся — и толкнуло: да просто пойти вот сейчас, утром, не звоня, не предупреждая! Врасплох только её и застать. Иначе он не добьётся.

Вскочив от постельной неги, завтракая, собираясь, волнуясь,— испытывал и решимость.

Все эти месяцы, с ноября, он ошибался, что видел её урывками, откладывал на течение времени. Так — её не удержать. Её надо брать штурмом.

И немудряще, просто — жениться на ней. А почему нет? Свобода личная ему не нужна ни для кого другой, свою свободу — сладко отдать Еленьке. И тогда остальная его свобода наилучше пойдёт на дело. Но — чтоб Ёлочку иметь под рукой. Бойцовских качеств она ему не придаст — но бойцовских качеств у него и своих отбавляй. Скорей, она будет его заволакивать, отволакивать — но этого и хотелось, как лучшей в мире игры. Как тёмной влаги к ясному дню. Нет, хорошо ему будет с ней, хорошо! Не зря он так пригляделся к ней, с первого же раза, хотя всегда казалось своим, что она ему не пара.

Шёл к ней — и зашёл в цветочный магазин. Этого вида торговли революция не прервала, и толпа не громила этих магазинов, и цветы откуда-то всё время поступали. Социал-демократу, да даже и офицеру-республиканцу сейчас идти с букетом цветов было смешно — но тут уже недалеко. А именно с цветами, он чувствовал, нужно сейчас. Насобрали ему каких-то в хороший букет, с перевесом красного.

Да, ему приятно было так: войти — и рассыпать эти цветы у её ног, если б, опять же, не смешно.

Превосходство силы, энергии давало ему такую возможность: быть с Еленькой нежным, и даже поклоняться.

Кроме ликониной матери и ещё какие-то родственники с ними жили, но приходящие молодые люди почти не видели взрослых. Сейчас — прислуга, уже введя Сашу в промежуточную комнату, при нём постучала к Ликоне в дверь.

И Еленька появилась на пороге — в платьи, не по-утреннему праздничном, и сама — сияющая, даже воспалённая от сияния.

Саша — вздрогнул, не ожидая такой встречи.

И тут же понял: да это — не к нему?

Её взгляд был готовно уставлен — но это пока она не осознала его появления.

А вот — поняла.

И шагнула вперёд. В этой просторной комнате она уже как-то принимала его — но как раз сейчас тут закатан был ковёр, мылся пол.

Ликоня повела головой, как лошадка по несвободе,— и отступила. И головой пригласила войти в свою комнату. Ещё не сказала слова никакого — ни радости, ни упрёка, зачем же он так внезапно, и утром.

В ней так много было сейчас необычного, Саша не успевал всего охватить: что же? Изумлённая? — но и отсутствующая. Глаза — как воспалённые от бессонницы, но ничуть не утомлённый вид. А одета, хотя утро, в прекрасное вечернее платье — узкое, алое, но с синим пробрызгом или отливом. Почему? Примеряла?

Саша забирал её глазами, и не пытаясь скрывать восхищение. Это не только была — та, к кому он шёл, но и выше! и прекрасней! Как она изменилась за эти две недели! — вдвое? втрое? Покрасивела? — это мало сказать. Лицом её завладевало победное шествие красоты.

Не шествие — нашествие! Поселилось — и нескоро уйдёт.

Он подал ей букет — не галантно, не гостинно, а двумя руками, выбросил их вперёд — молодо-дружески, восхищённо.

И — выиграл. Не могла ж она просто так бросить букет: надо обрезать, в вазу поставить, или прислуга сделает. Но — вышла.

А он — остался в её комнате один. Оглядывался во все стороны, стоя.

Ощущение было, как если б он обеими руками погрузился в саму Ликоню — под локти её, или под рукава, или под локоны чёрные на плечах. Не только дразнящий запах этой комнаты — духи и ещё что-то, но разбросанные, разложенные, застигнутые как они есть предметы и приметы её жизни, на стене в овале силуэт чёрной тушью, ещё декорации театральных спектаклей — фу-у, голова закруживалась, пока он поворачивался в полный круг,— до чего ж этот мир явился ему необходим, желанен — и почему? Такой инородный — а захватил бы его и весь в один загрёб вместе с Еленькой.

Хотя понимал он, понимал, что ему и всегда, а особенно в нынешней роли,— никак не шло бы таскаться с ней по каким-нибудь «Бродячим собакам», приютам, притонам взъерошенной театральщины.

Вошла, неся букет уже в вазе. Как тяжёлое, как через усилие. Поставила на столик.

Она не только, кажется, не сказала ему ещё ни слова? но и голову несла как-то мимо, но и полными глазами не посмотрела прямо, кроме того первого взгляда на пороге, непонимающего. Бывала она равнодушной, полувнимательной, насмешливой,— но, кажется, никогда такой чужой.

А он — никогда ещё не был так остро прохвачен ею, проник, окружён, никогда так не

желал её! И ещё будоражило это вечернее платье поутру. Шла она на дневиой спектакль? — так будни.

— Ты куда-нибудь уходишь? Генеральпая репетиция? — спросил он, имен в аиду как тогда с «Маскарадом».

Но этот вопрос и заставил её поднять полный взгляд к нему в глаза. Мгновение смотрела прямо-прямо, как он и хотел. Не только глаза её, тёмно-тёмно ореховые, без близкого понятного поверхностного выражения, сосредоточенные в себе,— а и ресницы как будто сгустились, маленький рот не был детско-подушечным, как всегда, а будто развился.

Провела одним плечом беспоннтливо:

— Репетиция?

А поняв — удивлённо и как бы с гордостью:

— Нет.

Не понял тона. Разве это уже её не увлекает?

— Но не на курсы же? — почему-то возразил, бессмысленно.

— На курсы? — вовсе удивилась она. И верхняя губа её, вот чудо, удлинённая,— повелась как-то вбок, не с сожалением, но...— Так их же нет теперь.

— Ну как,— обиделся он за революцию, но механически.— Сходки. Общественная работа. Вероника, многие ходнт.

Она колебнула броеями, как не веря. Колебнула плечом. И как о потерянном:

— Да нет, уж какие теперь курсы.

Трёх недель не прошло от вечера её именин — и как изменилась! Конечно, и Саша изменился, и все, исторически прошла эпоха, но...

— Ты — очень изменилась! — выговорил ей своё удивление, но и восхищение.

— Ты — тоже,— провела она взглядом.

А! Всё же — видит. Заметила. Хотел бы услышать, что — изменился к лучшему, боевому. Но Еленька какая-то невнятная была: посмотрела, сказала — внятно, а тут же — уколебнулась головой, ушла взглядом.

Они всё стояли.

Села на маленький стул без спинки, взяла от туалета. Ему указала на кресло:

— Садись.

В том тоне, что: раз уж пришёл.

Он сел и теперь уже не мог смотреть во все стороны, а определился его обзор так: сама Еленька (спиной к окну, уже в глаза её не вглядишься), проход к окну — а по другую сторону её кровать. Под оливковым покрывалом.

Когда он шёл сюда, он думал: для разгону будет ей рассказывать. Во скольком ярком, необычном он участвовал за эти две недели, она наверняка ничего такого не представляет. А этим рассказом и дать ей почувствовать, что он — герой наставшего времени, из тех, кто и дальше поведёт. Это — должна она ощутить.

Но так не в лад, в случайностях пошла сразу встреча, короткими недоумениями, так видимо он пришёл некстати.

Да Ликоня всё ещё казалась невменяемой, отсутствующей. Такого приёма он не ждал. И это вечернее платье с раннего утра...

— Так ты, всё-таки, идёшь куда-нибудь?

— Нет,— тихо.

А он, не дождавшись «нет», ещё разогнался:

— Я тебя задерживаю?

— Н-нет,— не так уверенно.

Но уж как ни пришёл, а уйти он не мог без серьёзного. Надо было всё равно — говорить. А говорить — Саша умел только напрямую, не хитря.

— Почему ты ко мне так переменилась, Еленька? — Он сидел прямо против окна, и его-то она видела хорошо. Вместе с этим вопросом он запрокинул голову.

Она повела одно плечо немного вперёд, другое назад. И так же рассеянно:

— Я к тебе — не переменилась.

— Нет, соберись! Нет, ты меня даже не слышишь. Как же не переменилась? Ты такая не была никогда.

Да никакого б ему ответа, никакого объяснения, а — если б только можно было чуть притянуть её к себе, как было раза два зимой,— и никогда не хотелось этого так закружливо, затяжно. Ещё из-за этого платья... Зря он дал себя усадить: усаженные — как привязанные к своим местам. А пока оба стояли — ещё естественно было бы подойти.

Вдруг она странным движением, как умываясь, наложила соединённые маленькие ладони на лоб и медленно, медленно провела по лицу вниз. И оттуда вышла уже как будто с вернувшимся смыслом:

— А что? И когда? — раздельно спрашивала,— ты знал когда-нибудь? о моей жизни? С тех пор, как катались на лодке в белую ночь?

Этой белой ночью — полосануло его! не только вспомнил перламутровую воду и незатухшую заревую розовость за Петропавловкой, и саму Еленьку на носу — в белом, а затемнённую при убылом свете, вот как сейчас,— не только вспомнил, а понял: что сразу тогда, в тот момент, в ту ночь — она была вся для него открыта,— а он не внял, не спешил, не приник,— ещё вольная долгость простиралась впереди, ещё каза-алось... А неполных три года с тех пор и даже последние месяцы в Петрограде, когда встречались, это уже не сближение было. После той лодочной прогулки — отдаление.

А сейчас, в тёмно-огненном платьи,— она сидела насколько расцветнее, взрослей и красивее, чем тогда.

А сейчас, поняв, и со своим принесённым решением, и готовый гиганстким шагом перешагнуть назад всё то, что упустил, испытывая горячее частое дыхание, от которого мог переломиться голос,— выклоняясь из кресла вперёд, сколько оно допускало:

— Еленька! Я, правда, знал о тебе мало. А ты сама никогда не раскрываешься. А я всегда был занят каким-то делом. И — война же! И на эти последние недели я совсем тебя не покинул, но был в таком вихре — могу тебе рассказать. На самом деле я о тебе никогда не забывал, ты во мне — сердцевина, косточка, в самой моей глуби и всегда со мной,— и я сегодня пришёл к тебе, чтобы...

Театрально, смешно, никогда б не подумал — а хотелось стать перед ней на колени — как раз бы шаг вперёд, а дальше — головой в её колени.

Но — не ссунулся так, конечно. Однако сидел на краешке кресла, весь подавшись к ней:

— Я пришёл к тебе — знаешь, как раньше говорили: моя шпага и рука! Я пришёл — твою жизнь охранить, а свою — предложить тебе! Я, честное слово...— (он торжественность хотел снять, чтобы не смешно) — я просто сам удивляюсь, до чего я, правда, без тебя не могу. И до чего я тебе предан.

Он не помнил себя, когда бы говорил так.

А в ней — ничего не проявилось. Не качнулась. Кажется — и не покраснела. Не переменила положенья рук.

И вдруг догадка толкнула его. Он всё собирался выложить своё, а не подумал о ней как следует. Всмотрелся:

— Скажи: тебе плохо? У тебя горе?

И теперь естественно встал, переступил к ней, положил руку на любимые её волосы, чёрную гладь, спадающую по краям лба коротко, а дальше длинно.

Но она не усидела под его рукой, а тоже встала. И высвободилась.

— Спасибо.— Улыбнулась.— Но беды у меня нет. Спасибо.

Но это не был ответ на всё. Он сказал ей — больше. А что скажет она — на всё?

Теперь Ликоня стояла так, что оконный свет упал на её лицо — и Саша разглядел: да это — не горе было, не потерянность. А — взожжённое, ни к чему не внятное — это было на лице её — счастье???

Он — никогда такого не видел!!

И — ещё б не догадался, если б её не любил.

— Ты... ты...— взял он её за руки с упрёком, срываясь дыханием вгорячe,— ты...

И вот теперь глаза её наполнились смыслом. Полноглубные, они говорили: да.

Как сожжённое дерево, недожжённый столб, Саша стоял, недоумевая. Не принимая. Это было, значит, так — но этого не должно было быть.

Он никак этого не ожидал!

Но так и должно было случиться? Никогда она ему не давалась. Послана на мученья.

Вдруг она подняла свою маленькую руку и провела по лбу его, поправляя сбившийся волос. Ласково, сожалительно. Но почти как мать.

И в этом касании была её власть над ним.

А он стоял всё тем же недоумелым столбом.

Стонл неразумно, но образумливался. Но в трезвую его голову возвращался смысл, не замкнутый этой девичьей беззащитной комнатой.

Краснокрылый Смысл, который носился над улицами, над городами.

— Знаешь,— очуивался он. И голова его опять выходила в запрокид, но не такой гордый, как недавно.— Было бы время другое, но в такое... Ох, ещё я тебе понадоблюсь. В тихий уголок тебя не уведут — потому что тихих уголков не будет скоро. Я — так предчувствую, что я тебе понадоблюсь. Что ты ещё...

Её лицо так близко было — а не поцелуешь. И он только вбирал её глазами, несогласный отдать и неспособный уже никогда оторваться. Нет, это он был старше её, вот за этот месяц.

— Еленька, я предложил тебе, и это остаётся так. И когда тебе плохо будет — зови.

619

Петроград выглядел как пьяница наутро после попойки: те нахально-весёлые уличные лица первых революционных дней теперь сменились к хмурым и озлобленно вызывающим. А самому городу — ещё хуже: запущен, грязен, всё обнажается при оттепели, и даже на Каменноостровском можно набрать мокрого снега в ботинки.

Да не столько-то ходила Ольда Орестовна по улицам, сколько прочтёшь в газетах или услышишь из разговоров коллег.

Вострубили, что теперь завоёваны всеобщие права, ничьи не будут нарушены иначе, как по суду,— и держали в тюрьмах 4 тысячи случайно задержанных, а городовых и жандармов административно высылали из столиц: «Но это в интересах свободы. Они — опасный контрреволюционный элемент, и мы должны их обезвредить.» Все газеты раздували какую-то несчастную перехваченную записку великой княгини Марии Павловны из Кисловодска к её отставленному сыну,— государственный заговор из Кисловодска! Записку взялся доставить командующий гвардией — и его шумно арестовали.

«Русская воля» Леонида Андреева кинулась напечатать, что в дни революции на броненосце «Слава» команда была выстроена на борту под наведенными пулемётами — и им приказали несколько часов безостановочно петь «Боже, царя храни»,— и вот только почему в Свеаборге возникли эксцессы. И редакторы профессорских газет перепечатывали эту чушь до тех пор, пока не дошло до малограмотных матросов, и судовой комитет возмутился: ничего подобного не было, оскорбление чести нашего корабля!

Вот это и был сегодняшний букет: нашатырное всеобщее ликование о наступивших безграничных свободах, захлёб о благородстве союзников (английские войска на подступах к турецкому Иерусалиму объявлялись «последними крестоносцами»), визг, что Вильгельм хочет восстановить на троне Николая, и безоглядная клевета на не имеющих права ответить, атмосфера оголтения, в которой нельзя и предположительно заикнуться, что какой-нибудь царский министр был не прохвост. Превыше всего гремело и пугало сообщение Чрезвычайной Следственной Комиссии: уже идёт разборка материалов. «Но руководители Комиссии отнюдь не намерены придавать работам академический характер — и стремятся в самом непродолжительном времени дать удовлетворение взволнованной народной совести путём передачи на рассмотрение суда присяжных заседателей главнейших преступных деятелей старого режима.»

Это — грозно звучало трубами, ведущими на эшафот, повторяло громы Французской революции, и немели все возможные возражатели и защитники. Да что там, 16 крупных сановников, среди них Бурдуков, близкий к дворцовым кругам, князь Андроников, бывший начальник Охранного отделения Глобачев и недавний петроградский градоначальник Балк, подали заявление из-под ареста, что хотят принести присягу новому строю! (Лишь высмеянный и оклеветанный царь — через всю муть революции прошёл без единого неблагородного или нецарственного жеста.)

Газеты крупно печатали: «Чёрная сотня за работой, происки черносотенных волков: хотят использовать великое завоевание народа — свободное голосование — но голосовать за монархию предательство. Оказывается, кто-то распространяет листовки: используем Учредительное Собрание для всенародного утверждения монархии; при монархии наши крестьяне были наделены землёй лучше, чем западноевропейские, и у нас бесплатные — судопроизводство, лечение и начальное обучение. По сути этих доводов газетам возразить нечего, а только фыркали «смешно говорить» — и дальше городили на «союзников тех, кто прятался на крышах с пулемётами». Но мало того, что никто не прятался на крышах с пулемётами,— а в чём же тогда смысл Учредительного Собрания, и какой же оставлен ему выбор?

Хотя в чудо такое — поворот Учредительного Собрания к монархии, Ольда Орестовна уже верить не могла. Если даже простая смена царей, отца и сына, Александра III на Николая II, создала ощутимо новую эпоху,— то чего ждать, когда оборвалось в с ё? Когда очередной член династии неразумно выпустил трон — никому? в Никуда? И это — при неграмотном, политически невинном народе — и вот при таком потерявшемся государственном водительстве.

Да сама себе не хотела Андозерская все годы признаваться — но ведь и всё царствование Николая II монархическое чувство выветривалось в миллионах сознаний, от 1894 и всё вниз. Кто хотел полным чувством любить царя — обречён был на ежедневное умирание, и даже всякое его публичное появление скорее ранило и оскорбляло. А кто мог серьёзно праздновать — 4 дня рождения (Государя, наследника и двух императриц), 4 тезоименитства, день вступления на престол да день чудесного спасения,— 10 дней в году? При светлой душе Государя, при его чистых намерениях,— как будто изощрялся он вести государственную власть — только и только к ослаблению. Не потому пала монархия, что произошла революция,— а революция произошла потому, что бескрайне ослабла монархия.

И теперь мы можем брести — только в Погибель.

Но и к погибели можно идти по-разному. Образованное русское общество — толпилось к ней глупо, некрасиво и подло. Все как оглохли, как ослепли, перестали различать свободу и неволю. Ещё недавно какая была интеллигенция непримиримая, гневалась, выходила из себя по каждому промаху власти, просто звали, чтобы поскорей и пострашней грянула гроза,— и что ж вот все так сразу обарашились?

А между тем и надо было бы сейчас всего лишь несколько громких голосов вразрез

с улицей — но голосов, известных России,— и вся эта нетерпимость и оголтелость атмосферы могли быть смягчены мгновенно.

Всего несколько — четыре, три, даже два крупных голоса! — но не оказалось на Руси ни одного такого мыслителя, ни такого писателя, ни таких художников, ни таких профессоров, ни таких церковных иерархов. Каково гремели и разоблачали раньше! — а теперь замолкли все или тянули в унисон. Мусульмане из Государственной Думы имели смелость отбрить: что законодательные учреждения не знакомы с основами мусульманской жизни — и не вмешивайтесь предлагать и преобразовывать. А православные на Руси не смели так ответить — да и где бы им ответить? — они были окружены насмешливым обществом.

Но Ольде ли Орестовне было кого-то упрекать, если она и в своём тесном учебном кругу не смела высказаться громко, а тем более перед слушательницами? Занятия возобновлялись на революционных основаниях — в зависимости от голосования слушателей. И, например, в Совет Университета теперь будут входить и студенты и сторожа. (Впрочем, университет оказался занят комиссариатами, продовольственными пунктами, и посейчас не готов к занятиям.) Тот же революционный ажиотаж охватил и ведущих профессоров. Профессор Гримм стал товарищем министра просвещения и ведал делами высшей школы. Теперь огулом — и в трёхдневный срок — увольнялись все профессора, занявшие пост назначением, а не выборами,— хотя бы были и талантливые специалисты. Так уволили известного глазника профессора Филатова. (Андозерская в своё время прошла по выборам, но сейчас в министерстве просвещения спешили «упростить» систему оставления за штатами так называемых «реакционных» профессоров — и теперь в короткие месяцы она могла быть убрана от преподавания.) Профессор Булич уговаривал коллег искать новые формы общения со слушательницами, сам же с профессором Гревсом спешил отдать визит бывшему довольно вздорному, зато либеральному министру Игнатьеву. Карсавин и Бердяев уже записались составлять Историю Освобождения России — ещё и освобождения не видели, а уже составлять! Да бердяйствовали, скоропалительно, безответственно, едва не все светила кряду. По Достоевскому: «им сперва республика, а потом отечество». В библиотеке Академии Художеств открывалось общество памяти декабристов — и вместе с революционерами там заседали Репин, Беклемишев, Горький, начинали всенародную подписку на памятник и звали профессоров шире ознакомлять народные массы с идеями декабристов. До чего это всё было противно, и до чего не в ту сторону беспокойств кидались все!

Но что ещё отдельно проницала Андозерская в иных своих коллегах-демократах: они на самом деле несли только тонкий налёт эгалитарных идей,— а в тайниках сознания сохранили девиз умственной гордости, интеллектуального аристократизма, и — на самом деле — презрение к черни. А вот — выслуживались.

В перерыве одного заседания Ольда Орестовна надеялась отвести душу с Кареевым. Знала она, как он всегда терпеть не мог эти студенческие политические забастовки, отмены занятий, неперечислимые революционные годовщины, и сейчас страдал, что Психоневрологический даже не собирался возобновлять занятия этой весной, но весь отдавался революционному мотанию. Заговорила — и сразу же не нашла языка: не революцию Кареев винил, а, якобы извечную, русскую праздность, изобилие религиозных праздников прежде, которые всегда и мешали нам накоплять культурные и материальные ценности. И вот эти навыки рабских времён России теперь мол механически переносятся в Россию новую.

Ольда Орестовна оледенела. И этот — был из лучших наших профессоров и лучших знатоков западных революций. Во всём Петербурге не оставалось у неё никого, с кем говорить откровенно,— ни из коллег, ни из студентов. Приходилось — с разломной измученной головой — даже плакать, уже и не думала, что умеет.

А вот что. Какое-то предчувствие поселилось в ней. И даже ясное. Что именно этот гибельный ход, передвижка, перестановка всего сущего,— именно этот ход и принесёт ей Георгия. Сами события в нарастающем хаосе — соединят их. Прочно, и без борьбы.

Вот — так почему-то.

Всё сползает к погибели — а жизни людей ведь продолжаются?

И Россия: погибает, да. Но: и не может же вовсе погибнуть такая огромная страна с недряхлым народом!

Значит: какой-то же будет путь развития?

Но — отказывал глаз различить его...

620

Ни в Англии, ни во Франции нет у женщин избирательного права — так тем более мы должны быть впереди! В это воскресенье начнётся с грандиозного митинга в городской думе, потом будет величественное шествие к Таврическому дворцу, сплошь женское, с требованием, чтобы женщины участвовали в выборах в Учредительное Собрание, и даже могли бы становиться министрами. Впереди — кортеж амазонок из сестёр милосердия,

Вера Фигнер в дворцовом экипаже, союзы конторщиц, продавщиц, перед каждым — свой духовой оркестр. Вероника, конечно, собиралась идти, и уговаривала тётей. У Таврического будут речи, а потом назад, к Казанскому собору,— на это уйдёт всё воскресенье, и на виду у всего города, это будет просто сказка. (Хотя, увы, сказка кончается, и с понедельника уже никак не миновать курсов.)

Тётя Агнесса кривила губы с папиросой:

— Не слишком надейтесь на Временное правительство, не намного оно лучше царского: сейчас, скажут, не такое время, чтоб уравнивать всех в правах, вот подождите, установится спокойствие. А когда установится спокойствие — так тем более, зачем его нарушать? Всякое государство всегда несправедливо к женщине. У нас только не отнимали права умирать за свободу наравне с лучшими мужчинами.

— Ах,— ни к ладу пригорюнилась тётя Адалия,— только тогда будет женщина равна, когда не будут мужчине всё прощать, а за внебрачного ребёнка клеймить одну женщину.

Тётя Агнесса сердито расхаживала:

— И на Учредительное Собрание тоже не слишком надейтесь. Ну, какой сейчас самый предельный лозунг? «Да здравствует демократическая республика». Мало! — отсекла тётя Агнесса огненной папиросой.— Слабый лозунг!

— Ой! — всплеснула Адалия.— Ну что ты говоришь? Демократическая республика — мало? Да ни о чём другом мечтать мы...

— А что же, тётя Неса?

Остановилась:

— Республика дожна быть — трудовая. Весь выработанный продукт должен выдаваться тем, кто его выработал. Ну, за вычетом затрат на производство. Рабочий должен получать обратно всё, что он сделал. Вот это — равенство! Тут сходятся и максималисты, и анархисты.

Счастливо для двух её верностей. И на днях она с группой максималистов-пекарей ходила по Архиерейской и Каменноостровскому — «Да здравствует Трудовая республика», «Да здравствует Всемирная Федерация народов в трудовом братстве!»

— А всё ж, пойдём с нами Бабушку встречать, она великая подвижница.

Тётя Агнесса упиралась: что не столько уж Брешковская и мук вынесла, жила и на воле, и в эмиграции, а сейчас всего лишь с поселения. А вот прах Лаврова перенести бы с чужбины, это да. И почему Кропоткина не называют Дедушкой русской революции, это было бы более справедливо,— и пойдёт ли Адалия встречать Кропоткина?

Тётя Адалия обещала, что пойдёт. Согласилась и тётя Агнесса идти сегодня. Всё-таки: тех, кто побывал на каторге, она уважала всех.

И пошла Вероника с двумя тётями, обеих взяв под ручку.

Снова заполнены были дворы и залы Николаевского вокзала — впрочем, сегодня не так густо, как первый неудачный раз. Однако множество было учащейся смеющейся молодёжи. Были и цветы, но в этот раз тоже поменьше. Ждали Керенского — но он всё не ехал, вот так раз! Зато был оркестр, и он играл.

А поезд — опять задерживался! И ожидающие оживлённо топтались, переходили, обменивались всеми видами городских новостей, а среди них, конечно, и слухами и сплетнями, снижавшими общую торжественную возвышенность. Сплетни были — больше про царскую семью: что Вырубова, оказывается, вызывала у наследника искусственные кровотечения; что, по рассказу лейб-хирурга Фёдорова, императрица, выезжая в Ставку, именно с Вырубовой занималась там до поздней ночи государственными делами, и давали царю указания. А слухи — даже обескураживающие: что из Финляндии будут высылать всех русских, как уже не пускают евреев; что в Петрограде будут отбирать у граждан не только огнестрельное оружие, но и все ножи; что какие-то три полка потребовали возвращения Николая Николаевича в Верховные; что вовремя арестованный Гучковым штаб походного атамана замышлял поход казаков на Петроград с баллонами удушливых газов.

И хотя многие тут, передавая эти новости, сами же каждый раз оговаривались, что нужен к ним скептицизм, но и Вероника не находила в себе стойкости — удержаться и не передавать узнанное дальше, оно властно протекало черезо все уши, хотя и омрачая многих. Так и тётушки — выслушивали подоспевшие новости, отплёвывались, и хотели бы не размениваться настроением — и разменивались.

А самый пугающий слух был: что в поленницах, многосложенных на Марсовом поле, приготовлены пулемёты и будут обстреливать толпу по время похорон жертв. Просто руки опускались от такого слуха! — ужасно было представить это беззащитное побоище воодушевлённой толпы. И где же были власти? Неужели не было у них досмотра и силы, чтоб эти пулемёты искоренить заранее?

Где были власти и что они знали — действительно следовало изумляться. Повалили к поезду, залили перроны, вышел вперёд оркестр, поднялись цветы над головами, забились сердца, готовились выкрики в грудях — и вдруг — и вдруг! — никакой Бабушки в поезде опять не оказалось! Обыкновенные пассажиры выходили, а Бабушка нет!

Ещё не сразу это распространилось, ещё задние не хотели верить передним,— разочарование просто немыслимое! просто за границами всякого понимания! издевательство, какого и царские чиновники не допускали! Да это и есть провокация тёмных сил, это и есть замысел каких-то злобных реакционеров! Как же так? если известно было — теперь стало и всем известно — что Бабушка ещё, оказывается, не доехала до Самары, что она везде там выступает по гарнизонам,— то каким же образом об этом не узнали и не известили всех заранее? как допустили встречу? как же можно так играть нервами и людьми, и второй уже раз?

Просто рвать и метать хотелось всем от досады. Тётя Агнесса прямо бешеная стала. Да такой массе публики и обидно было — просто так разойтись, потерянный день, когонибудь другого бы встретить, что ли!.. Но никого такого заметного в поезде не было.

И оркестр...

И тут кто-то придумал: так вот с оркестром теперь и пойдём все по Невскому!

Замечательная идея! Так — и все ходили, все эти дни и все войска. И — вывалила публика на Знаменскую площадь, кое-как разобралась в колонну — и пошли, пошли по середине Невского, уже кое-как отгребённого от расквашенного снега, но по несколотому неровному льду, а где и почвакивая.

И оркестр играл непрерывно. И трамваи останавливались с почтением.

И в этом торжественном шествии с цветами, и когда Невский глядел с тротуаров,— настроение у всех, а особенно неунывной молодёжи, снова поднялось: ужасно это приятно, шагать колонной под музыку, стараясь ногой попадать в такт, и ощущая себя боевыми силами революции. (Говорили: примкнул к колонне и известный эсер Камков, только что приехавший.)

Музыка революции! Мы идём! Мы победим! Будущее — в наших руках!

621″

(по западной прессе)

АНГЛИЯ

ПРИВЕТСТВИЕ ЛЛОЙД ДЖОРДЖА. «...Высоко ценя лояльное и решительное содействие, которое мы получали от бывшего императора и русской армии в течение двух с половиной лет, тем не менее верю, что революция... есть великая услуга, оказанная принципу, из-за которого союзники борются...»

...Печать и общество с живейшим удовлетворением приветствуют государственную мудрость деятелей русской революции...

...Английские либералы восторженно приветствуют своих русских единомышленников... Окончательная победа европейской демократии над отмершими автократическими принципами... Перед войной либералы опасались, что англо-русское соглашение нанесёт вред делу свободы. Но теперь Россия бесповоротно вступила в семью свободных наций...

РУССКАЯ ПОБЕДА. Трудно представить себе более презренную фигуру, которая заслуживала бы меньше сочувствия, чем свергнутый царь... Раньше сложность была в том, что, побеждая Германию, нельзя было допустить победы России. Теперь — иное дело. Иными словами, русская революция уже принесла нам половину тех плодов, которые мы надеялись получить в результате победы...

(«Нью Стейтсмен», 11 марта)

Английские социалисты глубоко обрадованы... Все демократические нации Европы с чувством глубокого удивления взирают на быстроту произошедшего переворота... Мы опасаемся лишь одного: чтоб не возникли разногласия между лагерями русской общественности...

ПОЗИЦИЯ ЕВРЕЕВ. Министру иностранных дел был задан в палате общин вопрос, известно ли ему, какие несправедливости совершены в отношении евреев в России, и собирается ли он консультироваться с русским правительством относительно гарантий на будущее и возмещений за прошлое русским евреям, с тем чтобы поощрить их добровольное возвращение на родину...

(«Таймс», 10 марта)

ТЕЛЕГРАММА ГЕРБЕРТА УЭЛЛСА. «...Я всегда говорил: самодержавие — это слабость, которую Россия преодолеет. Весть о прыжке от самодержавия к демократической республике изумила Западную Европу. Это — знамение пламенной надежды, оно в самом деле звучит словом Божьим в ушах всех свободомыслящих людей по всему земному шару. Россия — предвестница мировой Федерации республик...»

ТЕЛЕГРАММА БЕРНАРДА ШОУ. «...Наш союз с царём в свободомыслящих кругах считался позором. Мы все знали, что правительство царя в десять раз хуже правительства кайзера, что мы соединились с самым варварским самодержавием, чтобы раздавить самую культурную державу в мире. Мы ничего не могли ответить, кроме того что русская армия нам нужна в качестве парового катка. Отвращение к русскому правительству сделалось глубоким жизненным инстинктом всех любящих свободу. ...Огромное чувство восторга, с которым весть о русской революции принята в Ан-

глин... — мы уже не соучастники разбойников. Наконец мы воюем с чистыми руками! Германским войскам теперь придётся на опыте ощутить, что может сделать революционная армия свободной России...»

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЗНАМЕНИТОГО ПЕВЦА. Г-н Шаляпин, великий русский певец, который, как известно, вышел из народа и всё ещё принадлежит к прогрессивным кругам, дал интересное интервью:

«Я признаюсь, я дрожал во время первых дней революции: будет ли она снова подавлена или осуществится прекрасная мечта русского народа, за которую столько друзей было сослано в Сибирь? Можете себе представить мою радость, когда я узнал, что Волынский полк стал на сторону народа?! Какая великая победа! Какая блистательная революция! Как хорошо она руководилась!»

(«Дейли Телеграф»)

...Русская революция приведет к энергичному и упорному продолжению войны. Единственная опасность состоит в выступлении реакции...

(«Дейли Ньюс»)

...Генералы должны поддерживать министров, охраняющих конституцию. Надеемся, что никаких изменений в желании выиграть войну...

(«Дейли Кроникл»)

Лондон. Грандиозный митинг в Альберт-холле в честь обновлённой России... Призыв радикалов к новой России о помощи в борьбе с английской реакцией... Один из самых выдающихся моментов митинга — полная горького сарказма речь известного деятеля Зангвилля, играющего руководящую роль в кругах английских евреев...

...На митинге в Кингс-холле... приветствие князя Кропоткина... выступление эмигранта Зунделевича... Оглашено послание Комитета по защите иностранных евреев: «Евреи надеются, что русская демократия разделит приобретенные свободы со столь долго гонимой еврейской расой и даст ныне евреям возможность жить в России и пользоваться своей собственной национальной жизнью. Так как и сейчас ходят слухи о погромах, то мы надеемся, что вы посоветуете истинным друзьям России охранить жизнь евреев и навсегда разрешить трагические еврейские задачи в России.»

Воистину великое событие! Самая отвратительная тирания, какую только знает современный мир, и которая столько лет противостояла любым попыткам просвещения и прогресса, повержена во прах... Наконец эта долгая-долгая ночь для русских евреев заканчивается... Последствия установления свободы в России невозможно охватить умом. Они дойдут до всех концов земли. Они будут влиять на историю будущих поколений. Мы стоим лишь у начала революции, всех последствий нельзя ни вычислить, ни предугадать.

(«Джуиш Кроникл», 10 марта)

ФРАНЦИЯ

...В декларации нового французского правительства... Что учреждения новой России будут развиваться по принципам Великой Французской революции — встречено бурными аплодисментами...

Между Великой Французской революцией и русской — поразительный параллелизм. Для Германии победа русской демократии страшней, чем крупное проигранное сражение. Это — величайшая из побед, одержанных союзниками.

...Россия является авангардом республик и демократий всего мира... Руководящее теперь Россией ответственное правительство должно быть охраняемо от крушения. Государственная Дума, вызывая безграничное восхищение всего мира, является истинным орудием воли русского народа.

Русское правительство прилагает все усилия, чтобы сгруппировать энергию революции против внешних врагов,— и оно должно быть поддержано.

(«Тан»)

Мы можем взирать на будущее России с надеждой и доверием. Опасности можно избежать компромиссами партий. Преобладающее стремление населения России — выиграть войну... Французы тем более сочувствуют стремлению России к свободе, что Россия берёт торжественное обязательство победить общего врага...

...Германия сильна только духом, только патриотизмом, но русская революция пробила брешь в её психологической твердыне. Немцы притаили дыхание и ждут, что будет дальше. Теперь немцев трудней убедить, что союзники угрожают естественным интересам немецкой нации. Все надежды немцев — на недисциплинированные элементы России...

...Надеемся, революция не создаст изменений в желании выиграть войну, напротив, поведёт к энергичному её продолжению. Революция может вызывать опасения только в том, что народу будет трудно принудить себя к дисциплине...

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

Нью-Йорк, 16 марта. В честь приезда в Америку Шацкого русско-американская торговая палата дала обед. Шацкий прибыл в Америку со специальной миссией способствовать установлению дружеских сношений между обеими странами. Шацкий сказал, что приток иностранных капиталов является для России вопросом национальной важности. Заявление Шацкого, что еврейский вопрос разрешён русской демократией раз и навсегда, было встречено присутствующими с величайшим энтузиазмом.

Представитель федерального министерства торговли ответил: «Реформы, возвещённые в России, устраняют препятствия в сношениях между нашими странами. Успех американского капитала в России будет зависеть от духа, стоящего за американским долларом».

...Мы лучше других можем понять злокачественность той системы правления, которую русский народ стряхнул со своих плеч. В Америке проживают миллионы людей, которые на себе испытали несправедливости и деспотизм дома Романовых...

(«Нью-Йорк Ивнинг Пост»)

Митинг в Нью-Йорке в ознаменование русской революции. В числе русских гостей находились Шацкий и Полняков. Были получены приветствия от Рузвельта, Элии Рута, Якоба Шиффа и ряда других... Возможность возобновления торгового договора с Россией встречена американским деловым миром с большим сочувствием...

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И АМЕРИКАНСКИЕ ФИНАНСИСТЫ.

В финансовых кругах Америки заявляют, что русская революция открыла американский денежный рынок. Масса влиятельных финансистов, в особенности из числа русских евреев, подготовляет большой заём...

В интервью петроградскому корреспонденту «Нью-Йорк Уорлд» **премьер-министр князь Львов** сказал: «Старая традиционная Россия ушла в прошлое как дурной сон. Демократический гений русского народа проявил себя... Мы знали, что мы были в состоянии это сделать. Мы это сделали, выдвинувшись во главу движения. Через неделю после начала революции вся страна в плавном порядке. Будущее настолько ярко, что я едва смею всмотреться в него...»

Г-н Родзянко, отвечая на вопрос, какую окончательную форму примет государство: «Ни у кого в России пока не было времени надлежащим образом обдумать этот серьёзный вопрос.»

...В решимости Соединённых Штатов вступить в войну сыграл большую роль великий русский государственный переворот. Американским кругам претил союз с русским самодержавием. Американцы не доверяли прежней России. Они находили, что германский монархизм менее несовместим со свободным духом Америки, чем русский царизм.

20 марта. **Президент Вильсон** предложил конгрессу объявить войну Германии для того, чтобы обеспечить условия для существования демократии в мире, и в то же время с восторгом говорил о замечательных радостных событиях последних недель в России... «Самодержавие свергнуто, и великий и великодушный русский народ во всей своей простоте и мощи присоединился к силам, борющимся за свободу, справедливость и мир.»

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ДЕРЖАВЫ

Великий Визирь Таалат Паша: «В Турции, больше чем в других странах, мы относимся с сочувствием и удовлетворением к свержению деспотического царизма. Мы с большой симпатией приняли великую русскую революцию...»

Турецкие газеты пишут о гибели России: что Россия теперь не только не поддержит Согласия, но будет для него балластом...

Австрийские газеты утешают своих читателей... что с Россией в данный момент как с фактором военным много считаться не приходится. Венские газеты высказывают уверенность, что Россия станет на время бездеятельной в военном отношении.

...Благоразумие требует мер предосторожности, когда пожаром охвачен дом соседа...

(«Кельнише Цайтунг»)

...Германская печать выражает надежду, что борьба между крайними левыми элементами и умеренными поведёт в русской армии к дезорганизации. Уже какой день германская печать ни о чём другом не пишет, как о русской революции. Главный вопрос, волнующий Германию: что означает сотрудничество Керенского с Милюковым?.. В германских кругах мечтают о крайностях русской революции, чтобы Керенский вёл на эшафот Милюкова.

Берлинские газеты перестали печатать телеграммы, неприятные для нового русского строя.

Германские социалисты не разрешили основного вопроса: знаменует ли революция усиление русской мощи или ослабление? ..Немцы живейшим образом заинтересованы в удаче русской революции. Если на Востоке воцарится демократия, то и в Германии нынешний строй не продержится долго.

...Мы уверены, что Россия не ослабеет, если избавится от своих тиранов и пошлёт к чёрту свою продажную бюрократию... Русская революция — самый важный результат этой ужасной войны. До сих пор Россия была злым духом для Европы, позорным пятном, которое чувствовал каждый, и союз с Россией даже для верных союзников был позором.

(«Арбайтер-Цайтунг», Вена)

Берлин. В рейхстаге впервые за время войны вся фракция социал-демократов голосовала против военного бюджета.

Депутат-социалист **Носке**: «Немецкие социал-демократы полны решимости бороться против всякой попытки воскресить проклятый царизм... Германия должна официально заявить, что не будет способствовать восстановлению царской власти. Как только в России определится стремление к миру — германское правительство должно сделать шаги к его немедленному заключению. Германской социал-демократии предлагают из-за границы устроить революцию. Но тогда рабочий класс постигло бы величайшее несчастье...»

ЗАЯВЛЕНИЕ ИМПЕРСКОГО КАНЦЛЕРА Бетмана-Гольвега.
«...По отношению к событиям в России мы соблюдаем принцип невмешательства. Это ложь, что император Вильгельм хочет восстановить власть царя... Через несколько недель мы увидим, желает ли русский народ мира или присоединяется к войне до победного конца. Мы будем следить за событиями хладнокровно, с готовым для удара кулаком. Согласие готовится поработить нас даже тогда, когда его постройки трещат по всем швам.»

...Русское правительство предоставило солдатам право стачки. Мы можем лишь желать, чтоб они воспользовались им возможно больше — тогда наши солдаты, связанные железной дисциплиной, могли бы убить возможно больше русских...

(«Берлинер Локальанцайгер»)

ДРУГИЕ СТРАНЫ

Бельгийское королевское правительство... Самые сердечные пожелания... Довести войну до победного конца.

Рим. «...Революция в России увеличивает наши силы в этой войне. Русская армия, охваченная новой доблестью... От имени всей Италии я посылаю горячие пожелания Государственной Думе...» (Министры и депутаты подымаются с кликами «Да здравствует Россия!»)

Вопреки германским ожиданиям, петроградский революционный кризис начинает выливаться в организованную волю народа к военным операциям...

(«Коррьера делла Сера»)

Берн. Проект резолюции социал-демократов: «Швейцарский бундесрат видит в русской революции грандиозный подъём свободолюбивых идей, которые составляют фундамент Гельветской республики.»

Стокгольм. Профессор, член первой палаты: «Эта война частично является делом Милюкова и кадетской партии». Другой: «Нельзя одновременно осуществлять большую революцию внутри и вести большую войну вне страны... Во всех революциях побеждают левые силы, это закономерное раскачивание маятника.»

Председатель португальского сената...

Японская печать... Что Россия проявит всю энергию для общей победы...

Из **Шанхая** от доктора **Суи-ят-сена...** «Наши товарищи в России одним ударом выкинули стяг демократии. Благодаря нашим двум республикам мир мира близок к осуществлению...»

АНГЛИЯ

...Не отдающие себе отчёта крайние левые элементы в Петрограде... Какой мир предлагает Германия — всем известно: Россия, пожалуй, может кое-что сохранить за собой, но свободная Бельгия, свободная Франция должны попасть под иго, а свободную Англию хотят уничтожить.

Усы императора. Николай всегда, вместо того чтобы принять решение и действовать, покручивал усы и смотрел в другую сторону.

(«Дейли Телеграф»)

Великий князь Николай Николаевич — узкий реакционер. Он отличался жестоким проведением программы изгнания с родных мест десятков тысяч еврейского населения.

Следует предостеречь от слишком жестокого отношения к представителям старого режима. В глубинах народных, столь мало затронутых просвещением, это может произвести крайне опасные потрясения....

ИМПЕРАТОРСКИЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВЛАДЕНИЯ. Мы вправе ожидать от Временного правительства ответа на вопрос, который волнует огромное число крестьян: как будет с обширными земельными владениями царя? Многочисленные крестьяне из армии уже отправились в свои деревни, боясь опоздать к распределению земель. Нужно чётко разъяснить им ситуацию. И новое правительство не может допустить экспроприации частных владельцев.

(«Таймс»)

ПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ. Мы искренне надеемся, что у британского правительства нет никакого намерения дать убежище в Англии Царю и его жене. Если Англия теперь даст убежище императорской семье, то это глубоко и совершенно справедливо заденет всех русских, которые вынуждены были устроить большую революцию, потому что их беспрестанно предавали... Нельзя забыть теперь про один факт: Царица стала в центре и даже была вдохновительницей прогерманских интриг... Она погубила династию Романовых, покушаясь изменить стране, ставшей ей родной после замужества. Английский народ не потерпит, чтобы этой даме дали убежище в Великобритании... У англичан ныне не может быть никакой жалости к павшей Императрице... Если наше предостережение не будет услышано и если царская семья прибудет в Англию, возникнет страшная опасность для королевского дома.

(«Дейли Телеграф»)

Среди русских эмигрантов в Англии 25 000 мужчин военнообязанных, не вступающих в ряды армии. Если морские сообщения будут неблагоприятны для их возврата на родину, британское правительство должно изыскать меры поставить их под знамёна союзных армий.

(«Дейли Кроникл»)

ЭЛЕМЕНТЫ БЕСПОКОЙСТВА. К сожалению, не могу сообщить о духе умеренности со стороны Совета рабочих и солдатских депутатов. Эксцессы, которые были совершены под его эгидой, вероятно можно объяснить недостатком организации. Надеемся, г-н Чхеидзе не будет продолжать методы, применяемые... Иначе в цивилизованном мире может возникнуть подозрение... Русские газеты посвящают слишком много места сенсационным разоблачениям пороков старого режима и мало внимания уделяют проблемам, стоящим перед Россией...

(Петроградский корреспондент «Таймс», 13 марта)

...К несчастью, в России существует крайняя партия, играющая врагу в руку. Хотя она представляет ничтожное меньшинство, но она деятельна, а в смутное время деятельное меньшинство обладает силой, не пропорциональной его действительному значению. Всё зависит от способности правительства твёрдой рукой удержать это разрушительное движение.

(«Таймс», 13 марта)

Организация нового государства постоянно затрудняется вмешательством социалистов... Бесконечные уступки ненасытным требованиям теоретиков и невежд...

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ. Сентиментальные прокламации социал-демократических лидеров... Как и Николай II, они прокламируют идею универсального мира... Г-н Чхеидзе, грузинский мечтатель, своим пылким красноречием пленяет необразованные умы... Русская социал-демократия представляет собой отпрыск германского марксизма. По своему существу это нерусское явление и большая часть её лидеров нерусского происхождения... Призыв к трудящимся всего мира будут читать прежде всего русские войска на фронте. Сомнительно, дойдёт ли он до немецкого пролетариата.

(«Таймс», 17 марта)

Лондон, 17 марта. Некоторые английские газеты с особой настойчивостью подчёркивают, что лидеры русской социал-демократии являются лицами, чуждыми по крови русскому народу, и играют в руку истинным врагам России. Обращение Совета Рабочих и Солдатских Депутатов приостановило эту кампанию, достойную сожаления. На деле эти газеты давно перестали отражать мнение Англии.

(«Биржевые ведомости»)

Сообщения с русского фронта пока не вызывают тревоги. Были приняты своевременно энергичные меры, чтоб избежать вредного заражения. Полки, которые я видел, производят чрезвычайно хорошее впечатление.

(Собственный корреспондент «Таймс»)

...Керенский в настоящее время самый сильный человек в России...

ФРАНЦИЯ

...Первое впечатление, что захвата власти способными лицами достаточно, чтоб навести порядок, было слишком оптимистическим. Временное правительство оказалось перед огромной волной народного недовольства... Поездка французских социалистических депутатов в Петербург... напомнить русским революционерам о военных обязанностях. ...Русские революционеры должны доказать, заслуживают ли они доверия союзников.

...Опасная сторона русской революции — в том влиянии, которое могут оказать некоторые русские социалисты, совершенно сбитые с толку германскими социалистическими теориями. Если

русские рабочие дадут себя увлечь плохим вождям, то у них не будет республики, ни свободы печати, ни свободы совести — но в Петроград придёт прусская армия...

(Эрве «Виктуар»)

...Не очень понятно, на каком основании совет рабочих и солдат диктует решения... Ввиду большого числа неграмотных русских, народ можно лишь осторожно направлять на путь прогресса.

(«Тан»)

Французское правительство запретило газетам напечатать манифест Совета рабочих депутатов.

Французский депутат-социалист заявил нашему корреспонденту, что, по его глубокому убеждению, идея сепаратного мира не могла возникнуть в руководящих русских рабочих кругах. Ввиду опасности, которой она угрожает Франции, и и мои единомышленники высказываются против не только с французской точки зрения, но и с социалистической...

...Опасно закрывать глаза на правду. На самом деле, русская опасность существует...

(«Виктуар»)

...Россия должна одержать военную победу. Только в таком случае Франция будет приветствовать русскую революцию...

(«Ле Франс»)

622

Присяжный поверенный Соколов мог бы сыграть в Великой революции гораздо большую роль, чем это ему до сих пор удавалось. Начать с того, что он ни разу не попал в Государственную Думу, хотя в 3-ю чуть-чуть не избрали. Политические процессы не кормили, но Соколов не жалел на них энергии и так утвердил свою революционную славу. (В прошлом у революционера могуть быть и пятна, например отец был не просто священником, но написал известный учебник закона Божьего. Однако своей собственной жизнью революционер должен всё исправить.) Широко знаменитый во всех левых кругах, с прочной репутацией пораженца и ненавистника патриотизма, его лично знали и уважали все крупные революционеры,— Николай Дмитриевич Соколов до самой революции устраивал им на своей квартире конспиративные встречи, сводил подпольщика Шляпникова с членами Думы Керенским и Чхеидзе,— и всё же эта популярность и дружественность не взнесли Соколова достаточно достойно в дни революции, лишь только кооптированным членом Исполкома. И хотя с невероятной энергией он вращался едва ли не быстрее всех (ну разве уступая Керенскому) и выдвигался с большим значением (история сочла недоказанным, но это Соколов подтолкнул массы в первый день революции стягиваться к Таврическому дворцу),— всё же ни один важнейший шаг революции до сих пор не оказался связан исключительно с именем присяжного поверенного Соколова. Хотя он и стоял у колыбели этого недоношенного Временного правительства, но не было терпения досидеть переговоры, и их докончили без него Гиммер и Нахамкис. На арест царя посылали Гвоздева, Масловского — и никто не догадался послать Соколова. (И только компенсировался он докладом об аресте царя на Совете.) Манифест ко всем народам составили без него другие, и даже манифест к полякам, которыми он особенно и много занимался,— тоже другие. И даже гордость свою — Приказ № 1, выведенный его собственной рукой, он не мог приписать себе целиком одному, потому что были свидетели, что советовали и другие, а потом ещё кто-то, за спиной, правил в «Известиях». Да Приказ № 1 сильно поблек после того, как Исполком издал и Приказ № 2, и Приказ № 3,— и вообще стало неизвестно, какой из этих приказов действовал, а какой был отменён. И в самом Исполнительном Комитете, где Соколов был из начинателей и безусловно главных фигур,— оттого ли, что он всё катал по городу, встречался, собирал сведения,— в Исполнительном Комитете его оттёрли и не избрали ни в бюро, ни в Контактную комиссию.

Так значение Соколова оборвалось и стало падать.

Но и не могучи побороть потяготу в своих ногах, потяготу носа своего к новостям, ещё не опубликованным, Соколов и тут не приобрёл усидчивости к заседаниям, а всё так же катал по городу (на трамваях и пешком, автомобиль ему редко доставался),— а между тем ещё быстрее носился в мыслях: кем же бы ему стать? как же достойно связать своё имя с нашей Великой революцией? — так, чтобы во всех школьных учебниках непременно бы упоминался присяжный поверенный Н. Д. Соколов, и с каким-нибудь оттенком леденящим?

Ну, несомненно ему надо попасть в Учредительное Собрание, будущий Конвент,— но это-то ему почти обеспечено, однако ещё не настали выборы. А — пока? Обидно, что, столь близкий к Керенскому, столько услуг ему оказавший и своё время,— он теперь не мог от него добиться назначения в товарищи министра юстиции: назначил Керенский присяжных поверенных, но — других.

Революционный нюх у Керенского есть, да! Он понял, что в дни революции министерство юстиции — это меч её, это — главная действующая сила. Но и Соколов же имел все права, все основания быть частью этого меча — или рукой, её держащей! И не попав в заместители министра, Соколов сметил наилучшее для себя место: Чрезвычайная Следственная Комиссия над бывшими высокими должностными лицами. Какие величайшие революционные права давало членство в этой Комиссии! — допрашивать всех тех, унижавших нас, презиравших нас, безмерно вознесенных вельмож — а теперь трясущихся пленников Трубецкого бастиона. Всю жизнь присяжный поверенный Соколов выступал в роли ходатая или защитника,— но наконец он чувствовал в себе мощь и жажду стать обвинителем! Какую грозную способность допрашивать он открывал в себе! вонзить остриё мести морально — ещё раньше, чем оно войдёт в них физически. И какую обстановочность можно придать заседаниям Комиссии: то поехать всем составом в Петропавловскую крепость и там сгрудиться против подследственного в полутёмной, как бы пыточной комнате. Или — заседать в парадном зале Зимнего Дворца и вызывать их, трепещущих, на середину паркетного простора против судейского помоста.

И какое разнообразие захваченных: Протопопов ли, Маклаков, Макаров, Хвостов, или сам надменный Щегловитов, а то — Штюрмер с бородой-веником, древний Горемыкин или начальники Департамента полиции, Охранного отделения. На каждого был аппетит допрашивать, во все стороны рвался карающий меч, не хватит времени для допроса дённых, а хоть и нощных!

Но: страннее всего, жаднее всего Соколов хотел бы допрашивать самого царя! — поставить перед собою в струнку это ничтожное мямленное величество, когда на него уже нагрузятся все неотклонимые обвинения,— и посверлить его своими огненными глазами. Какому-то счастливому следователю ведь судьба же — открыть и доказать измену царя! И какому-то судье высокое гордое счастье — отправить его на эшафот. Соколов хотел бы исполнить — и то и другое!

Крылатые параллели с Великой Французской Революцией носились в петроградском воздухе, были у всех на устах. Обжигающее состояние — зримо войти в великую эпоху, и видеть это уже сейчас, и сознавать.

(Правда, Соколов слышал и такое мнение, что аналогия на самом деле с революцией 1848 года: тоже февральская, тоже рухнула монархия за 3 дня, тоже сотрудничество крайних и умеренных элементов, и так же предстоит нам Учредительное Собрание,— а разве Совет рабочих депутатов — не «люксембургская комиссия»! а Керенский — не наш Луи Блан?.. Ах, может быть, всё может быть!)

Несколько раз Соколов то звонил Керенскому, то нагонял его лично — и горячо просил не забыть, что он Исполкомом включён в Чрезвычайную! А Керенский уклонялся, какие-то другие у него были планы (дурацкая идея отдать председательство Муравьёву по одной лишь фамилии),— он слишком вознёсся, он забыл старые услуги по революционному подполью. Соколов верно знал, что Комиссия уже зреет, составляется. В воскресенье 12-го опубликовали в газетах положение о Чрезвычайной Комиссии и её первый состав — а Соколова не было там! В понедельник она уже реально переехала в здание Сената и стала занимать комнаты в уголовном отделении — а Соколов всё не имел права усаживаться с ними там (хотя ездил посмотреть). И только сегодня, в четверг, наконец последовало назначение Соколова,— увы, лишь как депутата от Исполнительного Комитета (а Родичев — от Думы). Ну что ж, ничего, дело поправимое: право задавать вопросы во всяком случае есть. И может быть удастся приподнять чугунную крышку, скрывающую гнусные царские тайны!

Уже сегодня с утра Соколов побывал в Чрезвычайной Комиссии и полазил над первыми папками, и узнал, что сегодня начали допрашивать заместителей Протопопова, а послезавтра начинаем допрашивать Хвостова.

Ну, хорошо хоть так. А пока, значит,— гнать в Исполнительный Комитет. Если послан от них — надо за них держаться. Да это — одна реальная власть сейчас в Петрограде.

Погнал в Таврический. Вошёл в заседание далеко не в начале под укоризненный взгляд и качок Чхеидзе. Сам Чхеидзе высиживал, иногда не снимая жёлтой шубы, все ежедневные заседания, от начала до конца, председателем. Он видел в этом свою обязанность как самого старшего из социалистов.

Быстрым взглядом приметил Соколов пустой уголок стола у самого Чхеидзе — потянул туда стул и присел там рядом, нога на ногу.

Кончали какой-то предыдущий вопрос — опять о невыводе войск из Петрограда, а фронты требовали пополнений. И допустили к докладу Громана с двумя советниками.

Хотя сидело чуть меньше половины Исполкома, кто вышел, предвидя скучный вопрос,— дербый сырой сморкатый Громан волновался, выдавая немалую подготовку и особое значение, которое он ожидал от доклада и решения.

Соколов остро поглядывал на председателя, как его правая рука. Лично Громану он сочувствовал: это был такой же одиночный инициативный революционный демократ,

открыто не примкнувший ни к одной партии, как и сам Соколов,— и тоже честный, настойчивый, талантливый в своей области.

А сегодня, как стало ясно с первых слов, он пришёл жаловаться на Шингарёва. В сложной, случайно составленной и до сегодня неуяснённой структуре продовольственных органов Громан был как бы второй министр продовольствия, представитель от Совета рабочих депутатов, но без всяких реальных прав в министерстве: он мог только стол поставить там, советовать, не одобрять, предлагать своё, а если его не слушали — то вот придти жаловаться сюда. А здесь тоже его неохотно выслушивали.

Громан начал издали: что царское правительство поощрило интересы господствующих классов, и всю историю установления твёрдых цен на хлеб. (Соколов быстро стал позёвывать, как и другие за столом. Всё-таки и нуда порядочная этот Громан.) И какой доклад он, Громан, представил в конце октября Союзу городов. И как министр Риттих, вопреки советам общественности... И всю подробную историю своей Продовольственной комиссии, и какие реквизиции хлеба были объявлены вот уже в марте — но и они не помогают.

И вот тут Громан подошёл к главному, и голос его, прогундошенный, загрохотал негодованием — и засыпавший Чхеидзе и другие члены Исполкома проснулись.

Громан обвинял, что министр Шингарёв начинает губить всё продовольственное дело: он не удерживается на жёсткой линии реквизиций, а государственную хлебную монополию, разработанную Громаном, готовит нерешительно и рассматривает мерой временной, когда она должна стать постоянной — ибо не может быть другого способа планомерно и полностью изъять весь нужный хлеб из деревни, сломить сопротивление миллионов противодействующих собственников. А затем государственная власть расширится и на область производства продуктов, будет руководить и посевами, и обработкой,— и это откроет огромные социальные перспективы экономического творчества государства!

А пока за хлеб будет выплачиваться вознаграждение, то надо — по понижающейся шкале: чем больше сдал, тем дешевле за каждый следующий десяток пудов. А министр Шингарёв как раз наоборот — зашатался и хочет идти по стопам Бобринского и Риттиха: снова повысить твёрдые цены на хлеб. Это — всё погубит! Это...— Громан не сказал «контрреволюция», но: это будет огромная опасность для демократии.

И Соколов живо согласился и поддержал Громана: мы не должны делать уступки цензовым буржуазным министрам! (Про себя додуман: что все цензовые министры — скотины, и Шингарёв такой же, и ещё Чрезвычайная Комиссия, переработав всех царских министров, может быть будет иметь повод и время заняться кадетскими.)

Соколов живо это выкрикнул, поддержали его голоса два от большевиков, да Александрович, да Кротовский, всегда крайний во всём,— но что-то большинство (большинство из сидящего меньшинства) водило глазами мутными и робело принять решение. Спросили сопровождающих экспертов, что думают они? Возьмут они на себя ответственность за такое решение Совета о хлебной монополии?

Эксперты что-то перепугались и высказались вразнобой, не слишком в поддержку Громана. Втемяшешься в эту монополию — ещё не вылезешь. Такая монополия только в Германии удалась.

А ещё ж много было вопросов на сегодняшней повестке.

Пока ничего не решили.

Затем Богданов доложил о своей лёгкой быстрой победе над Временным правительством: достаточно было ему представить министрам решение пленума Совета против присяги — и правительство сразу признало свою ошибку и обещало тотчас прекратить присягу в войсках — и до самого Учредительного Собрания никого к присяге не приводить.

На Исполкоме сложилось лёгкое весёлое настроение.

— Требуйте с них пятнадцать миллионов! — кричали Стеклову.

Но Стеклов, всё на ногах, не садясь, серьёзно предложил: потребовать от Временного правительства издать декрет, что не подлежит исполнению никакой приказ воинского начальника, направленный против свободы народа или хотя бы имеющий какой-либо политический оттенок.

— Дальновидно! — шумно одобрили. Стеклов протягивал реальную хватку вглубь армии. Постановили, записывали.

Вместо того чтобы солдаты были связаны присягой перед правительством — пусть правительство будет связано перед ИК. Неплохо!

623

В Союзе Инженеров выбрали Дмитриева, вместе с ещё двумя, депутацией к властям: о том, что работать на заводах стало совершенно невозможно. В эти недели инженеры попали так же, как офицеры в первые дни революции,— только не было у них револьверов и шашек, которые бы отбирать, а такая же вдруг подсечная немочь лишила их всего обычного образа поведения и права: они не могли расставлять рабочих, направлять, указывать,

а каждый раз в виде ласковой просьбы: исполнит рабочие — хорошо, а не исполнит — ничего не поделаешь.

Пока в Петрограде ещё только готовились хоронить жертвы революции — а на петроградских заводах вот убили двух инженеров (и с десяток избили),— и чьи это будут теперь жертвы? Немало инженеров от угроз расплаты должны были скрыться и с заводов и даже со своих квартир при заводах, так что только доверенные знают их места.

А был в их депутации и революционный идеалист Подагель с Воздухоплавательного. Он всегда гордился, что участвовал в инженерной забастовке 1905 года в поддержку бастовавших рабочих, и теперь приободрял коллег, что не надо вдаваться в панику, но лишь смягчить анархические события, а по стержню — мы этому самому и служили, оно — совершилось, и надо видеть, как оно устанавливается в светлую сторону.

На Обуховском сохранился ещё сравнительный порядок.

Их выбрали — идти к властям, но: кто же были власти? Очевидно, заводами должно заниматься министерство промышленности и торговли. Но ещё очевиднее, что оно против рабочих волнений не решится действовать ни на вершок. Пошли советоваться к своему же брату Ободовскому, нашли его в военном министерстве, через коридоры, где щёлкали шпоры, скрипели сапоги. Вышел Ободовский с ними в проходную комнату. Нервное лицо Петра Акимыча было опалено деятельностью, очевидно и бессонницей, прямые короткие волосы, из светлых всё явнее седые, дыбко колебались.

Они все были не на месте: заводские работники, вот, почему-то сидели в военном министерстве, а между тем заводское дело прогрохатывало к обрыву, как сорванная с троса вагонетка.

И Ободовский только и мог им подтвердить:

— Господа! Между нами, Временное правительство мало на что влияет и меньше всего на рабочие дела. Тут всё решает Исполнительный Комитет Совета. А там отделом труда заведует Гвоздев, вы, Михаил Дмитрич, его знаете,— он разумный человек.

То есть искать управы на рабочих инженеры должны были у самих же рабочих?.. Новая *свобода* жала и потягивала, как неловкое платье.

Дмитриев позвонил Гвоздеву. Тот сразу обещал, что поставит их сообщение прямо на заседание Исполнительного Комитета. Но повестка дня перегруженная, когда удастся?

Пришлось звонить снова и снова. Не удалось ни в тот день, ни на следующий, и только сегодня обещали.

Переполненный Таврический дворец никак не ощутил входа троих инженеров. В большом зале стояло множество солдат, кричали временами «ура» и гремела марсельеза. Гвоздева нашли в маленькой комнате бокового крыла, где на стене от прошлого ещё не снят портрет чина в звездах, а бархатом обитые кресла перемежались с табуретками.

С осени не появилось в Гвоздеве никакой важности, а перед визитёрами он держался даже заботливо-суетливо. Прегустые соломенные волосы его, недлинно стриженные, колыхались на голове и были в перепуте, как пшеница в ветер.

Сидели и обсуждали довольно потерянно. Из соглашения Совета с заводчиками выполняется только 8-часовой рабочий день, да и то почти не работают. По соглашению, не было права заводским комитетам вмешиваться в управление заводами — а они являются в конторы и начинают указывать.

Гвоздев в кручине упёрся на руку, свесил светлую косму — и поглядывал на инженеров детски-откровенно, как на самых своих.

— Ездили мы по заводам,— говорил,— и нас слушают не немного больше вас. Раскачали наших ребят как черти пьяные: что по теперешней поре за один день можно взять, чего, ино, и за десять лет не получишь. Да ведь и правда,— тут же и радовался изумлённо,— ведь о восьмичасовом дне двадцать лет бились зря — а тут в один день получили! Сколько из нас масла-то пожато, что скрывать!

И тут же вздыхал:

— Так и дальше, мол, хватай. Экакое свинство развели, ещё так никогда не распускались. Но должна совесть воротиться! Поиграют — должны ж образумиться, что ж мы — нелюди?.. А солдатики — пропадай без снаряженья? Или — уж так погано все люди устроены?

Лицо его, с бровками малыми, разляпистым носом, было застигнутое.

— А Исполнительный Комитет — он как будто и не понимает. Ну, попробуйте вы их растрясти.

Дмитриев предложил: в некоторых полках теперь бывают совместные комитеты солдат и офицеров. Нельзя ли так же и на заводах: комитеты из рабочих и инженеров? Когда рабочих не толпа, а всего несколько человек за стол сядет,— они доступны объяснению, уговору.

— Можно, можно попробовать.— Но что-то затуманились простодушные глаза Гвоздева.— Вон, ещё как бы трамвай обратно не остановился.

Посланный вернулся с заседания, что, кажись, можно идти.

Пошли. Вслед за Гвоздевым вошли в большую комнату с ещё более неподходящей обстановкой: объёмистый диван у стены, золочёное трюмо, а посредине вокруг большого

голого стола сидело человек тридцать штатских, ещё и стояли, среди них и несколько молодых солдат.

Депутацию инженеров ввели, но ещё не кончили другой вопрос: доспаривали, что хотя правительство и отменило присягу, но, как всегда, ограничивается полумерой. Что это — не полное признание ошибки. А где признание самой порочности идеи присяги? А как быть с частями, которые уже присягнули,— отменяется ли присяга? Нет! Правительство виновато — так пусть оно высечет само себя.

И штатский Дмитриев, кажется, понимал, что смысл говоримого был ужасен.

Если так расправлялись с армией,— кто поддержит заводскую дисциплину, несравнимо слабейшую?

Но более чем Дмитриев слышал, он невольно смотрел. Успел обежать два-три раза все лица, кто был к нему не затылками, да и другие временами переходили. И кроме пятка тупых солдат, явственно в стороне, охватил, из кого же состоял Исполнительный Комитет. Что это собрание было никак не рабочее: уж рабочих-то Дмитриев видывал тысячи, он узнавал их на улице, отличая от городского обывательского потока. Но хотя в пиджаках, а некоторые и при галстуках,— не было и принычно интеллигентных лиц. А скорей тянулся тот тип бездельных агитаторов, которые шалались вдоль заводских стен и разламывали заводскую жизнь,— только эти одеты прилично.

Кончили с присягой — Гвоздев собрался напомнить о своей депутации, но тут секретарь Исполкома, очень чистенький, с заострённостью лица вперёд,— заявил вне очереди о срочном важном вопросе, что к нему поступило чрезвычайное треножное сообщение: на Васильевском острове распространяется погромная черносотенная литература.

Вот уж чего нельзя было и вообразить после трёх недель революции: чтобы кто-то кому-то решился сейчас передать или даже подержать в руке такую листовку. Но Исполнительный Комитет оживился, возмущённо загудел, заговорили сразу по несколько и друг ко другу. Никто, кажется, и не спросил: кто именно распространяет? в каких количествах? какую литературу? кому? Но все требовали решительных мер, а секретарь Капелинский и сам ничего точнее не знал и ничего более не хотел, как записали бы в протокол, чтоб этот вопрос выяснить и пресечь погромщиков.

А тем временем в дверь вошли несколько живописных матросов, с той особой дерзостью, которую им придаёт лихая форма. И сопровождающий их юркий штатский громко торжественно объявил:

— Товарищи! Депутация из Гельсингфорса!

И все сразу повернулись и осветились как бы восхищением перед вошедшими и перед их матросской свежестью. И была забыта инженерская депутация.

А матросы — тоже не простые, а те горланы, какие две недели назад своими руками бросали за борт капитанов,— теперь отрывисто, смесью языка натурального и воспитанного газетками, заявляли. Что весь гельсингфорсский гарнизон поклялся добиваться демократической республики. Что очень их волнует вопрос о войне и мире и все высказываются против принятия присяги. Что они верят в мощную силу петроградского Совета Депутатов и ждут от него указаний. А с Временным правительством будут считаться лишь постольку, поскольку оно идёт за Исполнительным Комитетом. А для предотвращения дальнейших убийств офицеров необходимо, чтоб Исполнительный Комитет направлял работников и литературный материал.

И вообразил Дмитриев тот Гельсингфорс, где дальнейшая жизнь офицеров зависит от присылки «литературного» материала. И видел, с каким сочувствием здешние выползни следили за бодрой матросской речью. И потерял всякую надежду, что подробно выслушают его.

Но ошибся. Матросы кончили тем, что заговорили о 8-часовом рабочем дне — что он смущает матросско-солдатскую массу: почему рабочие добиваются себе одним только?

И так обсуждение как бы само собой обратилось к инженерской депутации. Матросы ушли, а Гвоздев пригласил Дмитриева говорить.

Дмитриев встал, напрягся, чтоб овладеть вниманием собрания, успеть сказать им всё главное, прежде чем его начнут перебивать или раздёргивать. Он помнил, держал в сборе все эти пункты, случаи, названия заводов, фамилии пострадавших, он сейчас только что повторял их Гвоздеву, он не сбился,— но при напряжённом виде этих странно откопанных людей, при наслушанном об армии и флоте,— говорил с безнадёжностью. Он уже понял, что ни в чём не успеет, и заводов не спасти.

Однако его слушали, не прерывая, и даже как будто с застенчивостью, будто он о чём-то запретном говорил. Или будто их уши не были подготовлены слышать о дезорганизации промышленности.

И никто не спешил отозваться.

Помянул Дмитриев и предполагаемые совместные комитеты инженеров и рабочих, уже не веря.

Члены Исполнительного Комитета невыразительно молчали. Не выступал и Гвоздев, опустивши пшеничный клок. Да ведь он с депутацией был как бы заодно.

Кто-то сказал: надо выпустить воззвание к рабочим. Во имя революции они должны порядок соблюдать.

Другой: а вот не надо было к работам приступать, пока не добились полного улучшения всех условий труда.

А крупный, рыжебородый, что всё стоял и ходил:

— И потребовать от разбежавшихся инженеров и мастеров немедленно приступить к работе.

Баритон его прозвучал беспощадно.

Тогда вступился Гвоздев тенорком: что стали с фронта всё чаще приезжать солдатские депутации, и все они недовольны, что заводы не работают, а *учетные* на них прячутся, а снарядов не дают. Так может — начать возить эти делегации по заводам?

Но выпрыгнул маленький, острый, с ноллочными волосами:

— Но это беспринципно, товарищ Гвоздев! Мы не может выдвигать против рабочего класса крестьянство в шинелях! Мы не можем использовать отсталость крестьянской массы!

624

(провинция и деревня, фрагменты)

* * *

Министр Некрасов срочной телеграммой отменил всю охрану железных дорог, кроме больших мостов. Везде, где местные комитеты сочтут железнодорожную полицию излишней,— откомандировать её к воинскому начальнику, её обязанности без ущерба выполнят сами ж-д служащие и народная милиция, внесётся только больший порядок.

* * *

В **Харькове** при Управлении Южных дорог создался «Центральный революционный штаб» — коалиционный, от с-д, с-р, к-д, анархистов, председатель — рабочий паровозного депо анархо-индивидуалист Худяков. Штаб взял в свои руки всё ж-д движение, и воинские эшелоны, к передвижку снабжения. Паровозоремонтный завод угрозил забастовкой, если будут выселять лево-анархическое «Вольное братство» из захваченного здания.

* * *

На **Ижорском** заводе после переворота рабочие устранили 38 инженеров и мастеров. При том постановили: сдать их всех в солдаты, а семьи чтоб очистили городские квартиры. Жалованье уплатить лишь по 9 марта, ни дня вперёд. (Некоторые из них служат на заводе 25 лет и больше.)

* * *

В **Озерах** Коломенского уезда после переворота местные фабриканты пожертвовали 200 тысяч рублей на устройство пенсионной и ссудной касс для рабочих. Но рабочие вместо такого устройства порешили: разделить все деньги между собою поровну.

* * *

В станице **Каменской**, на Донце, толпа чернорабочих арестовала генерал-майора Макеева, хотя он и приветствовал революцию, и посадила его в одну камеру с уголовниками. Те издевались над ним и били.

* * *

В Симбирске жена управляющего Крестьянским банком Бирина, служа в лазарете, выражала раненым солдатам порицание новому строю. Арестована и привлечена к ответственности.

* * *

На второй неделе революции прокатились по всей провинции массовые празднества. Во многих городах они пришлись на 10 марта и фотографии их широко печатались.

Вот солдатня, сгрудившись, подхватила папахи вверх, кричат, кто — просто со всеми, а кто и правда рад, что-й-то новое будет! На палках — красные флаги. В Архангельске ещё по-зимнему, в Пятигорске мужчины уже без верхнего,— сгрудились толпы на площади, красными конусами торчат неподвижные флаги, мальчишки на столбах, в раздвинутой середине держат речи. В Рузаевке — как большая деревенская сходка, запряженные телеги по краям толпы.

В Екатеринбурге выстроили особую арку, убранную, перевитую лентами, и несколько раз: «Свободная Россия». Размеры красных бантов на распорядителях — в зависимости от занимаемой должности в Комитете общественной безопасности, председатель Кроль, главный распорядитель праздника — Ипатьев. Во главе шествия шёл молодой присяжный поверенный эсер Кащеев. Шествие прошло от тюрьмы до соборной площади, где с трибуны, задрапированной кумачом, выкрикивались лозунги: «Да здравствует революционная армия!.. Учредительное Собрание!.. свободная гимназия!» Только колонна войск была тысяч до 60, впереди бригадный генерал на белом коне, а всего тысяч сто. Мимо трибуны двигались лица и безумно радостные, и невыразительные. Гимназистки даже не кричали, а визжали.

В Томске народную демонстрацию и церемониальный марш проходящего гарнизона принимал на трибуне среди президиума — венгерский военнопленный Бела Кун.

* * *

Едва образовался **в Екатеринбурге** Комитет общественной безопасности, как туда повалили посетители с жалобами о совершённых кражах, о побоях мужа, с жалобами квартирантов на домохозяев и встречными, с просьбами о паспортах, о перенесении покойников в другую могилу. А врач Упоров пришёл с заявлением от проституток. В эти дни к екатеринбургским домам терпимости солдаты стояли в длинных вереницах, как обыватели за сахаром, и, по сведениям комитета, на каждую проститутку приходилось в сутки до 60 посещений — но протест от них пришёл не о том, а что они как свободные гражданки не желают больше подвергать себя врачебному осмотру.

* * *

Вслед за уголовниками изъявили желание освободиться из тюрьмы и идти на фронт также и воровки. Запросили Керенского — он распорядился отправлять их сёстрами милосердия. Красный Крест пришёл в ужас, но первое время принимал.

* * *

Главный принцип отбора в милицию — «незамеченность в контрреволюционности». В **Пензе** хлынули в милицию воспитанники частного реального училища Хайкина, эвакуированного из Минска,— военным было невыносимо смотреть на их неумелые распоряжения.

Внутри городских милиций — свои советы депутатов, свои митинги и порицания начальству.

* * *

В Москве излюбили стягиваться на постоянный митинг к памятнику Пушкина и памятнику Скобелева. С утра и до вечера кипит, только люди меняются. Ораторы взлезают по карнизам и выступам постаментов. Всех слушают жадно, а потом споры разбиваются по кучкам, кучки спорят внутри себя до крика, далеко выносятся нервные вспыхи голосов. В толпе — обыватели всех видов — и прилично одетые, и студенты, и простые мещане, бабы, и солдаты, и офицеры, кто с головой забинтованной, у кого рука на перевязи, солдат на двух костылях.

* * *

Ломовой извозчик:

— Нам хоша б и ребублику, только б царя хорошего!

* * *

В Мариуполе, как и во многих городах, без полиции по ночам стало неспокойно: выстрелы, ограбления. И стали жители устраивать неслыханную поквартальную самоохрану от босячья с окраин и от бродячих солдат: мужчины кто с ружьём, кто с палкой, а то только со свистками, ходили патрулями вокруг своего квартала. Гимназистки перестали появляться на вечерних улицах.

Но Мариупольцы радовали себя, что зато теперь война скоро кончится.

* * *

По железным дорогам — телеграф, и вблизи них было быстро всё известно — даже в Приморской области, за 8 000 вёрст от Петрограда. Но в глуши губерний, не то что Казанской, а даже во Псковской, почти весь март ничего не знали. В таких местах держались и урядники, становые, а священники продолжали возглашать в службах царя.

В российских деревнях ещё неделями нависала темнота и непонятность. А там — уже раскисает, грязь, так что из дома в дом не пройти, не то что детям в школу.

* * *

Члены **гурьевского** исполнительного комитета (в Томской губ.) узнали, что на руднике **в селе Салаирском** переворот не объявлен и жизнь идёт по-старому. Послали делегатов. В волостном правлении священник указал: «Гоните их вон отсюда». На волостном сходе им кричали: «Долой! Вон!» И — с палками погнали, пока один из делегатов не выстрелил из револьвера. Тогда погоня остановилась.

* * *

Под Барнаулом **в селе Зайцеве** священник отказался признать новое правительство. **В селе Ново-Шульбинском** священник отказался служить молебен о благоденствии Временного правительства.

* * *

Местами в деревнях собирают в складчину копейки и посылают мужика в город — за газетой. Такую б газетину купить, где всё как след прописано. А может — и *о р а т е л я* какого заманит к ним.

* * *

Свой селянин привёл с беспроезжей дороги какого-то городского.

— Где поймал?

— Ехадчи по большаку. Сказываетси бы што товаришшом.

— Кам-панин! Вешать бы этих сволочёв.

— Товаришш! Всё скажи, ничего от нас не утаивай: как там, в Питере, порешили!

* * *

Приехал к барину в Новгород-Северский крестьянин с **хутора Лоски**. Просит объяснить, что

верного в слухах, какие ходят. А то — «царь помер, царевич видрикся вид престолу. В Петербургу зибрали на престол Леворуцию, але вона ще малолитня, так ии бабушка правле. А та бабушка така погана баба: усэ бурчить та бреше, так ии прозвали Брешко-Брешковска».

* * *

Но вот заездили кой-где по деревням городские. Мол, земля должна быть в одну неделю отнята у помещиков и передана безземельным.

— А остатним шо ж? Шиш?

Приехали какие-то в солдатских шинелях:

— Громите, товарищи! Ничего вам не будет, мы — за народ!

Рвут телефонные провода из помещичьих имений.

А другие приезжают: собирайсь, выбирай ка-ми-те-ты. В каждом селе, в каждой волости должон быть ка-ми-тет. А сельских старост, волостных старшин — по шапке, сельских урядников — в шею.

* * *

В Саратовской губернии помещик Борель произнёс к крестьянам речь: «Не верьте новому правительству! Его дела в конце концов зальются кровью!»

Арестовали его.

* * *

На волостном сходе **в Велилах** при питерском ораторе порешили: что никогда больше не будет нигде управлять дурак или изменник, а выберем умных и честных, и вот это будет рельс-публика. Кто сказал и так: теперь будет и без денег отдавать хлеб новому правительству.

* * *

В мелких деревнях **Феодосийского уезда** после переворота говорили крестьяне:

— Ото, мабуть, нас опять отдадут панам у неволю.

И этот слух, что восстановится крепостное право, широко раздался по Югу.

625

Ещё и сегодня смеялись московские адвокаты, как в минувшее воскресенье на адвокатском собрании Корзнер предложил давать говорить ораторам только умным и толковым — за что получил от председателя предостережение. А разнервничался Корзнер не только от изобилия совещаний и прошлые дни недели, но в то воскресенье оно и растянулось почти на целый день: назначили его в час дня, не учтя, что и этот день Совет рабочих депутатов определил быть в Москве грандиозной демонстрации, празднику свободы. И демонстрация имела успех, особенно из-за весенней погоды, вся Москва была на улицах, и от сборных пунктов десятки тысяч стягивались к центру — молодёжь, женщины, штатские и солдаты без строя, то «отрешимся от старого мира», то «вихри враждебные», и масса красных плакатов и флагов, а с Арбатской площади и отдельная колонна евреев,— и всё это на Театральную площадь, море голов, не то что ехать, но пешком нигде не пройдёшь, с верхних этажей и с низко летящих аэропланов разбрасывали прокламации — «Свобода всему миру!», «Больше снарядов в окопы!», «Война до победного конца», потом появился Грузинов со штабом на лошадях, под колокольный звон. И от того всего на адвокатском собрании долго не было кворума: кто застрял на улицах, а кто и дома, не поучаствовали и в демонстрации, и на заседании просидели до позднего вечера.

Корзнер потому особенно нервничал, что эти дни нужно было повсюду успевать быть: и на службе, и с клиентами, и вот здесь, на профессиональных совещаниях, и не пропускал же он заседаний Комитета общественных организаций.

— Между прочим, знаете, господа, к нам туда стал ходить писатель Бунин. Думает всё увековечить в художественном произведении.

И заседания одолевали — и никак же нельзя без них: историческое время, оно несётся или крадётся невозвратимыми шагами. Сейчас чего-то не увидишь, не отзовёшься,— потом не исправишь за тысячу лет. Конечно, время — не разглагольствований, а напряжённых дел, но и без совещаний не обойтись, и получается ежедневных. И сословие присяжных поверенных, острее других изнывавшее под гнётом старого режима (сейчас жутко вспомнить: да как же терпели это полицейское хулиганство?) и особенно ярко себя проявившее в защите лиц, гонимых за политические убеждения,— теперь должно возглавить процесс всеобщего разъяснения и даже всеобщей организации. Продолжая охранять эволюцию личной свободы, стать и авторитетными глашатаями гуманных начал среди взволнованного населения.

Адвокатское собрание потребовало изменить адвокатский значок, убрать из него эмблемы прежней власти. Ожидали и пополнения адвокатесс в свои ряды. Постановили: стремиться не к созданию разнообразных партий, ибо теперь у нас единая партия — весь свободный русский народ, но — Союза Союзов, как в 1905, который опять бы объединил всю интеллигенцию. Выбрали редакционную комиссию, туда пошёл и Корзнер, составить обращение от адвокатов к народу и войскам.

Поддержка Временного правительства народом была из задач первоочередных. Надо

было организовать, наладить, чтобы изо всех мест посылали выражения доверия правительству. Надо было всюду разъяснять: кто подрывает Временное правительство — тот идёт против народной свободы. Смотрите, новые министры буквально не спят и не едят по недостатку времени, своим примером призывая и нас к сверхчеловеческой энергии.

Но Игельзон посмеивался:

— Ещё самой главной опасности, господа, вы не учитываете! Сейчас для революции самая большая опасность — это обыватель. За переворотом не успевают души, ущемлённые обывательщиной. Человек стоит в стороне от всей сложной мучительной борьбы, но рассуждать о ней — его обывательское право. Читает газеты — и чувствует себя судьёй русской революции. Это он больше всех огорчён, зачем появился Совет рабочих депутатов, и почему милиция справляется хуже полиции. Что за мука, кому приходится в день встретить двух-трёх обывателей! Это существо, которое не может радоваться ничему возвышенному. Крылатой радости он противопоставляет свою крохотную обиду, головокружительным завоеваниям — булавочный укол неустройства. Если ему в манифестации отдавили мозоль — он кричит: вот какая она, ваша свобода! Как нам сделать, чтобы вместе с самодержавием исчез и обыватель? Сейчас, когда надо работать с удвоенной энергией, верить, бороться, агитировать,— нет оправдания тому, кто занят скептической рефлексией! Сейчас малое сомнение — хуже большого преступления! Не сметь сомневаться, чёрт возьми!

Крикнули ему в тон:

— Да сгинет обыватель, паразит революции! Он сосёт её кровь своей мизерной рассудочностью.

В шутку. Но и серьёзно.

В самой же Москве произошёл недопустимый и опасно знаменательный казус: курсистки медицинского женского института выразили недоверие новой власти! На каком же основании? На том, что она свергла старую власть слишком бесконфликтно,— так не будут ли и сами такими же? Оригинальный поворот мысли... Точно так же и крайне левая группка большевиков обвиняла сейчас «Утро России» и другие московские газеты, что они два лишних дня подчинялись запрету Мрозовского и соглашались печататься без всякого намёка на петроградские события — и только забастовка типографов не дала им выйти в таком прилизанном виде. Все такие выпады покрывались остро-опасным словечком «буржуазия». В Совете эти большевики кричали: «Не допустить буржуазию править городской думой!» На митинге в Лефортове один большевик заявил: «Буржуазия устроилась в Земгоре и уклоняется от воинской повинности!» Вот новый поворот — уже и Земгор им плох! Уже и лозунг республики их не устраивает! В уличном «Московском листке» «буржуа» зазвучало как ругательство, среднее между «подлец» и «скотина». «Буржуи» — это буквально все, у кого белая манишка, интеллигентный вид.

Так внезапно возникла опасность молодой свободе совсем с неожиданной стороны. Пристально следили за этими симптомами. Симптомы входили и в их собственные дома. У Левашкевичей прислуга уже выставила требования: светлую комнату, два часа перерыв на обед, два свободных дня в месяц, удвоенное жалованье плюс беспрепятственный приход гостей. Вот так они поняли свободу! А уступи — требованиям конца не будет. Деньги, допустим, можно добавить,— но разрушить собственную жизнь, распорядок и сделать из квартиры проходной двор? Выставляется харя.

Разделить ряды восставшей России — да это мечта клевретов старого режима, это и есть правая интрига. Вызвать междуусобицу — что может быть теперь желаннее для погромщиков? И вот путь: бросать самые крайние левые лозунги — и так разделить демократию. А дурачки-большевики клюют. Ясно, что это — всё та же черносотенная опасность, но выплывающая с левой стороны. Удобно! — ведь сейчас идёт бешеная скачка левых позиций. Теперь, когда на улицах нет городовых,— отчего не кричать «да здравствует свобода!»? Теперь все стали левыми, левизна страшно подешевела. Да в России никогда и не было искренних консерваторов: как можно быть консерватором в стране, которой не́чего хорошего хранить? что можно было отстаивать в этом насквозь прогнившем режиме? А сегодня — какую привлекательность для бывших монархистов может иметь монархизм, если он перестал им платить? Консерваторы у нас всегда были те, кому выгодно распутство и гниль,— а вот теперь они все хлынули в «левые». Кто воистину был левым при царском режиме — теперь не нуждается леветь, и выглядит как бы отсталым. А безответственные выглядят «ещё левей»,— и перед ними уже тускнеет левизна сознательная.

Ах, досадно было тратить аргументы и усилия против ещё этой мнимой левой опасности, когда не добиты были главные тёмные силы! Хотя реакционные гнёзда, могущие сейчас организовать контрреволюцию, не открывались явно, но они безусловно своё роют и только ждут благоприятного момента. Уже были слухи, что в Витебске, Кишенёве, ещё где-то, идут еврейские погромы, потом не подтвердились. Но защиту свобод надо спешить упрочить! (И когда же, наконец, будет издан акт о еврейском равноправии? чем объяснить такую медлительность, кто держит?) Пока что, говорят, полковник Мартынов из Охранного отделения даёт обильные показания на всех своих сотрудников. И надо доискаться и назвать всех, до последнего имени! И найти все корни убийства Йоллоса и Герценштейна! А если оглядеться дальше: по провинциальным городкам что там сидят за общественные комитеты? Какие-нибудь совсем чужие революции люди, и если схлынет столичный революционный напор — они ещё откроют своё истинное лицо. Там сидят и купцы, которые и сегодня называют евреев спекулянтами.

Но и когда новый строй установится — разве опасности минуют? А можно ли будет верить новому президенту и отдавать ему армию, как была отдана Луи Бонапарту? Все генералы должны быть под неусыпным контролем народа. Верно говорят: Россия сейчас напоминает человека, который долго жил в бедности и вдруг получил огромное состояние, и есть опасность, что он будет слишком щедро раздавать свободы и доверие.

И в обстановке этих опасностей — как досадно, что они возникали и с той стороны, откуда бы им не возникать. Вот — проблема Совета рабочих депутатов. В опьянении своей силой он уже зарывается, будто он уже чуть не законодательная, чуть не исполнительная власть. Явное неразумие: снова разогревать революционную лаву и снова её разливать. Начинают кричать о «диктатуре пролетариата», чуть не о втором правительстве,— и так сами же от себя отшатывают общественные симпатии. Захватный явочный порядок был допустим по отношению к царю — но дикость, когда большевики проповедуют «явочный порядок» по отношению к Временному правительству. Агрессивный тон при малосознательных массах — это очень опасно. Грустно за неразумие России. На нашем знамени должны сиять закон и право.

Старый Шрейдер качал головой:

— Нет, господа. Не так всё просто. У русского человека природная любовь к беспорядку, и тут ничего нельзя прогнозировать. Культурный ход революции в этой стране под большими опасностями. Охлос, анархия и максимализм могут всё погубить. И винить их не приходится. Народ, который жил в рабстве целые века, не может стать в три недели свободным и выдержанным. А тёмные силы будут везде подстрекать к насилиям. А крестьяне, как только коснётся земли, глупеют,— в них исчезает и наблюдательность, и справедливость, и уж не спрашивай сознания государственной сложности.

Так и возникла — совершенно против всякого разума — ещё одна специфическая опасность: демагогический лозунг «долой войну!». Никакой логикой нельзя было предвидеть такое извращение идей нашей революции, такой идиотский лозунг — но он возник! Опаснейший лозунг для русской свободы! — и проталкивает его малая группка лиц, но он может вызвать расстройство всех наших рядов. Во время воскресной московской демонстрации, правда, ни одного такого плаката поднято не было (говорили: какая-то воинская часть грозилась расстрелять такой лозунг, если появится). Но около памятника Скобелеву такие ораторы высовывались. И такие ж статейки о немедленном мире, всегда анонимные, в левой партийной печати. И листки — «долой войну». Это очевидно большевики, вольные наездники от социализма, они безответственны, для них нет ни сложных, ни трудных вопросов. Но пренебречь этой опасностью тоже нельзя. На адвокатском собрании единогласно постановили: пропагандировать среди населения лозунг «война до победного конца!», а для этого подготовить ораторов, желающих выступить на собраниях и митингах,— молодых помощников присяжных поверенных с полемическим даром. И вот теперь собрали инициативную группу адвокатов у Игельзона, чтобы подготовить доводы для этих посылаемых ораторов.

Но что тут готовить? Достаточно сказать: предложения мира исходят от лиц, не учитывающих серьёзности момента. Младенческий лепет! — снять шапку перед полчищами Вильгельма?

Мы должны говорить прямо от имени Действующей армии. Действующая армия не сможет понять, какую цель преследуют те, кто ставит сейчас такой острый вопрос, нервируя и тыл, когда Учредительное Собрание уже не за горами! Действующая армия недоумевает, как можно перестать работать на заводах и прервать поток снаряжения.

Э, нет, господа, аргументы нужно пофактичнее. Ведь для неразвитых это очень соблазнительно выглядит: мол, русский пролетариат посылает германскому пролетариату письмо, а тот протянет руку. Вот тут и нужно: а если немецкий пролетариат не ответит? А если ответит только через три месяца — то как это дождаться? А если вы так уверены в своём письме — почему вы его не написали раньше? Немецкая революция? — журавль в небе, никто её не видел. Интернационал? — никакого не существует. Германские социалисты уже и заявили, что считали бы революцию в своей стране величайшим бедствием. Помочь германскому пролетариату? — вот только мы и можем: энергичным ведением войны!

А спросить их, ненормальных: как это можно из войны мирно расцепиться? Только победить — или только сдаться. Одна неделя без снарядов и продовольствия — и наша армия будет расстреляна немцами. Это будет новая сухомлиновщина, нашими собственными руками! «Долой войну» приведёт только к гибели тех, кто в окопах. Нам не нужен захват чужого добра, но обезоружить разбойный народ. Нам нужен мир не временный, но вечный! Сейчас решаются судьбы всего человеческого рода!

— Да сердце сжимается, к чему бы привело нас немецкое торжество! Что бы осталось от нашей завоёванной свободы?

— Да нам ещё два месяца постоять — и немцы подохнут с голоду!

— Господа, нельзя даже допускать постановки такого лозунга — «долой войну». На наших знамёнах — «демократическая республика», и почему же можно обращать взоры к абсолютистской Германии? Те фанатики, которые хотят столковаться с каким-то, им известным, немецким пролетариатом, подумали ли они о Сербии, залитой слезами?

— Господа, господа, сбросьте пар панславизма. На Сербии не потянет.

— Хорошо, спросим так: имеет ли право русский рабочий не обратить внимания на призыв французских социалистов, известных всему миру? Ведь они зовут — продолжать войну неослабно!

— Да если мы погубим дело союзников — то что ждёт Россию на много поколений? Германское иго! Слухи о революции в Германии для того и пускаются, чтоб ослабить наше сопротивление!

И реалистично говоря: если мы прекратим войну сейчас — не к немцам же нам бросаться за деньгами. Мы окажемся в экономической пустыне и не сможем нести строительство новой жизни. Так уже задохнулись младотурецкая, персидская и китайская демократии, которые базировались на одной идеологии.

В теперешнем фазисе война — не предмет спора, а необходимость. Кто бы каких взглядов ни держался, но должно признать: прекращение войны — не в нашей власти. Можно быть убеждёнными пацифистами, как и многие из нас тут, но нельзя отрицать неизбежности ведения войны.

А Шрейдер своё:

— Господа! Не забывайте, что психология наших масс перевёрнута вверх дном. Надо всячески будировать любовь к родине, это понятнее простонародью, чем свобода. А через любовь к родине мы спасём и свободу.

Молодой белокурый Фиалковский, которому и предстояло идти одним из ораторов, взорвался:

— Я не понимаю! Да неужели же Свободная Россия поддастся провокации мира, перед которой устояло даже царское правительство? Мы — именно устранили тех, кто нам мешал побеждать,— и почему теперь «долой войну»? Что случилось? Потому что исчезла сила принуждения? Начальство не смеет наказывать — так бросай всё? И это говорят кому? — республиканской армии?

— Нет, господа, ещё реалистичней, язык неумолимых фактов. Наши оппоненты — понимают ли ясно, к чему ведёт их призыв? Ведь они объективно становятся друзьями и пособниками старого режима. Да Штюрмеры, Фредериксы и все сидельцы Петропавловской крепости мысленно благословляют немецкие пушки. Если б это было в их силах — они помогали бы заряжать германские орудия! Да будь сейчас полный мир — Вильгельм всё равно бы вторгся утвердить Николая! А если фронт будет сейчас прорван — то все притаившиеся контрреволюционеры так и попрут против наших завоеваний. Пораженчество — сегодня может оставаться только в тёмном подполье черносотенства! Среди революционеров — его не может быть!

Да. О да! Это опять она — правая черносотенная опасность, хитро замаскированная под левую! Да, да,— несомненна становится связь царской реакции с этими криками «долой войну»!

О, как же ветвится, как запутан этот простой вопрос о войне!

Надо будет вот что: посылаемым ораторам давать защиту из студентов с хорошими кулаками. Потому что возможны всякие столкновения.

626

Когда достиг слух, что везде по ротам, по батареям надо выбирать комитеты, хотя ещё и не известно, для чего, три старших фейерверкера в батарее — старший орудийный, старший разведчик и старший телефонист, сговорились, что они и составят батарейный комитет. Шли доложиться о том капитану Клементьеву, по пути встретили подпоручика Гулая, сказали ему. Гулая уважали за суроность обращения и простоту происхождения, он был свой.

— Здорово придумано! — гулко отозвался подпоручик. Жёсткий взгляд его не сразу выдавал насмешку, бывает и задумаешься — что он? — Значит, комитет будет чисто фейерверкский? Правильно! Знание немалое. Сам император Пётр Великий дослужился только до бомбардир-ефрейтора.

— А что? — не понимали.

— А если канониры — свой комитет захотят?

— Так зачем же?.. Лучше нас рази рассудят?

— Мы везде бегаем-хлопочем, а править другие будут?

— Правильно! — ещё гулче захохотал Гулай.— Так и вы лучше офицеров не рассудите, а вот же выбирают! Не-ет, братцы, не миновать вам теперь толковать с номерами, с ездовыми, с ними вместе составить списки, кого намечаете,— а потом на общем собрании голосовать, да ещё запротоколировать.

— Запрото...?

— Что-т шибко долго, господин поручик, всех обходить да со всеми говорить. А коли на собрании схотят совсем других, а не нас?

— Ну что ж,— посмеивался Гулай,— они и будут. Это вам — демократия, а как вы думали?

Что-то им потом и капитан сказал, не одобрил, дело захрясло. Никого они не обходили, и собрания не созывали.

А создались комитеты иначе: приехали чужие неизвестные люди и стали проводить собрания — в дивизии, в Солигаличском и Окском полках, в артиллерийской бригаде — и везде выбирали комитеты. А сегодня с утра приехал и к ним в батарею какой-то молодой, белокожий, с рыхлой ряшкой, не нашего цвета сизая шинель новонадёванная, а на плечах отстежные хлястики из серебряной рогожки с малиновым просветом, вроде наших погонов, не разберёшь, кто ж он по чину, а по возрасту решили — прапорщик. Одно видать: по земле ему ползать не выпадало. А с ним — унтер из Окского полка, но тот в стороне держался, как провожатый. И вот на позиции близ орудий собрали всех номеров, всех разведчиков, всех ездовых, кроме дневальных при лошадях, и сколько-то из батарейного резерва. Помещения тут никакого нет, но стоял мягкий серый день без оттепели — и все расположились прямо на позиции за пушками, подмостясь кто охапкой хвороста, кто колодой, кто на пенёк, а те на хоботах орудий, на отсошниках, как и подпоручик Гулай. А ещё был тут, из деревни, колченогий шаткий столик и три табуретки, поставили и их.

Приехавший сразу занял главное среднее место за столом, и грамотного телефониста посадил рядом записывать,— а третья табуретка так никому и не понадобилась, её потом перенесли капитану, который подошёл с опозданием.

Чудной прапорщик заложил руку за борт шинели и чудно́ поклонился вправо и влево. (Солдаты оглядывались по за собой: кому это он поклоны бьёт?) Объявил, что сделает «внеочередной доклад по текущему моменту». (Вылупились.)

И — уверенно понёс, с удовольствием, смачно выговаривая и себя слушая. Чего-то мелькало: «вековой деспотизм... развратный проходимец Распутин вместе с царицей немкой правили Россией... Николая предупреждали, что народ ропщет, но он не слушался советов... на подвигах сотен борцов от декабристов до наших дней... звезда свободы... творчество солдатских масс...»

А дальше Гулай стал замечать у этого земгусара в терминологии признаки социологии и даже чуть не философии — и догадался: этот — из публики, отрепетированной в социал-демократических кружках, а то из тех провинциальных юных интеллигентов, какие читают гимназисткам лекции по философии, чтобы верней уложить по выбору в постель, в Харькове знал Гулай такого Межлаука.

Солдаты слушали смирно, хотя с глазами стеклянистыми. Прапорщик понёс и дальше — «история всех революций показывает... миражи оптимизма... преодолеть негативность организации» — вдруг кто-то из батарейцев сзади звучно приговорил:

— Зюньзя!

— и передался, перекатился смешок. Прапорщик не понял, не заметил, а солдаты стали шевелиться, доставать кисеты, скручивать газетные махорочные цыгарки. И задымило по всему расположению, а кто от дыма отмахивался — казалось: от докладчика.

А Зюньзя не заметил бесповоротного — и ещё разгорячался, уже и с жестами, да вольно было речь держать — ни обстрелу, ни ветру, ни снегу, ни холоду,— то ли ждал сопротивления от здешних офицеров, косо поглядывал в их сторону. Но унизительно было бы Косте Гулаю тратить свою превосходную философскую диалектику на этого мордатенького поросёнка.

Секретарь сидел над чистым листом, не понимая, что ему писать.

Капитан Клементьев и не смотрел на Зюньзю, а куда-то поверх стволов, будто обдумывал стрельбу. Несмотря на то, что он молод, в привычках у него что-то немолодое. Командира же батареи не было.

Наконец Зюньзя заметил, что его вовсе не слушают, и покинул свою фразеологию, стал подделываться под лубочный стиль, ища сочувствия в солдатских лицах: «совсем невтерпёж, невмоготу стало жить бедному люду... царские холопы... полиция грабила живого и мёртвого... начальство только и делало, что запрещало жить своим умом...»

Думали — все выборы будут двадцать минут, не рассчитали: время-то близилось к обеду. Народ забеспокоился, закашлялся, больше зашевелился. Наводчик 2-го орудия хозяйственный Прищенко не выдержал и высоко поднял руку, будь что будет.

Зюньзя заметил:

— Вам, товарищ, что? Отойти? Пожалуйста, разрешения не надо.

Прищенко слез с лафета, переминаясь:

— Да нет, господин прапорщик. Чего ж впорожную вола гонять? Вот-вот кухня приедет.

Зюньзя обиделся на грубость:
— Как же так, товарищи? Я вам — момент объяснял, а теперь должен объяснить о взаимоотношении с офицерами и о роли комитетов.
— Так вы, товарищ господин, и сказывали бы с конца, а то кухня приедет.
— Чего тары-бары размолачивать! — резким дерзким голосом закричал сзади Евграфов.— Давайте выборы!
Высокий страшноватый Хомутов высморкал на снег одну ноздрю, другую, обтёр нос рукавом шинели и с пучка хвороста угрозил:
— Немец молчить-молчить, а как бухнет раз-другой, тут нас всех и потрафит.
Улыбка презрения прошла по мясистеньким губам приезжего прапорщика. Он посмотрел на них светлыми глазами:
— Так как же мне, товарищи, с вами говорить? — и на беду опёрся о стол, а тот шатнулся, и секретарь подхватил прапорщика под локоть. И ещё менее уверенно: — Я — не знаю.
— Ну а не знаешь -- не берись! — резко опять крикнул Евграфов сзади.
Кто-то застыдился, смягчил:
— Господин прапорщик, да ты нас не слушай. Средь нас такого наскажут — на плечах не унесёшь и на возу не утянешь.
Загудели батарейцы: про что дело идёт? хотим знать.
У Зюньзи появилась в руках какая-то бумажка.
Но уже не слушали его, а запросили своего капитана:
— Ваш выбродь!.. То ись, господин капитан. Объяснить вы нам по-простому: о чём дело идёт?
Капитана Клементьева любили: имел он сочувствие к батарейцам, и никогда никого попусту не распекал.
Со своей манерой молча похаживать-посматривать, он и сейчас присмотрелся — встал — перешёл к столику ближе, но не касался его, и не искал положения рук, у привычного военного они всегда хорошо висят.
— Да что ж, ребята,— заговорил негромко, но всё было слышно.— Тут дело такое. Старый порядок — кончился. А нам — жить нужно.
И остановился. Да кажется, всё главное и сказал. Поняли.
Гулай подумал: и правда. Какой бы там космический аспект революция ни имела — а нам жить нужно.
— Вот и приходится новый порядок заводить,— так же сдержанно и печально объяснял капитан.— И новый порядок придумал, в помощь командиру и в нашу защиту,— батарейные комитеты. Вот нам и нужно в этот комитет выбрать трёх человек. И всё.
— Так это — ещё новое начальство будет? — закричали, смекнули сразу.— А фейерверкера на что?
Один телефонист громко крикнул за комитет. Ему:
— Заткнись, проволочная катушка!
Переругивались.
Приезжий прапорщик бесполезно стучал карандашиком по столу.
Капитан надумал ещё сказать. Замолчали.
— Батарейный комитет будет заведывать всеми батарейными делами, кроме боевого и строевого. Дел таких немало. Например, кому идти в наряд, на кухню или к лошадям. Кому обмундирование дать, кому не дать,— комитет и решит.
— Ого-о-о! — закричали.
— Не-е-е! Лучше нехай фельдфебель! Он приобычен, рука наторена.
— Не, вашескро... господин капитан! — кричали возмущённо.— Подпусти кого к обмундировке — так на себя напялит и ещё в запас возьмёт.
— А выбирайте таких, что не возьмут,— пожал плечами Клементьев и ушёл на свою табуретку.
Дело перешло опять к Зюньзе. А бумажка в его руках оказалась списком кандидатов — кто, когда, где успел её написать и ему подсунуть?
Прочёл старшего орудийного фейерверкера.
— Ничаво,— отозвался смиряющий голос.— Повертит тебя строго, но что требуется — отпустит.
— Да погрозится, что морду набьёт, коли чистым ходить не будешь.
Уж этот — разданал, ничего.
— Старший фейерверкер Теличенко.
— Энтот себе лучшенькое отложит!
— Возле воды ходить, да не замочиться?
— Пущай, ничего, подходящий.
Так так и выходил фейерверкский комитет, удивился Гулай. Не мытьём так катаньем.
Нет, третьим Зюньзя прочёл, не ведая, что это его обидчик:
— Бомбардир Прищенко.
Тот и сам не ожидал — вздрогнул.

Сразу несколько недовольных голосов:
— Ишь, гад, куда нацелил!
— У его штаны аль подштанники запроси, так он с тебя до пуза всё сымет, на солнце посветит, и ещё ругнёт — поноси.
— Так значит, не подходит? — спросил Зюньзя.
Но и спорить оказались ленивы — кого ещё искать? Да и досуга нет.
— Почему не подходит? Пущай и ён будет, как прыщ на ж...
Других мнений не было.
Прищенко сидел красный от волнения.
Чёрный длинный Хомутов вскочил, прислушался:
— А никак, ребята, кухня ходу даёт? Как раз своечасно!
— Так позвольте, товарищи,— уже неуверенно и брезгливо заявил Зюньзя.— Надо голосовать, сколько за, сколько против, надо в протокол...
— Да пиши, пиши энтих, что выкликнул!
С поворота дороги показалась и сама кухня с завёрнутым дымком.
Побежали за котелками.

627

Ушли в землянки офицеры. Разошлись по делам старшие фейерверкеры. Фельдфебеля и с утра на батарее не было. Ушли ездовые к себе на передки — а у номеров что-то не улягалось: расщекотили их, задели — и теперь не могли они сразу к старому смириться, а разгулялись: чего бы такое поделать?
А погода — тучная, мерклая, «пузырей» немец не подымает.
— Хоть бы пострелять, что ли? — кто-то вздохнул.
— Тю на тебя! — цыкнули,— оглузденел? Нам чичас немца никак затрагивать нельзя. Перекрестись, что он не трогает! Что тебе в боку застряло?
Стали вспоминать, когда последний раз стреляли,— да уж назад тому недели три? Да погодите, братцы, это не когда наш ероплан пузырь немецкий поджёг? (Повалил дым буроволчистый, и пожалели ребята наблюдателей, какие с пузыря в трубу глядели: люди они тож, а спалятся как мухи в таком огне. Да пущай, мол, и жарятся как вьюны на сковородке, на то война. Или вниз сигают. А как сиганёшь? — по верёнке? так промеж ног усё сдерёшь, бабе удовольствия останется немного. Так у них зонты огромадные сделаны, прыгать.)
Расходились ребята, как праздник неоконченный, лишь затравленный,— нет, что бы поделать? А ни в чём карахтеру не разгуляться. И кто-то тут и догадайся:
— Так, братцы, теперя комитет у нас есть — а зачем? Пущай не зря подмётки дерут. Пущай составляют список всякому довольствию, какое нам требовается.
— А чего требовается? — Евграфов передразнил. Он за эту неделю уже наметался, нанюхался: — Нам требовается — по домам. И всё тут!
— Как это — по домам? — строго окликнул пожилой прави́льный, и шрам его под глазом надулся, покраснел.— А Россию — чего? — прос...?
— Усю не заберуть! — отгукнули ему.— Нам чего-ни-то оставят!
— Это — так, братва. Нам — замирение требуется. И тут батарейный комитет не пособит.
— Замирение — не за первым холмом. А вот насчёт вещичек. Ведь обносились.
У Хомутова и локоть куфайки протёрт.
— Давай! Пусть комитет пишет, заготовляет. А на чо выбрали?
Однако и старший наводчик и старший телефонист ушли, да их потревожить нельзя, уважают.
А попался Прищенко, рожа рябоватая. Потянули его, потолкали: пиши! Да де ж писать? Да всё за тот же столик колченогий, пока с неба ни дождя ни крупы не сыплет. А на чём же писать? А от собрания листик чистый остался, иде он?
Нашли на снегу. По толстоте никому на курево не сгодился, однако смят.
— Ничего, поразгладим.
Прищенко от комитетского звания не отказался. Сел на табуретку и вывел химическим карандашом, вслух повторяя:
— Наши требования.
Номера обстали вокруг, обсели на табуретках и корточках, а кто стол ненароком качнёт — того в три глотки матом.
— Так, значит. Что пишем?
— Конешно, перво-наперво пиши обмундированию, верхнюю и сподиюю, шобы всю сменили на новую.
— А старо, чинено, шоб не сдавать, а нам про запас оставить.
— И как же ты всё это потаскаешь? В мешок не влезет.
— Обозу добавить.

— Не, ребята! Первое делу всему — обутка, без обутки нисколько не протопаешь. Пиши первое: выдать всем к весне новые сапоги.
— Не-к, во что, во что пиши: замест ватников — всем полушубки!
— Да на кой тебе к лешему полушубки, коли весна?
— А зачем котелок за спиной носим, смекни!
— Пиши, пиши! Так тебе незамедля и приставят по бумаге! Ещё хорошо, коли на другой год к Петру и Павлу отпустят.
— Так ты что, вошь гулящая, ещё к другому Петрову дню воевать хотишь?
— А что тебе здеся, так плохо?
— Чего хорошего: как начнёт садить с чижолой, так и подштанники для лёгкости скинешь.
Прищенко постучал карандашом об стол, на манер того прапорщика:
— Да вы всурьёз, а не лясы молоть!
— Мы и всурьёз. На запас, чтобы промаху не было.
— Да стола не трожьте, дьяволы.
— Что, правда, как пьяный шатается? Что на ём за писанье? А ну, неси молоток, подобьём.
— А его трогать не надо, писать и всё.
— Так шо дальше писать?
— Смазку для обуви!
— Табаку!
— Заусайловской крупки, на день — осьмушку на двоих.
— Не! Осьмушку — на одного.
— Верно. Они всё равно урежут.
Прищенко ждал, слушал, помусоливал карандаш языком. Губы и язык его олиловели.
А все кругом стояли-сидели, зарясь, задумывая, и наперебой выталкивали:
— Чтобы парикмахер стрить да брить приходил кажный день!
— Чтоб сапожник со струментом и товаром заседал тут, у нас.
— Чтоб кажную субботу баня, а мыло бы отпускалось фирмы Жукова, фунт на двоих.
— А може тебе земляничного отписать, чтоб от тебя не так смердело?
— Так с чеченицы у кого дух не выходит?
— Ну, помалкивай. Далей, далей, ребята.
— Курительной бумажки пачку на два дня! — только теперь про бумагу вспомнили, до того уж к газете привыкли.
— А може тебе ще бумажки для ж... записать? — упёрся Прищенко.
Засмеялись дружно:
— Такой не бывает!
— А что? В городах, в иных отхожих, специальная газетка резаная на гвоздик настручена, чтоб стенку пальцем не мазали. Небось, барышни её как следовает берут, а наши дорвутся — так с гвоздиком и выхватят, на цыгарки.
— Не, не,— упёрся Прищенко,— такого не подавайть, бумажки из запишу. С таким лыстом совестно будэ куды сунуться.
— Так — а каку офицеры свёртывают?
— Так ахвицеры — и по зубам мажуть, мало что!
— Во! И нам пиши: зубного матерьяла.
— Балу́йся, балуйся.
— Так вон, у Прищенки рот теперь весь синий, хоть песком шуруй, за неделю не ототрёшь. Пиши, пиши, Прищенко, ротяного!
Гоготали.
— В комитет попал — теперя посинеешь.
Прищенко достал из кармана серую тряпочку, стал тереть губы и рот.
— С вами, дьяволами, свяжись.
А карандаш химический за ухо положил.
— А карандаш-то — твой? Чего присвоил?
— А чей?
— Телченки. Дай, я ему отнесу.
— Не, ты карандашик возьми — да под списочком и распишись. И Теличенко пусть распишется. Весь комитет. И тогда несите.
— А куды несите?
— Ну, куды положено.
— Капитану.
— Ни при чём тут капитан.
— А тому прапорщику, что приезжал. А он дальше нехай двигает.
— А иде он теперь? Он не наш бригадный.
— Не, ты пойди, пойди, с капитаном посоветуйся.
Только начали расходиться — налетел фельдфебель Никита Максимыч, борода смоль, глаз огонь:
— Это что? Почему мебель расставлена? Дневальные, туды вашу растуды, что смотрите?
На формировке окладиста была его смоляная борода, на фронт выезжали — подкоротил, чтобы вша не села.
— Так собрание было, Никита Максимыч!
— Какое тебе собрание? Тут — батарея! Разноси мебель отсюдова, чтобы вмиг!
Уж знал, небось, про комитет, и обидно ему, что не его выбрали.
Выступил Евграфон, на городской манер:
— Господин фельдфебель! Пущай постоит. Если кому что потребуется записать.
— Ещё чего! — записать! А ну ж — обстрел? Сколько беды от щепья будет? Эй, дневальные, бери, говорят!
Подхватили дневальные стол, табуретки — и потащили прочь подале. Ну, и не в деревню же назад волокти.
Тем временем Прищенко со списком своим вернулся от капитана:
— Сказал: нигде такую не примут, дюже помятая.

628

А занозила Гучкова эта хитрость Керенского встречаться с его полковниками. На каком основании, для чего? Уж он и жалел, что вчера сблагородничал и разрешил. Сегодня хотелось ему узнать бы, как же эта встреча прошла? — но не у кого было: Ободовского он сегодня не видел, и полковники тоже все как исчезли: никто из них не появлялся доложить сам.
А тут среди дня Гучков узнал, что в предполагаемую правительственную поездку в Ставку, о которой уже столько разговоров, князь Львов сам не едет, но едут, кроме Милюкова, Шингарёва, ещё и Некрасов и — чуть ли не опять Керенский! Вот этим добавлением обожгло Гучкова как хлыстиком: ещё и в Ставку совался Керенский? Нет, это уже балаган! И ещё Некрасов? набрали хлама!
Собственно, вся эта поездка имела смысл в одном Гучкове: военный министр ехал знакомиться со своей Ставкой. Посмотреть их там своими глазами: насколько они искренно приняли переворот и примут реформы? Посмотреть и в глаза Алексееву и, если удастся, установить единство планов. Позже, для важности, добавили Львова и Милюкова,— а теперь вот как поворачивалось?
Первым движением было — звонить князю Львову и решительно протестовать против такой профанации. Но уже изведав князя Львова, Гучков знал, что это всё равно как боксировать с мягкой подушкой: никакого сопротивления не будет — и результата не будет.
И вторым движением, отталкиваясь ото всей этой пошлой компании, Гучков придумал: ехать от них отдельно, не завтра, а сегодня же вечером, опередить. Отделиться, свою миссию выполнить отдельно, явственно для всей Армии и всей России, а не как развлекательную прогулку.
И уже в первой половине дня отдал энергичные распоряжения: о подготовке поезда, и какие лица с ним поедут, от каких управлений и что готовить. Решил всех вчерашних наказать, оставить. Взять Туган-Барановского. А брать ли Поливанова? Желательно было бы взять как главного сотрудника по предстоящей великой реформе. Но с другой стороны, как бывший тоже военный министр, он рядом с Гучковым отчасти бы конкурировал, забирал бы слишком много значения себе. Да пожалуй и одиозно было бы среди ставочных появление этой слишком реформаторской фигуры. Не брать.
От быстрого изменения планов уплотнился и сегодняшний служебный день, на который и без того было намечено много — и ещё новое втискивалось.
Надо было съездить в заседание Адмиралтей-Совета и от этих дряхлых адмиралов принять присягу Временному правительству. Утвердить и морскую комиссию по ослаблению уставов — подобную поливановской сухопутной. Затем совещание с комиссаром Кронштадта Пепеляевым и подготовить, кого же назначить новым комендантом крепости вместо убитого Вирена: назначать приходилось не столько по вкусу министра, сколько по вкусу матросов, ибо могли и не стерпеть.
Пришлось больно капитулировать и перед Казанским Советом — не связываться из-за арестованного ими генерала Сандецкого, да ведь и известного реакционера, не шуметь, а выразить казанским советчикам благодарность за твёрдость, с какой они в Казани устранили старый порядок.
Не ощущая своей реальной власти, всё время делать вид, что ты ею обладаешь. Разрушительно для себя самого.
Тут же и докладывали, что Исполнительным Комитетом Совета в Петрограде арестован лучший гучковский агитатор полковник Плетнёв, объезжавший казармы с речами. Превозмутительно! — военный министр не мог послать своего оратора по казармам запасных полков! И — освободить его сам не мог?! Теперь нужно было просить у Исполни-

тельного Комитета? Противно. Действовать через министерство юстиции? — опять же Керенский.

Тут — снова какая-то депутация автомобильно-технической части в кожаных куртках. А подошёл к кипе подложенных телеграмм и писем — и очень неприятное попалось от 10 финляндского артиллерийского дивизиона. Спрашивали: развал армии с согласия военного министра — это что, глупость или измена? Какое глубокое непонимание! — да и как понять со стороны? Какое невежественное применение милюковских слов! — к н а м?

А что вот было делать с его собственными военно-промышленными комитетами, которыми он так гордился и развивал их до последней натуги, до последнего дня,— а сейчас, с высокого министерского капитанского мостика, видел, что все эти налепленные добавления сильно кренят правительственный корабль. Е м у никак невозможно было зачеркнуть эту всю общественно-оборонную деятельность. Но теперь он испытывал желание крепко подчинить её министерству. (Как никогда б они не дались при царе.)

День клонился к вечеру, и надо было спешить кончать министерские дела и к поезду. (Подушке Львову сообщить в последний момент, не советуясь.) К счастью, состояние Гучкова было куда лучше, чем к рижской поездке,— и тоже в момент из последних он позвонил из домина Маше, что уезжает на пару дней. (Она замялась — и не сказала: «Возьми меня.»)

629

Кто когда-нибудь поработал с князем Георгием Евгеньевичем — называл его «разрядником электричества». Он не только не был никогда ни с кем резок — кроме царского правительства и его последние месяцы, оно не заслуживало лучшего,— но он исключительно умел и сам примиряться с врагами и всех между собою примирять. Он знал это высокое доброе искусство,— с любым человеком поговорить, пошутить — и собеседник будет нашим. Он кого угодно мог обворожить и склонить на свою сторону. Он умел начальствовать обходительно, безо всякого начальственного тона, вносить мир и успокоение в сердца сотрудников. И в конечном счёте правильно оказалось, что его избрали главой правительства: он всех их возьмёт и спаяет своим миролюбием. Даже было непонятно ему: откуда именно в революционные дни взялось в людях ожесточение? что случилось со всеми? Ну, раньше враждовали с несговорчивой старой властью, но теперь она ушла — и почему же всем не договориться между собой по-хорошему? Даже худой мир всегда лучше доброй ссоры, практические соображения всегда выше. Зачем эта вечная во всём политика? зачем эти партийные страсти?

Особенно щемил князю сердце этот постоянный, почти грубый нажим со стороны Исполнительного Комитета. Так нужно было несколько тихих дней для тайных переговоров с Англией о судьбе царя, уже бы его и отправили, может быть, и всем легче,— но едва Временное правительство потянуло с разъяснением — как Совет стал стучать кулаком и даже издал свой отдельный приказ о задержании царя. Так же грубо и не слушая возражений, Исполнительный Комитет настоял созывать Учредительное Собрание в Петрограде — хотя слитное чувство многих ясно подсказывало, что сердце России — Москва, вековая собирательница духовных проявлений и чаяний народа, конечно должна быть и местом Учредительного Собрания. Но князь Львов, хотя и лично многим обязанный Москве, сразу уступил Совету, чтоб не создавать напряжённых отношений. Только противление вызывает зло.

Да и с Советом всё разрядится, надо лишь миролюбиво с ними разговаривать. Откуда они? — они тоже из народа, и не могут нас не понять. Почему князь Львов и одобрял Контактную комиссию: только лично встречаясь, мы их и сможем убедить, надо смотреть друг другу в глаза.

В такой ситуации князь Львов опасался, чтобы вдруг не порвал с правительством, не ушёл единственный здесь представитель революционеров Керенский. С ним — князь был особенно ласков и уступчив. Да он и замечательный был человек: как никто из министров, он умел ярко действовать на воображение масс и скорее мог подвигнуть их к чуду, чем Милюков своими скучными умственными выкладками. У Керенского обнаруживал князь и созвучную себе веру в русский народ — и очень склонился к его замечательной, ещё пока тайной, одному князю открытой идее: дипломатическими уговорами убедить союзников, что России в теперешних обстоятельствах лучше бы выйти из войны. Как бы это было замечательно, если бы мирно, по-хорошему всё уладить!

Да в Манифесте Совета Рабочих Депутатов и был этот возвышенный порыв к мессианской роли России — всех примирить!

О, дожил князь до счастливых дней, когда можно творить светлую жизнь совместно с народом!

Не надо дёргаться, не надо всё время соваться с нашими надуманными интеллигентскими решениями,— надо дать свободно течь великой мудрости народной.

И твёрдо держаться и дальше принципа: мы не смеем влиять на население иначе как нравственно. Никаких приказов. Никакого насилия.

Среди множества народных приветствий, всё притекающих в канцелярию правительства, уже появлялись радующие сердце приветствия волостных сходов. Деревня поддерживала революцию, она уже всё поняла, какое счастье! Крайне изумляли князя приходящие от некоторых земских управ просьбы о присылке войск для поддержания порядка. По министерству внутренних дел князь велел отвечать: не подлежит Петрограду, улаживайте сами на месте.

Да Боже, да в любое место такого крестьянского волнения если б он мог поехать сам — он бы в пять минут всё уладил!

Удивляли князя и комиссары, разосланные по разным местам России: они запрашивали оттуда, а некоторые даже мчались назад в Петроград: как быть? невозможно организовать на местах власть! губернаторы все сменены в один день, начальники земских управ не справляются, повсюду множество комитетов, они друг друга не слушают!.. О, слабые неумелые неугомонные люди! Вы, комиссары, и не посланы для управления, вы только и посланы для связи с центральной властью. И зачем же вам непременно — казённое нисылаемое единообразие? Губернаторов? Если нужно — на местах и выберут. Это замечательно, что так много создалось местных демократических комитетов. Везде мудрость народная сотворит наилучшие жизненные формы, всё уляжется. Только нигде не надо доводить до скандалов, надо сговариваться раньше.

Более того, князь готовил на днях ликвидацию и всех градоначальств по всей России: они состоят из людей старого режима, и уже нетерпимы. Пусть и полицию каждый город устраивает на свой ум. И земские начальники тоже естественно заменятся какими-нибудь ещё земскими комиссарами.

Да вот нельзя было далее тянуть и с отменой смертной казни — уже громко раздавались укорчивые голоса. (И Набоков жаждал тоже подписаться под отменой казни, поскольку он более других для этого сделал в прежние годы.)

И амнистию уголовным нельзя было откладывать далее, но всех тюрьмах волновались, и были мятежи.

А в самом Мариинском дворце сидел арестованный генерал Мрозовский — и не знали, что с ним делать. А из Киева срочно телеграфно запрашивали: как быть с арестованным генералом Ивановым? Ну что ж, доставьте его в Петроград, тут произведётся всестороннее расследование.

Да не перечесть запросов и теребящих телеграмм, какими осаждали князя Львова с утра до вечера. И беспрерывно звали к телефону. А ещё ж прорывались депутации, не всем откажешь,— а желала выразить каждая всего лишь полную поддержку Временному правительству.

Возникали самые неожиданные проблемы. То общественные организации, которые до сей поры только и выволакивали на себе воюющую Россию, как собственный князя Львова Земгор, теперь начинали выглядеть как лишние дублирующие создания, мешающие деятельности министров. И Особых совещаний по сырью, по топливу, по металлам, по перевозкам существовало так уже много, что, находил Коновалов, надо добавить ещё два новых Особых совещания, дабы координировать деятельность прежних. А всё равно: воззвание к рабочим Донецкого бассейна об увеличении работы (и ограничить Пасху тремя днями) должно было издавать правительство и комиссаров туда посылать — оно же. И металлургия была в тревожном состоянии. И подпирал вопрос о неизбежности государственной нефтяной монополии. И нельзя было до Учредительного Собрания откладывать рабочего законодательства, свободы профсоюзов, права стачек. Тем временем бастовали в некоторых местах казённых железных дорог, сменяли начальников, а подвижной состав не ремонтируется,— и надо было, настаивал Некрасов, скорее вводить 8-часовой день и увеличивать заработки. Но заработков требовали все — и надо было объявлять Заём Свободы, о чём опять-таки требовалось воззвание правительства. А Киев требовал преподавания на украинском языке. А Мануйлов заговаривал о реформе высшего образования в Империи и ликвидации системы народных училищ. А ещё первее всего надо было отменить национально-вероисповедные ограничения в Империи.

Да помилосердствуйте, господа! В каких головах это всё может поместиться — и в каком числе заседаний быть обсуждено, мирно и без скандалов?

А скандал едва не получился в правительстве по неожиданному поводу: кто поедет в Ставку? Давно намечалась такая поездка: уж Ставка ли была для правительства не самым главным местом во время ведения Великой войны? Для личного знакомства с ходом дел натурально было ехать премьер-министру, военному министру и министру иностранных дел, поскольку там состояли представители союзников. Чтобы решить острейшие проблемы снабжения армии продовольствием — неизбежно было ехать и Шингарёву. В таком составе и решили ехать,— но тут Некрасов стал резко настаивать, что эта поездка не может состояться без него, иначе он не гарантирует работы прифронтовых железных дорог. Чтобы не было скандала — князь ему уступил. Но тут заявил и Керенский, что ему абсолютно необходимо ехать в Ставку для личного знакомства с Алексеевым и всем шта-

том, для составления общей политической картины,— и уж кому-кому, но Керенскому Львов никак не мог отказать! Но — и не могло же всё правительство в полном составе ехать в Ставку! Так пришлось отказаться от поездки князю Львову самому. Странно будет выглядеть такая поездка без премьер-министра, но и неприлично же никому не остаться в Петрограде.

Сегодня, пока не разъехались, устроили два заседания правительства — ранневечернее и поздневечернее.

Ещё то огорчало князя, что заседаниями правительства иные министры стали манкировать: опаздывали или на самих заседаниях явно дремали, всю страсть приберегая к столкновениям на закрытых заседаниях, ночных. (А и закрытыми заседаниями не следовало злоупотреблять: уже раздавались упречные общественные голоса, что Временное правительство действует в обстановке тайны.)

И ещё одна особенность формальных заседаний: так много подсовывается бумаг с мелкими вопросами — что невольно их оглашаешь, и так мозги министров долго не достигнуются до главных вопросов, хотя все понимают, что надо решать именно главные.

Сам же князь и вынужден начать заседание с вопроса о воздвижении в Петрограде памятника павшим в борьбе за свободу. (Хотят сделать выше Александрова столпа.) Постановили: немедленно объявить конкурс на памятник.

А Шингарёа, хотя необъятные вопросы налегали, не мог не объявить о пожертвованиях, поступивших через него, в том числе золотая цепочка, которая будет сдана в банк. (Его голос дрогнул, когда он сообщил об этой наивной жертве.)

Эта цепочка подала повод правительству учредить Фонд Национальной Обороны.

А Милюков возбудил вопрос о наградах по дипломатической службе, подписанных до дня революции: как будто нет оснований отменить их и не обнародовать? Зачем обижать ожидающих чиновников?

А может быть, правильнее награждать орденами только за боевые действия?

По министерству внутренних дел был вопрос: брать ли на себя утверждение выборных предводителей дворянства. Обсудив, решили: правительству — уклониться, предоставить предводителям выполнять обязанности, а там пусть разъяснится обстановка сама.

Ещё: приостановить всякое производство в чины по гражданскому ведомству. (До выяснения контуров нового строя.) Но этого— не следует обнародовать, лишь сообщить к руководству.

О процентной прибавке чинам почтово-телеграфного ведомства. Отпустить полмиллиона рублей.

Им же — на выдачу пасхальных подарков. Ещё полмиллиона.

Мануйлов: можно ли и всем министрам завести свои бюро для осведомления печати, как завёл Керенский?

Решили, что можно.

Управделами спрашивал: распечатывать ли все акты Временного правительства? А за счёт чего? Отпустить 100 тысяч.

Во всей этой мелкой череде первенствующе важно, как держит себя князь. Он-то не должен допустить скуку ни на лице, ни в голосе. Он-то должен с неизменной внимательной и свежей улыбкой осматривать и опрашивать желающих высказаться и видом своим передавать всем бодрость и надежду.

Прекратить празднование царских дней. Взамен того обсудить установление празднования событий государственного значения.

Ещё такой вопрос: петроградская городская дума, не получив разрешения занять Зимний дворец, теперь настаивает проводить свои общие заседания в Мариинском. Но хорошо ли их сюда пустить? — Нет, господа, тут от них жизни не будет.— Но в какой форме отказать, ведь неудобно?.. Придумали: ведь тут ещё возобновит заседания Государственный Совет!

Доктора римского права Давида Давидовича Гримма по совместительству с товарищем министра просвещения желательно бы поставить также и комиссаром над Государственной Канцелярией. Назначить.

Иногда бывает на заседаниях и так, что уже, кажется, решённый и отодвинутый вопрос снова возвращается и врезается: вот, несколько дней назад, решено помиловать всех киргизов, замешанных в прошлогодних волнениях, и возместить им убытки. Теперь телеграмма туркестанского генерал-губернатора напоминала, что в тех волнениях понесли убытки также и русские. Как, и русские? Ну, так распространить.

Глубже в вечер и в ночь уже больше министров собралось, и внимание стягивается острее на вопросах главных.

Окончательно решено все удельные имущества признать национальной собственностью и не платить никаких компенсаций членам императорского дома.

Милюков докладывает исправленный манифест о независимости Польши. Не заметили, что ж он там исправил,— приняли. С плеч.

Ещё Милюков получает согласие правительства признать не подлежащими оглашению все сведения о конференции союзников в минувшем январе.

А теперь — вопрос... вопрос... К нему примерялись уже на закрытых заседаниях и в частных беседах, но его неизбежно внести в протокол,— о казённых окладах самих министров.

Не осталось дремоты, несмотря на поздний час. Все внимательны, но сдержанны.

Так как в частных беседах этот вопрос достаточно выяснен, и министр финансов подготовил все нужные справки, то теперь, мановением доброго князя, решение проходит вполне тактично: сперва утверждают товарищам министра — по 12 тысяч в год, а затем министрам, естественно, на ступеньку выше — по 15 тысяч плюс ещё по 4 тысячи квартирных, кто не занял казённых квартир.

А ещё вдобавок — издержки на представительство. У министра-председателя, военных дел и иностранных это составит ещё по 12 тысяч в год. И остальным — по 6 тысяч.

Всё так, возражений не последовало.

Только вот замечание, небольшое замечание. Его делает сам князь, понимая деликатность. Протоколы наших заседаний все публикуются наряду со всеми великодушными и даже великими актами нашего правительства.

— ...но именно это постановление разумней было бы не публиковать во всеобщее сведение. Оно может быть криво истолковано, не к поре прийтись...

Благоразумно. И постановили так.

Миновали неловкость, помогая друг другу.

И так бы на светлой ноте могло кончиться заседание, если бы Набоков не достал из своей папки ещё новую бумагу и не объявил: что Исполнительный Комитет Петроградского Совета Рабочих Депутатов вторично настаивает ассигновать из государственного казначейства на организационно-политическую работу — 10 миллионов рублей!

Знал, помнил князь,— но всё равно забыл, и теперь изумился, как бомбой по груди рвануло.

И — все. Шатнулись даже.

Десять миллионов?.. На политическую работу?

Вот это — новые отношения. Вот это — только начни платить.

Да нет, не в десяти миллионах дело, а дело в обиде: зачем же так нехорошо и так даже дерзко?

— Скажите, господа, а кто их вообще в ы б р а л?

(А — нас?..)

Смолчали.

Значит, мало встречаемся. Мало в глаза друг другу смотрим. Упустил князь Георгий Евгеньевич.

И — что же делать? Начать давать? — невозможно.

— В наших с ними условиях насчёт выплаты денег — ничего не было,— твёрдо заявил Милюков.

По нему — хоть бы и отказать, не его будет отказ.

Но — как можно отказать?..

Но — как можно дать?..

Ай, какая неприятность, какая?..

И — Керенский в отъезде, нельзя с ним посоветоваться.

— Вот что... Вот что, господа... Давайте запишем: передать на добавочное заключение министру финансов... И так выиграем время.

Гладкое молодое лицо Терещенки сильно сморщилось.

* * *

КРОЙ ДА ПЕСНИ ПОЙ —
ШИТЬ СТАНЕШЬ, НАПЛАЧЕШЬСЯ

* * *

630

Поездкою в корпуса Воротынцев убедился, что время утекает невозвратимо, всё разваливается от каждого упущенного дня.

И — что же намерен Лечицкий? Вот это хотел бы Воротынцев успеть узнать до его отъезда на Западный фронт?

Прошлой осенью в штабе Девятой при разборе одной операции Платон Алексеевич сказал: «Сражение потеряно только тогда, когда главный начальник придёт к этому убеждению. Не раньше.»

Но не застал Воротынцев в армейском штабе никакой суеты. Ни о каком отъезде генерала Лечицкого не говорилось. Странно.

Днём Воротынцев был у командующего с докладом о своей поездке. Тут-то он и надеялся обратиться с прямым вопросом. Но присутствовали другие. Лечицкий переходил к следующим делам. Не удалось.

Лечицкий был не из столичных лощёных генералов и никогда не пользовался никакими протекциями. Сын сельского священника, всю службу он прошёл на строевых должностях и с самых низов. Кончал даже не военное училище, а дореформенное юнкерское, выпускавшее подпрапорщиков, то есть старших унтеров, только через год они становились офицерами. И потом 22 года прослужил в захолустных сибирских линейных батальонах, у дальних границ, откуда никто никогда не возвысился. Дослужился до капитана, и на этом кончилась бы его карьера, если бы не японская война. В ней он получил один из сибирских полков, с тем полком — георгиевское знамя, и сам стал генерал-майором. Нет — генерал-солдатом. Все вокруг терпели поражения, а он побеждал. В то время Государь так полюбил его, что сразу после войны зачислил в свиту Его Величества и даже,— не гвардейца, не генштабиста,— назначил командовать в Петербурге 1-й гвардейской дивизией — знаменитыми Преображенским, Семёновским, Измайловским и Егерским полками. Гвардия восприняла как пощёчину, однако Лечицкий тактично вёл себя и за год передал гвардии военный опыт, которого у неё не было. В начале этой войны он формировал 9-ю армию, предназначенную для удара на Познань и Берлин, но от первых неудач был брошен вызволять Люблин, потом Ивангород, потом задвинут на крайний левый фланг. Тут, между Серетом и Стрыпом (как раз тогда и попал в 9-ю армию полк Воротынцева), при конце нашего великого общего отступления 1915 года, Лечицкий сумел единственный тогда наступать, взяли 35 тысяч пленных и могли ринуться в развалённые тылы противника, просил Лечицкий у Иванова миллион ружейных патронов — тот не дал, нету! А Государь как будто переменился к Лечицкому, за весь этот прорыв дал ему, не в уровень заслуг, всего лишь Белого Орла, какого имели и начальники дивизий, пожалел Георгия 2-й степени,— или так докладывал Янушкевич? (Последовала другая необычная награда: отцу-священнику — орден Владимира за подвиги сына.) В том сентябре собирались дать Лечицкому Румынский фронт — да не владеет французским языком, а надо же разговаривать с румынским королём.

Воротынцева Лечицкий заметил ещё на Стрыпе, отмечал его и в зимних боях под Черновицами, и награждал за июньское наступление к Кымполунгу. Он вот как разбирается в подчинённых: в майский прорыв 1916 всю артподготовку армии, в обход нескольких артиллерийских генералов, поручил простому командиру батареи подполковнику Кирею, выглядженному им,— и тот обеспечил в несколько часов взятие трёх линий обороны, когда на остальном брусиловском фронте грохотали сутки зря.

Для Воротынцева Лечицкий был генерал в высшем понимании — столько подлинного опыта скопилось в нём. У него есть дар и выше: не окружающим только штабным офицерам, не главным только начальникам, а всем своим войскам внушить волю к победе и уверенность в ней. Но никогда не требует выше солдатских возможностей. («Солдат без подошв — не солдат.»)

С каким же замыслом, с каким намерением он едет принимать Западный фронт? (И если бы взял с собой! Он бы не пожалел!)

А на приёме злополучной присяги при штабе армии держал речь, как все теперь: что старое правительство принесло много вреда России, и звал помолиться о силе и здоровьи Временного. Но — и куда ж ему деться? Хоть не даёт рекламных интервью, как Рузский (В утро приёма присяги Воротынцев кончил ночное дежурство — и, по праву, просто скрылся спать. С отвращением. Конечно, красивого нет. Но публично отказаться, как граф Келлер,— это уход из армии. Как ни унизительно — схитрил. Да надолго ли скрылся? — ещё приступят. А может не дочтут.)

Как раз и сегодня на ночь Воротынцев заступал дежурить по армейскому штабу. И искал и нашёл повод — не слишком пустую телеграмму — войти к старику в кабинет уже настолько поздно, что никого не будет, но чтоб он ещё не спал.

И доложил через адъютанта в половине первого.

Платон Алексеевич принял. Сидел в кабинете один.

Он был ослепительно белый — выседевший до яркого бела: длинные белые сверкающие усы, тем более рельефные, что остальное лицо гладко брито, и вся голова в мелком белоседом засеве, и брови тоже белые.

Устало читал бумаги, но несмотря на поздний час, одиночество и усталость — стоячий воротник его кителя был застёгнут как среди дня. А китель был домашний — безо всех его многих орденов, и даже Георгиев, одни потемневшие аксельбанты.

Выражение его было устоявшееся печальное: совсем не ждал никакой радости, ни сейчас вот в подаваемом, ничто не могло его прорезать.

Прочёл телеграмму, выслушал пояснение, распорядился.

И опять, но без тяги живой, а как в понуре, наклонял голову в бумаги.

— Ваше высокопревосходительство,— поспешил вставить Воротынцев.— Днём я не имел времени после доклада о поездке представить вам ещё некоторые соображения. Я понимаю, что Девятая армия в подробностях вас уже не касается. Но я думаю, что и на Западном фронте творится то же, если не хуже,— там ведь ближе к Петрограду.

Платон Алексеевич как медленно опускал голову — так медленно приподнял опять. Смотрел на Воротынцева печально-опустевшими глазами. Соображал? Тихо высказал:

— Я... не приму Западный фронт.

— Как? — изумился Воротынцев.— Назначенье отменено? Оно широко распечатано.

Смотрел на Воротынцева — а думал о другом:

— Я — отказался категорически.

Во-от что! Воротынцев не смел подробнее спрашивать, но всем видом так хотел знать!

И Лечицкий:

— Не время сейчас возвышаться.

Это надо было — на лету перехватить в высоте. Не время? Да, конечно, не время, когда разваливается,— но и по тому же самому — время!

— Но, ваше высокопревосходительство! Если вам дают фронт именно в этих днях — то, значит, относительно вас в Петрограде лучшие надежды...

Лечицкий чуть подвинул голову:

— Относительно меня — может быть. Но должен я охватывать всю обстановку. Если интендантско-думские генералы будут у меня снимать командиров корпусов и начальников дивизий... Какая *от них* может быть реформа? Если все преобразования проводятся, не спрося командующих и под давлением некомпетентных кругов. А Гучков — вообще отдался Совету депутатов?

Посмотрел ли он, напротив, чересчур внимательно — Воротынцеву почудилось, что командующий испытывает его. Ведь знал же он о его прошлой близости к этой компании.

И Воротынцев — за эти дни не первый раз — почувствовал краску, через шею к щекам. Тотчас он должен был объяснить, чтоб его не путали с ними? Но не находил формы и фразы.

На открытом круглом лбу Лечицкого, уходящем в белый посев седины, даже и морщина не вскатывалась,— но какая обременённость была в глазах, и в тоне, и в сути:

— Не они только. Всё равно, при этих обстоятельстаах невозможно командовать. Когда у меня под рукой будут арестовывать начальников и офицеров — а я не могу этого остановить. А все начальники тем более подорваны нравственно и могут не справиться с неповиновением. И во всех частях бушуют или вот забушуют комитеты. А при штабе армии разврат идёт ещё быстрей, чем в корпусах. У нас пока ничего, а вон, генерал Рогоза передал, что ждёт — не арестуют ли его в самом штабе. Но главное: Ставка выпустила из рук всякое управление. Читать их беспросветные информирующие телеграммы — вы не представляете, одно отчаяние. И правительство — дезорганизовано и бессильно. Под кем же служить? Нет... нет...— Платон Алексеевич вздохнул над безрадостным столом.— Кто требует исполнения долга неуклонно — тот готовься из армии уходить.

Вот так так!.. Сражение потеряно только тогда, когда главный начальник...

Метил Воротынцев шагнуть под сильную руку, в боевой ряд,— а ряда не оказалось. Если лучший командующий армией отказывается от борьбы... Обстановку он видел несмягчённо, но вывод был чересчур беспощаден.

— Но, ваше высокопревосходительство! Но если и вы... То — кто же тогда?

Только вот теперь она и объяснилась, та печаль до пустоты, которая поразила Воротынцева при начале:

— А много мог сделать наш генерал Сахаров в решающий день отречения? Побрюзжал — и уступил. Ловко подгадали с переворотом: старых офицеров мало даже в гвардии, а в армии почти не осталось. У молодых — совсем иной дух. И вот разрушается всё, на чём армия стояла. Армия — погибает. И руководить событиями — уже нельзя.

Смотрел неподвижно. А стал он сух лицом и пробелён — как бы до святости. В нём как будто очищалось не полководческое его, а наследственное священское.

Но вот с этим, с этим — Воротынцев никак не хотел смириться! Если отказаться руководить событиями — то как быть офицером? Зачем?!

— А — война? Как же тогда пойдёт война?

Командующий медленно, сокрушённо кивнул, кивнул головой:

— Войны — скоро не будет, полковник.

Не будет? Да это бы отлично! Да как к этому дойти?!

— Война? — вы сами видите, из чего ж ей быть?.. Конечно, если б я был моложе — я должен бы искать путей. Но при моём возрасте — в э т о м всём я не могу участвовать. Не могу насмеяться над всей своей жизнью.

В *его* возрасте! (Да и не в таком уж возрасте.) Но как быть тем, кого э т о застигло в расцвете?

Заволновавшись, опасаясь не убедить, и забывши границы, командующий не спрашивал его,— Воротынцев, всё так же стоя навытяжку, лишь руки посвободней:

— Да, ваше высокопревосходительство! Может быть, ни одному поколению русских офицеров не приходилось ломать головы над такой задачей! Но она свалилась — и прихо-

дится ломать. Как можно, боя не начинав, признать положение безвыходным? Не может быть, чтоб не нашлось средств,— только как бы их увидеть? Эти настроения в армии могут переломиться, как и появились. Может быть, Ставка — одёрнет Совет депутатов? Ведь армия же вся за Ставку!

Пронеслось, в возраженье себе самому: но Лечицкий — не Ставка и даже, вот, не Главнокомандующий фронтом. Значит — ещё один рапорт Сахарову, телеграмма в Яссы: исключите чужие вмешательства в военное управление? И пусть беспокоятся старшие по должности? Что, правда, делать?

Глубоко и слышно вздохнул генерал Лечицкий, ничуть не изменясь лицом на горячий всплеск Воротынцева:

— А я же — не ухожу. Я остаюсь, пока меня не уволят. Хотя скоро уволят. Потому что ни я их не буду терпеть, ни они меня. Но вы понимаете военную жизнь: теперь всё будет только ссовываться и падать. Ошибкой было бы думать, что с революцией можно повести игру и её перехитрить.

Не много было Воротынцеву отпущено тут беседовать, но вся неповторимость и вся неразрешимость жгуче поднялась к горлу. Погибала армия? Может быть. Погублена война? Может быть.

— Но, ваше высокопревосходительство,— с открытым волнением спросил: — Что же будет с Россией? Россия же! — не может погибнуть??

Лицо Лечицкого было неподвижно, а выдал, шевельнулся рельефный ус:

— Может быть... Может быть, и не сумеем мы... Передать потомкам Россию, унаследованную от отцов.

В эту ночь, пользуясь своим дежурством, Воротынцев по незанятому аппарату юза послал через штаб фронта в Ставку личную телеграмму Свечину, в условных выражениях: возьми в Ставку теперь же на любую должность.

Сейчас, при массовых перемещениях, такая возможность у Свечина, может быть, есть.

СЕМНАДЦАТОЕ МАРТА

ПЯТНИЦА

631

«Милый мой, дорогой, милый самый!

Если Вы не остановите — я не могу теперь не писать Вам вослед. Меня, значит, нельзя допускать близко так: уже полученного — мало, хочу больше! Как далеко я зайду в своём счастьи? Может и справедливо — наказать меня разлукой, так слишком много одной — не полагается?

Я — осмелела от близости с Вами.

И как Вы назвали меня — Зоренькой.

У меня глаза светятся — когда о Вас. У меня все мысли тёплые, когда о Вас. Я — добрая, когда о Вас.

Я — Ваша сегодня. Вчера. И позавчера. И прежде Вас — я тоже была Ваша.

Только — Вас, и никого никогда больше!

Я вчера утром вернулась — и долго не снимала платья, в котором была у Вас, синеалого, как Вы его назвали. Вы меня обнимали в нём, мне хотелось его оставить дольше, дольше,— я будто тем удерживала Вас около.

Вы сказали — *будет* — так будет. Спасибо! И я — хочу! хочу теперь!

Что бы Вам ни было нужно от меня — я счастлива буду Вам дать. Может быть, когда-нибудь я понадоблюсь Вам для чего-то большего, чем была в эти дни.

Вся Ваша
Зоренька

Но — не вечерняя же?..»

632

В мире выковалась Новая Женщина — с новым психологическим складом, с новыми запросами, новыми эмоциями, самостоятельная, внутренне-свободная женщина, с самоценным внутренним миром, живущая интересами общечеловека. Это — самодеятельная

женщина, дающая тон жизни, определяющая образ, характерный для нашей эпохи. Она перестаёт быть простым отражением мужчины, и мужчина любит её за смелый полёт, за самобытность духа. Это уже не «чистые» девушки, роман которых обрывался с благополучным замужеством, это не жёны, страдающие от измены мужа, это — не прежние ревнивые самки, они сами уходят хоть от мужа, хоть от любовника, даже и став матерями. Они резко отмежёвываются от женщин прошлого, по-иному воспринимают мир, по-иному реагируют. В их нелицемерных переживаниях сокрыта этика более совершенная, чем пассивная добродетель пушкинской Татьяны, трусливая мораль тургеневской Лизы или, уж конечно, самочки Наташи Ростовой.

А между тем большая литература всё ещё рисует нам женщину былого. С тугой повязкой на глазах шагают беллетристы мимо новой женщины, не в силах её вобрать. Они всё выводят — обманутых, покинутых, слабых созданий, мстительных жён, очаровательных хищниц или бесцветных милых девушек,— женщину прошлого с её ревностью — основой всех её трагедий, подозрительностью, нелепой бабьей местью, жизнью, сведенной к любовным переживаниям, даже материнством как суррогатом счастья. Много веков достоинства литературных героинь измерялись не гордыми душевными качествами, а запасом плоских женских половых добродетелей и особенно — сексуальной чистоты, воспитанной на почитании непорочной мадонны,— и за нею прятались все эмоции (хотя, в противовес лицемерно навязываемой морали, у женщины физиология играет несравненно большую роль, чем у мужчины). Всё описывают нам прежнюю женщину, воспитанную в пассивности, покорности, податливости,— она жалась к пылающему семейному очагу, незатейливым семейным радостям, мирилась со снисходительностью мужчины к себе и искала его привычную ласку. Даже самые крупные писатели XIX века не ощутили надобности заменить чарующую женственность своих героинь свойствами грядущей женщины. Даже в собственной среде они не заметили такую яркую провозвестницу нового женского типа, как Жорж Занд — великолепную яркую, обаятельную индивидуальность, выпрямленную во весь рост своей личности, завоевавшую право уйти от «законного» мужа к свободно избранному любовнику. (Но Бебель справедливо спрашивает: почему такие требования могут выставлять только «великие» души? а — «не великие»?..)

Бунт — вот типичное свойство новых героинь! Бунт против предписаний однобокой сексуальной морали! Бунт против любовного плена! Новая героиня постоянно борется со своей склонностью стать тенью мужа, его резонатором, отказаться от себя, раствориться в любви, ассимилироваться с человеком, которого судьба выбрала ей во «властелины». Новая женщина не испытывает банкротства, когда мужчина отнимает вносимую долю. Новая женщина не только не боится самостоятельности, но дорожит ею, по мере того как её интересы всё шире выходят за пределы. Так же и новая девушка, когда налетает любовь, когда женское естество предъявляет свои права,— без былого сентиментального ужаса переступает запретный порог. В поисках идеала она будет брести ощупью, терзая своё сердце об острые колья житейских разочарований.

На эту новую дорогу многие женщины вступают с трудом, нехотя, перебиваемые атавистическими чувствами женского долготерпения, самоотверженности, бредут даже с тоской, всё лелея мечту о примитивном семейном очаге. Однако своей переоценкой моральных и половых норм новые женщины колеблют незыблемость устоев в душе и тех женщин, которые ещё не вступили на тернистый путь. Новые героини своей критикой заражают и умы современниц.

Увы, эти новые героини выпархивают, вытекают лишь из-под второстепенных перьев. Минувшие месяца в Христиании Александра Михайловна проглатывала многие-многие, если не все, новые западные романы на эту тему. Она сочувственно, сострастно брела вместе со всеми этими Йенни, Кристами, Майями, Йозефами, Рикардами, Ренатами, Матильдами по их обжигательно неизведанному пути, разделяя с их душами их колеблемое состояние *im Werden* — и обдумывая, и учась, и научась многому. (И сама стала писать сексуальные рассказы, переживая на себе эти многочисленные сюжеты, которые невозможно реально успеть пережить в жизни. Жаль только, что в мире, захваченном войной, сейчас эти рассказы не могли найти публики.)

Да кто из нас, женщин, не перестрадал втайне все эти проблемы? — но по въевшемуся в нас лицемерию мы всё ещё поклоняемся мёртвому идолу обязательной морали. А она тем временем ведёт человечество по пути неуклонного вырождения, со своим кодексом нерасторжимого моногамного брака и институтом проституции, ибо не выполняет двух главных целей: наилучшего воспроизведения потомства и психического утончения человека в любви. Начать с поздних браков: вынужденное воздержание в период, наиболее приспособленный для деторождения. Оттого происходит отцеживание самых великолепных женских экземпляров, способных более всего вызвать эротические эмоции мужчин,— в бесплодную проституцию. Но проституция тушит любовь в сердцах, в ней нет места для требовательного хрупкого Эроса, он в страхе отлетает, боясь испачкать свои золотые крылышки о забрызганное грязью ложе. А в основу легального брака положен ложный принцип безраздельной собственности. Но если спутник жизни безраздельно прикован к тебе — то какая нужда открывать ему богатство твоей души? Величайшая

нелепость: двое людей, соприкасающихся только несколькими гранями,— обязаны подойти друг другу всеми сторонами своего многогранного «я».

А главное: вступая в брак с завязанными глазами, они не знают даже: существует ли между ними то физиологическое сродство, то телесное созвучие, без которого брачное счастье вообще неосуществимо. Совсем не неприличны, но очень бы следовало возобновить «пробные ночи», широко практиковавшиеся в Средние Века. (А литература совсем не пишет, оставляет в полной темноте поразительную наивность мужчин: игнорировать переживания женщины в момент наиболее интимного акта. Неудовлетворённость женщин на этой почве известна лишь медикам — а беллетристика проходит молчанием это явление, которое могло бы бросить сноп света на множество семейных драм.)

Это — не первый сексуальный кризис человечества, он уже был и в Возрождение, но тогда не затрагивал податного сословии, социальных низов, те дремали в неведении,— а теперь он грозно вступает и в лачугу рабочего. (Семью крестьянина так прочно скрепляет хозяйственный расчёт, что душевная жизнь играет второстепенную роль.) И какая уже существует реальная пестрота брачных отношений! — неразрывный брак с устойчивой семьёй; тайный адюльтер в браке; свобода в девичестве; проституция во всех разновидностях; снохачество; брак втроём, брак вчетвером; — а лицемерное общество всё делает вид, что не замечает. Да неужели же не пришла пора сорвать с сексуальной морали ореол «категорического императива»? привести её, наконец, в соответствие с практическими запросами прогрессивной части человечества? Индивидуальная воля каждого! — вот единственный законодатель в интимном вопросе. Пусть ещё не завтра наступит для всех новый сексуальный порядок — но дорога уже найдена, вдали уже заманчиво светлеет раскрытая заповедная дверь,— так поспешить распахнуть её — на вольный воздух радостных отношений между полами! Открытая смена любовных союзов на протяжении долгой человеческой жизни должна быть признана обществом как нормвльная и неизбежная! Влюбление, страсть, любовь — это лишь полосы жизни, перебегающие под солнцем. Что преступного в том, что эротический экстаз бросает двух людей в объятия друг друга? при чём тут рай и ад?

Да, страшно для девушки начало пути, это одиночество в крикливо шумном городе, среди зазывающе разгульных громад, когда надо бороться сразу: и против внешнего мира и против собственной слабости, склонности праородительниц принвдлежать мужчине как вещь. Поиск близкой понятливой души — это опасная удочка. Приобрести мужа-собственника и властелина твоей души? — это как тюрьма. Пора научить женщину брать любовь не как основу жизни, а лишь как ступень, как способ выяснить своё истинное «я». Пусть и она научится, как мужчина, выходить из любовного конфликта не с помятыми крыльями, но с закалённой душой. Эмоциональность— украшение женщины, но и недостаток её. Вместо неё пусть будет самодисциплина. Нынешняя действительность требует от женщины побеждать свои эмоции, взнуздывать свой слабеющий дух. Она должна стать не слабей своего избранника, а то и сильней его. Она должна уметь сорвать со своей индивидуальности ржавые оковы пола, отвести любви подчинённое место, как у большинства мужчин.

Новая женщина, избавлясь от любовного плена, изумлённо и радостно выпрямляется. В ней страсть более не туманит мозга, привычного к анализу. Для женщины прошлого высшим горем была измена или потеря любимого человека, для современной героини — потеря самой себя, отказ от самой себя в угоду любимому. Она дорожит своей свободой и независимостью и отстаиввет её со стойкостью женщин древних саг. Она иногда начинает жалеть часов любви, отданных возлюбленному, особенно если он был ниже её. Ей жутко представить себе жизнь, полную только поцелуев, шёпота волн и гармонии звёзд. Она может простить многое, даже измену, она простит обиду, нанесенную самке, но никогда не простит небрежного отношения к своему духовному «я». (Веками притуплённвя психология мужчины часто не даёт ему разглядеть это «я».)

Такая повышенная требовательность к мужчине заставляет многих героинь современных романов переходить от увлечения к увлечению, от любви к любви, в томительных поисках. Одного она любит «верхами души», к другому её властно влечёт телесное сродство. (Периодами — и ей приятно предъявить свои права на земные радости, осознать себя «просто женщиной» и на мужчине проверить своё обаяние — воздушные светлые одежды, солнечные встречи, радостный смех, знойность чувства! — ведь пылкое любовное желание обогащает и расширяет индивидуальность! Когда волна страсти захлёстывает её,— она не отрекается от блеснувшей улыбки жизни, не кутается лицемерно в полинявшую мантию женской добродетели — но испивает из кубка любовной радости, чтоб убедиться, насколько он глубок. А если он оказывается мелким — она отбрасывает его без сожаления и горечи. «Уметь в любую минуту сбросить прошлое и воспринимать жизнь, будто она началась сегодня»,— таков был девиз Гёте.) Чем выше индивидуальность женщины — тем сложней её душевные запросы, тем острей её социальный кризис.

Большая любовь — редкий дар судьбы, выпадающий на долю немногим избранникам. Но если нет большой любви — зачем же эротический голод? Там, где не достигли Большой Любви, пусть её заменит Любовь-Игра. Это — не всепоглощающий Эрос с трагическим

лицом,— но и не грубый сексуализм. Любовь-игра требует большой душевной тонкости, чуткости, психологической наблюдательности — и тоже облагораживает человеческую душу, даже воспитывает её больше, чем Большая Любовь. Сейчас мы слишком склонны уже после первого обладания посягать на *всю* личность другого и навязывать ему «целиком» своё сердце, когда на него ещё нет спроса.

Увы, люди не знают цены эротической дружбе. Надо научить их красивым и не обременяющим переживаниям: переливать эротическое вдохновение, не платя за это свободой своей души и своим будущим. Наслаждаться друг другом, не злоупотребляя друг другом. Нельзя набрасывать брачную узду на каждого, неосторожно влюблённого. Любовь-игра и указывает эту дорогу.

Чем сложней и выше психика человека — тем неизбежнее смены. Конкубинат — вот основная форма брака. А наряду с ней — и целая гамма любовного общения в пределах эротической дружбы.

Всё это Александра Коллонтай особенно хорошо и окончательно обдумала минувшей зимой. И хотя по женским масштабам её жизнь уже была прожита, ей исполнилось в этом году 45 лет, и хотя уже много красивого, тонкого и рафинированно простого она пережила,— но она никак не была утолена, не готова была отречься — и ощущала в себе способность, по Гёте, всё начать заново ещё сегодня! — ещё перешагнуть возраст, и как перешагнуть! — посоревноваться с 20-летними. Невозможно отойти от книги жизни, не долистав её ярких страниц!

Александра Михайловна никогда не пыталась скрывать своих любовных связей, как это обычно делают мужчины. Её последняя связь с Саньком Шляпниковым была известна в партийных кругах. Диковатого старообрядческого рабочего паренька она развила, подняла, отшлифовала,— да во всю её жизнь не было мужчины, который оказал на неё серьёзное влияние, всегда она. Но и сама с ним испытала много самобытного, и в благодарном порыве — сейчас даже не верилось, как недавно и с какой страстью — она рада была за ним ухаживать, обцеловывать, и даже унизиться перед ним, и всегда упрашивала приезжать скорее и называла себя чухной — хотя обоим было понятно, как это несоразмерно. Забавно было его выращивать. Но всегда было видно самой, что душевно он ограничен, не вождь, не герой (характером — слабей её), достиг пределов своего роста, и уже не обогащает её, тянуть его выше невозможно, тонок — он не будет никогда. В последнее его пребывание в Скандинавии уже заметно прискучивало.

Ну что ж, у них была когда-то чудесная любовь-игра, но уже вся знакома, ничего нового дать не может, перезатянулась. Александра даже не покидала его — это просто изжито, никакие обязательства не могут быть вечными, нельзя жертвовать своим существом, своими годами. Как не дрогнула Сашенька ещё в ранней молодости порвать со своим первым мужем, гвардейским офицером, хотя имея сына от него, сразу поняв, что жизнь «жены и матери» это клетка,— так и во всех последующих разрывах жизни она была неумолима и не колебалась, разжалобить её невозможно.

А тут — и эпоха такая, всё пришло в движение, всё так нервно-подъёмно, фейерверком взорвалась революция,— теперь-то и всё менять! (Сейчас революционеры будут появляться у всех на виду, на помостах, на пьедесталах — и Санёк со своим незначительным мещанским лицом не достоин показываться с нею рядом.) Революция! — всё в огненном круговращении, и самый неожиданный жребий может запылать в твоих руках.

В себе она ещё чувствовала столько задатков — дарить! И сама, до перенма дыхания, хотела захватной силы, первобытной силы, сильнее себя!

Но именно этого качества было меньше всего в скучной Европе. Но тут сошла красным пламенем с неба революция — и всё преобразила! Сливалось вместе: и ехать в Россию, и погашать в нетерпеливом напоре своим скалистым звёздным путем!

Надо иметь в себе то особенное чувство — у Александры Коллонтай оно было — принадлежности к феерическому ряду женщин революции, особенному пламенному ряду в мировой истории. Эти события разворачивались — для неё, чтобы ей проявиться! Она входила в своё время, в свои обстоятельства, в свой дух! Она немного опаздывала с приездом в Петроград — но ещё не слишком. И каждой убегающей минутой она ещё впишется в революцию! (Напоследок в Христиании прочла лекцию молодым социалистам: как члены Думы уже пытались предать революцию, но рабочие силой вернули их в Таврический дворец. И как большевики ещё исправят направление русской революции.)

Ехала по Швеции — о Шляпникове уже было мало мыслей: вопрос решён бесповоротно. Конечно, он будет первое время убит, станет уговаривать, обхаживать, заглядывать в глаза,— но у Коллонтай достаточно душевной упругости, чтобы превзойти такие ситуации. Предстоящая встреча не была приятна, но и не угнетала её. Она не дала ему знать о приезде — чтобы первые часы осмотреться без него.

Двое суток этого пути она много думала не о Шляпникове, но — о Ленине. Не как о мужчине, конечно, смешно представить Ленина мужчиной, но о том, как она перед ним обоснует — этого не избежать — свою нынешнюю теорию и свой идеал. С колючими глазками, колючими негибкими доводами (на всякий случай осторожными в незнакомой

области), он, конечно, будет пронзать её на смех. Но и она своего детища легко не отдаст: без нового Эроса наполовину угасал и весь смысл революции. Она заранее почти клокотала, представляя себе эти неизбежные споры: и откуда только может браться такое непростительное равнодушие к одной из, скажем, существенных задач рабочего класса? Ведь это лицемерие, не лучше буржуазного! — относить сексуальную проблему к числу «семейных дел», на которые нет надобности затрачивать коллективные силы и внимание! Но стоит, и раньше бывало, заговорить о пролетарской этике, пролетарской сексуальной морали — как наталкиваешься на шаблонное возражение Ленина, что половая мораль — это надстройка, и пока не изменится экономическая база — нечего и...

Спор — будет, и горячий, и уже сейчас надо к нему готовиться, нельзя не отстоять в партии своё верование. Но надо и — умело свою теорию социологизировать, как умеют опытные марксисты. Так прямо, как Коллонтай думала наедине с собой, почти никому в партии и говорить нельзя, да большую часть тонкостей они и не ухватят. Ленину и другим надо говорить приблизительно так.

Сексуальный вопрос имеет особый интерес при материалистическом понимании истории. Его не могут избежать социалистические программы. Разработка морального кодекса — неизменный момент социальной борьбы: ведь отношения между полами влияют на исход борьбы враждующих классов. Надо уже заранее выискать тот основной критерий морали, который порождается специфическими интересами восходящего рабочего класса,— и привести в соответствие с ним нарождающиеся сексуальные нормы. И только тогда будет возможно разобраться в противоречивом хаосе социальных отношений. Эта психическая реформа будет влиять на коренное переустройство социально-экономических отношений на началах коммунизма.

Для Новой женщины любовь должна быть лишь привходящая мелодия, эпизод. Свобода и одиночество нужны ей для любимого дела — работы, агитации, партии, идеи, без которых она не могла бы жить и дышать. Этим — она делиться не умеет и не отдаст свою свободу ни за какую любовь! Но это может быть осуществлено лишь при обновлённом социалистическом строе душ.

Подчинение одного члена класса другим, как это бывает в закреплённом браке, есть момент собственности, враждебный психике пролетариата. Из основных задач рабочего класса вытекают: бо́льшая текучесть, меньшая закреплённость в общении полов. Любовь не должна изолировать пару из коллектива. Это буржуазная идеология требует, чтобы свои лучшие чувства человек проявлял только по отношению к избраннику своего сердца. Но любовные эмоции как фактор могут быть направлены и на пользу коллектива. Любовь может помочь упрочить связи коллективистской солидарности, а именно: чем больше нитей личной любви будет протянуто между отдельными членами класса — тем прочней солидарность класса. Итак, любовь между членами коллектива подчинится более властному чувству любви-долга к коллективу. Любовь-солидарность явится таким же двигателем для пролетариата, как для буржуазного строя конкуренция. Задача пролетарской идеологии — не изгнать Эрос из социального общения, но перевооружить его колчан на стрелы новой формации!

И неужели вот такое построение не убедит Ленина?..

Финскую границу пересекала в Торнео. На санях переехала реку. Первый человек по эту сторону — солдат с алым бантом на груди,— так и вспыхнуло сердце от этой алости! «Ваши документы!» Но с облегчённым ликованием и беззаботностью белозубо усмехнулась ему Коллонтай: «Но я политический эмигрант, у меня никаких документов нет!» Вызвал офицера — совсем юного и тоже с алым бантом, а в руках — список. Назвала себя гордо — и он нашёл в списке. А был смущён её красотой, не мог скрыть, помог ей выйти из саней — и, вспыхнув, осмелился взять её руку и поцеловал робко.

А потом ехала, ехала через Финляндию — родину свою, потому что мать её была простая финская крестьянка, забравшая себе в мужья сперва одного старого генерала, потом другого генерала, полицейского. Как баловали Сашеньку в юности! — от ласк и не было свободы, оттого и пошла она освобождать народ. В гимназию не пустили, чтоб не развратилась политикой, на Бестужевские курсы не пустили,— всё равно не удержали от революции.

Но Финляндию всегда считала Коллонтай — своей родиной. И звала её к вооружённому восстанию.

По мере подъезда к Петрограду уже сердце выскакивало: так хотелось скорее всё узнать и скорей во всём участвовать!

На Финляндский вокзал приехала вчера вечером, встретили только знакомые — состоятельная семья, но с революционными традициями, на извозчике повезли к себе на Малую Конюшенную. Их благоустроенной квартиры революция не коснулась, ничто не было ни разбито, ни похищено, можно было принять ванну и засесть к телефону за новостями. До часу ночи Александра Михайловна звонила разным друзьям и знакомым (обойдя Шляпникова). Между другим узнала и про него, что он поколеблен в БЦК, потерял «Правду»,— да, вихревое время ему не по таланту. От Гиммера узнала, что здесь — Лурье, и завтра утром она может всех их видеть на первом заседании циммервальдистской секции Исполнительного Комитета, она приглашается. Очень удачно, ещё она не так опоздала!

Из телефонных же разговоров она поняла и многое главное: что Исполнительный Комитет никем не избран, а заседает в захватном порядке, но главная власть — у него. Что доминируют настроения торжества, праздник демократии, гимн свободе,— не рано ли? ой, не рано ли доверились буржуазии?

Ещё узнала, что барыньки из «Лиги равноправия» на воскресенье готовят грандиозную манифестацию к Родзянке в защиту женских избирательных и общих прав (и Вера Фигнер участвует). Ах вот как! Вовремя приехала Коллонтай! Эту буржуазную затею надо сорвать и перехватить, ещё есть два дня. На манифестации надо будет как-нибудь схулиганить — например, подослать работниц выступить: права не выпрашиваются, их берут с бою! у нас, пролетарок, нет отдельных женских интересов, они совпадают с общими пролетарскими, которые и вывели нас на улицу, и сделали революцию. (Трудящихся женщин можно будет объединять на вопросах дороговизны.)

Утром в десять уже входила в Таврический, с жадностью оглядывая эти стены, эти залы, теперь исторические.

Бродили солдаты, штатские. Мелькала мужественная втягивающая тёмная форма моряков.

Особенно приятно было увидеть милого Лурье — человека остро умного, и с европейским опытом жизни, отчего оба они могли видеть в событиях петроградских больше, чем видели здешние. А ещё: они в первые дни войны были в Германии вместе интернированы как русские, но затем с почётом освобождены как социал-демократы,— ещё воспоминания об этих шовинистических германских днях объединяли их. Лурье приехал всего два дня назад, но уже состоял и в Исполнительном Комитете, уже ко всему тут привык, обо всём рассуждал как участник революции с первых часов,— и ещё через два дня, уверял, такой будет и Коллонтай, безусловно кооптируют, станет первой женщиной в ИК. Во время заседания циммервальдской секции они приветливо перекидывались замечаниями — и вместе толковали остальным, как тот или иной русский шаг выглядит из Европы.

К счастью, Санёк не пришёл на заседание (хорошо, первый взгляд, первый тон — не на публике), вместо него главным от большевиков был Каменев.

Не нашлось почему-то комнаты, и секция собралась в ложе журналистов думского Белого зала,— обстановка! Коллонтай озиралась, сверкая. Она так сгорала к общественным действиям, что еле сидела, еле участвовала в заседании. Кроме Гиммера и Лурье, отдельных личностей, не от фракций, были от меньшевиков Шехтер и Соколовский, но тоже не делегированные никем, а сами от себя. И также единственный эсер — решительный заядлый Александрович, сам от себя. Впрочем, он со зловещим видом обещал близкий у эсеров раскол, будет тоже две партии.

Решить ничего поворотного не решили, но оформили циммервальдское бюро организационно. Поручили Гиммеру с Лурье готовить резолюцию для ИК о начале новой мирной кампании Совета.

Сам Гиммер был очень озадачен, что его Манифест 14 марта хвалила буржуазная пресса. Он видел в этом признак, что был слишком уступчив на ИК и нарушил последовательность циммервальдской позиции. Но, сухой острый гномистый человечек, он горел своими бесцветными глазами и предрекал победное шествие революции, которое не смогла сбить даже подлая кампания против «анонимов» в Исполнительном Комитете.

От кого-то Коллонтай узнала, что в министерском павильоне до сих пор содержатся арестанты, человек тридцать,— правда не самые видные, те уже в Петропавловке, но и здесь ещё кое-кто, в том числе и женщины.

— Женщины? — встрепенулась Коллонтай.— Кто?

Полубояринова, издательница «Русского знамени». И жена Сухомлинова. И две дочери Распутина.

— Я хочу их видеть!

— А сегодня захватили, привезли начальника петроградского охранного отделения.

— Хочу их видеть! Всех! Как это устроить, товарищи? — загорелась Коллонтай от ощущения неповторимости, пропустишь такой миг, всю жизнь потом будешь жалеть.

Формально нужно было разрешение министра юстиции, но, конечно, по знакомству можно быстрей и проще. Пошёл Гиммер попросить прапорщика Знаменского, трудовика.

И повели Александру Коллонтай — большевичку и эмигрантку — специальным коридором, когда-то построенным, чтобы члены правительства шествовали из зала заседания отдохнуть в свой павильон, коридором с остеклёнными стенами, впрочем под вечерние шторы, чтоб охранить от выстрела террориста,— повели, и мимо часового с винтовкой ввели в запретную нутрь, уже довольно потрёпанную, уже три недели как плохо убранную тюрьму,— и всё же каждый шаг Коллонтай был её торжеством, ликованием, звоном в ушах: могли мы, социал-демократы, думать дожить до такого? Шла — и чувствовала трепетание в себе общественной страсти. Она ярче торжествовала над такой женщиной из враждебного класса, чем прежняя бы женщина торжествовала над соперницей.

— А начальника Охранки — тоже покажите!
— Хорошо. Пока вот здесь — Полубояринова. Только она очень строптивая, всё время бушует и требует.
И Коллонтай — вошла в комнату, соразмеряя, вся чувствуя свой победный торжественный шаг и своё синее платье, свою закинутую голову, с небольшого роста, понимая, что представляется этой арестантке — вершительницей её судьбы? ангелом Революции?
Полубояринова встала от книги, от маленького стола, она такого ж роста была, как и Коллонтай,— но ни тени схожей красоты, ни изящества в платьи, черноволосая твёрдая мещанка. И не заискивала ничуть,— а сразу так и приняла с ненавистью — и ещё шагнула навстречу.
В двух шагах друг против друга они остановились.
И перед этим упёртым взглядом — никак не меньшей силы, чем свой, а с большей яростью,— Коллонтай вдруг потеряла ощущение великого мига. Она, оказывается, не приготовила фразы — ни язвительной, ни унизительной, ни игровой,— она шла уверенная, что свободно будет владеть положением.
Такой упёртой силы ненависти она не помнила, чтобы встречала.
Прямыми глазами они смотрели, ничего не смягчая,— Полубояринова кликнула резким бранным голосом:
— Ну, что пришла, потаскуха? Кто такая?

633″

(по социалистической печати, с 15 марта)

О КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫХ ПРОИСКАХ. Генералы-мятежники, сосредоточившиеся в Ставке... Приказы Алексеева... Радко-Дмитриева... Драгомирова, не дозволяющего солдатам ездить в Петроград... Генерал Иванов после неудавшегося похода на революционный Петроград мог гулять в Ставке на свободе, его арестовали только в Киеве... Обосновался в Ставке и разжалованный Николай Николаевич... Призываем всех революционных солдат и офицеров зорко следить за кознями сторонников старого режима.

СВОБОДА ПОЛЬШИ. Полтора века кровавый род Романовых угнетал эту прекрасную, вечно юную страну. Наёмные убийцы, цари из рода Романовых... Народ-страдалец, вечно погружённый в конспирации, он всегда точил меч, чтобы снести голову петербургскому тирану... Теперь, когда удалось свалить правящую шайку... Нашему поколению выпадает великое счастье расплатиться за неистовства царской власти. Пусть все и каждый, везде и всюду, ведут одну и ту же пропаганду: восстание во всех трёх частях Польши! Нет лучше времени, нет лучше момента, как теперь зажечь святой огонь повстанчества!

...**Собрание социалистов-революционеров** постановило... По вопросу о пресечении Николаю Романову способа ускользнуть от народного суда признать, что решение вопроса о свободе и жизни бывшего самодержца может исходить только от всенародного Учредительного Собрания. Признать непростительной и опасной слабостью со стороны Временного правительства содержать Николая Романова в неприспособленном как место заключения царскосельском дворце.

КАК СОДЕРЖИТСЯ НИКОЛАЙ РОМАНОВ. Весь Александровский дворец, все его флигеля и здания, весь парк охраняются сильными караулами, которые стерегут все входы и выходы. Всевозможные повара, лакеи и разная челядь тоже находятся на положении арестованных. Николай Романов не имеет непосредственного общения с членами своей семьи. При нём для компании — дружеская свита. К их услугам лакеи разных рангов, скороходы и арапы.
По просьбе комиссара Масловского Николай был ему предъявлен. По словам делегата, лицо бывшего монарха опухшее, взгляд тяжёлый, исподлобья.

...Просим Временное правительство немедленно арестовать всех членов бывшей царской фамилии и приспешников старого режима.

Колпинский комитет с.-р.

ДОЛГ НОВОЙ РОССИИ. Ближайшая задача Временного правительства — отменить национальные ограничения. Эта отмена больше всего касается евреев. Мы знаем, с какой сатанинской настойчивостью царский режим изобретал ограничения для евреев. В этом была какая-то утончённость, какой-то политический садизм. Создан был особый кодекс «еврейских законов». Любой захолустный становой был своего рода магистром «еврейского права». Сотни лет отвратительные тарантулы самодержавия ядом своим отравляли жизнь населяющих Россию национальностей. Кошмар еврейского бесправия должен быть немедленно рассеян. Временному правительству пора платить. Срок наступил.

(«День»)

Несколько дней назад разве не сочли бы сумасшедшим того, кто объявил бы, что «Новое время» объявит себя сторонником республики, перо Меньшикова будет обливать помоями царский режим и самого царя? Подлинный моральный нигилизм.

(«Дело народа»)

РЕСПУБЛИКА. Свободный народ может оставаться свободным, лишь будучи властным. И представительная республика — ещё не демократическая, если будут избраны представители господствующих классов.

...Всякий гражданин, крестьянин или рабочий, поляк, еврей или великорус, имеет право свободно избирать место жительства и род занятий. При таком порядке не надо добывать свидетельства на право торговли...

Долой смертную казнь! Мы не верим, будто один из вождей демократии сказал, будто сперва надо отрубить несколько голов, лишь потом издать декрет об отмене смертной казни. Кому-то выгодно распускать такие слухи, чтобы опорочить демократию. Не надо нам игры в Маратиков и Робеспьеров.

(«День»)

ПРОТЕСТ БЮРО ЦК РСДРП. Целый ряд буржуазных газет за последние дни повели усиленную кампанию против Социал-Демократической газеты «Правда», связывая её с «немцами» или «провокаторами». Так хотят бороться с нами продажные журналисты капиталистической прессы.
...Ложь, будто мы давали советы «не стрелять в немцев». Настаивая же на прекращении войны, «Правда» только выдвигала положения Циммервальда и Кинталя... Тратить время на опровержение всякой клеветы — значит целиком отдать нашу газету на разбор этой грязи. Нам остаётся только с презрением проходить мимо клеветнических походов.

...Центральный комитет печатников объявляет, что им будут приняты все меры против травли рабочей газеты «Правда» — **вплоть до бойкота типографий.**

Позвольте обратиться к вам, товарищи большевики, братья по революционному делу: если вы так отстаиваете право на свободное распространение своей газеты — то как вы можете поддерживать тех, кто хочет силой изъять из обращения газеты, которые вам не нравятся? Или вы так слабы, что боитесь борьбы пером?

(«Дело народа»)

...Похождения Распутина, его «чудеса», кутежи и связи обступают вас с газетных столбцов. От Распутина некуда деваться. Неужели свободное слово дано для того... Как только стало возможным говорить обо всем — сейчас же потянуло к «клубничке».

(«День»)

ЭМИГРАНТОВ НЕ ВПУСКАЮТ В РОССИЮ.

...Из Копенгагена отбыли первые эмигранты, возвращающиеся в Россию, провожаемые криками «ура» и пением свыше 500 соотечественников.

..Страстно хочется верить, что русская революция — это только первый великолепный сигнал всемирной революции. Революционная радиоактивность должна прорываться через окопы...

Почтенные буржуа начинают жаловаться на распущенность народа и солдат. Сейчас же, немедленно, пока рабочим обеспечена сила штыков, пулеметов,— необходимо требовать создания главным образом рабочей армии. Вооружить рабочие массы, обучить их, создать тот механический аппарат... Необходимо пользоваться силой, как пользовались ею всегда правящие классы,— чтобы проводить интересы рабочего класса и крестьянства...

(«Правда»)

...Органы местного самоуправления, эти гнёзда вымирающего дворянства, купцов и домовладельцев, лишённые всякого доверия демократии, сейчас фактически умирают на фоне ураганом поднявшейся жизни.

От старого уклада остались гнилостные следы. На многих ещё осталась короста обывательщины. А все должны быть милиционерами свободы. Будем гражданами с головы до ног! Будем ковать своё счастье. Будем организовываться.

ЧЕРНАЯ СОТНЯ ЗА РАБОТОЙ. ...странные знаки и надписи на дверях граждан... видимо, не потерявших ещё надежды на возвращение старых времён. Исполнительный Комитет обращается ко всем гражданам с призывом немедленно стирать эти знаки и надписи и арестовывать авторов. Есть основания предполагать, что к этому тёмному делу кроме гулящих черносотенцев прикомандированы и некоторые старшие дворники. Пусть эти бандиты не думают, что смогут долго продолжать свою работу. Всякий уличённый будет немедленно арестован и беспощадно наказан. Граждане! Охраняйте свои жилища от царских хулиганов!

К трамвайным вагоновожатым, кондукторам и рабочим. Товарищи! Трамвайное движение до сих

пор не вполне восстановлено, многие десятки вагонов стоят в парках неиспользуемыми. Городская деловая жизнь поэтому плохо налажена, терпит гражданин. Интересы революции требуют немедленного восстановления нормальной жизни и высокой организованности. Пусть все видят, что революция ведёт не к хаосу. Необходимо немедленно согласиться на сверхурочные оплачиваемые работы. Восстановление трамвайного движения — это ваша революционная обязанность, товарищи!

Сообщения с фронта, из района 1 армии. Солдаты предоставлены сами себе, офицерская молодёжь нерешительна, подавлена настроением высших чинов. Необходимы отряды агитаторов из числа солдат Совета Депутатов.

...от глубины сердца приносим горячее поздравление новому Национальному Правительству — Совету Рабочих и Солдатских Депутатов. Да здравствует оно и вся Россия. Да поможет вам Господь Бог.

Окопы, 6 подписей

...Общее собрание солдатских депутатов Двинского фронта... Взошло наконец солнце Свободы над русским народом. Все рабочие, утройте свою энергию, делайте снаряды, в них спасение Свободы. Мы, солдаты, клянёмся лечь костьми за каждую пядь Свободной России. Солдаты везде просили передать свой низкий привет Временному Правительству.

Самокатчики 1 Самокатной роты на фронте, узнав об измене в Петрограде своих товарищей по оружию, клеймим их позором, а также их офицерство.

Уполномоченный...

Борцам за свободу... Узнав с невыразимой радостью, что старое безвозвратно рухнуло без малейшего ущерба в промышленности, путей сообщения и вооружения, нас охватил неописуемый восторг. Теперь мы, сыны свободной России, превратимся в каменную стену, которую не пробить лицемерному народу германского государства.

Офицеры и солдаты 43 воздухоплавательного отряда

Казаки казакам. Дорогие донцы, братья по оружию! Нам всё известно, по ходу великих исторических событий. Вы свято исполняли свой долг, и мы, забайкальцы, со своей стороны выражаем вам сочувствие.

СОЛДАТСКАЯ ЖИЗНЬ

...Всем, самовольно отлучившимся из команды Эвакуационного госпиталя, предлагается в ближайшие дни явиться в свою часть. В противном случае будут считаться сторонниками старого режима.

...Предлагается всем, самовольно отлучившимся из 2-й полуроты, вернуться в полуроту до 15-го или 17-го сего месяца включительно. В противном случае перестать считать их своими товарищами и считать сторонниками старого режима.

...Солдат 3-й тыловой автомобильной мастерской призывают явиться в часть до 15 марта. Неявившиеся будут считаться дезертирами.

...Просят товарищей солдат 10-й роты немедленно возвратиться к исполнению обязанностей гражданина.

Товарищи солдаты! Некоторые из вас имеют золотые и серебряные медали, полученные в награду от прежнего правительства. В будущем всякие медали и знаки вероятно будут отменены, так как награда каждого гражданина в сознании долга, исполненного перед Родиной. Все эти медали драгоценного металла нужны теперь на усиление революционной мощи. Предлагаю сдавать их, Советы Депутатов укажут куда.

СЛУХИ. Мы живём в такое время, когда всему верят. Скажите, что войска Вильгельма в 20 верстах от Петрограда,— и найдутся люди, которые тут же бросятся на вокзалы и заполнят крыши отходящих поездов... Не следует однако и препятствовать бегству из Петрограда перепуганного обывательского стада. Это очистит атмосферу и облегчит решение продовольственного вопроса...

ЛОЖНЫЕ СЛУХИ. Слухи об анархии в Кронштадте являются вздорными. Жертв очень мало. Уже давно царит полный порядок. Подробное изложение событий будет сделано в непродолжительном времени.

...Поступают коллективные заявления, что в различных районах Петрограда наблюдаются серьёзные эксцессы на почве опьянения денатуратом значительного количества человек. Центральный комиссариат милиции призывает принимать усиленные меры к немедленному обнаружению мест продажи спиртных напитков... Продавцы будут подвергнуты самому суровому...

...Разгром магазина гвардейского Экономического общества принёс колоссальные убытки.

Всероссийская конференция Бунда состоится...

Очередное заседание Еврейской Социал-Демократической Рабочей Партии Поалей-Цион 15 марта в гимназии Гуревича.

Париж. Парижская лига защиты угнетённых евреев с энтузиазмом приветствует русскую революцию и выражает твёрдую уверенность, что Временое правительство немедленно осуществит полную эмансипацию евреев

Нью-Йорк. Русские политические эмигранты, проживающие в Соединённых Штатах, приветствуют совершившийся переворот, спешат вернуться на родину...

Нью-Йорк. Крупный банкирский дом «Кун, Леб и К°» заявил, что, ввиду нового положения в России, он отныне согласен оказывать материальную поддержку союзникам.

Тифлис, 14. На многолюдном собрании местных евреев единогласно принят лозунг «война до победы!».

Тифлис. Исполнительный Комитет Совета Солдатских Депутатов приказом по гарнизону запретил покупку и продажу казённых вещей. Офицеры призываются к неуклонному несению службы.

Владивосток. Идёт сбор на памятник деятельницы революции Волкенштейн, убитой в 1906 во Владивостоке... Виновных в продаже спиртных напитков решено привлекать к общественным работам.

Нижний Тагил, 14. Введена цензура в типографиях... Председатель комитета — присяжный поверенный, социал-демократ.

Боровичи. На городском митинге подожгли знамя «истинно-русских людей», найденное в одном из местных монастырей. Зажигаются костром сложенные портреты высочайших особ.

Бежецк, 15. Председатель Корчевской уездной земской управы Корвин-Литвицкий сожжён крестьянами вместе с его усадьбой. Лес вырублен.

Слов нет, помещики — зловреднейшее племя,
Однако гнёзда их палить прошло уж время.

(«Дело народа»)

...Всюду без слёз и сожалений деревня рассталась с прежним политическим строем. Исчезли тайные винокурни. ...Кое-где громят волостные учреждения, дома частных лиц.

...В деревне новая жизнь налаживается с трудом. Характер текущих событий деревня усваивает нелегко и нногда ошибается при оценке их.

(«Дело народа»)

Кишинев, 15. ...Ораторы в пламенных речах говорили о тлетворном влиянии немцев на Россию, которой фактически управлял не Николай II, а Вильгельм.

ПОРТРЕТЫ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ. Поступили в продажу портреты Желябова, Перовской, Фигнер, Спиридоновой, Каляева и многих других.

...Всех военных капельмейстеров и депутатов музыкантских команд приглашают...

Помните пленных! В дни возрождения России вспомните о ваших братьях-воинах, томящихся в плену. Забытые и бесправные, они умирают от голода и холода.

...Состоялось собрание рабочих и работниц конфетно-шоколадного производства. Почтили вставанием память погибших борцов за свободу. Затем был заслушан доклад о положении дел в конфетном производстве в связи с сахарным кризисом...

...Добиваться развития пролетарского самосознания среди официанток Народного Дома...

ВАЖНАЯ ПОПРАВКА. Исполнительный Комитет Совета Рабочих и Солдатских Депутатов доводит до всеобщего сведения, что напечатанная позавчера «Декларация прав солдат» представляет лишь проект, еще не обсуждавшийся общим собранием СРСД.

ТАЙНАЯ ДИПЛОМАТИЯ — подлинное детище самовластия. Она творит своё грязное дело в темноте. Даже не прикоснувшись к архивам министерства иностранных дел, каждый может с уверенностью сказать, что тайная дипломатия Николая Романова и его слуг не могла служить народу.

«Война до победы» — такой лозунг выставили на своих знамёнах некоторые части Петроградского гарнизона. Но и бывший царь Николай II тоже говорил «война до победы», понимая под этим взятие Константинополя, Польши, Берлина, раздел Германии. Не лучше ли заменить этот неясный лозунг более точным: «война за свободу»? Русская армия, расстроенная преступной неумелостью старой власти, станет непобедимой.

МАНИФЕСТАЦИИ. 15 марта в Государственную Думу явился в полном боевом порядке запасной батальон лейб-гвардии Семёновского полка. Затем через полтора часа — 3-й гвардейский стрелковый полк. Приветствие стрелкам вождей рабочего класса Чхеидзе и Скобелева едва не омрачилось печальным инцидентом: к стрелкам обратилась с речью никому не известная дама с призывом: «Долой войну!» Раздались крики: «Дайте её нам на штыки!» Взволнованных солдат успокоила речь их командира, его подняли на руки и понесли. Другая же часть солдат бросилась к балкону, окружила женщину, и был момент, когда ей грозил жестокий самосуд. Ораторшу с трудом удалось провести через разъярённую толпу и отправить в следственную комнату, где занялись выяснением её личности.

Своим ответом Родзянко **расширил задачу** Учредительного Собрания — дополнял его вопросом о земле.

ПЕТРОГРАД ИЛИ МОСКВА? В Москве идёт усиленная агитация, чтобы местом созыва Учредительного Собрания была призвана Москва. Надо раз навсегда покончить с этой агитацией. Какое основание делать Москву столицей России? Историческое прошлое Москвы, конечно, не может иметь никакого значения. Москва была центром московского царизма. Кремль — каменное олицетворение московского самодержавия, сокрушившего новгородскую и псковскую республику. Со всей этой романтикой пора уже покончить. Кто ратует за Москву — учитывает возможность ловить рыбу в мутной воде.

(«Известия СРСД»)

Разрушительная часть Великой Российской Революции ещё не закончилась, ещё во многих углах России происходят отрыжки старой власти.

...Пантера русского капитала оставляет себе все пути к нарушению договора о 8-часовом дне.

Завод «Промет». Продолжение сверхурочных работ при 8-часовом рабочем дне уничтожит наше завоевание и не оставит времени каждому проявлять гражданские права. Собрание постановляет считать 8-часовой день только при полном уничтожении сверхурочных работ.

Офицеры-питомцы **Михайловской артиллерийской академии**, в стенах которой никогда не угасал светильник свободы, обращаются к Совету Рабочих и Солдатских Депутатов с горячим призывом восстановить на казённых заводах нормальный порядок. Устранение с заводов большого числа лиц технического персонала неизбежно отразится на качестве боевого снабжения и поведёт к напрасным жертвам на фронте.

ЭМИГРАНТОВ НЕ ВПУСКАЮТ В РОССИЮ...

Телеграмма из Лозаны. Заявляем протест против телеграммы Рубановича. *Ульянов, Натансон.*

...Наши агитаторы Выборгского района бросают горящие факелы в доселе тёмные углы. От них загораются окрестности и революционной бурей разносятся по всей России пламенеющие щепки...

«ПРАВДА» — РАБОЧЕМУ КЛАССУ. Товарищи, братья по революционному делу! Вы должны знать, что в некоторых пунктах города какие-то неизвестные личности вырывают «Правду» из рук газетчиков. Против «Правды» систематический поход, и мы знаем, где его центр: там же, где и центр буржуазной контрреволюции. Все эксплоататоры народного труда, все паразиты и тунеядцы, привольно сосавшие народное тело под охраной царя, все боятся дальнейшего роста революционного движения. Они обдумывают поход против пролетариата, хотят грядущую демократическую республику превратить для него в смирительную рубашку. Они думали ударом по «Правде» привести в расстройство наши ряды. Встаньте же, товарищи, на защиту своей газеты, призовите к порядку расшалившихся сынков буржуазии.

Редакция «Правды»

...Возмущённо протестуем против низких приёмов буржуазной прессы в отношении нашей газеты «Правда», этого великого средства организации... Газета «Правда» не может быть провокаторской, потому что её мнение о войне есть мнение всего трудящегося класса...

Всем комиссарам милиции. Скобелев подписал распоряжение... ИК СРСД протестует против действия милиционеров, запрещающих продажу «Правды»... Оградить торговцев «Правды» от недостойных выходок отдельных лиц.

Комитет бронедивизиона опровергает слухи, что он и петербургский комитет РСДРП разграбляет дворец Кшесинской. Дело в том, что комитет занял дворец уже после двух погромов. А теперь имущество охраняется.

О сберегательных кассах. Среди населения намеренно распускаются слухи о том, что старые деньги будут уничтожены и все вклады в сберегательные кассы пропадут. Страшно усилилась выемка вкладов из касс. Слухи эти ложны. Население может быть спокойно относительно своих вкладов.

Вследствие заминки подвоза муки к булочным население Петрограда может очутиться в крайне тяжёлом положении. ИК СРСД примет меры к справедливому удовлетворению требований товарищей, участвующих в низовом промысле. Но надвигается грозное бедствие, а светлые дни торжества Свободы не должны быть омрачены сетованиями трудового народа на длинные хвосты и голод...

Всякие волнения на почве продовольственной неурядицы могут быть выгодны только сторонникам старого режима. Просим товарищей солдат не приобретать белый хлеб в лавках. Исполнительный Комитет просит товарищей пекарей не прерывать работы и согласиться на сверхурочные... Обыватели ещё не привыкли быть гражданами и легко переходят от восторга к панике. Так возникают слухи.

Письмо из Гельсингфорса. Отношение у нас с матросами великолепное. Единственно что беспокоит — это присылаются ежедневно вагоны со спиртными напитками. Но не было ещё случая, чтобы матросы и солдаты разбивали открытые вагоны, но зовут в комитет, и склад спиртного уничтожается. Много сознательности и инициативы.

Мичман...

В Кронштадте. Сейчас жизнь начинает входить постепенно в нормальную колею. Отношения между офицерами и матросским составом флота, однако, не вполне налажены до сих пор. В начале движения несколько десятков офицеров были убиты, многие арестованы...

Армия и офицерство. Многие офицеры справедливо оказались не заслуживающими народного доверия... Пополнить недостаток молодыми офицерами-революционерами, которые были бы солдатам товарищами и братьями,— особенно из студентов, светлого элемента будущей России.

О ДЕМОКРАТИЗАЦИИ АРМИИ. Выборное начало сулит создание подлинно народной армии. Но надо быть осмотрительными, исключая из полка офицеров прекрасных, знающих, вполне пригодных, но при старом режиме, под влиянием кастовых предрассудков, притеснявших солдат. К таким офицерам надлежит отнестись снисходительно, дать им амнистию... В пехоте послуживший солдат может избираться командиром и батальона, и полка...

Письмо из Действующей армии. Вы есть свет великой России. Мы видим в вас восходящее солнце, которое своими благоприятными лучами... Товарищи! Против нашей живой силы никто не устоит. Спешите просвещать нашу работу газетами и брошюрами. Мы, солдаты, очень мало здесь уведомляемся просветительной силой, которая исходит от вас.

О дисциплине. Чем была для нас кровавая романовская дисциплина? Это скажет вам каждый, испытавший её на себе... Неужели не устраним мы это? Устав требует немедленной реформы. Надеемся, что это будут помнить наши полководцы...

Среди гренадеров. Признано единогласно полезным для солдат допускать беспрепятственно публику в расположение казарм. Желающим солдатам разрешить проживать на частных квартирах, но с обязательством являться на утреннюю поверку. Выдачу жалованья производить на прежних основаниях.

СОЛДАТСКАЯ ЖИЗНЬ

Товарищи воинские чины 2-го Пулемётного полка! Мощным натиском завоёвана всеми желанная свобода, а враги не дремлют. Возвращайтесь, товарищи, в свою часть. Ибо всякий не вернувшийся от сего опубликования в течение 5 дней будет считаться позорным изменником нашему святому делу.

...Товарищи солдаты ораниенбаумского гарнизона, самовольно отлучившиеся и не явившиеся до 17 марта, будут считаться изменниками общему делу, и список их будет обнародован...

...Всех самовольно отлучившихся из 262 полка и не явившихся в течение одной недели...

всех отлучившихся из 16-й пешей Ярославской дружины...

самовольно отлучившимся из 1-го пехотного запасного полка... В противном случае перестать считать их своими товарищами...

товарищей-солдат 171 запасного полка, самовольно отлучившихся по разным причинам...

...180 пехотного запасного полка — с призывом немедленно явиться в свою часть...

СОЛДАТЫ ГРАЖДАНЕ... Не явившихся до 20 марта постановлено считать уклонившимися от исполнения гражданского долга...

Ходатайство бывших дезертиров. ...мотивируют, что раньше они не хотели защищать династию Романовых, а в настоящее время хотят бороться за счастье и светлое будущее новой России.

...Петроград должен помнить, что не он один решает судьбы страны и революции. Опасно, если бы Петроград оторвался от провинции. Он рисковал бы превратиться в штаб без армии.

(«Рабочая газета»)

...Разразившись в Петрограде, революция перекидывается в провинцию, захватывая всю необъятную Россию. Одна из особенностей нашей революции состоит в том, что базой её до сих пор является Петроград. Схватки и выстрелы, борьба и победа имели место главным образом в Петрограде и его окрестностях. Провинция ограничилась восприятием плодов победы и выражением доверия Временному правительству.

(«Правда», 18 марта)

ЧТО ЖЕ ТУРКЕСТАН? Над всей Россией поднялось солнце Свободы, всюду посланы комиссары — и только Туркестан остаётся в стороне от перемен, и остался в руках того, кто кровавым кулаком, с помощью пулемётов и виселиц... генерала Куропаткина...

Нижний Новгород. В приказе по войскам гарнизона объявлено: ввиду высокого общественного значения Совета Солдатских Депутатов, считать его членов неприкосновенными, не приводить в исполнение дисциплинарных взысканий, наложенных на них, освободить от нарядов и других обязанностей службы.

Екатеринодар. Власть в руках СРД. Пока полное единение, но уже чувствуется со стороны попов и казацких начальников антиреволюционная агитация. В бывшем Кубанском жандармском управлении заседают сейчас 4 большевика.

Николаев. Уголовные здешней тюрьмы заявили думскому комиссару, что готовы подчиниться лишь на условиях...

Рыбинск, 16. Бывшие чины полиции благодарят новое правительство за признание за ними прав гражданства, выразившееся в призыве их в ряды войск, и выражают глубокое презрение бывшему полицеймейстеру.

Киев, 16. Арестованные главари черносотенцев переведены на военное судно. Этим исключается возможность побега. Против погромной агитации в несколько местечек посланы комиссар и войска. Отовсюду поступают успокоительные сообщения.

Среди солдат распространяются воззвания, призывающие их в письмах своим деревенским призывать односельчан к засеву полей.

...На обратном пути из Севастополя на одной из станций депутата Государственной Думы попросила выйти к ним огромная толпа крестьян. По их просьбе он рассказал им, что произошло в Петрограде. Многие крестьяне плакали. Нервы депутата не выдержали, он тоже прослезился.

Козельский уезд. Крестьяне в неописуемом восторге от революции, многие плачут от радости. Священник предложил устроить молебствие об избавлении от царя-врага. Крестьяне высказываются за республику, так как, по их словам, «зачем выбирать нового царя, когда всё равно потом придётся его выгонять?»

Ямбургский уезд. Постановлено: готовиться к выборам в Учредительное собрание и уничтожать всю литературу, направленную против демократической республики.

Нижегородская губерния. Во многих сёлах крестьяне усилили подвоз хлеба для уполномоченного и часто отказываются от денег.

...Ко всему трудовому народу: «Берегите святость и успех революции! Не превращайте великого дела социализации земли в самовольный захват её!

(«Дело народа»)

...Надо признать: в крестьянстве ещё отчасти остались старые рабские привычки. Тут ещё держится в тёмных головах представление о царе-батюшке. Тем ясней: если монархия в Англии вредна, то у нас она чрезвычайно опасна.

(«Рабочая газета»)

ЖЕНЩИНЫ РОССИИ! Не в пример своим западным сёстрам, вы не пожелали замкнуться в эгоистические рамки своих личных женских домоганий, но влились в общую работу...

Воззвание женщин-работниц. До сих пор только отдельные ласточки присоединяли свой голос к хору борцов-пролетариев. Но теперь свободная гражданка-пролетарка предъявляет свои права. Один у нас идеал — социализм.

...в помещении гимназии Гуревича — студенты Бундовой группы...

...Бюро «Цеирей-Цион» приглашает товарищей и сочувствующих...

Среди сионистов. Резолюция общего собрания петроградской сионистской организации: «В светлые дни победы народной воли, мы, носители идеи возрождения еврейского народа, призываем русское еврейство всемерно поддерживать Временное Правительство в его освободительной творческой работе. Мы верим, что оно немедленно осуществит еврейское равноправие. Мы призываем к расцвету еврейской народной жизни в России и к возрождению еврейской нации в Палестине.»

...В трудный момент, когда повсюду отсутствовала стройность освободительного движения, высоко и гордо поднял знамя Совет Рабочих и Солдатских Депутатов. С первого дня своего конструирования он предстал как испытанный вождь сознательных элементов... Он является и должен являться для нас руководящей звездой.

Петроградская группа Латышей СДРП

Объявление. В дни революции со многих автомобилей были сняты магнето. Надеясь на честность и благородство граждан, автомобильный отдел ИК СРСД убедительно просит всех, тем или иным путём приобретших таковые, вернуть их в Государственную Думу, комната № 13...

...Раненые воины лазарета № 3 присоединяются ко всеобщему торжеству...

Керенскому, Чхеидзе. Горячо приветствуем вас, покоривших кровожадного вампира, которого следует познакомить с застенками крепости. Спасибо вам, что взяли в плен сильного немца, теперь Вильгельм нам не страшен...

Из Рогулей, уполномоченный...

Торгово-промышленные служащие (конторщики и приказчики) признают СРСД контролирующим органом над всеми действиями Временного Правительства...

Воззвание к торговому пролетариату...

Собрание «медицинского пролетариата» — фельдшеров, массажистов, акушерок, сиделок, санитаров...

...Постановили создать Всероссийский союз часовщиков...

...Состоялось общее собрание пекарей. Выражаем доверие идти рука об руку с СРД до Учредительного Собрания...

...Мастера сапожники, башмачники, заготовщики, чемоданщики, портупейщики — приглашаются на общее собрание. Не явившиеся будут считаться сторонниками старого режима.

Петроградские **дворники и швейцары,** собирайтесь в цирк «Модерн» для шествия в Государственную Думу. В единении сила!

Собрание дворников... Организуются в профессиональный союз. Первая задача — изъятие из своей среды реакционеров и тёмных элементов...

Первое собрание рабочего клуба. Ораторы часто уклонялись от темы и просто говорили о том, что хотелось сказать чуткой аудитории. Не всё, что они говорили, было вполне понятно собравшимся...

Просьба прислуг. Друзья-товарищи, вспомните и о нас, несчастных прислугах, которым приходится часто работать день и ночь. Мы, рабыни, живём без прав. Даже в церковь нам трудно попасть. Если попросимся, то наши властители отвечают: «Гм, в церковь? Что, сегодня день особенный?»

...Запасной батальон лейб-гвардии Литовского полка, просит возвратить две походные кухни, взятые студентами 27 февраля...

Окончание следует

Владимир Уфлянд

ДЛЯ ГОЛОСА И БАЛАЛАЙКИ

Вот едет Федя к нам из Питера на «Ладе».
На нем костюмчик новый импортный блестит.
Он в бане выпарится. Выспится в прохладе.
И заодно маманю с тятей навестит.
Тебя мы, Федя, встретим плясками и пеньем.
На свадьбах будешь ты почетней всех гостей.
Плохие новости узнать еще успеем.
Вези побольше нам хороших новостей.
Поведай нам, кто отучился в институте.
Кто «Жигули» недавно новые купил.
Кто стал начальником, кто в партию вступил.
И кто остался человеком, выйдя в люди.
Ты расскажи нам, кто в какой живет квартире.
Кто сколько тысяч на сберкнижке накопил.
Кого из наших до сих пор не посадили.
Кому еще не вшили что-то, чтоб не пил.

Уж полпути небось проехал он на тачке.
Его на рытвинах отеческих трясет.
Он отдохнет в деревне лучше, чем на дачке.
И много разных новостей нам привезет.
Поведай, Федя, как вас в городе снабжают.
Что там едят и пьют. Что пляшут и поют.
За что уж больше не казнят и не сажают.
За что прибавки, за что премии дают.
Кто из псковских таки не стал еще евреем.
Не сплыл за речку под влиянием страстей.
Плохие новости узнать еще успеем.
Вези побольше нам хороших новостей.

Вот едет Федя к нам. Спешит во все колеса.
Кассеты слушает и семечки грызет.
Ответит он на злободневные вопросы.
И много разных новостей нам привезет.
Спеши к нам, Федя, приезжай перед Успеньем.
Да не забудь, родной, с похмелья наш наказ:
Плохие новости узнать еще успеем.
И неприятности не убегут от нас...

И так далее, пока не сломается балалайка.

Владимир Иосифович Уфлянд (род. в 1937 г.) — поэт. Публикуется с 1957 года. Печатался в журналах «Эхо» и «Континент», а с 1989 года — и в отечественной периодике. Опубликовал сборник стихов «Тексты» («Ардис», Анн Арбор, 1978) и книгу прозы «Подробная антиципация» («Амга», Париж, 1990). Ассоциированный член французского ПЕН-клуба. Живет в Ленинграде.

* * *

Вот и Никифор наконец жених.
Держа в одной руке ромашку,
он молвит:
— Близок тот желанный миг,
когда жена мне выгладит рубашку.
Того, что дожил до своей поры,
я час назад еще не сознавал.
Был в чайной. Вышел. Знаю: комары,
но вижу Добрых Духов карнавал,
вокруг своей оси крутящихся
для удовольствия таких, как я,
трудящихся.
Я понял: это есть тот самый знак,
что вся Республика велит
вступить мне в брак.
А Духи делали движения кадрили,
и (что гораздо невообразимей)
они, казалось, молча говорили:
— Не для того ль был взят отцами
Зимний,
чтобы у тружеников всех села
подругой жизни Женщина была?
(Я знаю женщин: с виду — женственны,
а все другие признаки — божественны.)
Так понял Духов я.
И вот итог:
стою, держа в одной руке цветок.
Хоть не такие у меня замашки,
чтобы держать в руках цветы ромашки.
Поселок спит. Оркестры символические
в моей душе гремят, как симфонические.

ЖАЛОБЫ ЛЮДОЕДА

Мы племя людоедов.
У нас обычай есть
Кусаться за обедом,
Стремясь друг друга съесть.
А если кто соседа
Не может съесть живьем,
Тот будет без обеда.
Вот так мы и живем.
Я сам рыдал и плакал,
Когда друзей съедал.
Но между тем, однако,
Обычай соблюдал.
Отца и мать, я помню,
Съел в юные года.
Поэтому я полный
И круглый сирота.
На ветках пальм огромных
Плодов растет не счесть,
А мы должны знакомых,
Родных и близких есть.
Одной и той же пищей
Питаться — наш удел.
О варварский обычай!
Ты всем нам надоел.

* * *

Вот прошла трудовая неделя.
Кто не верит.
Кто радостно прыгает.
Только я, собою владея,
сел в автобус
и еду в пригород.
Там тотчас становлюсь под орешником.
Рот раскрыв, притворяюсь скворешником.
Я слегка себя этим уродую,
но зато сливаюсь с природою.
И на разного рода мелодии
из груди моей льются пародии.
Но клянусь,
что не я их творец:
то во мне пробудился Скворец.
Вообще же
в теченье недели
я служу у себя в отделе.
Если есть во мне Божия искра,
я когда-нибудь стану министром.

* * *

Уже давным-давно замечено,
как некрасив в скафандре Водолаз.

Но, несомненно, есть на свете Женщина,
что и такому б отдалась.

Быть может, выйдет из воды он прочь,
обвешанный концами водорослей,
и выпадет ему сегодня ночь,
наполненная массой удовольствий.
(Не в этот, так в другой такой же раз.)

Та Женщина отказывала многим.
Ей нужен непременно Водолаз,
резиновый,
стальной,
свинцовоногий.

Вот ты,
хоть не резиновый, но скользкий.
И отвратителен,
особенно нагой.
Но Женщина ждет и тебя, поскольку
Ей нужен именно такой.

* * *

А чем ты думаешь заняться,
когда раздашь все деньги в долг?
Не вздумаешь ли перебраться
в один из южных городов,
где можно жить без денег долго,
карманы фруктами наполнив.
Я знаю: о возврате долга
ты постесняешься напомнить.
Ты предпочтешь всю жизнь слоняться
по незнакомым городам.

А чем ты думаешь заняться,
когда настанут холода?

Олег Охапкин

* * *

От ямщика до первого поэта
В России все поют на грустный лад.
Так Пушкин говорил. Россия. Лета...
Шептал другой, мрачнейший во сто крат.

Россия, Русь! О, не печалься, мати,
И не рыдай мене! — Скорбит душа.
Что из того, что я умру в кровати
На чистой простыне и не спеша!

Я жил средь вас, родные палестины,
Витийствовал, любил и бедовал.
Но наш собор — Валдаи и равнины —
Бил в колокол и сердце надрывал.

Пел колокольчик тихий и унылый,
В ночи свершались темные дела,
И день за днем тянулся век постылый,
Мела зима, всегда белым-бела.

В кромешной тьме носился черный ворон,
Беснуясь, чернь чернила белый снег.
Уклад земли до основанья взорван.
Над бездною поставлен человек.

Оборван эпос наш на полуслове.
Монголов иго даром не прошло.
Довлеет злоба съеденной корове,
И все идет чредой, куда б ни шло.

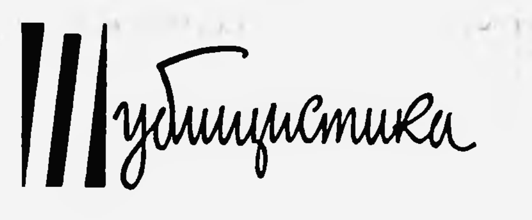
КОЛОС

В забытый Богом чернозем
Я брошен был — зерно чужое.
Кем приговор произнесен
И что в нем — доброе иль злое?
Быть может, пожелал Творец
Произрастить пустынный колос,
Чтоб отказать мне наотрез
Услышать нивы шумный голос?
Но для чего Он дал взамен
Угрюмую, как дерны, волю?
Смотрю на дикий черный плен,
И колошусь, и плачу вволю.
Качаюсь, тучный, на ветру
И зерна чистые роняю.
И что весною поутру —
Взойдет ли рожь моя — не знаю.
Но что-то и в моей судьбе
Есть первозданное, как море.
Природа зрит в самой себе
Стихию с Богом в вечном споре.
И Бог дает мне испытать
Всю прародимую пустыню,
Чтоб мог я правду увидать
Как высший дар и благостыню.
И эта ширь передо мной
Мне говорит о лучшей доле.
Я сброшу груз мой в грунт земной,
И к жизни возродится поле.

БЕЛАЯ НОЧЬ

В каморку тянется подрост
Зеленой кроною надверший.
Далёко слышен певчий дрозд,
Грузнеют облачные мрежи,
И золотою полосой
Лесок далекий розовеет,
И ангел белый и босой
Как бы крыло на солнце греет.
Он прикоснулся к облакам
Пером сверкающих надкрылий,
И мгла светлее молока
Струится в дол. Туман. Река.
Чернеет лодка рыбака.
Как будто их заговорили.
Не растворяются. И я
Гляжу сквозь чащу из каморки:
Крыло хозяйского белья
Подобно гроту корабля.
Не различу из-за тряпья:
Туман, хитона ли оборки.
И певчий дрозд печально так
Зовет чаи гонять Ефима.
Иль это воздух серафима,
И я ослышался, простак?
Сижу и слушаю. Гляжу
И ничего не понимаю.
Иль это ночи белой шум,
Иль ангел душу вынимает?

Олег Александрович Охапквн (род. в 1944 г.) — поэт. Автор квиг «Стихн» (Париж, 1989), «Пылающая купина» (Л., 1990). Печатался в сб. «Круг» (Л., 1985), журналах «Аврора», «Нева», «Звезда» и изданнях русского зарубежья: «Вестник РХД», «Грани», «22», «Перекресток» и др. Живет в Ленинграде.



Антон Антонов-Овсеенко

КАРЬЕРА ПАЛАЧА

Сколь высоко ставил генсек заслуги органов кары и сыска, можно судить не только по наградам, которые щедрым дождем пролились на проводников террора. Указом от 9 июля 1945 двумстам с лишним ответственным функционерам Лубянки присвоили высшие общевойсковые звания (взамен прежних особых).

Лаврентий Берия стал Маршалом Советского Союза. Удивляться нечему: *эта* власть всегда ставила на первое место внутреннюю войну против собственного народа. Следом идет Всеволод Меркулов, генерал армии, ключевая фигура репрессивного аппарата. Звания генерал-полковников удостоены девять бериевских подручных: Виктор Абакумов, Сергей Круглов, Иван Серов, Богдан Кобулов, Василий Чернышев, Сергей Гоглидзе, Карп Павлов. Среди пятидесяти генерал-лейтенантов встречаются такие именитые палачи, как Л. Е. Влодзимирский, М. М. Гвишиани, А. З. Кобулов, С. С. Мамулов, С. Р. Мильштейн, В. Г. Наседкин, Л. Ф. Райхман, А. Н. Рапава, П. А. Судоплатов. Высшими званиями отмечены начальники истребительных лагерных строек А. П. Завенягин, И. Ф. Никишов, Л. Б, Сафразьян и уже упомянутый Павлов. Особо отличили начальника сталинской охраны Николая Власика, ближайшего помощника Берии Степана Мамулова и личного повара генсека Александра Егнаташвили. Последний был товарищем детских игр Сосо. Отец Саши и настоящий отец Сосо позаботился о поступлении будущего вождя в училище и семинарию. Отменные шашлыки готовил Сталину генерал-лейтенант Александр Егнаташвили.

Звание генерал-майора заработал организатор убийства Троцкого Наум Эйтингон. И еще одно примечательное имя встретим в этом списке — будущего народного писателя Литвы Александра Гузявичюса. В расстрельные сороковые он был наркомом внутренних дел родной республики и более шести лет исправно отправлял на казнь своих земляков. Наличие профессиональных палачей в Союзе писателей — не диво.

Итак, Берия сравнялся в звании с Жуковым.

Первые конфликты Жукова с Берией начались уже в 1942 году, когда член ГКО Берия при поддержке Мехлиса убеждал Сталина в порочности стратегического плана Жукова — упреждающего удара по южной группировке противника.

Конец июля 1945 года. Заместитель Лаврентия Берии Абакумов прибыл в Берлин и, не представившись Главнокомандующему группой советских войск, арестовал ряд генералов и офицеров. Жуков вызвал Абакумова и приказал немедленно освободить из-под ареста всех генералов и офицеров, доказавших на фронтах свою преданность отчизне. В противном случае обещал Абакумову отправить его под конвоем в Москву.

Июнь 1946 года. На заседании Высшего военного совета Сталин бросил секретарю совета генералу С. М. Штеменко несколько листов с текстом: «Читай!» Штеменко, этот верный подручный Берии, зачитал заявление бывшего адъютанта подполковника Семочкина и главного маршала авиации А. А. Новикова, написанное в тюрьме. Узники Лаврентия Берии обвиняли маршала Жукова в присвоении всех победных лавров — в ущерб товарищу Сталину, а также в сколачивании вокруг себя группы недовольных режимом лиц. По предложению Сталина в поддержку этой клеветы выступили Молотов, Булганин и ведущий исполнитель плана Сталина Берия.

Маршала вывели из состава ЦК, сняли с должности Главнокомандующего сухопутными войсками и отправили в Одессу командовать военным округом.

1947 год. Арестована большая группа генералов и офицеров, в основном из окружения Жукова. Их пытали, принуждая признаться в подготовке «военного заговора» против сталинского руководства, организованного маршалом Жуковым. Как свидетельствует Георгий Константинович, этим «делом» руководили Абакумов и Берия.

1948 год, март. «Когда я был уже снят с должности заместителя министра и командовал округом в Свердловске, Абакумов под руководством Берии подготовил целое дело о военном заговоре... Встал вопрос о моем аресте. Берия с Абакумовым дошли до такой подлости, что пытались изобразить меня человеком, который во главе арестованных недавно офицеров готовил военный заговор против Сталина. Но, как мне потом говорили присутствовавшие при этом разговоре люди, Сталин, выслушав предложение Берии о моем аресте, сказал: „Нет, Жукова арестовать не дам. Не верю во все это. Я его хорошо знаю. Я его за четыре года войны узнал лучше, чем самого себя“». Эту запись, сделанную Константином Симоновым, дополняют свидетельства Елены Ржевской и Василия Соколова. Последний сообщает об одном эпизоде, который возвращает нас в год 1941-й, когда у супруги Ворошилова при переезде из Москвы в Куйбышев «пропал» фотоальбом. Через несколько лет во время тайного обыска на даче Георгия Жукова «пропали» все фотоальбомы вместе с его личным архивом. Берия использовал эти материалы для очернения полководца и обвинения его в предательстве.

Нет, Берии так и не удалось арестовать маршала, но без инфаркта все же не обошлось: в январе 1948 года Георгий Константинович был госпитализирован. Вспоминая о роли Берии в развернутой Сталиным травле, Жуков сказал: «Берия был личностью, готовой выполнить все, что угодно, когда угодно и как угодно. Именно для этой цели такие личности и необходимы».

В этой верной в целом характеристике не указано только, *кому* конкретно был необходим Лаврентий Берия. Он, бесспорно, имел все основания ненавидеть маршала Жукова, который на дух не принимал лубянских карателей и примером своим подрывал авторитет органов. Но, преследуя Георгия Жукова, Берия следовал указаниям Хозяина. Об этом маршал Жуков говорит лишь полунамеками...

Казалось бы, ничего конкретного в этих воспоминаниях, но место Берии рядом со Сталиным, под его рукой, обозначено точно. И роль тюремного маршала в трагедии безымянного солдата, роль предателя указана полководцем верно.

Медленно, со скрипом поднимается ныне занавес, столько лет скрывавший от глаз преступления сталинской клики военной поры. А тогда, сразу же после великой победы советского народа над фашистской Германией, возникли — не стихийно, разумеется,— легенды о великом генералиссимусе и его верном оруженосце.

...Наказам Сталина внимая,
Любой их выполним ценой.
Приветом пламенным встречаем
Приезд твой в город наш родной.

Это о нем, Лаврентии Берии, вирши И. Гришашвили — «Радость Тбилиси» в газете «Заря Востока» 27 января 1946 года. Там же на сей раз — песня о новом маршале.

...Вспять вражьи силы бросились.
Вновь блещет небо чистое,
Доблесть героя славили
Снежные горы, выстояв.
С ними мы пели радостно,
Твердо в победу веруя.
«Многая лета здравствует
Пусть наш защитник Берия».

* * *

Главы союзных держав покидали Потсдам, уверенные в том, что Сталин в ближайшее время выведет войска из стран Восточной Европы. А пока они довольствовались его обещанием оказать помощь правительствам этих стран в установлении демократического строя. Генералиссимус с готовностью дал требуемые обещания. История еще не знала столь щедрого на гарантии государственного деятеля.

Сталин сразу же почувствовал себя полновластным хозяином огромного региона. И поступил соответственно. Советские дивизии, вступившие на территорию Европы, превратились в оккупационные войска. Самозваный Отец Народов избавил от военного присутствия лишь Австрию, и то не сразу. Что до Югославии, то она обязана освобождением от сталинской опеки непоколебимому мужеству Тито и отдаленности от границ Со-

Продолжение. См.: «Звезда», 1988, № 9; 1989, № 5, 11.

ветского Союза. В ином положении оказалась Польша. С нею и с соседней Восточной Германией Сталин обошелся, как помещик с проворовавшимися крепостными. Он кроил-перекраивал чужие земли, переставлял по своему капризу межи-границы, не забыв попутно прихватить всю Восточную Пруссию.

Ванда Василевская, в прошлом член правительства, рассказывала, как Сталин вызвал их, чтоб уточнить границу между Польшей и Германией. Все шло хорошо, к взаимному удовлетворению, но вот Штеттин он почему-то оставил немцам.

«Мы просим, а он смеется и говорит: „Нэт, нэт, это нэмецкий город". Мы убеждали, что с XII века он польский, а Иосиф Виссарионович только смеется. „Нэт, нэт, нэ польский, а прусский. С XIII века". Мы чуть не плачем, ведь лучший порт на Балтике, а он ни в какую. „Хватит! Нэмцам отдаю. Они тоже нэплохо воевали". И мы умолкли. А когда расставались, уже к дверям шли, вдогонку сказал: „Мынуточку..." Мы обернулись. „Как его, этот город, Штеттин, да? Ладно, бэрите сэбэ,— и хитро подмигнул.— Воевали-то они нэплохо, но все же каждый второй у них фашист. Бэрите сэбэ, пока не раздумал..."».

Виктор Некрасов, описавший эту сцену в своей последней книге, был горазд на выдумки. Но в данном случае под его пером возникает психологически верный характер.

Геноцид, начатый Сталиным против польского народа в 1939 году, продолжался всю войну, не затухал в послевоенное время. В кампании истребления поляков Берия сразу же нашел свое командное место — вспомним Катынское побоище. И побоище Варшавское, когда Сталин со своими подручными предал восставших против немецких оккупантов. А по окончании войны планомерному истреблению подверглись польские коммунисты. Да, Сталин и Берия были всеядными правителями новой империи, разбухшей на своей и чужой крови.

После подавления Варшавского восстания и капитуляции Бур-Комаровского командование Армией Краёвой взял на себя генерал Окулицкий. У него не было оснований доверять Сталину больше, чем Гитлеру. На всякий случай он после поражения Германии остался в подполье. Но власть над жизнью и смертью освобожденных поляков перешла в руки бериевских молодчиков. Не все поляки догадывались об этом, и когда советское командование гарантировало генералу-патриоту неприкосновенность, он вышел из подполья. Арест, «суд», казнь... Через эту процедуру, сдобренную пытками, провокациями, вместе с генералом Окулицким прошел главный представитель эмиграционного правительства в Польше Янковский и другие видные патриоты.

На «открытом» судебном процессе в Москве пятнадцать из шестнадцати арестованных признались в антисоветской деятельности.

Болеслав Берут, польский премьер-министр, много раз пытался справиться о судьбе пропавших в СССР поляков — руководителей компартии, о своих друзьях. Особенно интересовала его судьба Адольфа Варского, одного из основателей СДКПиЛ, близкого соратника Феликса Дзержинского. Но Сталин и Берия утверждали: «Люди эти просто затерялись в огромной стране...»

Обычно в беседе участвовал Лаврентий Берия. Вместе с Хозяином они разыгрывали цирковые сценки, схожие с теми, что пришлось терпеть польским руководителям в конце войны. Тогда клоунские репризы кремлевских лицедеев касались жертв Катыни. Вот и теперь, как только Берут спрашивал генералиссимуса о новых жертвах, Сталин поворачивался к Берии: «Лаврентий Павлович, где же они, я же велел вам поискать».

По окончании одной из таких сцен Берия вышел из кабинета вместе с Берутом и, не скрывая угрозы, сказал упорному премьеру: «Чего вы прие...лись к Иосифу Виссарионовичу? От...сь от него. Я вам по-хорошему советую». Берут знал партийно-тюремный жаргон. Он давно уже был потенциальным клиентом Лубянки, а вскоре станет ее агентом. По совместительству.

В судьбе Стефана Сташевского, которому Берут поведал о своих кремлевских терзаниях, отразилась судьба распятой Польши. Его старший брат, коммунист, погиб на Лубянке в 1937 г. Родителей прикончили немецкие фашисты в Треблинке. Будучи с юных лет активным революционером, коммунистом, Сташевский подвергся репрессиям в Польше, эмигрировал в Советский Союз. Здесь, в Москве, учился вместе с Берутом в Международной высшей школе имени Ленина при исполкоме Коминтерна. Вернулся в Польшу и после очередных репрессий вновь приехал в Москву. С ним поступили гуманно, отправили на Колыму. Там его почему-то не казнили и в 1945 году отпустили на родину, где он занимал ряд ответственных постов. В 1968 году, шестидесяти двух лет от роду, решил порвать с партией...

Сталину нужно было, вопреки ялтинским соглашениям, установить над Польшей свою личную диктатуру, навязать свободолюбивому народу свой новый порядок, закамуфлированный под социализм. В средствах же он себя не ограничивал никогда: демагогия, обман и, разумеется, насилие. Здесь его ближайший помощник Лаврентий Берия был незаменим.

Через два-три года в Кремле решили, что пора строить в Польше тюрьмы. В проекте был предусмотрен специальный корпус для партийных руководителей. Не одними же

костелами украшать польскую землю. Берия обязал Берута строить тюрьмы своими силами.

Ох, и долог путь поляков на Голгофу...

* * *

Оставив советские войска на территории Восточной Европы, Сталин спешил объявить сопредельные страны социалистическими. Он был не прочь зачислить их в состав своей необъятной вотчины, но в первые послевоенные годы приходилось считаться с атомным превосходством Соединенных Штатов. Мнением самих поляков, чехов, немцев, словаков, болгар и румын, словенов и хорватов генералиссимус мог пренебречь.

В роли пионера освоения новых земель выступил Лаврентий Берия. Его агенты, прикрываясь дипломатическими масками, уже осенью 1945-го пытались взять под свой контроль государственные и политические органы Чехословакии. Некоторое время спустя сотрудники советского посольства в Праге Тихонов и Хозяинов — так они себя именовали,— действуя через местных гебистов, убеждали главу компартии Сланского в необходимости приглашения советников из Москвы. Сланский противился этому плану сколько мог, но уже в октябре 1949-го в Прагу стали прибывать первые советники — специалисты тайной службы. Официально советников по вопросам экономики и военным делам пригласили в 1951 году. Вскоре число их достигло пятисот. В 1949 году в Будапеште удалось состряпать политическую провокацию против посла Райка. Жертвами сталинского террора стали Кочи Дзодзе в Албании, Костов и Марков в Болгарии. Чудом уцелели Гомулка, Кадар, Гусак. То была политика устрашения, рассчитанная на подавление всякой самостоятельности государств, имевших счастье быть включенными в сталинский лагерь. Признаки покорности проявились незамедлительно. Венгерские товарищи попросили командировать в Будапешт пятнадцать сотрудников органов. Готвальд обратился по телеграфу к Маленкову. Президент Чехословакии просил прислать нескольких специалистов, которые смогли бы содействовать расследованию связей венгерских изменников с враждебными элементами в Праге. Но прибывшие из Москвы советники получили инструкции иных масштабов и целей. Заместитель начальника следственного отдела по особо важным делам М. Т. Лихачев отлично знал свой маневр. Берия направил его в Прагу в октябре 1949-го вместе с другим опытным функционером Лубянки Макаровым. Для начала они перетрясли почти все отделы органов ГБ. Как оказалось, местные товарищи «действуют по отношению к классовым врагам в шелковых перчатках».

Однако чехословацкие товарищи не спешили хватать-казнить потенциальных врагов. Это вызвало гнев Лихачева: «Сталин послал меня организовать процессы, я не могу терять времени,— заявил он Теодору Балажу.— Я сверну вам шеи, иначе *мне* снимут голову».

Голову полковнику Лихачеву снимут с большим опозданием. Его казнят вместе с Абакумовым, Комаровым, Леоновым в 1954 году. А пока он здесь, в Чехословакии, распоряжается жизнью и смертью других. Лихачев потребовал данные о «враждебной деятельности» секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Словакии Коломана Мошковича. Балаж отказал, ссылаясь на их отсутствие. Кроме того, Балаж считал, что, получив такие данные, необходимо проверить, соответствуют ли они действительности. Но Лихачев заявил: «Меня совершенно не интересует, где вы получите эти данные и насколько они достоверны. Я им поверю, а все остальное предоставьте мне. Почему вы так печетесь о каком-то жидовском дерьме?» Перепуганный Балаж возразил, что он должен обсудить этот вопрос с председателем компартии Словакии и заместителем председателя правительства Вилемом Широким. «В этом нет никакой необходимости»,— ответил Лихачев. «Но что скажет Широкий?» — спросил Балаж и получил ответ: «А мы и его пинком в задницу».

Бериевские эмиссары наметили главную жертву — министра внутренних дел Вацлава Носека. Его близкого друга, начальника органов ГБ Индржиха Весёлого, они довели до самоубийства. Им не удалось с ходу состряпать столь же громкого процесса, как суд над Райком, но кое-что они сделали. И продемонстрировали чехословацким коллегам новейшую технологию следственно-судебного террора: полную свободу в импровизации на темы заговоров. Практику заготовки протоколов допросов. Систему сочинения сценариев процессов.

В мае 1950-го возникло Министерство национальной безопасности, оно начало функционировать под надзором тридцати посланцев Лубянки. Наш долг — еще раз, вслед за Карелом Капланом, обнародовать их имена. Старшим советником был Владимир Боярский, его сменил Алексей Бесчастнов. Заместителями в разные времена работали Смирнов, Галкии, Есиков. После ареста Сланского в Прагу прибыли еще три функционера — Громов, Морозов и Чернов. Кроме них в чехословацкое Министерство внедрилось более тридцати переводчиков. Не обойдем молчанием еще одно имя — Анастаса Микояна, которого Сталин послал в Прагу в 1951 году как своего личного представителя.

Министр Ладислав Копршива вспоминал позднее, что старший советник фактически

определял все важные решения ЦК КПЧ, он был влиятельным наместником Сталина. Президент Готвальд открыто демонстрировал свое почтение и полное послушание. В этой обстановке сколько безвинных политических и общественных деятелей пострадало... Сомнения чешских товарищей старший советник Боярский отметал решительно и цинично: «Лес рубят — щепки летят».

Боярскому карьеры ради нужно было переплюнуть процессы, инспирированные в Венгрии и Болгарии. Вот почему он насаждал повсюду, на всех уровнях власти, осведомителей и провокаторов, выискивающих шпионов и вредителей. В Министерствах национальной безопасности и внутренних дел установились законы джунглей. Советники окружили себя фаворитами и доносчиками, которые оперативно предавали и продавали своих начальников. И друг друга.

То были беспринципные карьеристы с сомнительным, а то и преступным прошлым. Таких-то и рекрутировали посланцы Лаврентия Берии в корпус исполнителей. И в свою постоянную агентурную сеть. А все честные патриоты, истинные интернационалисты — добровольцы гражданской войны в Испании, бойцы сопротивления нацистской оккупации на Западе, герои чехословацкого подполья — стали первыми жертвами доносов и провокаций. Преступную политику массового террора и подчинения руководства Чехословакии кремлевскому диктатору агенты Лубянки осуществляли под демагогический шум борьбы за мир, за победу международного рабочего движения, за укрепление позиций социализма. Незаконные аресты, фальсифицированные процессы советники мотивировали государственной необходимостью, запугивая руководителей опасностью переворота и происками сионистов. Антисемитизм поощрялся и с лютостью насаждался повсюду — в духе кремлевских традиций.

В феврале 1951-го специальная комиссия обвинила в предательстве и арестовала три десятка руководящих работников чехословацкой службы ГБ. Их места заняли ставленники Боярского. Вскоре так называемые советники стали подлинными хозяевами Министерства национальной безопасности. И не только этого ведомства.

Генерал Свобода на посту министра обороны никак не устраивал Сталина и Берию. Привыкшие к лакейскому подчинению меньших собратьев, они решили воздержаться от посылки в чехословацкую армию советников до тех пор, пока Готвальд не догадается сместить мужественного генерала, столь популярного в народе. И Готвальд догадался. Новый министр Алексей Чепичка (с апреля 1950 г.) с готовностью принял более 260 советских советников и проявил полнейшую покорность в отношении старшего надзирателя генерал-полковника Гусева. Под его присмотром началась усиленная милитаризация страны. Численность армии увеличилась за три года вдвое, военное обучение было перестроено по советскому образцу, командование подчинили Генеральному штабу, армия приняла советский устав. Особое внимание Москва уделяла военной промышленности, которая стала придатком советской и должна была, в ущерб чехословацкой экономике, занять приоритетные позиции.

Превращение Чехословакии в новый военный округ СССР, в соответствии с милитаристскими планами Сталина, совершилось под бдительным надзором Лубянки. А то, что жизненный уровень насильно военизированного народа резко упал,— это обстоятельство никто из небожителей во внимание не принял.

Военная разведка перешла в ведение Москвы в те же годы. По советскому образцу три четверти должностей в дипломатических представительствах ЧССР заняли разведчики. Их деятельность направлялась советниками Министерства обороны СССР под контролем все того же Берии.

Шло время, а Боярскому все еще не удалось организовать процесса, достойного его высокой миссии. Лишь к лету 1951 года он собрал материал, изобличающий генерального секретаря компартии Рудольфа Сланского в измене. Но тут случилось непредвиденное. Сталину захотелось разыграть роль мудрого и гуманного Отца народов, и он отверг полученные через Готвальда обвинительные материалы против Сланского. Как несостоятельные. А чтобы у соседей не возникло сомнений в искренности его мнения, он решил сместить Боярского, проявившего легкомыслие и поспешность. Более того, на совещании в Кремле 23 июля 1951 г. Сталин рекомендовал «подходить с большей осторожностью к показаниям свидетелей-преступников, ибо они могут оказаться вражеской провокацией». Вершитель Судеб посоветовал также представителям Чехословакии и Болгарии внимательнее контролировать деятельность советников. То была игра, и лучше всех это понимал Лаврентий Берия. Его агенты, не считаясь с официальными директивами Сталина и Готвальда, продолжали собирать компрометирующие Сланского материалы, вымогая испытанными в деле средствами показания у ранее арестованных руководящих сотрудников.

В конце концов столь вожделенный процесс Сланского состоялся и казни «врагов народа» прошли гладко. Новый старший советник Бесчастнов диктовал следователям вопросы для арестованных, держа в руках московские шпаргалки с грифом и печатью МИД СССР. По этой схеме вершили свою преступную политику «советники» в Венгрии, Болгарии, Польше — во всех странах приобретенного Сталиным региона. Кое-где невинных жертв подвергали пыткам в подвалах, душили колючей проволокой, в других заведениях ломали кости... Старшие братья охотно делились своим опытом.

Берия на совещании в Кремле 23 июля 1951 г. отсутствовал. Сталин занимался представителями братских стран Червенковым и Чепичкой в присутствии Молотова. Главный исполнитель имперской политики Сталина остался за кулисами.

На июльском 1955 г. заседании ЦК КПСС Никита Хрущев назвал его имя: «Берия и его пособники ослабляли революционные силы, уничтожая кадры нашей партии и других коммунистических партий... натравливали одних руководителей на других, вплоть до уничтожения. Так поступали органы нашей разведки не только в Югославии, но и в других странах народной демократии». В этом докладе Хрущев упомянул и об агентурной сети, опутавшей братские социалистические страны. Только вот доклад его не был обнародован, хотя во всех странах прошла посмертная реабилитация бериевских жертв.

Сам Гитлер, будь он жив, не смог бы нанести такой непоправимый ущерб мировой социалистической системе, как это удалось клике Сталина — Берии.

* * *

Если судить по массовым арестам, обрушившимся на народ-победитель, то у сталинской диктатуры не было после войны более опасных врагов, чем офицеры и евреи. Первые приобрели на фронте столь нежелательные качества, как мужество и самостоятельность. Вторые — по мнению сталинской верхушки — слишком много мыслят и еще больше говорят. К тому же евреи во все времена годились на роль козла отпущения. Надо было назвать народу виновника послевоенного голода и таким способом снять с себя моральную ответственность за неумелое руководство восстановлением экономики. А ведомство Берии, могло ли оно существовать без внутренних врагов?

Что до офицеров, то их проще всего было демобилизовать: страна остро нуждалась в кадрах. Но фронтовики слишком многое увидели на Западе и на Дальнем Востоке. Берия, проявив необходимую оперативность, договорился с Молотовым и получил для своих лагерей и колоний свежую армию надзирателей, начальников колонн, отделений и отделов, набранных из офицеров-штрафников. Тысячи других, совершивших тяжкие преступления, пополнили ряды заключенных. Эта операция заняла первые три послевоенных года. Но основная масса новых поступлений состояла из рядовых граждан. Распустились все после победы. Колхозы, видите ли, им не нравятся. Свои товары кажутся им скверными, города — какими-то не такими. Сама жизнь под солнцем сталинской Конституции стала тусклой...

С такой нагрузкой Органы не работали уже лет десять. Результаты росли быстро, и вскоре население запроволочного царства достигло предельного пика — 16 миллионов «врагов народа».

Они свершили великий подвиг — изгнали интервентов, трудились в тылу, не смыкая глаз, недоедая. И гибли, гибли миллионами. Всякое доброе дело наказуемо — таков неписаный закон сталинской эпохи. И вновь за ошибки преступного руководства расплачивался великий народ, народ-страдалец.

В одном только Запорожье предстояло восстановить огромные комбинаты «Запорожсталь» и алюминиевый, да электротрансформаторный завод. Обширные зоны, по три тысячи заключенных в каждой, дырявые бараки, сырые землянки, 400 граммов черного хлеба, пустая баланда, надрывный ручной труд... И так — от Днестра до самого Урала.

* * *

Воспоминания Е. Калинского содержат интересные эпизоды послевоенного бытия Лубянки. Четко, реалистично выписаны портреты исполнителей террора, выявлен характер самого Берии.

Семен Китаинов начал свою службу в органах до войны. Веселый, жизнерадостный толстяк, он был в любой компании душой общества, но это не мешало ему отлично нести свои служебные обязанности: обыскивать, арестовывать, допрашивать... Они вообще отличались большим жизнелюбием, функционеры смерти, любили красивых женщин, изысканный стол.

Когда арестовали отца-еврея, Китаинов обратился, естественно, к Берии. Он написал, что как коммунист и сотрудник КГБ он обязан просить отставки. Сын врага народа не может служить в славных рядах и т. д. Лаврентий Павлович удостоил его личной аудиенции. Шеф начал с цитаты из Сталина: «Сын за отца не отвечает» и пристыдил заслуженного чекиста. И высказал искреннее огорчение по поводу того, что заслуженный чекист готов покинуть свой пост из-за такой малости, как арест отца: «Мы вам доверяем. И в доказательство нашего доверия я распорядился перевести вас на еще более ответственную работу». Семен Китаинов возглавил одну из оперативных групп захвата врагов. Аресты обреченных он производил (тоже ведь производство!) со вкусом. На этой службе властолюбие и садизм проявляются рано.

Перед выездом на операцию Китаинову вручали пакет с предписанием — вскрыть на Смоленской площади. В одном из таких пакетов оказался ордер на арест самого близкого,

со школьной скамьи любимого друга. Арест прошел гладко. Семен Китаинов выдержал и это испытание, ниспосланное ему товарищем Лаврентием. Эта смертельная игра завершилась странно и неожиданно. На другой день Китаинова известили об увольнении из органов — согласно его заявлению. Не арестовали, дали теплое полуответственное место на одном столичном предприятии.

А вот другая судьба. Григорий Блауштейн преподавал в Военно-медицинской академии в Ленинграде. Однажды, вскоре после войны, Сталин созвал совещание, на котором речь зашла о военно-морской заполярной базе в Кандалакше. Во время войны там находились наши союзники, им стало всё известно, поэтому надо срочно реконструировать базу. Хозяин поинтересовался, во сколько это обойдется. Ему назвали очень значительную сумму. «Найти виновных и наказать!»

Нашли виновных — двух генералов и Блауштейна. Григорий Соломонович в годы войны принимал санитарные поезда, медикаменты, оборудование, инструменты и суда-госпитали, которые поступали в Союз по ленд-лизу. Он свободно владел немецким, французским, английским, общался с американским послом. После войны он не раз сопровождал Гарримана в театры и в синагогу. Получив по решению Особого совещания свои 20 лет, Блауштейн попал на дальний этап. В конце 1946 г. он очутился за Воркутой, на шахте № 40. Взяли его врачом в медпункт. Словом, повезло человеку.

В зоне Блауштейн носил свой форменный китель с золотыми пуговицами. Охрана сквозь пальцы смотрела на причуды врача. Но однажды начальник Воркутинского ИТЛ генерал Деревянко, обходя свои владения, заметил Блауштейна: «А это что за еврейская морда в мундире? Срезать пуговицы! В карцер мерзавца!» Генерал грубо толкнул его и проследовал дальше.

Три дня провел Григорий Соломонович в карцере, стоя в ледяной воде, разутый, раздетый. И если бы не жалостливые надзиратели, которые позволяли ему ночью отогреваться у печи,— как не потрафить врачу? — если бы не их попустительство, не дожить бы ему до пятьдесят пятого светлого года. Деревянко не оставлял его своим вниманием, отправил на штрафную колонну, в знаменитый известковый карьер. Там блатные выбили Блауштейну все зубы: им понадобились золотые коронки.

Реабилитировали Блауштейна после XX съезда партии, в которой он имел честь состоять. Последние годы он жил в родном Ленинграде, на Петроградской стороне, старый, разбитый...

* * *

В кампанию борьбы с космополитизмом каждая неосторожная ссылка на труды иноземного ученого, малейшее проявление интереса к творчеству западного писателя или художника приравнивались к государственной измене. Этот поздний шабаш ведьм на кремлевском холме означал не что иное, как избиение интеллигенции, все то же избиение обескровленной частыми погромами советской интеллигенции.

16 июля 1936, в первый же день фашистского мятежа, будущий генералиссимус Франко бросил клич — «Смерть интеллигенции!»

Генералиссимус Сталин начал уничтожение *своей* интеллигенции гораздо раньше. К новому погрому подал сигнал Жданоа, шельмуя Анну Ахматову и Михаила Зощенко по указке Вождя, претенциозно называвшего себя «русским интеллигентом». И ведь что примечательно — Жданов и Берия, непримиримые конкуренты, свирепо дерущиеся у главного корыта, набросились с равным рвением на «безродных космополитов»...

Вновь на полных оборотах заработала лубянская мясорубка. И потянулись длинные эшелоны со свежими «врагами народа» на север, на восток — в лагеря, лагеря, лагеря. В истребительные лагеря.

Погром интеллигенции, начатый в первые же годы революции, унес почти всю мыслящую часть общества. Теперь пришла очередь этого самого «почти». Выискивали, вынюхивали всех интеллигентов, кто когда-нибудь, пусть даже в двадцатые годы, имел неосторожность попасть на заметку охранительным органам. В институтах, министерствах, учреждениях культуры их вылавливали сотнями. Многим предлагали пополнить мощный корпус доносчиков («Предлагаем вам сотрудничать с Органами... Вы же в душе настоящий патриот...») Несогласных отправляли в лагеря — на 10 лет. Меньше не давали.

Член Академии медицинских наук профессор Василий Васильевич Парин возглавлял Институт медико-биологических проблем и по совместительству работал заместителем министра здравоохранения. Сотрудники института, супруги Роскина и Клюев, разработали методику лечения раковой опухоли у мышей и в 1948 году передали через Парина свою статью американским коллегам для консультации. Этот столь естественный для нормального общества поступок был квалифицирован тогда как контрреволюционная акция. В институте устроили суд чести, Клюева принудили каяться, но его супруга проявила мужество и не встала на колени. Ее не поколебал даже арест профессора Парина.

Группа ученых пыталась вступиться за директора института перед почетным академиком Вячеславом Молотовым. Однако Сталин не внял просьбе маститого партфункционера: «Не знаю, как вы, а я Парину не доверяю»,— изрек генсек. Судьба ученого была решена. Следствие установило, что Парин продался заморским империалистам. За статью о результатах опытов над мышами он получил две самопишущие ручки и две пары чулок для супруги.

Черную роль доносчика сыграл в этой истории Николай Иванович Мигаль, начальник внутренней охраны института. Когда подошла его очередь, Мигаля тоже упрятали в лагерь. На Дальнем Севере провокатора устроили заместителем начальника лагпункта.

В 1954 г. Парин вернулся в Москву, вновь возглавил свой институт, позднее стал академиком АН СССР. Вскоре же всплыл Мигаль. Повел он себя естественно, в духе времени — пришел к Парину просить квартиру: «Вы же знаете, в каких условиях мы жили на Севере». Парин, человек воспитанный, на этот раз не сдержался: «Вон из кабинета!»

* * *

Свое пятидесятилетие Берия встретил на вершине политической карьеры. Он стал членом бессмертного Политбюро, ближайшим соратником Вождя. От главного конкурента, Андрея Жданова, остался лишь след в Кремлевской стене. Остальные подручные слабы духом и разобщены. В день рождения, 29 марта 1949 года, Николай Михайлович Шверник вручил заместителю Председателя Совета Министров Берии орден Ленина — принимая во внимание его выдающиеся заслуги перед Коммунистической партией и советским народом. Газеты поместили большой портрет юбиляра. Лоб мыслителя, ясность во взоре, которую не могут притушить стекла пенсне. Мягкие полнокровные губы, четко очерченный подбородок, строгий костюм с черным галстуком — таков скромный облик государственного мужа.

«Товарищу Берия Лаврентию Павловичу.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) и Совет Министров СССР горячо приветствуют Вас, верного ученика Ленина, соратника товарища Сталина, выдающегося деятеля Коммунистической партии и Советского государства, в день Вашего пятидесятилетия.

Вся Ваша сознательная жизнь посвящена революционной борьбе за дело рабочего класса, за победу коммунизма.

Верный сын советского народа, Вы всей своей жизнью и деятельностью показываете вдохновляющий пример служения его интересам, с честью выполняя задачи, которые ставила перед Вами Коммунистическая партия. В годы Великой Отечественной войны Вы выполняли ответственные поручения партии, как по руководству социалистическим хозяйством, так и на фронте, и, с присущей Вам кипучей большевистской энергией и мужеством, ковали победу над врагом.

Желаем Вам, наш боевой друг и товарищ, наш дорогой Лаврентий Павлович, многих лет здоровья и дальнейшей плодотворной работы на благо нашей великой социалистической Родины, на благо советского народа.

Центральный Комитет ВКП(б) — Совет Министров СССР».

* * *

Приветствие и портрет юбиляра опубликованы на первой странице «Известий», а на второй — фотография Максима Горького. Еще раз, теперь в день юбилейный, прикрыл великий пролетарский писатель выдающегося палача. Собой прикрыл, как он это делал при жизни, во времена Генриха Ягоды. Портрет Горького сопровождает статья «Слава и гордость советской литературы» — к 81-й годовщине со дня рождения Максима Горького. Автор юбилейной статьи В. Куриленков цитирует к случаю отзыв о творчестве Горького такого именитого литературоведа, как Вячеслав Михайлович Молотов, умножает славу еще одного палача сталинской выучки.

И вновь, как в памятные тридцатые годы, имя Горького пристегнули к колеснице террора — против индивидуализма, формализма и прочей тлетворности. Горький призывал писателей служить сталинской партии. Берия начал служить Сталину задолго до призыва Максима Горького. Вечная тема: писатель и палач.

Юбилей Берии был шумно отмечен всей страной. Поздравления любимцу партии и народа стекались в Москву из Закввказья, Северного Кавказа, с Украины и Дальнего Востока. На родине Берии, в селе Мерхеули, побывали корреспонденты «Зари Востока» и «Советской Абхазии». Но, странное дело, ни один земляк соратника Сталина не сообщил журналистам никаких подробностей из жизни Лаврентия Берии. Помянули недобрым словом царизм, поговорили о значительных переменах а жизни села, показали школу, осененную именем юбиляра, и монумент дорогого Лаврентия Павловича.

Газета «Советская Абхазия» опубликовала 29 марта песню Киазима Агумаа о родном человеке с «глубоким и бесстрашным разумом».

...О Берии поют сады и нивы,
Он защитил от смерти край родной,
Чтоб голос песни, звонкий и счастливый,
Всегда звучал над солнечной страной.

Грузинский филиал Института Маркса — Энгельса — Ленина отметил дату рождения Берии научной конференцией по его книге «К вопросу об истории...». Не остались в долгу живописцы. Народный художник СССР Джапаридзе создал монументальное полотно «Сталин, Молотов, Берия, Микоян на Черноморском побережье». Другой лауреат Сталинской премии Налбандян написал картину «Для счастья народа»: члены Политбюро — в их числе Берия — задумались над тем, как сделать народ еще счастливей. Живописцы, графики, скульпторы тиражируют портреты Берии и после юбилейного года. А Лаврентий Павлович, дабы не возбуждать неудовольствия Хозяина, уже в 1950 году выпускает сборник «Великий вдохновитель и организатор побед коммунизма».

* * *

В 1982 году в Нью-Йорке вышла в свет книга воспоминаний Арноштa (Эрнеста) Кольмана «Мы не должны были так жить» — три года спустя после кончины ее автора. Его биография весьма поучительна, в ней отразились важные и трагические события. Кольман попал в Россию впервые в 1916 году как военнопленный и тогда же вступил в большевистскую партию. В 20-е годы возглавлял издательство «Московский рабочий», занимал ряд других руководящих постов. После второй мировой войны работал в Праге. Чистка 1948 года не миновала заслуженного коммуниста, агенты Берии доставили его на Лубянку вместе с другими критически мыслящими. Дадим слово Кольману, жертве и свидетелю нового злодейства:

«Когда Путинцев после очередной паузы вызвал меня снова на допрос, он ошеломил меня совершенно неожиданным маневром. Не говоря ни слова, положил передо мной отпечатанный на машинке «протокол» моих «показаний». А потом сказал: «Прочтите и подпишите!»... всего одна страница... Фантастический бред: я уличал Молотова в заговоре против Сталина».

Кольман возмутился, но следователь был спокоен: «Нам про Молотова давно все известно, он сам уже во всем сознался, вам нужно только подтвердить... Поставив свою подпись, вы поможете партии и этим докажете, что вы в самом деле настоящий коммунист, как утверждаете. И тогда, возможно, вам простят ваши преступления. А если откажетесь... тогда пеняйте на себя. Мы раздавим вас, как Бог черепаху, сгноим вас и все ваше отродье».

На следующих допросах следователь предлагал подписать материалы, изобличающие в контрреволюционной деятельности Кагановича, Ворошилова и других членов Политбюро, а также — В. Пика, О. Куусинена, К. Готвальда, Ж. Дюкло, П. Тольятти... Потом пошли известные ученые — С. Вавилов, П. Капица, А. Иоффе и даже всепокорнейшие М. Митин и П. Юдин — псевдофилософы, милостью генсека возведенные в академики.

Итак, заготовка материалов впрок, досье на всех вождей, больших и малых. Можно думать, что Сталин дал своему фавориту широкие полномочия. Впрочем, Берия послевоенной поры мог позволить себе и некоторую самостоятельность.

Понуждая Кольмана подписать состряпанные на лубянской кухне материалы, следователь прибегнул к шантажу. Оказывается, за преданным партии Ленина — Сталина работником была установлена постоянная слежка еще в тридцатые годы. Вся переписка, все разговоры — частные и служебные — попадали на невидимое лубянское сито. Армия специальных осведомителей следила за политической нравственностью на всех этажах власти. Система...

А Кольман — ему суждена была долгая жизнь. Его выпустили на свободу в марте 1952, и он работал в научных учреждениях в Москве и в Праге. В 1968-м Кольман выступил против ввода советских войск в Чехословакию. Через восемь лет, с трудом получив разрешение на выезд к дочери в Швецию, он остался там как политический эмигрант. Затем коммунист с шестидесятилетним стажем известил Леонида Брежнева о своем выходе из партии.

* * *

Всякий клан предполагает наличие родственных связей. Их не было ни в лагере Берии — Маленкова, ни в группе Жданова. Каждый клан действовал на здоровой основе бандитского братства, когда сообщников объединяет единая цель и общая опасность гибели от руки конкурента.

В 1934—1939 годах, когда Сталин перебил почти все старые партийные кадры, Маленков возглавлял отдел кадров ЦК. В шайке сталинских головорезов он был одним из самых заслуженных. Маленков такой же палач, как Генрих Ягода, Николай Ежов, Матвей Шкирятов, Лаврентий Берия. Вглядываясь в зигзаги его политической карьеры, будем помнить об этом основном его качестве. Партийный функционер и уголовник — таков портрет Маленкова. Столь гармонично развитые личности могли сложиться лишь в сталинском ЦК.

Соперничество Маленкова и Жданова у кресла Предводителя — разве не соперничество двух уголовников? «Дружба» Маленкова с Берией — разве не на ниве кровавых преступлений взросла?

В феврале 1946 г. новый член Политбюро Маленков возглавил секретариат ЦК. Свою карьеру он начинал в личной канцелярии генсека, там поднаторел в искусстве партийной интриги. Теперь, став фактически вторым после генсека челоаеком в аппарате ЦК, Маленков мог смело тягаться со Ждановым. Хотя тот опирался на верных и сильных помощников, но они все вместе не стоили одного Лаврентия Берии. И все же Жданов принял бой. Опытный партфункционер, он начал плести сети против Маленкова почти сразу же по окончании Отечественной войны. Характер Вождя он успел изучить досконально, знал, как и когда подавать ему компрометирующие Маленкова материалы.

Уловив неприязнь Сталина к маршалу Жукову, которому молва приписывала главную заслугу в победе над гитлеровской Германией, Жданов при случае напомнил Хозяину, что не кто иной, как Маленков, выдвигал этого полководца на первый план. Жданов пустил по свету анекдот о смешном суеверии маршала. Анекдот дошел до ушей генералиссимуса, и, как вспоминал Хрущев, Сталин после войны «начал говорить всякую чепуху о Жукове: „Вы хвалили Жукова, а он этого не заслуживает. Говорят, что перед каждой операцией Жуков брал в руку землю, нюхал ее и говорил: „Мы не можем начинать наступление". Или же наоборот..."».

И еще одна ждановская провокация. В решении пленума ЦК снятие Жукова с поста заместителя Сталина мотивировано тем, что маршал якобы игнорировал партийное руководство армией и, в частности, роль политуправления. Это обвинение было сформулировано Ждановым, который сумел, преодолевая сопротивление Жукова, поставить во главе политуправления Министерства своего человека, генерала Иосифа Шикина. Бывший помощник Жданова организовал кампанию избиения отличившихся на войне командиров и комиссаров. Так Жданов еще раз потрафил Хозяину, которому эта пресная жизнь без репрессий-расстрелов становилась уже в тягость...

Здесь сошлись — бывает и такое — также интересы враждующих сторон: Жданова и Берии. Помощники Лаврентия Павловича охотно выполнили новую истребительную директиву.

Жданов никак не хотел расставаться с положением кронпринца, поэтому, составляя план устранения Маленкова, он усиленно раздувал все его промахи — действительные и мнимые. Будучи главой Комитета по восстановлению освобожденных территорий, Маленков, видите ли, поощрял индивидуальное строительство жилых домов. Во внешней политике он не препятствовал союзу коммунистов с националистами в странах Восточной Европы. Жданов пустил в дело показания разведчика Гузенко, перешедшего на Запад. Тот объявил на весь мир, что советский план проникновения в атомные тайны США курирует не кто иной, как секретарь ЦК Маленков.

Осада крепости кончилась победой Жданова еще до истечения сорок шестого года: Сталин отправил Маленкова в Среднюю Азию. Вместе с ним горечь поражения испытали все члены некогда могущественного клана. Овладев секретариатом ЦК, Жданов сместил всех сторонников Маленкова — в Москве и на местах. И вот тут он совершил роковую ошибку. Полагая, что позиции Берии после остракизма Егора (как товарищ Лаврентий называл Георгия Маленкова) подорваны, Жданов поручает своему верному помощнику А. Кузнецову, в ранге секретаря ЦК, курировать Органы государственной безопасности и Вооруженные Силы страны. Началась очередная чистка МВД — впервые без участия Берии. Люди из клана Жданова заняли ключевые посты — Н. Вознесенский стал первым заместителем Председателя Совета Министров СССР, М. И. Родионов — Председателем Совмина РСФСР.

Все это происходило не только с ведома Сталина, но по прямому его наущению. Поддерживая ныне ждановцев, кремлевский охотник бил сразу по двум зайцам — по группе старых членов Политбюро и по Берии. В роли загонщика генсек использовал самого Жданова. Только век ему выпал короткий. 31 августа 1948-го Жданов скоропостижно скончался. Не будем удивляться, если когда-нибудь истории станет известно, что и к этому акту Берия руку приложил.

Маленков пробыл в изгнании всего два года и был восстановлен на посту первого секретаря. Началась чистка партийного аппарата. Для Маленкова и Берии давно уже не существовало разницы между такими понятиями, как «чистка», «устранение» и убийство. Уничтожению подлежали все члены ждановского клана — в Москве, Ленинграде, на местах.

Через восемь лет Хрущев вспоминал: «Повышение Вознесенского и Кузнецова встревожило Берию... Именно Берия предложил Сталину, что он, Берия, со своими сообщниками сфабрикует против материалы в форме заявлений и анонимных писем».

21 июля 1949 года министр государственной безопасности Абакумов доложил Сталину о том, что первый секретарь Ленинградского горкома партии Капустин разоблачен как английский шпион.

23 июля Капустина арестовали. 30 июля Капустин признался в шпионской деятельности. 1 августа прокурор подписал ордер на его арест.

Из показаний бывшего следователя Сорокина: «Мне было тогда же передано указание Абакумова — не возвращаться в Министерство без показаний Капустина о шпионаже. Я с ним долго мучился. Только 4 августа Капустин подписал протокол и назвал соучастников контрреволюционной деятельности: Кузнецова, Попкова, Вознесенского и других».

Из показаний бывшего второго секретаря Ленинградского горкома Турко: «Следователь Путинцев в Лефортовской тюрьме бил меня по голове, по лицу, бил ногами. Однажды он меня так избил, что пошла из уха кровь. После таких избиений следователь отправил меня в карцер. Он угрожал уничтожить мою жену и детей, а меня осудить на двадцать лет, если я не признаюсь. Он заявил мне, что следствие — это голос Центрального Комитета партии и что, ведя борьбу со следствием, я веду борьбу с ЦК. Путинцев понуждал меня подписать готовый протокол допроса, но я сказал, что тут — одна ложь и, к тому же, возведена клевета на товарища ЖДАНОВА. Путинцев заявил, что они ведут следствие, не взирая на лица. Я отказался подписать этот протокол, тогда Путинцев меня избил и бросил в карцер».

Эти скупые свидетельства заставляют многое вспомнить, о многом подумать. Двенадцать лет отделяют год сорок девятый от тридцать седьмого. Отгремели очередные пятилетки, прошла война с гитлеровской Германией. Десятки миллионов смертей, раны, голод, разруха — неимоверные страдания очистили душу народа, оскверненную сталинщиной. Но Отец Родной не отпустил мертвой хватки. Ничего не изменилось в карательной науке, в следственной практике. «Голос ЦК...» — это самое говорили заплечных дел мастера ежовского призыва Рыкову и Бухарину, Тухачевскому и Орахелашвили. И все дело ленинградской группы, состряпанное Абакумовым,— точный слепок с дел тридцатых годов. Тогда Абакумов был рядовым сотрудником Лубянки. Посредственность, вознесенная по прихоти Хозяина на высокий пост, он исполнял теперь лишь веления генсека. И Берии.

Лаврентий Берия как член Политбюро курировал органы кары и сыска и, изучив до тонкости вкусы Вождя, наловчился подталкивать ход мыслей Сталина в нужном направлении, провоцировать его на выгодные лично ему, Берии, решения. В этой крупной политической игре Абакумов выше роли статиста не поднимался. А ведь Сталин полагал, что сам, как в былое время, руководит очередной резней. Ныне — с помощью Абакумова. Но Вождь самообольщался. «Абакумов — человек Берии... Директивы давал Лаврентий Берия»,— свидетельствует Никита Хрущев.

Докладывая Сталину о «своих» планах и о ходе следствия, Абакумов на Берию не ссылался — на это у него профессиональной сообразительности хватало.

Берия не уставал чернить усопшего кронпринца и его окружение. Злокозненные интриги Берии и Маленкова против Жданова, затеянные ими еще до начала войны, не прекращались вот уже десять лет. Теперь они взялись за ставленников Жданова — Кузнецова, Косыгина, Вознесенского. Одним из первых пострадал главный редактор журнала «Большевик» Федосеев.

Втайне вершилась и перегруппировка сил в центральном аппарате. Заместитель Председателя Совета Министров Алексей Косыгин оказался дальновидней других и, почуяв неладное, тотчас покинул клан ждановцев и стал служить новым фаворитам. К ним переметнулся и Михаил Суслов. Представители старшего поколения вождей Молотов, Каганович, Микоян, Ворошилов уже были отодвинуты на второй план. Они будто бы отступили от генеральной линии ленинско-сталинской партии. Вождь нуждался в действенной помощи энергичных, искренне преданных товарищей. Секретарь ЦК Суслов взялся обеспечить идеологический камуфляж кампании, предпринятой Берией и Маленковым против старых членов Политбюро. Но неутомимые заговорщики спешили обезвредить и молодых соперников, прежде всего — Вознесенского.

Это был, пожалуй, единственный человек, осмелившийся спорить с Берией. Вознесенский, возглавив Госплан, пытался внести в распределение экономических ресурсов рациональное начало, он смело давал отпор сановным конъюнктурщикам. В подчинении Берии находилось по крайней мере четыре министерства, и он по привычке требовал перераспределения средств на потребу своей вотчине. Именно в это время Сталин доверил Вознесенскому председательское кресло на заседаниях Совета Министров. Опасный симптом.

Добившись от арестованных ленинградцев разоблачения Вознесенского как вражеского агента, Берия, поддержанный Маленковым, сумел убедить Хозяина в неблагонадежности вчерашнего фаворита. Постановление ЦК о редакции журнала «Большевик», среди прочего, осуждает заведующего агитпропом Шепилова за восхваление книги Вознесенского «Военная экономика СССР в период Великой Отечественной войны». Хвалить там действительно нечего, но этот опус графоманствующего партфункционера был удостоен Сталинской премии...

Прошло несколько дней, и ретивые царедворцы добились от Сталина смещения Вознесенского со всех высоких постов. Арестовать его Берия еще не мог. Пока Вознесенского «отложили на лед» (выражение Хрущева) — так у них называлась игра в «кошки-мышки». Вознесенский продолжал обедать вместе со Сталиным на его квартире, но «это был уже другой человек. От его ясного ума, уверенности не осталось ничего».

Сталин спрашивал Маленкова и Берию: «Почему бы не дать Вознесенскому какую-нибудь работу? Пока мы решаем, что с ним делать, он мог бы возглавить правление Госбанка...» — «Да, да, мы это обдумаем»,— отвечали в один голос приятели. И ничего не делали для трудоустройства Вознесенского.

А Сталин в свои семьдесят лет был уже не тот. Наскучили ему кровавые игрища, притупился вкус к политическим провокациям, да и воля стальная, будто разъеденная бериевскими интригами, стала изменять ему. Лишь страсть к театральным эффектам, коварным мизансценам сохранил стареющий тиран.

...Вознесенского взяли ночью, когда он вернулся домой, окрыленный лаской и вниманием, которыми Хозяин неожиданно удостоил его за поздним товарищеским ужином.

Допрашивали Вознесенского там же, где и ленинградских вождей Кузнецова, Капустина, Родионова,— в Москве, на «Матросской тишине». Там находилась специальная тюрьма председателя КПК Матвея Шкирятова. По части злодеяний, свершенных во имя и во славу Сталина, он мог бы поспорить и с Ягодой, и с Ежовым, и с Берией. Но в Кремлевской стене, там, где замурованы урны с прахом великих деятелей, красуется только его имя. Несправедливо.

Итак, следствие в шкирятовской кутузке шло своим чередом. Потом состоялось обычное заседание Политбюро, генсек первым подписал текст приговора по «Ленинградскому делу», к которому пристегнули и Вознесенского. Бумага пошла по кругу — малые вожди, как обычно, подписали не глядя...

А началось все с не столь уж опасного для жизни постановления Политбюро ЦК от 15 февраля 1949 года «Об антипартийных действиях члена ЦК ВКП(б) тов. Кузнецова А. А. и кандидатов в члены ЦК т.т. Родионова М. И. и Попкова П. С.». Им инкриминировали устройство в Ленинграде междугородной ярмарки, что нанесло якобы огромный экономический ущерб государству. С высоты 90-х годов — бредовое обвинение. Но тогда любой шаг правителей воспринимался как шаг директивный...

Как водится, коммунисты Ленинграда единодушно и с огромным удовлетворением одобрили это постановление и тотчас с энтузиазмом принялись исправлять, укреплять и, естественно, разоблачать. Дело привычное. Вся работа — партийная, советская, хозяйственная — оказалась оскверненной неумелым руководством. На идеологическом фронте — форменная контрреволюция. Как внезапно обнаружилось, издательства выпускали произведения халтурные и безыдейные, газеты прославляли тех самых руководителей, которые зарвались, оторвались, но просчитались. Библиотеки оказались забитыми троцкистской литературой. Пришлось — понимаете, пришлось! — снимать почти всех ответственных работников научных, культурных и прочих идеологического разряда учреждений и заменять их выдвиженцами. Из Москвы прислали на подмогу сильный десант бодрых и непреклонных выпускников Академии общественных наук при ЦК партии.

Колесо перемен завертелось, набирая скорость. Поначалу никто не знал, что Кузнецов, Попков, Капустин, Родионов и близкий соратник генсека Вознесенский являются врагами народа. В постановлении ЦК говорилось об ошибках, нарушениях государственной дисциплины. Центральный Комитет решил снять товарищей, наложить на них партийные взыскания — и только. А за официальными кулисами творилось что-то страшное. На старые слухи наплывали новые, догадки сталкивались с предположениями. Все твердо усвоили лишь одно: за чрезмерную бдительность еще никто не пострадал и за жестокость к ближним — тоже. Словом, лучше «пере...», чем «недо...». Город зажил фантастической жизнью. (Подробности, детали всплыли лишь пять лет спустя, когда уже не было в живых ни Сталина, ни Берии. Два дня, 6 и 7 мая 1954 года, в Ленинграде заседал областной партийный актив. На нем предали гласности — нет, не то, какая ж это гласность? — открыли в узком кругу партфункционеров осьмушку правды.)

Так думал направленный Сталиным в город на Неве в феврале сорок девятого новый секретарь Ленинградского горкома и обкома Василий Андрианов. И действовал соответственно. Начал он с тщательного изучения протоколов всякого рода заседаний, собраний, конференций, выискивая антипартийный криминал. Андрианов знал, кому это может понадобиться, и, улучив момент, послал поздравительную телеграмму Лаврентию Берии. Опираясь на своих сугубо доверенных сотрудников, Андрианов той же весной начал «чистить» партийный аппарат. С прибытием в июне подкрепления из Москвы и других городов России замена старых кадров превратилась в настоящий погром: снимали с постов, исключали из партии десятками, сотнями партийных, советских, профсоюзных и комсомольских работников. При этом Андрианов несколько раз просил ЦК и лично Маленкова санкционировать расширение аппарата партколлегии, а потом вовсе упростил процедуру исключения из партии, поощряя анонимные заявления-доносы.

Редкое даже для того времени служебное рвение Андрианов проявил и на суде. Он

сидел в первом ряду и с деланным удивлением комментировал «чистосердечные признания» бывших руководителей.

Фрол Козлов, недавно назначенный вторым секретарем горкома, в дни, предшествовавшие массовой резне, посетил управление милиции и увидел в клубе плакат, рекламирующий книгу Вознесенского «Послевоенная экономика Советского Союза»: «Кто здесь секретарь парторганизации?! Шевченко? Вы что, пропагандируете книгу врага народа? Садись в машину!» — и увез злополучного секретаря в никуда.

Позднее, в 1954 году, Руденко с привычно наигранным возмущением заявит, что Центральный Комитет не поручал органам госбезопасности заводить дело на смещенных ленинградских руководителей. Достаточно затасканный иезуитский прием из арсенала его предшественника на посту генерального прокурора Вышинского.

Из показаний бывшего следователя Сорокина: «Мы содержали арестованных ленинградских руководителей изолированно друг от друга и требовали от них признаний, ссылаясь на показания их же товарищей. Они упорствовали. Тогда пришлось применить жестокие методы воздействия — Абакумов требовал протоколы допросов чуть ли не каждый день, он приказал уже в июле добиться результатов любой ценой».

Вот так. Никто не поручал, никто не сообщал об арестах, а бериевские костоломы уже выбивают нужные показания.

Из показаний бывшего подследственного Штейнберга: «В ночь со 2 на 3 августа я был арестован и доставлен в Лефортовскую тюрьму. Сразу же вызвали на допрос к Рассыпинскому, а затем перевели в кабинет к Комарову. Он потребовал, чтобы я признался во враждебной деятельности. Я отказался. Так как я и на следующих допросах отказался подписать ложные показания, меня на одном из последних допросов избили. Комаров заставил меня встать, ударил два раза по лицу, выбил два зуба, затем они вместе с Рассыпинским потащили меня к креслу и избили резиновой дубинкой. На следующем допросе Комаров сказал: „Так, теперь перейдем на пятки". Меня уложили на пол, сняли полуботинки и били той же дубинкой по подошвам и пяткам. Всего таких сеансов было семь. Причем вызывали на допрос днем и ночью — с 12 часов до 4, а чаще — до 5 часов утра. Спать не давали. После седьмого допроса я не выдержал и сказал, что согласен дать показания».

Чего же так настойчиво добивались от Штейнберга?

Как позднее рассказал Микояну Руденко, «им», то есть Абакумову (читай — Лаврентию Берии), нужны были показания против Жданоаа, а заодно — против Молотова.

Достаточно только прикоснуться к пресловутому «Ленинградскому делу» — даже не вникать, не изучать материалы,— чтобы сразу рассеялись иллюзии, связанные со смягчением сталинской политики террора. Нет, что Ежов, что Берия — «хрен редьки не слаще».

Из показаиий бывшего подследственного Турко: «Часто заходил во время допросов подполковник Рюмин. Он требовал признаний и говорил, что меня надо убить за то, что я отрицаю свою вину. „Мы бьем и этого ни от кого не скрываем"».

Как сообщил Руденко на собрании актива 6 мая 1954 года, Турко с 26 августа по 29 октября 1949 вызывали на допрос 49 раз и — всё ночью. Днем спать, как водится, не давали. Следователь Путинцев показал, что действовал по прямому указанию Абакумова. Комаров, особо доверенное лицо Абакумова, бил всех подследственных.

«Где же был прокурорский надзор?» — этот риторический вопрос задал на собрании партактива сам Руденко, новый генеральный прокурор. И никто не почувствовал пронзительного юмора ситуации. Не та аудитория...

Но Руденко уже понесло. Признав, что этого самого надзора по существу не было, он обвинил руководителей Прокуратуры СССР в... отсутствии мужества. Они, видите ли, не осмелились со всей остротой и партийной принципиальностью поставить перед Центральным Комитетом и правительством этот вопрос. Руденко признал, что за все время существования Прокуратуры СССР ни разу не проверялись внутренняя и Лефортовская тюрьмы МГБ. Он назвал причину: Берия, Меркулов, Абакумов запретили пускать туда прокуроров по надзору. Когда недавно, весной 1954 года, представитель прокурорского надзора проверял эти тюрьмы — впервые за много лет! — он зашел в камеру, где содержался Абакумов. «Нет ли у вас каких-либо жалоб на тюремный режим и условия содержания?» — спросил прокурор у арестованного. «Я никогда не поверю тому, что прокурор может посетить тюрьму для проверки».— «Пожалуйста, ознакомьтесь с моим удостоверением»,— предложил прокурор. «Любое удостоверение можно изготовить...»

Пытаясь удовлетворить общественное мнение (общество было представлено тысячью партаппаратчиков, обществу совсем не обязательно знать, куда и почему исчезают миллионы его граждан и кто в этом виновен), Руденко сообщил о снятии с поста бывшего генерального прокурора Сафонова. И об упразднении Особого совещания при МВД.

Руденко: «Строго установлено, что уголовное наказание может быть назначено только по приговору народного суда и только за совершенные преступления».

Хрущев: «Главное для них было — решать без следствия».

Руденко: «Совершенно верно».

Хрущев: «После смерти Сталина Берия хотел сохранить это».

...Никита Сергеевич не в состоянии облечь свою мысль в ясную форму. Он, конечно, имел в виду не упразднение процесса следствия при Берии, а применение незаконных средств, пыток, а также фальсификацию показаний — как в добрые сталинские времена.

А следствие по «Ленинградскому делу» и подготовка спектакля, то бишь суда, близились к концу.

Закржевская, заведующан отделом партийных, комсомольских и профсоюзных органов обкома, ждала ребенка. Ее арестовали и мучили непрерывными ночными допросами, пока не случился выкидыш. Не выдержав пыток, Закржевская подписала все... Следователь Комаров, только что произведенный Берией в полковники, получил данные, полностью изобличающие руководителей Ленинграда в антисоветском заговоре. Перед началом судебного процесса Комаров вел *специальную* подготовку. Устраивались репетиции, заучивались наизусть показания. В ходе процесса Комаров, Путинцев и Носов (еще один следователь МГБ) еще и еще раз наставляли обвиняемых Турко, Закржевскую и Михеева. И *предупреждали.*

Из показаний Турко (1954): «Меня предупредили: суд идет и пройдет, а вы останетесь у нас».

Выездная сессия Верховного суда СССР рассматривала дело группы заговорщиков и изменников Родины в Ленинграде. Все обвиняемые — и главари, и рядовые члены банды (чего уж там стесняться) — *признали* себя виновными и были приговорены к смертной казни. Едва затихло эхо последнего слова приговора, как рослые охранники набросили на смертников белые саваны, взвалили себе на плечи и понесли через весь зал.

Эффектный для спектакля в духе мрачного средневековья финал.

...В 1955 году в Ленинградском Доме офицеров судили Абакумова.

Руденко: «Зачем вы это тогда сделали?»

Абакумов: «Для психологического воздействия на присутствующих. Все должны были видеть наше могущество, несокрушимую силу Органов».

Как признал Руденко, по «Ленинградскому делу» было арестовано *свыше* двухсот человек и всех пропустили через Особое совещание. А сколько «свыше» — еще столько же? Или в пять, в десять раз больше? Сколько просто сняли с работы, исключили из партии, выслали?

В Ленинском районе сняли директора Кировского завода (бывшего Путиловского) Смирнова. Он, видите ли, был *знаком* с секретарем горкома. За ту же провинность исключили из партии, а значит, оставили без куска хлеба заведующего районным финансовым отделом Федотова. Сотни коммунистов были исключены, сняты «за связь с Попковым, Кузнецовым, Лазутиным, Родионовым». Потом арестовали — *по второму* заходу — десятки секретарей райкомов и председателей райисполкомов.

Директор областной партшколы Домокурова посетила секретаря обкома Кузнецова и получила лично указания касательно постановки учебы в школе. Этого одного оказалось достаточным, чтобы с ней расправиться как с пособником врага. Но этого мало. В партшколе демонстрировалась карта с обозначением городов, куда шли изделия ленинградских предприятий. И хотя ранее эта карта была выставлена на областной партконференции, но оправдаться бедной женщине никто из разгневанных мужчин не позволил: «Не выпячивай город Ленина, колыбель Октября!»

Новые руководители принялись с пугливым усердием менять весь партийный и хозяйственный аппарат — сверху донизу. Исключение из партии стало массовым. И высылка семей репрессированных. Как в памятные тридцатые. Дошло до того, что достаточно было назваться ленинградцем, и бюро не утвердит в номенклатурной должности. Будто дегтем измазали ворота города Ленина...

Васьковского, секретаря обкома ВЛКСМ по военной работе, вызвали на заседание бюро райкома партии. Он всю войну провел в тылу врага, ранен, награжден, но был же, был связан с разоблаченными руководителями! Исключить! Васьковский пытался протестовать, объяснять... Поднялся Фрол Козлов: «Хватит, товарищ Васьковский! Вы дышали *их* воздухом! Этого достаточно!»

Нет, то была не ординарная политическая кампания — кампания бичевания руководителей и самобичевания подчиненных. То был натуральный погром. Послушаем, с каким старанием прокуратура, опережая органы, искореняла воображаемую крамолу. Городской прокурор Однаков возбудил уголовные дела против руководителей всех районов. Вызвали свидетелей — директоров предприятий, секретарей парторганизаций. По двадцать — двадцать пять томов настрочили на каждый район города, распятого в угоду кремлевским интриганам.

...К одному из секретарей обкома обратился заведующий Ленинградским отделением ТАСС Савраскин: в архиве ТАСС хранятся фотографии Кузнецова, Попкова и Вознесенского. На некоторых групповых снимках есть товарищ Жданов. Как быть? Секретарь обкома Казьмин ответил: «Те снимки, где Кузнецов, Попков, Вознесенский одни, надо немедленно уничтожить. А те, где есть товарищ Жданов, придержи, будем советоваться с Москвой».

Пока советовались, Савраскину дали строгий выговор — на всякий случай. На охоту за ведьмами кинулся весь партаппарат. Достаточно было обнаружить в книге имена казнен-

ных, как ее изымали, автора привлекали. Так случилось с книгой Сафарова «Дорога жизни». Бюро обкома, бюро райкома разбирали сотни, тысячи персональных дел, возбужденных по лживым, часто анонимным доносам. Два года партаппарат только и делал, что изучал пустые, злобные кляузы.

Что осталось от дворянского Петербурга... Но рабочий класс, класс-гегемон — откуда в пролетарском Питере такое сонмище пакостников? Или это новый служивый люд, неугомонное племя шкурников и мародеров? Они благополучно дожили до разоблачительного пятьдесят четвертого года и на собрании партактива принялись со вкусом, со знанием дела перебирать грязное белье убиенных. Оказывается, Тихонов принимал подарки от секретаря Кировского райкома Козодоя и, подумать только, выпивал с ним. Частенько посещали райком Попков и Капустин и — есть такие сведения — участвовали в попойках. Задолженность тресту столовых за угощение Козодой покрывал после реализации райкомовского имущества — бильярда и ковров...

А чего стоит выступление заведующего отделом агитации и пропаганды горкома Кузнецова (однофамильца казненного). Вначале он упоминает постановление ЦК 1949 года как *гениальный* Акт, как научное откровение, в конце же славит «новое *мудрое* решение ЦК» 1954 года. Все смешалось в доме том — «за здравие», «за упокой»... Уж ежели такому профессиональному идеологу неведома разница — что с остальных спрашивать.

Так и не поняв, не пожелав понять провокационной сути состряпанного Берией и Маленковым Постановления ЦК 1949 года, партруководители Ленинграда спустя пять лет все еще талдычат об «ошибках» Попкова, Кузнецова, Вознесенского, а секретарь Петродворцового райкома Вольнягин с застарелой пеной на ответственных устах вспоминает основополагающие документы тридцатых расстрельных лет и особо — погромное решение февральско-мартовского Пленума 1937 года. Он умиляется сам и приглашает умиляться своих коллег по поводу людоедских директив, которые — он в том уверен — актуальны вовеки.

На том же моральном уровне прошла реабилитация. Руденко объявил, что жертвы Берии и Абакумова — Кузнецов, Попков, Вознесенский, Капустин, Лазутин и Родионов — реабилитированы посмертно. Турко, Закржевская и Михеев, осужденные на длительные сроки заключения, освобождены из тюрьмы и тоже реабилитированы. Вслед за ними были реабилитированы тысячи репрессированных членов партии. Один оратор отметил с удовлетворением, что решение ЦК снимает позорное пятно со всей ленинградской организации. Другой предостерег товарищей от благодушия: нельзя-де рассматривать последнее решение ЦК как некую всеобщую амнистию. И снятые тогда со своих постов секретари заслужили свою участь, ибо оторвались от масс. Второй оратор не уточнил одну деталь — одобряет ли он и казнь старых секретарей, и высылку их семей. Но стоит ли думать о таких пустяках. Главное — участники собрания аплодировали с равным расположением и первому, и второму оратору.

Смело выступил председатель Октябрьского райисполкома Соколов. Он сказал, что принцип коллегиальности руководства нарушался не только в Ленинграде, но и в центре. В зале присутствовал Никита Хрущев, он зачитал основательный доклад об уроках «Ленинградского дела», но текст доклада из стенограммы изъяли, отправили в Москву и засекретили. Сколько раз на этом собрании повторяли имя Ленина, с каким вожделением говорили о гласности, о критике, невзирая на..., о принципиальности и отваге в борьбе за... Сколько раз...

Итак, в присутствии Хрущева смело выступил Соколов. Берия и Абакумов окружили себя непробиваемой стеной, сказал он, и творили чудовищные преступления совершенно безнаказанно. Этому способствовала сама обстановка в партии, отказавшейся от принципа коллективности руководства. Что изменилось ныне? В прошлом году, например, секретарь горкома Носенков принялся составлять списки лиц, подлежащих исключению из партии,— без участия райкомов, самолично.

О диктаторских замашках секретаря обкома Андрианова говорили многие. Да и Фрол Козлов, призванный выправить положение, оказался скор на неправедную расправу. До чего же он живуч, сталинский стиль...

В мае 1954 года, через пять месяцев после казни Берии, устроителя ленинградской резни, руководители области собрались, чтобы вместе с Никитой Хрущевым и Руденко осудить бериевщину. Два дня они осуждали (попутно умудряясь одобрять), разоблачали, критиковали (попутно шельмовали и лгали друг другу) и клялись в верности Москве. И все это время над ними витал неистребимый дух Лаврентия Берии.

* * *

Почти десять лет прошло с той поры, как Берия переселился в Москву. Но, занятый государственными делами, послевоенным устройством стран Восточной Европы, истреблением новых подданных Иосифа Сталина, мог ли Лаврентий Павлович забыть о родном грузинском народе? Да и Хозяин вряд ли простил бы ему такое упущение. После памятных тридцатых годов подросло молодое поколение, обогащенное значительным историческим опытом, полное надежд на либерализацию государства и общества. Неужто и теперь, после победоносного окончания войны, Генералиссимус не распахнет все окна и двери нашего дома для правдивого слова и свободной мысли?

Ответ последовал очень скоро.

Когда агенты тайной службы заметили, что среди филологов Тбилисского университета образовался явный излишек оригинально мыслящих интеллигентов, за ними установили специальное наблюдение и дали задание осведомителям — штатным и нештатным — доносить о каждом слове и каждом шаге подозреваемых. Среди смутьянов выделялись Гиви Магулария, Тенгиз Залдастанишвили, Отия Пачкория... Они были так неосторожны, что позволили себе рассуждать не только о научных достижениях, но и спорить о философии, государственной политике. Охранники из грязного ведомства арестовали группу студентов и аспирантов, следователи с привычной сноровкой оформили группу в террористическую организацию. Министру госбезопасности Николаю Рухадзе хотелось выслужиться перед дорогим Лаврентием Павловичем, поэтому в сценарий «дела» были включены поездки террористов в столицу. Их обвинили в подготовке взрыва стен Московского Кремля, уничтожения Мавзолея Ленина, покушения на жизнь Сталина...

Подследственные выдавали главарей и поставщиков бомб и револьверов, называли даты, маршруты. Кто-то упрямо отказывался от сочинительства и терпел пытки, однако в лагерь на истребление отправили тех и других.

Летом 1952 года в Туруханском крае тянули свой арестантский век два старых грузина, из тех меньшевиков, которых изолировали от чистых граждан еще в начале двадцатых годов. Гиви Арахамия заведовал колхозным ларьком, Вано Майсурадзе работал в бухгалтерии. Оба отсидели с малыми перерывами по 25 лет, в сорок восьмом получили бессрочную ссылку.

«Давай напишем Сталину»,— сказал однажды Гиви. «Что же ты хочешь ему написать?» — «Напомню ему о совместной подпольной работе при царе и...» — «А стоит ли?» — встревожился Вано. «Действительно, не стоит...» — «А если мы все-таки ему напишем, кому попадет наше письмо, как ты думаешь?» — «Сталину, конечно»,— ответил Гиви. «Нет, оно попадет Лаврентию Берии. Он сам доложит его генсеку. И Сталин спросит: „А кто они такие, Арахамия и Майсурадзе?" Тогда Берия скажет, что нас первый раз посадили в двадцать третьем, потом в двадцать девятом, еще потом в тридцать седьмом, потом... „А что, они до сих пор не подохли?!" — спросит Сталин. Он даже крикнет, он очень обидится. И тогда Берия нас прихлопнет, как мух на базаре».

«Знаешь, кацо, не будем ничего писать. От этой собаки можно ожидать всего...»

* * *

Данные разведки о работах западных ученых заставили Сталина уже в 1943 году принять экстренные меры по созданию своего атомного оружия. Другой проблемой, требовавшей оперативного решения, оказалась радиолокация. Отставание в этой области было особенно заметным. В ту пору карьера Лаврентия Берии шла еще на подъем. Сталин доверял ему более всех остальных подручных. Вместе с ним и ведущими физиками А. Ф. Иоффе и П. Л. Капицей генсек обсуждал кандидатуры на пост научного руководителя Уранового проекта. Референту Берии генералу В. А. Махнееву запомнилось высказывание Сталина: «Ближе всех к атомным делам стоят, конечно, Иоффе и Капица. Но они имеют уже мировую славу и к тому же — директора институтов. Если поручить решить такую важную проблему им, то она станет серьезной помехой в их повседневной работе. Поэтому,— продолжал Сталин,— надо подыскать талантливого и относительно молодого физика, чтобы проблему создания атомного оружия возглавил он и чтобы решение этой задачи стало единственным делом его жизни. А мы дадим ему власть, сделаем его академиком и, конечно, будем зорко его контролировать...»

Имя Игоря Васильевича Курчатова впервые назвал А. Иоффе на одном из ближайших совещаний с участием известных академиков. Курчатова, работавшего в ленинградском институте у Иоффе, пригласили в Москву с единственной целью — познакомиться с этим сравнительно молодым еще ученым-атомщиком. И после первой же беседы остановили свой выбор на нем.

Тогда же для ускорения работ между членами Политбюро были распределены обязанности. Такое важное дело, как разведка рудных запасов и промышленная добыча урана, взялся курировать В. Молотов. Однако уже к весне 1945 года стало ясно, что он с поручением не справился.

Уран нужен был, как воздух, и когда по окончании войны стало известно о наличии запасов руды в Германии, туда выехала геологоразведочная группа в составе видных специалистов. Комиссар госбезопасности Иван Серов, которому Берия поручил руководить этой операцией в Саксонии, решил разыскать и привлечь к работе немецких ученых. Однако там стояли американские войска. Покинули они вожделенный район только после категоричного представления маршала Жукова.

Вопрос о разработке урановой руды в Саксонии был рассмотрен на заседании Совета Министров СССР в июне 1946 года. В город Фрайберг, где находился штаб первого отряда советских специалистов, отправилась группа ответственных работников во главе с генерал-майором Михаилом Мальцевым, видным функционером лагерной системы. Он, как и Серов, был ближайшим сотрудником Берии и подчинялся лично ему. Формально же — Специвльному комитету обороны при Совете Министров СССР. Главнокомандующего группой советских оккупационных войск в Германии маршала В. Д. Соколовского обязали оказывать Мальцеву всемерное содействие. В подчинение Мальцеву была передана отдельная бригада, оснащенная автотранспортными средствами и техническим оборудованием. Штаб бригады передислоцировали из Дрездена в Ауе. Для конспирации было образовано акционерное общество «Висмут» под командой генерала Мальцева. Структура фирмы напоминала бериевские лагеря смерти: штаб, которому подчинялись 27 отдельных объектов (в лагерях — «колонны» и ОЛПы). При каждом объекте — особый оперуполномоченный службы госбезопасности (в лагерях — непременный «кум»). Опергруппе МГБ подчинялась специальная горная милиция, надзиравшая за немецкими рабочими и служащими. Охрану штаба, рудников, шахт, лабораторий, складов взрывчатки генерал Мальцев доверил пограничным войскам МГБ (двум батальонам 4-го погранполка).

На первых порах возникли трудности с использованием давно заброшенных шахт, где ранее добывали серебро и кобальт. Мало того, что все оборудование нуждалось в ремонте и замене,— отсутствовала техническая документации. Спасла положение оперативная группа общества «Висмут». Агенты бериевского ведомства разыскали уцелевших в истребительном смерче специалистов, и в октябре 1946 года удалось наладить добычу урановой руды на ряде объектов.

В своих планах научно-исследовательской работы особое место Берия отвел немецким ученым, ранее занятым в лабораториях «Рейхс институт дер Кайзер Вильгельм Гезельшафт» в Берлине. Агенты разведывательной службы МГБ вывезли ведущих сотрудников этого института во главе с директором, известным физиком-атомщиком Манфредом фон Арденне. В плен попал также бывший директор Лейпцигского института физики, ученик Вернера Гейзенберга, профессор Депель. Вместе с ним — профессор Бевильгуа. Но самой ценной добычей гебистов стал, пожалуй, Нобелевский лауреат Густав Герц, которого насильно вывезли в Крым.

Бериевские селекционеры выискивали ученых-атомщиков в обычных истребительных лагерях по всей стране, вербовали нужных людей в лагерях для военнопленных. Один из таких лагерей находился в те послевоенные годы под Тбилиси, другой — в Сухуми.

Почему Берия избрал для атомного исследовательского центра Сухуми? Вероятно, не последним аргументом послужила отдаленность места от крупных городов, а благоприятный климат и южная природа должны были скрасить условия заточения германских ученых и техников, числом около двухсот. Их дополнили сто двадцать советских сотрудников: часть из них — молодые физики-атомщики из университетов Москвы и Ленинграда, часть — обслуга.

Под лаборатории и жилье отвели значительную территорию на холме близ моря, полтора километра в ширину и семь километров в длину, и окружили со стороны суши тридцатиметровой ширины запретной зоной. Вокруг трехэтажного здания лаборатории поставили еще один проволочный забор. Безопасность и секретность обеспечивали часовые войск МВД.

Так называемый «Сухумский проект», созданный при руководящем участии Берии, существовал еще долго после его казни. О судьбе немецких специалистов нам ничего не известно, надеемся, что их отпустили потом на родину.

В 1946 году в глубине территории, под прикрытием деревьев, построили жилые дома с просторными комфортабельными квартирами для немецких ученых. Техникам — немецким и советским — предоставили другое жилье. В том же здании жили офицеры охраны. Для солдат построили казарму. Очень скоро на берегу моря вырос изолированный от внешнего мира автономный городок со своими магазинами, столовыми, гаражами, починочными мастерскими, банями, пляжами, кинотеатром и парком.

Формально немецкие ученые рвботали по контрактам, заключенным с 1946 по 1950 год, с высокими месячными окладами. Вспомогательный персонал был тоже отлично обеспечен. В свободное время некоторым позволяли посещать Сухуми, разумеется, в сопровождении агента в штатском. Летний отпуск они проводили, по желанию, на других курортах страны.

История советской атомной программы обросла легендами, развеять их помогут факты. Прежде всего следует уяснить, что роль немецких ученых в разработке атомного оружия была вспомогательной. Реализация нашими учеными отечественной программы велась на базе фундаментальных исследований в области ядерной физики, начатых задолго до Отечественной войны. Уже в 1932 году в ЛФТИ, которым руководил академик А. Ф. Иоффе, работала лаборатория атомного ядра И. В. Курчатова. В исследованиях участвовал ряд других институтов. В 1933 году состоялась первая Всесоюзная конференция по атомному ядру. Председатель оргкомитета — И. В. Курчатов. Однако в те годы ни Академия наук, ни Совнарком не придавали начатым исследованиям практического значения, хотя некоторые лаборатории, например, П. П. Кобеко и А. П. Александрова, уже выполняли оборонные задания.

Перед войной работы советских специалистов, объединенных советом ученых, составили одну треть публикаций по ядерной физике. Заметной вехой в этой области стали исследования Я. Б. Зельдовича и Ю. Б. Харитона, которые в 1940 году первыми в мире доказали возможность осуществления цепной реакции деления урана. Вслед за ними Г. Н. Флеров и К. А. Петржак, при непосредственном участии И. В. Курчатова, открыли явление спонтанного деления урана. В начале войны Флеров обращается с предложением начать разработку атомной бомбы к Сталину, Кафтанову, Курчатову. После назначения последнего научным руководителем Урановой проблемы при АН СССР создается лаборатория № 2. Конкретная разработка бомбы поручена Ю. Б. Харитону. В дело включаются Я. Зельдович, И. Кикоин, Г. Флеров.

Немецкий опыт был использован еще в одной области науки и техники — ракетостроении. В 1947 году под Москвой, в Подлипках, вырос новый поселок с лабораториями, мастерскими и бытовыми службами для 177 немецких специалистов. Здесь, как и в Сухуми, были созданы условия строгой секретности: бывшие подданные гитлеровского рейха налаживали выпуск ракет «ФАУ-2». Затем их перевели в новое место, в филиал № 1, откуда немецкие инженеры и ученые в 1951 году вернулись на родину. Все это дало повод иностранной прессе утверждать, будто без немецких специалистов Советский Союз не смог бы создать современное ракетное оружие. В действительности советские конструкторы внесли немало оригинального в отечественную программу, и уже в 1951 году армия получила на вооружение новую ракету «Р-2», а через год — мощную «Р-5», несущую ядерный заряд.

Разработку и производство этого сверхоружия контролировал все тот же Лаврентий Берия, его ведомство обеспечивало форсированное выполнение программы.

Что касается урановой руды, то интерес к ней проявился очень рано. Распоряжение о начале изысканий было отдано Дзержинским 23 июня 1924 года. Созданная вскоре при ОГПУ Особая экспедиция вошла в систему ГУЛАГа и широко использовала труд заключенных. Безвинные жертвы массового террора работали потом на урановых рудниках и гибли, гибли при Ягоде, при Ежове и Берии. При нем — в масштабах невиданных — на дальнем Севере, за Уралом, в Казахстане...

Один из лагпунктов под кодовым названием «Мраморный» был основан в конце 1945 года. Этап выгрузили морозной ночью на тихом полустанке и пешком отправили в тайгу. Охранники, тепло одетые, в валенках и шубах, грелись у костра, а подконвойные... многие не дошли до места. На долю тех, кто выжил, пришлось строительство бараков и проволочной ограды с вышками, железнодорожной ветки к руднику. И — специального шоссе. К началу добычи руды пригнали новый этап — 600 человек — на смену перемолотым.

Сколько было устроено таких бериевских мельниц! Упомянем еще одну — в Казахстане. В 250 километрах на юго-восток от Кустаная, в Аркалыке. Отрытые подневольными рабочими глубокие шурфы показали наличие богатого месторождения ценной руды. И к началу 1945 года там уже функционировал большой лагерь. Заключенных разбили на бригады по семь-восемь человек, на каждую бригаду — бидон воды и буханка черного хлеба в день. Двенадцатичасовая смена, без выходных, холодные бараки, произвол охраны и надзирателей, террор уголовников. В довершение — ядовитые газы в забоях. Жертвы исчислялись тысячами, им на смену шли из России тысячные этапы свежих «врагов».

Система...

На строительстве объектов новой отрасли производства и исследовательских лабораторий Берия проявил невиданную энергию и мобильность. Он не уставал лично выбирать площадки для заводов, обследовать территорию будущих жилых поселков, следить за ходом строительства. Транспортные средства, снабжение, охрану обеспечивали особо уполномоченные полковники и генералы госбезопасности. Они же следили за соблюдением секретности. И никаких вольностей. Это в Америке всякий сумасброд волен оставить начатое дело и даже выступить публично с протестом. Берия мог не думать о взаимоотношениях ученых, военных и государственных деятелей. Просто и легко было ему решать все проблемы — вербовку ученых и инженеров, финансирование, снабжение, транспортировку грузов. Сталинский режим обеспечивал при реализации Атомной программы искомую монолитность руководителей, исполнителей и охранников.

В этих условиях удавалось достигать невиданно высоких темпов строительства объектов при отличном качестве работ. Пример тому — создание Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне, под Дмитровом. Берия старался лично вникать во все детали строительства международного научного центра, начиная с проекта

и кончая озеленением будущего города. Часто приезжал на строительство первого синхрофазотрона. В рабочей силе недостатка не было: как и на многих ударных стройках, здесь использовали труд заключенных. Дубна стала городом в 1956 году, но еще десять лет спустя оставались неподалеку от коттеджей, возведенных для ученых — своих и западных,— деревянные бараки бывшей зоны.

Заключенные работали на бериевских объектах в разных регионах, вплоть до Дальнего Востока. Из Дубны туда часто выезжали специалисты и всякий раз поражались образцово четкой организации дела. По всем маршрутам командированных оперативно и безотказно обслуживали на транспорте и в гостиницах, обеспечивая максимум удобств и все условия для работы. За каждым правительственным решением по Урановому проекту следовали без промедления практические меры. На объекты завозили все необходимые материалы, технику, сразу же приступали к строительству удобного жилья для так называемых вольных специалистов и зоны для заключенных, благо колючей проволоки в стране производили в избытке, с опережением нужды в ней.

* * *

Не надо думать, однако, будто Сталин, возложив ответственность за Урановый проект на Берию, устранился от непосредственного руководства этим делом. Вернувшись после Потсдамской конференции в Москву, он вызвал Курчатова и упрекнул его в излишней скромности. По мнению генсека, для ускорения работ надо требовать гораздо больше специалистов и материалов. Ученый пояснил: «Столько людей погибло, столько разрушено. Страна сидит на голодном пайке, всего не хватает». Сталин ответил раздраженно: «Дитя не плачет — мать не разумеет, что ему нужно. Просите все что угодно, отказа не будет».

Не кто иной, как Сталин, подсказал Берии принципы, на которых должна была строиться структура руководства двумя проектами — созданием атомного оружия и современных радиолокационных систем. В рамках Академии наук решать оперативно вопросы было невозможно. Согласование деталей с министерствами отняло бы много времени. После серии совещаний выработали окончательный вариант. При Совете Министров СССР было создано Первое главное управление, которому подчинили все задействованные в Урановый проект министерства, институты, конструкторские бюро. Назначенный начальником управления министр боеприпасов Б. Л. Ванников [1] мог действовать совершенно самостоятельно, не обращаясь по конкретным вопросам к правительству. К тому же он возглавлял и Совет ПГУ. Заместителями Ванникова были утверждены такие крупные организаторы промышленности, как А. П. Завенягин и М. Г. Первухин, и по научной части — И. В. Курчатов.

Фактически ПГУ оказалось не при, а над Советом Министров, но и оно не было в действительности главным. Сталин поставил его в подчинение Специальному комитету при Государственном комитете обороны СССР под председательством Берии. Этот особо секретный орган обладал всей полнотой власти в самом важном для сталинской диктатуры деле — разработке и производстве сверхоружия. Тогда же был учрежден еще один засекреченный спецкомитет — по радиолокации — во главе с тем же Берией.

Такая сложная структура, да еще с двумя тайными надстройками, выглядела слишком громоздкой, однако на практике она оказалась весьма эффективной. Централизация управления, полная самостоятельность, приоритетное снабжение, ничем не ограниченное пользование людскими и материальными ресурсами — эти факторы обеспечили разительный успех всей программы. И еще одно — страх. Под бдительным оком Лубянки, под личным руководством Лаврентия Берии ни одно ведомство, ни один человек не смели работать вполсилы. Фактически их лишили права на ошибку, на производственный брак.

Надо признать, что Берия лично, за редким исключением, не пользовался рычагами устрашения. Ученых-атомщиков он привлекал сказочными по тем временам материальными благами и, что для многих специалистов было главным, перспективой исследовательской работы в новых лабораториях на переднем крае науки. Свои предложения Берия подкреплял обещанием тройных, десятикратных окладов, предоставлением прекрасных квартир, особняков, курортного лечения... Если некий специалист ссылался на состояние здоровья или семейные обстоятельства, Лаврентий Павлович с готовностью брался все устроить — немедленно и с превышением. Кто осмелится отклонить настойчивые предложения сталинского фаворита, владыки Лубянки?

На заседании спецкомитетов рассматривали все вопросы, связанные с конкретными задачами дня. Поскольку Берия возглавлял оба чрезвычайных органа, он проводил заседания, не разделяя состава участников. Официальный список членов неизвестен. На заседания, проводившиеся на Лубянке, иногда в Кремле, приглашали ответственных лиц, например, заместителя Курчатова И. Н. Головина и доктора наук И. И. Гуревича. В кабинете было два больших, отдельно стоящих стола. Рядом с Берией сидел генерал П. Я. Мешик, он отвечал за надежность, секретность и безусловную преданность всех занятых в системе. За вторым столом располагались Б. Л. Ванников, М. Г. Первухин, А. П. Завенягин, И. В. Курчатов, Н. И. Павлов и группа генералов. На заседаниях, которые Берия собирал довольно часто, обсуждались проекты постановлений правительства, готовились документы на подпись Сталину.

Берия, держа по правую руку главного надзирателя Мешика, строго взыскивал с присутствующих за малейшие срывы, но до наказания дело не доходило: все работали и за страх, и за совесть.

В 1946 году при лаборатории № 2 было создано Специальное конструкторское бюро. Начальником этого КБ был назначен генерал-майор П. М. Зернов, научным руководителем — Ю. Б. Харитон. Здесь, на базе одного из оборонных заводов, и началось конструирование первой атомной бомбы при строжайшем соблюдении государственной тайны.

Секретность органично вошла в работу и жизнь ученых и всех специалистов, но Берия при каждом случае жестко напоминал о соблюдении секретности. Когда 25 декабря 1946 года Курчатов запустил в своем институте первый в Европе ядерный реактор Ф-1 (под кодовым названием «монтажные мастерские» или «монтажка»), он тотчас позвонил директору завода Е. П. Славскому: «Ефим, пошла! Приезжай срочно...» — «Игорь Васильевич, а ты руководству докладывал?» — «Нет еще».— «Срочно звони!»

В присутствии Славского ученый позвонил Берии. «Сколько специалистов участвовало в пуске реактора?» — спросил главный куратор. «Пять человек».— «Так вот, кроме вас и этих пяти, ни одна живая душа ничего не должна знать об этом событии. Я сам приеду и посмотрю...» «Ефим, ты ничего не знаешь»,— сказал Курчатов. Лишь через три месяца Славскому официально «стало известно» о пуске реактора.

Через несколько лет, когда один из уральских заводов полностью выполнил план выпуска предназначенных для Уранового проекта агрегатов и встал вопрос о ликвидации сверхсекретного предприятия, Берия приказал эвакуировать всех работников, вместе с семьями, на Дальний Север. И вот в среднем течении знаменитой Колымы появился новый поселок с двумя зонами — для заключенных и вольных инженеров, техников и охранников во главе с генералом, переселенных с Урала. Отпустили их только в начале 1950 года после испытания отечественной атомной бомбы. Однако режим секретности сохранялся еще долгие годы, и все это время каждого физика-атомщика окружала плотная охрана. Отдыхая летом 1960 года в правительственном санатории, Светлана Аллилуева встретилась там с физиком Харитоном. Один из его охранников прежде служил у Сталина и, увидев дочь Хозяина, просиял. Он был счастлив счастьем холуя.

«Как живете?» — спросила Аллилуева. «Да так, все ничего, но... (переходя на шепот, брезгливо) охраняю еврейчика...»

В те годы Берия казался неутомимым. Он не пропускал закладку заводов, приезжал к началу пуско-наладочных работ, присутствовал на всех испытаниях, иногда лично возглавлял правительственную комиссию. Так было на приемке цеха по электромагнитному разделению изотопов и цеха по переработке уранового топлива...

Разъезжал Папа Малый в специальном поезде. Если позволяло расстояние, от объекта к станции, где останавливался Берия, экстренно прокладывали железнодорожный путь или же проводили через тайгу и болота лежневую дорогу из коротких жердей для проезда автомобиля, который он возил с собой повсюду. По этой же лежневке прибывали к Лаврентию Павловичу ответственные руководители. Экстренные дорожные работы выполняли заключенные, солдаты внутренних войск МВД несли охрану. Все как обычно. Один старый железнодорожник позднее вспоминал о том, как им хорошо жилось в те годы: «Часто ездил на своем спецпоезде Берия, и мы ежемесячно получали по две зарплаты».

В своем поезде Берия и жил, не пользуясь в инспекционных вояжах гостиницами, а людей принимал в двух вагонах, оборудованных под конференц-зал и канцелярию.

Энергия, незаурядный талант организатора и напор, проявленные Берией в неустанных атомных хлопотах, вызывали искреннее удивление современников. Сам Курчатов, его заместители и помощники не раз говорили, что без руководящего участия Берии добиться успеха в столь сжатые сроки не удалось бы.

Окончание следует

[1] В 1946 году Министерство боеприпасов упразднено.



Михаил Ивин

ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ОККУПАЦИЯ [1]

ПО КУЗОВАМ!

Июнь 1940 года. Покидаем опостылевший нам Копайгород, который сами же соорудили в сосновом бору невдалеке от Выборга. Как видно, предстоит нам спешное дело: полку поданы грузовики. Рассаженные в открытые кузова, мы являем собой прообраз еще не народившейся в отечественных Вооруженных Силах моторизованной пехоты.

Колонна устремляется на юг, оставляя позади леса и озера Карельского перешейка, отвоеванного нами у Финляндии три месяца назад. Вокруг — следы Зимней войны, от которой мы, ее участники, еще не вполне очухались. Печная труба на месте сожженного хутора — мнится, что ей, раздетой донага, зябко и неуютно на воле. Не успевшие заплыть ходы сообщения, окопы, воронки. Вытаявшие из-под снега ранцы, вещмешки, гранатные сумки, противогазы, обрывки ватников, искромсанных фельдшерами при перевязке раненых. Рваные осколочные раны, белеющие на темных шершавых стволах елей.

Идем ходко. Как на киноэкране, раскручивается перед нами панорама тех мест, что мы прошли с боями за сто пять дней странной войны. Муола-ярви. Тогда озеро придавлено было льдом и снегом, теперь искрится, вольно играет на солнце.

Териоки. Тут обосновался в начале Зимней войны, со своим «Правительством освобожденной Финляндии» и с дивизией, одетой в ненашенские зеленоватые шинели, Отто Куусинен. Финнов, карелов в его дивизии было — раз, два и обчелся. Наедая ряшки на усиленном фронтовом пайке, в глубоком тылу, эти зеленоватые ждали, когда мы, отвоевав по-быстрому всю Финляндию, пригласим их на парад победы в Хельсинки...

Стоянки редки и коротки. Успеваешь только, помочившись, прислониться на несколько минут к дереву, чтобы расслабить напряженную спину, лишенную опоры в кузове. Переть пехом вроде бы сподручнее, нежели трястись на досках, приглаженных впопыхах поперек кузова. Вздремнув, навалишься на соседа — тебе тотчас кулак под ребро: «Весь ряд спихнешь с машины, сиди путем!..»

Большой привал объявлен поздним вечером, уже в виду Питера, между Лахтой и Старой Деревней. Местность безлесная, и смыться в самоволку, если кто надумает, тут непросто. К тому же белые ночи в самом разгаре.

Вдали, слева, Буддийская пагода — она скорее угадывается, нежели видится. Справа Елагин остров, куда я в молодые годы частенько наведывался, с девчушками, само собой...

Кое-что проясняется. Колонне надо проскочить через Ленинград, преграждающий нам кратчайший путь не то на юг, не то на юго-запад. Выполнить сей маневр возможно не ранее, чем город затихнет, да чтобы и потребные нам мосты разведены не были.

Передвижения войск, какую бы цель ни преследовали они, огласке не подлежат. Не токмо для зевак, но часто и для тех, кого передвигают,— сие тайна есть. Но воинскую колонну, как и шило в мешке, не утаишь. Иной раз зеваки знают больше тех, что рассажены по кузовам или шагают в строю.

Везут... Место и цель переезда известны тебе не больше, чем вон той гаубице, которую

---

[1] Главы из воспоминаний.

Михаил Ефимович Ивин (р. в 1910 г.) — прозаик, публицист. Автор книг «По следу бешеной реки», «Некто или нечто», «Брусника еще не поспела» и др. Всю блокаду провел на Ленинградском фронте. Живет в Ленинграде.

водворили на платформу воинского эшелона. Твое преимущество перед гаубицей лишь в том, что ты не зачехлен. Можешь глазеть по сторонам, можешь орать срамные куплеты, как мой приятель Павло Стаднюк; а то можешь, размечтавшись, вызвать в воображении теплый зад жены, посапывающей рядышком в постели.

Кухни отстают. На то они и кухни. Нам выдан на большом привале сухой паек: мясные консервы и добротные армейские сухари. (Тут мы превосходим финнов — ихние толстые, будто окаменевшие, солдатские коржи впору топором рубить.) Запивка — жидкий чай из фляг.

Теперь можно, завернувшись в плащ-палатку, вздремнуть на обочине, пока не пробрал тебя холодок июньской ночи.

Перебираю в полусне сгусток неожиданностей, нелепиц, поднесенных мне судьбиной менее чем за год. Наверчено столько, что хватило бы на полжизни. А что еще впереди?..

Не знаю, как для кого, а для меня едва ли не каждый визит в военкомат, а призывался я в Вооруженные Силы трижды, означал какую-нибудь пакость. У меня нет намерения охаивать военкоматское ведомство в целом, наверное, оно не хуже, да и не лучше прочих советских учреждений, несть им числа. Быть может, я просто невезуч.

Осенью 1939 года объявили частичную мобилизацию запасных: отец народов и его соратники задумали нападение на Финляндию. И почти сразу же я был вызван повесткой на Чернышову площадь. Здесь, в желто-белом классическом здании с колоннами, возведенном Карлом Росси, разместился призывной пункт.

Как на грех, я лишь месяца за два до этого женился.

Однако являться по вызову надо. Паспорт, военный билет, служебное удостоверение.

— Вы не связист по воинской специальности, случаем?

— Я авиационный моторист. Отслужил два года в истребительной авиабригаде. Окончил школу младших авиаспециалистов... Да ведь в военном билете все написано!

Косой взгляд.

— Вижу!.. Но авиамотористы нам в данное время не требуются.

— Так я могу быть свободен?!

Удивленный взгляд.

— Какой вы, однако!.. Побудете у нас. Разберемся. Внизу буфет, телефон-автомат. Подремать есть где, сидя, правда.

Проходит несколько томительных часов. Выкликают.

— Вы ведь в радиокомитете работаете? Так это не по ведомству связи!

— Я репортер последних известий на радио. К связи, тем более военной, отношения не имею.

— Ну, это уже тонкости. Мы сформировали корпусный батальон связи. Не хватает в команду до штата одного-двух человек. Вот вы и подойдете. Через час на Витебский... Старший, прими пополнение...

Жена примчалась на вокзал. Я зря назвал ей по телефону место отправки. Она не смогла, или боялась, даже всплакнуть.

Я с трудом оторвал ее от себя, когда поезд уже тронулся. Мужики из команды по дороге на вокзал успели прихватить водочки и теперь шумели вовсю. Я забрался на верхнюю полку и, отвернувшись к стенке, попытался уснуть. Но где уж там...

Нас привезли в Новгород и разместили в оскверненных, ободранных кельях Юрьева монастыря. Там провели мы недели две. Чему-то обучали шаляй-валяй-болтай.

Батальон все же был укомплектован знающими дело людьми: одни служили в свое время связистами, другие имели ту же специальность на гражданке. Я среди них оказался белой вороной, не умея даже грамотно срастить концы проводов. Надо мной добродушно подтрунивали.

Из Новгорода батальон передислоцировали на Черную речку, что невдалеке от Белоострова, где уже разместился в воинской казарме штаб корпуса. Дивизии между тем занимали исходные позиции вдоль пограничной реки Сестры.

Терпели меня на Черной речке недолго. Развязка наступила, когда пришел мой черед дежурить на штабном коммутаторе. Устройство нехитрое, особенно если сравнивать его с техникой конца нынешнего века. Но все же сноровка, быстрота и некоторый автоматизм действий и тут надобны. Свидетелями моего позора были два молодых начальничка, которые в этой же комнате занимались какими-то своими делами, не обращая на меня, казалось, ни малейшего внимания.

— Эге,— вдруг произнес один из них, приметив, как я силюсь управиться со шнурами и штекерами,— надо подменить этого товарища. Нам прислали сапожника вместо связиста.

— Уж лучше бы портного,— сострил второй.— Он бы подогнал мне гимнастерку, а то, вишь, мешком сидит... Как вы к нам попали?

Я объяснил.

— Да, такое бывает, на то и военкомат. Но вернуть вас военкому мы не можем, вы мобилизованы. Откомандируем в дивизию.

На границе еще было тихо, войска готовились к броску. Спровадили меня из штабного

батальона связи спустя неделю, уже после того, как наши 30 ноября вторглись в Финляндию.

Начальнику связи дивизии было не до меня.

— В полк, в полк! У нас штаты заполнены.

Так я и оказался в роте связи 168 полка 24 стрелковой дивизии, где и трудился в поте лица, то перебегая, то переползая с увесистой катушкой и громоздким аппаратом, до последнего часа Зимней войны. Однажды ночью в разведку ходил. Начальство решило, что командир разведгруппы должен поддерживать телефонную связь со штабом полка.

Связисты несли меньшие потери, чем стрелковые роты; те бросали в атаки на целенькие, неподавленные доты, и за короткую войну они формировались заново раза по три-четыре. Привезет иной раз старшина к обеду водку на весь списочный состав, а роты нет, писарь только уцелел. Стоит старшина возле саней, слезой давится: «Ребята, пейте, кто желает».

А в роте связи к концу войны оставалась все же без малого половина первоначального состава...

Но сейчас разговор не о Зимней войне, а о тех событиях, что происходили после того, как она 13 марта 1940 года завершилась.

Мы, запасные, думали, что нас отпустят тотчас после замирения к женам и детям. Куда там! Отвели с последнего огневого рубежа в лес под Выборг и велели рыть землянки, строить лагерь.

Так возник Копайгород. Не сразу мы поняли, что произошла подмена! Оказалось, что мы это уже как бы не мы, провоевавшие 105 дней. Не домашний уют, даже не теплая казарма — обратно, как говорится, в лес, обратно — снегу по пояс.

Чтобы все это уразуметь, надо еще раз вернуться к событиям, предшествовавшим Зимней войне. Рассчитывая на быструю легкую победу, наше Верховное командование решило, видимо, поберечь кадровый состав. Того ради части вторжения укомплектовывали запасными далеко не первой молодости. Иные из этих женатиков, давно отбывшие воинскую повинность, успели подзабыть, как заталкивают патроны из обоймы в магазинную коробку.

Но вот война завершилась. Держать запасных в нашей Железной Краснознаменной дивизии, прославившейся еще в гражданскую войну, как бы уже не пристало. И на наше место прислали молодых, кадровых, которых ждали, в свою очередь, жесточайшие испытания. А нас, женатиков, отвели в лес и влили в незнаменитую часть, стоявшую в тылу.

Мы, вояки, возроптали. Поодиночке, конечно. Коллективных протестов армия на дух не переносит. Нам довольно терпеливо поясняли — часть, в которой мы служим, не воевала. Но мы то, мы то!.. Что вы: воюют дивизии, полки!..

Крыть нечем. Некоторые, из питерских, пустились в самоволки...

— По машинам!

Колонна устремляется в город, набирая предельную скорость. Петроградская сторона. Тучков мост. Первая линия Васильевского острова. А на Шестой линии спит жена, подтянув коленки к самому подбородку. (Когда я в начале нашего медового месяца выразил по этому поводу свое недоумение, она, посмеиваясь, сказала: «У тебя складная жена, можешь этим гордиться и даже хвастать».)

Выпрыгнуть из кузова и нагрянуть среди ночи на Шестую линию!.. Шею свернешь на такой скоростенке, это уж точно. Задумано так.

В подворотнях застыли плечистые рослые дворники. Среди них немало татар. Озорники как огня их боятся. Кулачищи у стражей — дай бог. Высвистывать милиционера не требуется.

Правый поворот. Академия художеств. Сфинксы. Сворачиваем на Николаевский мост. Панорама Большой Невы. «Приедается все, лишь тебе не дано примелькаться». Сказано Б. Пастернаком по другому поводу, но тут вдруг припомнилось... Новая Голландия. Мариинский театр. Собор Николы Морского.

Сидим на своих досках, притихшие, завороженные. В колдовском свете белой ночи мнится, что необыкновенный этот город вышел вот только что из-под пера или из-под кисти сказочника. Потрясены не только те, кто увидел Питер впервые, но и я, разлученный с ним менее года назад.

Тишина, нарушаемая лишь шуршанием автомобильных покрышек. И вдруг голос с заднего сиденья:

— Ось це вже бачу, за що воював с хвинами!

Простая душа! Это Петро Стецюк. Его привезли темной декабрьской ночью в телятнике прямо на Карельский перешеек, минуя город. Всю дорогу политработники небось долдонили, втемяшивали ему, что финны замыслили отвоевать у нас Ленинград, что они вообще мечтают создать Великую Финляндию — от Ботнического залива аж до самого Урала. Стецюк поверил. И кто бы стал ему говорить, что це все брехня? Себе дороже!..

Еще поворот. Старуха, подметающая трамвайные пути у Аларчина моста, отступила к тротуару, пропуская колонну. Из кузовов к ее ногам посыпались треугольнички солдатских писем, написанных на большом привале. Никто не проронил ни слова. Рассовав

треугольнички по карманам своего черного халата, чтобы потом опустить послания в почтовый ящик, старуха проводила нас долгим тоскливым взглядом, даже не помахав рукой.

Старокалинкин мост, за ним Новокалинкин. Сворачиваем на Обводный, едем вдоль краснокирпичных корпусов «Треугольника», растянувшихся по берегу канала на добрую версту. В раскрытом окне второго этажа две девицы в синих халатиках, должно быть, галошницы из ночной смены. Высунулись по пояс, пищат что-то, машут. Из кузовов на них взирают спокойно, как на картинку в журнале,— они недосягаемы...

Балтийский вокзал, за ним Варшавский. Церковь, построенная Обществом трезвости и обращенная после Октября 1917 в клуб. Как рассказывали мне старые петербуржцы, человек, решивший напрочь отказаться от выпивки, придя в этот храм, клал рубль, целовал крест и давал зарок. И, как правило, исполнивший этот обряд не срывался... А кто не уверен был, что выдержит зарок, обходил храм.

Правый поворот. Широченный проспект. Сколько же раз его переименовывали? В царские времена — Забалканский; потом — Международный; еще потом — имени Сталина...

Прибавив ходу, проскочили Среднюю Рогатку. И вот уже Пулкова гора с обсерваторским куполом. А там промелькнула и Гатчина.

Павло Стаднюк при въезде в деревушку, уже за Гатчиной, сипловатым баритончиком затягивает свою любимую:

Вулыця, вулыця,
Чым же ты красуешься?
Онучами и дранками,
Девками засранками.

Горлодер, задира, ругатель и насмешник, Павло ко мне благоволит. Выражает он свою приязнь иногда в необычной форме. Однажды в Копайгороде, приобняв меня за плечи, он прочувствованно изрек:

— Ты мий друже, ты жеж у мене один... як в сраци око!

Вперед, вперед!..

Мы уже больше суток в пути. Жрать охота, да и жажда мучит — фляги давно опустели. Спину ломит, зад одеревенел на доске. И вот, уже на подступах к Луге — дневка. Дождались кухонь, поели горячего, попили чаю, наполнили фляги и — спать. Ж., прилегший рядом, повертелся, повздыхал и, прихватив у меня десятку, подался в Питер. Беглец потом догнал часть. А под трибунал за недолгую отлучку тогда еще не отдавали. Да и разбираться было некогда.

За Лугой потянулись разоренные коллективизацией, обнищавшие псковские деревни. Чем дальше от Ленинграда, тем хуже. Детишки выпрашивают куски. У кого из наших остался от обеденной пайки хлеб — отдают.

Лагеря. Воинские, а кое-где и сталинско-бериевские, оплетенные колючкой, с часовыми на вышках. Работающие за проволокой при виде нашей колонны отворачиваются.

Павло, он рядом со мной, притих, не орет больше «Вулыця, вулыця...». Вдруг наклоняется ко мне и вполголоса: «Слухай сюды... Яке у нас життя... Овес — отдай у метээс. Пшеницю везем за границю, у Неметчину. А кукурузу — тую вже Радяньскому Союзу. Зрозумив?!»

«МЫ ВАШИ! МЫ СКОБАРИ!»

Миновали Псков. Где-то возле Острова пересекли Великую, затем Утрою. Да, нечистая сила несет нас к латвийской границе! Похоже, после финнов еще и латышей воевать будем?!

Вот уже километров десять, говорят, до границы остается. Стоп! Выгружаемся на берегу речушки. Грузовики порожнем отбыли восвояси. Полк переправлен на другой берег по ветхому мостику. Нас четверых оставили сторожить имущество роты связи.

Ночь мы провели у костерка. Наутро я отправился в ближайшую деревушку на почту. Зашел и в лавку. Набор товаров: сбруя, сапожная вакса и алюминиевые чайные ложки. Какие-либо продукты питания, равно как и покупатели, отсутствуют. И то сказать. Кому нужны вожжи и чересседельники, если лошадей не стало. Вакса тоже не имеет спроса, ходят здесь босиком или в опорках. Угрюмый, заросший многодневной щетиной продавец поглядывает на меня иронически, в разговор не вступая. Я тоже не нашел что сказать. От неловкости, что ли, купил чайную ложку, хотя знал, что в роте меня засмеют: сахар нам выдают большими кусками, и, за полным отсутствием в рационе чего-либо иного сладкого, недельную норму схрупывают за день-два; иной и после отбоя засыпает, только лишь убедившись, что сахарный мешочек пуст. Чай же, который повар наливает супной поварешкой в котелок из котла, мы пьем даже не вприглядку, а с ни с чем...

Под вечер того же дня нас четверых перебросили с имуществом на другой берег речки, где расположился весь полк. Тут уже запущена на полный ход пропагандная машина,

бездействовавшая на марше. Теперь скрывать уже нечего — нас привезли воевать Латвию, если не сдастся она по-доброму. Бойцам надо разъяснить боевую задачу. Политаппарату идейно — обосновать ее.

Ждем с часу на час приказа о переходе границы. А тем временем нас начиняют несвежим идейным фаршем.

...Подумать только! Литва, Латвия и Эстония грубо нарушили заключенные с ними осенью 1939 года договоры о взаимопомощи. Они готовят — экая наглость — нападение на части Красной Армии, размещенные в Прибалтике в соответствии с указанными договорами. Они сколотили антисоветский военно-политический союз «Балтийская Антанта». Финнов, возжелавших захватить Ленинград, мы окоротили малость. Ну а эти, со своей «Балтийской Антантой», на что замахиваются?..

Москва требует, чтобы правительства Литвы, Латвии и Эстонии немедля ушли в отставку. Новые же правительства этих государств будут формироваться под наблюдением советских властей. На территории прибалтийских государств вводятся крупные контингенты наших войск. В случае отказа принять ультиматум советские власти, как предупредил Молотов, примут «соответствующие меры».

Вот они, эти меры! Два сдвоенных подсумка оттягивают с боков мой поясной ремень. В каждом — 60 винтовочных патронов. Обоймы выданы только что, после речи комиссара. Изложив ультиматум Советского правительства Прибалтийским республикам, он от себя добавил:

— Когда это начнется, вы представляете, товарищи, какой будет энтузиазм в стране! Сколько приветственных писем, телеграмм, посылок будете получать. Среди вас будет много орденоносцев, Героев Советского Союза!..

Деловая часть. Вопросы, пожелания.

— Товарищ комиссар, а танки пойдут?..

— Санитары пусть побыстрее подбирают раненых. А то в финскую сколько людей померало, не дождавшись...

— Сейчас лето, авось дождешься!..

— Лето, лето, а шинели на ночь раскатываем. Я ноне вспотел дрожавши...

— А раненые чтоб не кричали! — Это уже подал голос санинструктор.— На крик противник усиливает огонь, и нам не подползти... Головной убор пущай поднимают.

Выкрик сзади:

— А если он хоть и жив еще, ни руку поднять, ни крикнуть уже не способен? Ты один думал, парень?

На другие сутки. Изнурительный марш вдоль границы. Остановки. Связь, связь, связь! Подразделения разбросаны. Пока найдешь комбата — чуть не дух вон. Выкладочка! Винтарь со штыком, связисту который вовсе ни к чему,— 4,5 килограмма; телефонный аппарат в громоздком деревянном коробе с десятикратным запасом прочности — 3 килограмма; катушка, на которую намотан километр однопроводного кабеля,— 22 килограмма.

Сутки не жравши. Наконец привезли: колбаса, масло, селедка, сухари.

Ночью, под дождем заняли исходное вдоль самой границы. Залегли в роще, как тати, без шума; завернувшись в плащ-палатки, отпали. Подушкой мне послужил нагретый телом сдернутый с ремня подсумок: кожаный, мягкий, изогнутый, он пришелся в аккурат под щеку.

— Тревога! Подъем!

Эх, черт, кажется, только уснул. Нет, часика два урвали. Уже рассвело, дождь унялся. Первая мысль — латыши сдались, воевать их нет нужды. На фронте, это мы уже знаем, тревог не объявляют, там команды иные.

Взводные, старшины забегали, поднимая пинками замешкавшихся.

— Привести себя в порядок! Помыться, вода в лужах. У кого безопаски — живо бриться, бритву передай неимущему. Идем через границу мирным путем!

Последний недолгий марш на своей земле. Мы у пропускного пункта. Здесь только наши пограничники. Ни одного латышского солдата или офицера.

Колонна пересекла рубеж. Да что же это?! Нас встречают. Да как! Чуть не на шею бросаются, праздничная, разодетая, ликующая толпа. Велосипеды, они почти у всех, брошены небрежно на обочину. Проходим сквозь живой коридор.

— Товарищи, здравствуйте! Мы же ваши, мы скобари!..

— У нас сегодня двойной праздник! Может быть, вы специально пришли к нам в первый день Троицы?!

— А я уже с вашим успела потанцевать!

Это — спрыгнувшая с велосипеда девушка.

Два парня в велосипедных брюках со штрипками.

— Дайте русскую газету! Мы ведь только латышские читаем.

И совсем уже неожиданно:

— А куда же наши латыши денутся?

Мы шагаем, не размыкая строя, ошеломленные, ошарашенные. И радость, и стыд...

Ведь нас рассаживали в Копайгороде по кузовам наспех черт знает в каком виде. Обмундирование — б/у, бывшее в употреблении, рабочее, стираное-перестираное, даже с заплатками. Кирзовые сапоги, именуемые говнодавами в солдатском просторечии, разношенные, нечищенные.

Воевать, конечно, в чем угодно можно, лишь бы винтарь стрелял. А тут вдруг — парад! По счастью, скобари так нам рады, не обращают внимания на то, что перед ними замызганное воинство. Услышал я только, как одна девица вполголоса сказала другой:

— Глянь, у них и сивые попадаются!

Это она про мою раннюю проседь, вылезающую из-под мятой старой пилотки.

Идем безостановочно. Командование, как видно, торопится провести неказистую рать через латышские селения, населенные русскими. А там, глядишь, и вечер наступит.

И вот наконец привал в лесочке. Политаппарат растерян. Ведь только вчера один на политручьем языке разъяснил нам:

— Мы освободители из-под гнета буржуазии!

А теперь вот, поди растолкуй, как эти скобари и скобарихи исхитрились под гнетом буржуазии почти все обзавестись велосипедами, которые у нас — предмет роскоши.

Но ведь надо! Надо разъяснять.

Первый политрук:

— Имейте в виду, которые на велосипедах — все шпионы!..

Второй политрук, в другой роте:

— Неужели вы думаете, что здесь каждый может велосипед купить? Напрокат взяли, чтобы нас встретить!..

Шли остаток дня. Шли ночью и еще день и часть ночи. За полтора суток отмахали 90 километров! Для маршей положены плотные портянки, всего лучше суконные. Нам успели выдать лишь по одной паре из тонкой хлопковой ткани. Ноги хлябают в говнодавах. Ступни стерты вдрызг, искровянены. Черт с ним. На солдате, как на собаке, все быстро заживает.

Городок. Первый встреченный нами полицейский. Форма на нем такая, что глазам больно смотреть. Вывеска — «Traktieris».

— Это что же, трактир выходит? — с изумлением говорит солдатик.— Отец рассказывал, мы — ярославские, он по плотницкому делу с артелью в Питер на заработки ездил, и они в трактир там захаживали. Так ведь это когда было. А тут, вишь, старина какая еще водится...

Ну вот, дошли, допиликали. Алуксне. Глубокая ночь. Встретили нас свои, штадивовские, отвели в глухой лес, на противоположный от города берег озера. Спать, только спать. Палатки ставить — потом.

Наутро открылось большое озеро, на нем — остров, на острове — развалины. Как потом узналось — замок, возведенный в 14 веке. Самый же город Алуксне основан в 13 веке. ...Где-то невдалеке от этих мест, в 1702 году, когда петровские полки шли на Ригу, попалась, кажется, Шереметеву в руки красивая восемнадцатилетняя девица Марта Скавронская. Старик недолго тешился, девицу перехватил у него Меньшиков, а у того отнял Марту сам Петр. Так стала она, приняв православие, русской императрицей. А после смерти Петра ненадолго заняла трон под именем Екатерины Первой...

Разбиваем лагерь. Из леса — носа не высовывать! И то сказать, мы так обмундированы, что только в чащобе и укрываться, на люди выходить — срам.

— Письма домой писать можно, ответа пока не получите, наш здешний адрес объявим позднее (недели через две сообщили: Ленинград, 308 почтовое отделение, почтовый ящик № 4, литера «Б». В какое смятение придет жена! Муженек пишет будто бы из Латвии, а сам обретается в Ленинграде под какой-то литерой «Б»).

Связисты неожиданно оказались в выгодном положении. Линии связи проходят через город, и мы, со своими катушками и допотопными аппаратами, ходим без всяких увольнительных, вступаем в контакты с местным населением, что пока не рекомендуется.

Женщина средних лет, встреченная вблизи казармы латвийского полка, забрасывает меня вопросами:

— Почему, как вы пришли, по латвийскому радио перестали передавать богослужения?

— Сделают у нас коммуны, или, как еще, колхозы? Вы не думайт, что я против. Я не какая-нибудь кулак. Я беднячок, у меня всех коров двадцать. Это же совсем немного, правда? Мы не берем батрака, сами все делаем, только племянница немного помогает.

— А вы будет у меня молоко покупать? Наш полк, он в этой казарме стоит, каждый день у меня молоко берет. Давно уже.

— Разве латвийским солдатам молоко дают? — вырвалось у меня.

— Они же утром пьют кофе с молоком! И белый хлеб имеют тоже. А вам разве — кофе без молока?.. Кто теперь мое молоко купит? Наш полк ведь не расположится больше в этой казарме?.. Ну, я говорю с вашим полковником...

Беднячка с двадцатью коровами! Какие же стада у богачей? Может, она все-таки прибедняется, хитрит? Коров, однако, в этой стране очень много. И все одной масти, одной

породы — латвийская бурая. Одна из этих буренок устроила нам изрядную пакость. Мы проложили спешно линию связи через луг, конечно, не подвешивая провода. У нас, полковых связистов, и шестов-то (их называют лирами) нет для этой цели. Проверили — все честь по чести, линия действует. А спустя час слышимость пропала. Избегались мы, под начальственные матерки, до упаду. Провод цел! Наконец доискались. В одном месте на крохотном кусочке содрана изоляция. Замыкание на мокрую траву. На лугу паслись коровы. Одна вместе с травой прихватила зубами изоляцию, оголив провод.

Политподготовка. Чтение и пересказывание второй главы «Краткого курса».

Выдано: рядовым по 2 лата, сержантскому составу — по 4. Можно попить молочка со свежей булочкой. Того и другого — вволю. И очень дешево.

— Пива не пить, водку не пить, с женщинами знакомства не заводить.

А латышки между тем хороши! Простодушны. Дарят нам улыбки.

Привезли обмундирование. Прямо с воинского склада. И баня приехала к нам в чащобу. Помылись, скинули б/у, поменяли белье, портянки, а на другой день строем, с песней, во всем новеньком промаршировали по городу. Теперь уже прятаться в лесу не надо. Знай наших!

А спустя несколько дней к нам в полк пожаловали какие-то чины в кавалерийской форме. С ними было и наше начальство из дивизии, штаб ее располагался в районе Гулбене. Возник спор, дошло дело и до матюгов, после чего гости, разгневанные, уехали. Нас, конечно, ни во что не посвящали. Но от связистов разве что скроешь!

Оказалось, что дивизия наша вперлась в Латвию не по праву, так сказать. Вторжение в Прибалтику, видать, было спланировано в двух вариантах: бескровном и с боями, на тот случай, если окажут сопротивление. Для первого варианта приготовлена была на нашем участке кадровая кавалерийская дивизия, экипированная будь-будь. Но она стояла в тылу, километров за тридцать от границы. А мы-то лежали с нашими подсумками на самом рубеже, готовые, по второму варианту, к броску...

Как удалось нашему комдиву генералу Лазаренко провести свои подразделения через пропускной пункт — не ведаю. Но когда кавалерия подошла к границе, ее в Латвию наши же пограничники не пустили — перебор! Пока шло разбирательство, кавалеристы в ярости небось кусали себе локти. Они, конечно, знали, что наш командный состав, получив латы, прогуливается по латвийским магазинам, скупая товары, которых мы в своей стране давно не видывали, и попивая не одно лишь молоко.

В конце концов нашу дивизию из Латвии удалили довольно скоро. Но об этом позже...

Вышло послабление:

— Беседовать, петь, танцевать с местным населением можно!

Политаппарат работает с предельной нагрузкой. Надо как-то нейтрализовать невыгодное впечатление, производимое на личный состав в корне чуждым нам буржуазным образом жизни. Второпях да от малограмотности такое несут, что хоть стой, хоть падай.

Кое-что, найдя укромное место, успеваю записать.

— Мы должны обеспечивать безопасность границ Советского Союза от Балтийского моря.

— Враги разобьют себе зубы о берега Прибалтийского моря.

— Эстония, Латвия и Литва стояли на грани плацдарма нападения на Советский Союз.

— Нашей партии пришлось бороться с врагами народа как Каутский, Пятаков и разные такие, которые выступали против.

Штатному политсоставу не управиться. Сверху требуют: усилить пропаганду, дойти до каждого бойца. Того ради в помощь политрукам привлечены сержанты и даже наиболее грамотные рядовые, строго отобранные.

НЕУСТАВНЫЕ БЕСЕДЫ

Подверстали ненадолго к политаппарату Сашку Соколова и меня грешного — беспартийных, но шибко грамотных, как считает начальство. Нам велено отправиться на пастбище — вразумить ездовых, доселе не охваченных политбеседами. Соколов парень способный, безалаберный и беззаботный, уйдя с третьего курса Ленинградского университета, был вскоре отправлен военкоматом на финский фронт. Мы с ним и оттрубили всю Зимнюю войну в одном полку, а теперь вот кантуемся в латвийском лесу.

Соколов склонен к рифмачеству. На днях, после очередного выступления комиссара полка, он мне выдал:

Мы изменили дислокацию,
Но так же скучны политинформации.

— Небогато, Саша.

— Ты мне подрезаешь крылья!

И вот нам с ним доверили выступить в политручьем жанре. Дело, в общем, нехитрое. Я рассказал ездовым о международных событиях, Соколов — о наших внутренних.

Ездовые народ мирный, степенный, далеко не молодой. У всех семьи, у всех, как, впрочем, и у нас с Сашей, одно на уме: когда домой?

Напоминаю, что демобилизуют по девятый год включительно. Мне годика не хватает. Среди ездовых тоже ни один не попал под приказ.

— А я с одиннадцатого,— огорченно говорит удмурт Кутавин.— На действительную когда берут, так хоть знаешь, когда срок кончится. Дома больно худо. Еще когда в Копай-городе стояли, жена писала — мальцы, у меня их два, всю зиму дома отсидели, в школу не ходили, обуть нечего. Лапти восемь рублей стоят. Бабы лапти не плетут, а мужиков на финскую побрали, да тех, кто вроде меня живой остался,— не отпускают. Дед один на все село лапти плетет, вот и берет сколь хочет...

Уходить с пастбища не торопимся. Рядом наши обозные коняги пасутся (их следом за нами в эшелоне доставили), напоминая детство, когда я целые дни проводил при табуне и пастухи иногда сажали меня на самого смирного мерина, позволяя прокатиться верхом.

На костерке в круглых котелках сварилось некое хлебово, и старший ездовой приглашает нас откушать. Ложка у каждого за голенищем, а миски нам без надобности — зацепил из котелка, подставил ломоть хлеба, подул.

— У нас, конечно, как и на полковой кухне, пшено,— говорит старший,— но мы его промываем. А там, вы же видели, а наряд на кухню ходите, мешок вспорют и бах — в котел. Мусорок разный, веревочка, а то и мышиное говно засохшее. Все туда, все в солдатское брюхо.

— А ты помнишь,— обращается ко мне Сашка,— мы колонной проходили мимо просяного поля, и кто-то с левого фланга заорал: «Братцы, это же пшенка, топчи ее!..» Да, а вчерашнее меню: пшенный суп с треской на завтрак, на обед и на ужин. В заграницу попали, а жратаа та же. Тащим жизнь от супа к супу.

— Я думаю, Саша, если нас зашлют на Маркизовы острова, то и там мы пшена не избежим.

Разговор пошел без стеснения. Тут, кроме лошадок, никто не услышит.

Казах Олжас размышляет:

— Слушай, зачем такой надо? Николашка был, царь, две коровы дед, отец держал. Ничего никто не писал. Теперь один коза имеем, каждый год пишут два раза: один коза, один коза... Пишут, пишут, много писак, а кто работать будет?..

Обсуждаем финскую войну. Все, тут сидящие, в ней участвовали. Правда ли, что финны спровоцировали нас, обстреляв советскую часть, стоявшую на Сестре-реке?

— А для чего им было задирать великую державу? — Это Сашка.— Они до последнего дня надеялись — авось пронесет... Хотите, анекдот расскажу... Вызвали осенью тридцать девятого, по частичной мобилизации, еврея в военкомат. Сказали, что призывают в армию и что, может быть, придется малость повоевать.— А с кем воевать, позвольте спросить? — Может быть, с финнами, они плохо себя ведут.— Но зачем воевать, дайте мне моего финна, я с ним договорюсь!..

На том мы, посмеявшись, распрощались с ездовыми и неспешно двинулись в расположение полка. Невдалеке от наших коняг паслись коровы, голов десять. Подумалось: ну, хозяйка этих бурых еще беднее той беднячки, с которой я вел беседу возле казармы. Однако, подойдя поближе, мы глазам своим не поверили. За коровами присматривала девица, разодетая в пух и прах: туфельки на каблучках, шикарное цветастое платье, шелковая косынка.

— Вот это пастушка! — воскликнул Сашка.— Я и на детских картинках такой не видывал.

— Так она же, видно, нарядилась в честь прихода в Латвию советских освободительных дивизий!

— Тем более есть повод войти с ней в соприкосновение и обсудить, к примеру, ситуацию во Франции!

Не успели мы свернуть к стаду, как невесть откуда вывернулся лохматый белый кобель. Он летел на нас, безоружных, едва касаясь земли. Какой бы вид приобрело наше новенькое обмундирование, если бы не команда, что-то вроде «фу», поданная пастушкой! Кобель, тотчас прервав атаку, вернулся к пастушке и улегся у ее ног, всем своим видом показывая, однако, что входить в прямое соприкосновение с его хозяйкой лучше не пытаться. Стоя на почтительном расстоянии от пастушки, мы все же попробовали завести с ней светскую беседу.

— Почему у вас такая злая собака? — начал Сашка.

Мило улыбаясь, девушка покачала из стороны в сторону головой и слегка развела руки, из чего явствовало, что она по-русски не знает. А то бы, возможно, она дала Сашке понять, что он задал ей вполне идиотский вопрос. Где это видано, чтобы при стаде содержали добренького пса?!

Нам оставалось только откозырять и ретироваться. Пастушка поулыбалась своим освободителям от гнета, произнеся на родном языке некую фразу, несомненно, любезную.

Лохматый волкодав не шелохнулся, в его обязанности, видно, входит встречать непрошеных гостей, но отнюдь не провожать их.

— Если бы не этот кобель,— произнес Сашка со злостью, когда мы отошли от стада на приличное расстояние,— то я бы хоть ручку погладил. Дозволено ведь даже танцевать с местным населением, ты же слышал. А уж в танце не токмо за ручку, но и за талию подержишься.

Мне ли не понять дружка!

Нас оторвали от женщин без малого год назад. Сашка, тот даже и не женатик. Лучше ему или хуже, нежели нам, которых женушки забрасывают отчаянными письмами, наивными, глупыми, даже подчас бесстыдными, бередящими душу и плоть, письмами, без которых солдатская преснятина была бы вовсе нестерпимой — хоть вешайся?!

Армейская наша житуха меж тем идет своим чередом. Новостей много отовсюду, да все они безрадостны.

Оглашен Указ об усилении ответственности за самовольные отлучки. Ого!..

В начале тридцатых, когда я служил на действительной, мой дружок Лешка Сабинин смылся из Брянска, где стояла часть, аж в Москву. Заявился беглец на шестые сутки, несколько помятый, под глазом фонарь. Его, конечно, изрядно прочистили перед строем. Постоял он на лагерной линейке полчасика без ремня, выслушивая гневную речь комиссара, потом отсидел на губе 20 суток (при полном кухонном обеспечении, разумеется). И всех делов. Задумав побег, Лешка все рассчитал, вычислил. По тогдашнему уставу отлучка из части сроком до семи суток считалась самоволкой и наказывалась отсидкой на губе. И лишь по истечении этого срока дело передавалось в трибунал за дезертирство.

Наивный либерализм!

То ли дело новенький указ. Самовольная отлучка для того, кто служит срочную службу,— это отсутствие в расположении части не более двух часов. Свыше двух часов — дезертирство; трибунал, дисбат, а то и тюрьма. За самоволку же вводится в отдельных случаях строгий арест до десяти суток: горячая пища через день; в постный день — хлеб и кипяток (отнюдь не чай с сахаром!).

Политруки растолковывают новый указ. Формулировки во всех ротах совпадают почти дословно. Как видно, указания даны свыше.

...Запись в моей книжечке, карандашная, полустертая, различимая хорошо лишь под лупой:

— Правительство, родной товарищ Сталин не забыли про нас, не оставили без отеческого внимания призванных в ряды Вооруженных Сил!

Незадолго до ужина, пристроившись под елью, на почтительном расстоянии от лагерных палаток, мы с Соколовым судачим па темы, навеянные новым указом.

Само собой, указ создан для устрашения. Жестокости власть предержащим не занимать. Если за сбор колосков, оставшихся на убранном пшеничном поле, под расстрел подводят, то за самоволку сам Бог велел отдавать беглеца в трибунал. Тут начальство и понять как-то можно. Самоволки, конечно же, разлагают армейскую часть.

По иронии судьбы нас в данное время новый указ мало задевает. Мы ведь за границей. Еще за границей!.. Не зная языка, не имея поблизости ни родных, ни знакомых, с двумя латами в кармане отлучаться из полка не очень-то потянет.

Но можно ли с помощью таких указов, какой нам объявили, устранить причины, побуждающие солдат время от времени убегать из части?

Какой же выход?

— Сокращение срока службы в армии, предоставление срочнослужащим регулярных узаконенных отпусков. А до этого, Саша, нам, боюсь, и не дожить...

Но тут горнист прервал нашу неуставную беседу, заиграв быстрое «тара-тата-тата-та» — «бери ложку, бери бак, нету хлеба, иди так».

Наступил час вечерней пшенки.

ГЕТЬ!..

Политинформация:

— Мы забиваем голову собственными мыслями и не думаем о государстве.

Что верно, то верно. Собственные мысли государству не в дугу...

Распорядок дня: «Купание личного состава — 13.40—14.00». По-быстрому! Коней за такой срок не выкупаешь. А людской состав можно и за пять минут: окунулся — вылезай!

Разговорился с солдатом латвийского полка. Он из Латгалии и знает по-русски. У него тяжелые мужицкие руки с широкими лопатообразными кистями. Он только что вернулся из дома, с хутора, был отпущен на 10 дней подсобить отцу. Хозяйство у семьи среднее по размерам — 20 га. Ну и скотина, конечно. Работы всем хватает. Солдат спросил напрямик — верно ли, что землю и лошадей заберут у латышей в колхоз и всем оставят только по одной корове. «И что будет, если мы не пожелаем отдавать хутор, ведь это наша собственность, мы ее получили по наследству». Покривив душой, я сказал, что латыши,

наверное, сами решат, как и что у них будет, и, надо надеяться, все кончится хорошо. Поторопившись перевести разговор на другую тему, я поинтересовался, как служится в полку. Солдат пожаловался: отпуск очень короткий, и на дорогу домой денег не дают, приходится ездить за свой счет. Ну, а так ничего, домашняя работа, конечно, тяжелее, чем солдатская. Но дома ведь на себя работаешь!

Отбывание воинской повинности ни в каком государстве не в радость. Однако здесь оно не связано в полным отрывом от семьи, от отцовской фермы, от любимой девушки или от молодой жены. В малом государстве такой режим установить нетрудно. Но почему нашего призывника засылают для прохождения службы за пять тысяч верст от дома? Чтобы не смог отпроситься к семье, хотя бы денечка на два? Чтобы не забивал себе голову, как выразился политрук, собственными мыслями? Чтобы только о государстве думал, о воинском долге, денно и нощно...

Объявлены выборы в новый сейм, старый после ввода наших войск распущен.

Политинформация:

— Мы обеспечиваем свободу выборов!

И то сказать — не обеспечишь, того и гляди, выберут не тех, кто нам нужен. Ходят слухи, что какие-то группки шебаршатся, свои списки составляют. Да, уж эта буржуазная демократия!

А пока суд да дело, еще за неделю до выборов мы вот что учинили.

Среди ночи наш полк и поддерживающие его средства усиления развернулись по тревоге для исполнения некой боевой задачи. Боевая так боевая, нам не привыкать стать. Воевать с мирными покладистыми латышами у нас нужды не возникнет, в этом мы уже уверились. А без боевых тревог и учений войску не обойтись. Личный состав надо взбадривать, дабы не заплесневел он от безделья.

Но на этот раз тревогу объявили не понарошку. Полку и в самом деле предстояло выполнить весьма непростую операцию. Боевую или не вполне боевую — узнается после.

Еще до рассвета наши батальоны выдвинулись на окраину Алуксне, обложив казарму латвийского полка с трех сторон (с четвертой стороны мирно плещется озеро). Соколову, Стаднюку и мне приказано связать штаб полка с наблюдательным пунктом гаубичной батареи, размещенным на возвышенном месте, откуда хорошо просматривается казарма. Как и положено, на НП кроме наблюдателей находится командир батареи — молодой, несомненно обстрелянный артиллерист: гаубичный полк участвовал в Зимней войне.

Подключив телефонный аппарат и прозвонив линию, докладываю комбату, что связь с нашим полком действует; прошу разрешения нам троим оставаться на НП на случай прорыва провода или других неисправностей. Комбат кивнул в знак согласия, не произнеся ни слова. Он заметно волнуется, не стараясь даже этого скрыть. И нам троим волнение его понятно.

Пока мы наводили сюда линию и подслушать нас никто не мог, Сашка Соколов, дежуривший накануне при штабе полка, вот что рассказал.

Утром в полк прикатил из Гулбене, где расквартирован штаб дивизии, бригадный комиссар в сопровождении еще каких-то чинов. Бригадный сразу набросился на командира полка и комиссара:

— Что вы торчите в этой чащобе, как сычи?! Кто мы здесь, бедные родственники?! Вон казарма, занимайте ее — без промедления, завтра же!

Командир полка напомнил бригадному, что казарма не пустует, в ней расквартирован латвийский полк.

— Будто мы этого не знаем! — вскипел бригадный.— Вас, майор, что, учить надо, как действовать в подобной ситуации?

— Но применять силу...

— Применять не придется! Сопротивления не предвидится. А продемонстрировать надо. Полезно. План операции согласован.

Распалившись, бригадный впилил нашему комполка что-то насчет политической незрелости... Мы представляем здесь великую державу! Это следует помнить и вести себя подобающим образом.

Нашему майору оставалось только козырнуть и принять к исполнению приказ.

Стаднюк, выслушав рассказ Соколова, на этот раз очень серьезно произнес:

— Погано це, хлопци. Соро́м. Прийшли до чужой хаты та хозяину кажем: геть!

— Самое подходящее словечко ты нашел, Павло! — откликнулся Сашка.— Геть! По-нашему — вон! А могут они ослушаться? У них в полку едва рота наберется. Солдаты распущены по хуторам, родителям в помощь. Вооружения кот наплакал, говорят — батарея русских трехдюймовок одна тысяча девятьсот третьего года выпуска сохранилась. В музее выставлять можно...

Уже совсем рассвело. Наблюдатель, прильнув к стереотрубе, докладывает комбату:

— Возле казармы группа людей. Кажись, начальник штаба дивизии, командир стрелкового полка. А вот ихний военный, с усами.

Комбат заглянул в окуляры и отрывисто бросил:

— Продолжать наблюдение.

Минут через десять:

— Откозыряли друг другу... Возле казармы никого. Разошлись...

— Наблюдать!

Комбат стоял, сцепив руки так, что пальцы побелели. Тягостные минуты. Так проходит полчаса, час...

— Товарищ комбат, товарищ комбат, гляньте! Повозки подошли, грузовичок подан... Солдаты барахло вытряхивают, грузят койки, матрацы.

И тут — зуммер батарейного аппарата. Комбат хватает трубку и уже во весь голос, ликующе:

— Есть снимать НП! Есть сматывать связь!

Снял фуражку, вытер платком лоб. На его лице появляется нечто вроде улыбки.

Что он пережил в ожидании отбоя, этот артиллерист?! Ведь он, и только он, ведет стрельбу, он дает команду на открытие огня. И кто лучше него знает, какова убойная сила гаубичного стодвадцатимиллиметрового снаряда! Два пристрелочных, три на поражение, и что останется от трехэтажной казармы, от людей, там находящихся!

Быть может, он, как и все мы, надеялся, что не придется вести огонь. Но гаубичные заряды ведь настоящие, не холостые! Да и самая мысль, что участвуешь в чем-то постыдном, была нестерпима.

Испытание совести... Срам. Срам...

Вездесущие всеслышащие дружки из нашей роты связи рассказали потом, какой произошел разговор вблизи казарм. Командир латвийского полка, почтенный усатый полковник, спешно вызванный из дома (был воскресный день), выслушав ультиматум, только руками развел:

— Господа, пожалуйста, мы к такому развитию событий были готовы. Но зачем же так! — он показал рукой на броневичок, нахально уставивший свой пулемет на казарму.— Вы бы нам просто сказали, что вам нужна наша казарма. Мы уже на всякий случай договорились и сегодня займем до осени здание школы на другом конце города.

Как потом нам рассказывали, офицеры латвийского полка так объясняли своим солдатам происшедшее:

— Мы уступили русским казарму, так как они еще до прихода в Латвию долго жили в лесу, а раньше воевали зимой с финнами и теперь болеют...

Наши батальоны заняли казарму уже вечером, как только латыши очистили ее. Они весьма добросовестно вывезли решительно все, тут им не чинили препятствий; нам достались стены, высокие потолки да асфальтовый пол. Раскатали мы на нем свои куцые шинелишки и улеглись спать.

Наутро, еще до побудки, Соколов, уместившийся рядом со мной, выдал свой очередной опус:

До упаду, до пота седьмого играли в футбол,
Спать улеглись на холодный асфальтовый пол.
Под голову ранец, сверху палатка, снизу шинель,
Снились мне Сочи, «Ривьера», кавказский отель.

— Растешь, Саша! Это уже лучше, чем «Милая латышка, ты свежа, как пышка...». Но я что-то не помню, чтобы мы тут в футбол играли.

— Вредствуешь! Имею я право на вымысел! Мне для «пола» требовалась рифма.

— Когда ты успел это сочинить? Мы же только вчера отвоевали казарму.

— Я давно не сплю, к асфальту ведь надо адаптироваться. На еловых лапках в палатке было помягче.

Реплика из угла:

— Кто помнит, как спят на подушке?

Из другого угла:

— А как спят с женкой, ты часом не подзабыл?

Тут дневальный наконец заорал «Подъем!».

В захваченной без боя казарме прожили мы всего лишь дней десять. Почти сразу после выборов в новый латвийский сейм, которые мы столь блистательно обеспечили, дивизию вывели из Латвии.

Напоследок Саша Соколов выдал мне очередной свой опус:

Браво, хлоппы, браво!
И Рига, и Либава,
А также Каунас — теперь у нас!

Грузились мы в эшелон в Гулбене. Перед посадкой в телятник, истратив четыре сантима, я купил кружку молока и булочку. Последние сантимы буржуазной валюты и последняя кружка молока от буржуазной латвийской бурой коровы...

«В течение долгих лет латвийский народ стонал под гнетом эксплуататороа, подвергаясь грабежу и порабощению, обреченный на нищету и вымирание». Это я потом уже прочел в Декларации о вхождении в состав Союза ССР, принятой народным сеймом Латвии 21 июля 1940 года. Днем позже Государственная дума Эстонии приняла подобную же декларацию, в которой говорилось: «Эстонский народ долгие годы изнывал под игом реакционного режима, подвергался ограблению и угнетению».

Латыши стонали, эстонцы изнывали. То же самое происходило и с литовцами... Выбирать выражения некогда, да и ни к чему это было особоуполномоченным Сталина, возглавившим акцию сорокового года в Прибалтике.

...Дождь. 3 часа ночи. Только что пересекли границу. Себеж. Дежурная по станции поднимает свернутый на древке флажок и, грустно улыбнувшись нам, произносит со знакомым мне с детства акцентом:

— Ну, хлопцы, ужеж наехали, бувайце...

Мощный «Су», набирая скорость, тащит эшелон сквозь поля и леса родной моей Белоруссии. Обнищавшие колхозные села. Прогнившие, поросшие мхом драночные крыши. Изможденные, усталые люди. Лица бледные, худые. Дети, выпрашивающие хлеб. И милиционеры, безжалостно их разгоняющие.

Подобным образом вытравливается еще один пережиток капитализма — попрошайничество. Как быстро мы, однако, отвыкли от лицезрения этого пережитка, прожив всего лишь каких-то пять недель в буржуазной стране!..

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Полк выгрузился не доезжая Бреста. Нас разместили в военном городке, где квартировали совсем еще недавно польские уланы.

Местные жители поглядывали на нас, как мне казалось, с некоторым пренебрежением. В самом деле: были красавцы уланы, а тут, как треплются наши же артиллеристы, «пехота, перхота, не пыли».

Одной мыслью жили мы, тридцатилетние: домой! Ведь мы не только отвоевались на Карельском, но, сверх того, подверстали к нашему государству три Прибалтийские республики. И, судя по газетам, по успокоительным политинформациям, нам в обозримом будущем никто всерьез не угрожает. С Гитлером мы вроде как подружились. Правда, немецкие войска — вот они, на Буге. Но ведь у нас же с Германией договор!..

Сам Бог велел домой отправляться.

Однако еще долгих четыре месяца длилась канитель. И вот, в конце ноября сорокового я дома, на Шестой линии! Жена выбегает на звонок, я давал телеграмму, кидается на шею и вдруг, словно опомнившись, отстраняет меня, в глазах ее не то испуг, не то отвращение.

— Да что же это? Что на тебе надето? Ты разве из тюрьмы? Ты же воевал! Какой позор! Сейчас же снимай все с себя тут, у порога, ступай в ванну, там все приготовлено. А я эту мерзость сразу унесу на помойку... Боже, какое унижение...

Она разрыдалась.

Я вдруг понял, что обмундирован еще хуже, чем в июне, когда мы вторгались в Латвию. Такие ватники, и в самом деле, выдают разве что заключенным.

Пытаюсь ее успокоить.

— Пойми, пришел приказ, подписанный не то главным интендантом, не то самим Тимошенко: увольнять из армии в поношенном, рабочем. С нас новое, выданное в Латвии, и содрали. Выдали б/у, но стираное, вошек на мне нет.

Жена не унимается.

— Эти ужасные обмотки, эти бывшие ботинки, их же на спившемся бродяге только увидишь! Как ты мог надеть такое? Я бы швырнула в лицо вашему Тимошенке такое тряпье!

Она расстелила у порога ватник, пошвыряла в него весь мой ханал-манал и, держа узел в вытянутых руках, выскочила за дверь.

Я вновь обосновался в роли репортера на радио. Вольная жизнь с каждодневными разъездами, со внестудийными передачами продолжалась по возобновлении месяцев семь. А спустя три дня после начала нацистского вторжения, 25 июня 1941 года, меня опять призвали в армию, теперь уже надолго, до осени сорок пятого.

Потом была блокада.

Про свой полк, откуда меня уволили осенью сорокового года, я вспоминал редко — не до того было. И вот, долгое время спустя, уже в мирные дни, я увидел в газете фотографию: трое плачущих мужиков стоят в обнимку, голова к голове. Меня словно электрическим током ударило. В одном из троих я признал командира моего 44-го полка 42-й стрелковой дивизии майора Петра Михайловича Гаврилова. Признал сразу, хотя он был в штатском, а с того времени, когда я видел его в последний раз, прошло 16 лет, да каких лет! Неудивительно, что узнал я Гаврилова,— в Копайгороде и в Латвии он каждодневно бывал в ротах, а зрительная память у меня была отменная. Наблюдал я Гаврилова и в шта-

бе, где нередко околачивался как связист. Выразительное, запоминающееся, немного скуластое лицо. Говорили, что он татарин. Быть может, наполовину, судя по фамилии? Поговорить мне с ним не удалось ни разу — от рядового до командира полка дистанция огромная. А пустословия, наигранного панибратстаа («Как служится, солдат, пайки хватает?») за ним не наблюдалось. Был он суховат, как мне помнится, деловит, строг. Упущений не пропускал, взыскиаал. Однако не слыхал я, чтобы он учинял громкие разносы подчиненным.

Трое плачущих мужчин, изображенные на снимке,— офицеры, сражавшиеся с нацистами в 1941 году а Брестской крепости. Одному из них, интенданту 44-го полка Н. И. Зорикову, в первые же часы войны оторвало по плечо руку. Гаврилов же был пленен немцами лишь на тридцать второй день войны, 23 июля 1941 года. Он возглавлял гарнизон Восточного форта, одного из главных очагов сопротивления в крепости.

Вот что рассказывает о пленении Гаврилова в широко известной своей книге «Герои Брестской крепости» Сергей Сергеевич Смирнов:

«Пленный майор был в полной командирской форме, но вся одежда его превратилась в лохмотья, лицо было покрыто пороховой копотью и пылью и обросло бородой. Он был ранен, находился в бессознательном состоянии и выглядел истощенным до крайности. Пленный не мог даже сделать глотательного движения — у него не хватало на это сил, и врачам пришлось применить искусственное питание, чтобы спасти ему жизнь.

Гитлеровцы рассказали врачам, что этот человек, в котором уже едва-едва теплилась жизнь, в одиночку принял с ними бой: бросал гранаты, стрелял из пулемета, убил и ранил нескольких солдат... Было ясно, что только из уважения к его храбрости пленного оставили в живых. После этого, по словам Вороновича (пленный советский врач, лечивший Гаврилова.— *М. И.*), в течение нескольких дней в лагерь из Бреста приезжали германские офицеры, которые хотели посмотреть на героя, проявившего удивительную стойкость...»

Защитники Брестской крепости, среди которых были и бойцы моего полка, показали наивысшие образцы исполнения воинского долга, преданности отечеству. Однако их деяния, их имена долгое время замалчивались. Все должно было соответствовать пропагандным канонам. Вот если бы державшие оборону крепости погибли все до единого! А то ведь некоторые в плену оказались. Да, да, кончились патроны, не стало еды, питья. И все же. Безоговорочные герои — те, что принесли себя в жертву: один заткнул собою амбразуру дота, неподавленного, изрыгающего огонь; другой, чтобы не попасть в плен, приберег последний патрон для себя...

Петру Михайловичу Гаврилову после войны и плена была вроде и честь оказана — он одно время исполнял в Сибири обязанности начальника лагеря для военнопленных японцев. Боевой офицер, воспитанник Военной академии имени Фрунзе, командир лучшего в дивизии полка. И — вот так... Унизили человека дважды — принудили к захвату казармы латышского полка и затем, самого перенесшего плен, поставили сторожить пленных.

Все же Петру Михайловичу Гаврилову уже во время хрущевской оттепели, в 1957 году, присвоили звание Героя Советского Союза. А еще через год его избрали в Верховный Совет СССР. Ему было тогда под шестьдесят. А ведь к моменту окончания войны ему исполнилось только сорок пять...

Наши публикации

Адольф Урбан

О КРИТИКЕ

Желательно было бы увидеть в критике «совесть литературы», если бы подобные слова не звучали самонадеянно в устах автора, зарабатывающего этим ремеслом на жизнь. Ленинградский критик Адольф Урбан (1933—1989) предпочитал более рациональную — и всеобъемлющую — формулировку: «Критика — самосознание литературы». Себя же самого аттестовал в ней как «смысловика». Он признавал, что растолковать, почему то или иное творение прекрасно, идеал недостижимый. Не справляются с объяснением и сами художники.

Я тоже слабо верю, что критический анализ в состояаии уловить и запечатлеть на бумаге тайну гармонии или адекватно объяснить, в чем же состоит сущность искусства. Тут, как в толстовской притче о счастье из «Войны и мира»: тянешь, тянешь аналитический бредень, а вытаскиваешь на поверхность — и вся «красота» схлынула назад в произведение...

Но тянуть, работать — надо. Даже если этот труд сравним с сизифовым. В этом Урбан был убежден, как мало кто другой. Ибо смысл, порой неведомый самим творцам, критику из художественного текста извлекать надлежит. Надлежит думать о смысле красоты — в исторической жизни, где красота не является ни мерой, ни нормой существования. Выделяя уникальные черты каждого отдельного явления, Урбан умел постоянно сопрягать идеи друг от друга далековатые — и во времени, и в пространстве. Неуловимые, блуждающие образы прекрасного становятся у него обозримыми, материализуются, попадая в единый контекст культуры.

Но можно ли логически связать между собой то, что по сути своей неповторимо и неповторимостью только и ценно? Этот вопрос стоял перед критиком при написании каждой из его книг. Один из крупнейших специалистов в области отечественной поэзии XX века, он составлял их из отдельных портретных глав, подчеркивая неслиянное сосуществование различных поэтических систем в сообща творимой культуре. Книгами этими можно пользоваться как роскошно иллюстрированным путеводителем по русской лирике уходящего столетия. Но есть в них и более глубокая перспектива. Стоит изучать необщее выражение отдельного поэтического лица. И не менее важно уловить направление его взгляда, увидеть те зеркала, в которых он отражается.

В разные годы и уровень интереса к поэзии различен, и сама поэзия поворачивается к человеку разными гранями. Две последние книги Урбана «Образ человека — образ времени» (Л., 1979) и «В настоящем времени» (Л., 1984) были посвящены именно этой проблеме «переакцентуации», как ее, вслед за М. М. Бахтиным, определял автор. Речь шла об эволюции эстетических ценностей, об их обогащении или выхолащивании при смене эпох.

В анализе стихов Урбан исходил из реалистического положения о том, что для поэта «главное не так называемые муки творчества, а муки жизни, полнокровное ее чувствование». По отношению к Твардовскому исследователь говорил даже о его недоверии к «мукам слова», противопоставляя им доверие поэта к самому по себе русскому языку. Стихотворение — это своего рода «вспышка жизни», запечатленная в художественной речи, как писал Урбан в одном из очерков. Поэзия не прилагается к действительности извне.

Не только содержательная сторона творчества, но и его изобразительная сущность, сама поэтика прямо зависят от глубины переживания художником жизни. В поэзии отражается человеческая судьба. Автор, не распознавший ее, не распознает и своего поэтического предназначения, его дар распыляется, вместо того чтобы концентрироваться. Поэтическое бытие — «это не собрание фрагментов, а постоянно обновляющаяся целостность,— писал Урбан.— В девятнадцать ли, в девяносто лет — человек одновременно владеет всем, что случилось на его веку».

Мысль о «собирании целого» как цели критической деятельности натолкнула Урбана на способ выражения, который можно назвать «репрезентативным»: мвтериал не остается за пределами исследования, но включается в него в качестве самостоятельной, говорящей величины. Долговременный поклонник Бахтина, Урбан сознательно исповедовал принцип многоголосия. Культуру он моделировал как систему диалогических отношений. Точка зрения каждого из участников спора должна быть по возможности

изложена говорящим, а не авторской интерпретацией его речи.

Частная, казалось бы, проблема цитирования чужих текстов занимала Урбана в высшей степени. Он и вообще склонен был расценивать достоинство работы своих коллег по цеху в прямой зависимости от того, насколько удачно они умеют обращаться с цитатой. Несколько грубо, но справедливо, он полагал, что у большинства из пишущих о литературе чужой текст сигнализирует об иссякании собственной авторской мысли и нужен, по существу, лишь для того, чтобы увеличить в меркантильных целях объем собственной критической продукции. «Монографическому» способу последовательной склейки чужих фрагментов для уяснения априорно известного автору результата Урбан противопоставлял иной метод — «диалогический». Цитата в его работах — это цитата-собеседник.

В умении находить общий существенный для эпохи знаменатель при сопоставлении различных эстетических систем Урбан был отменным мастером, виртуозом своего дела. При известном «кризисе общения», все более углубляющемся в сфере художественной жизни сегодняшнего общества, роль авторов, способных вести правдивую и ненадуманную беседу со своими оппонентами, вряд ли может быть искусственно завышена. Тем более таких, как Адольф Урбан — с его интеллектуально раскрепощенным, порой скептическим, не облаченным в литературоведческие научные одежды словом.

Помню, как на вопрос, кто наименее пригоден для критической деятельности, Адольф, не колеблясь, заявил: «Профессиональные диссертанты». А в случаях, когда ему рекомендовали нового автора, ухмылялся: «Надо еще проверить, не кандидат ли он наук!» Конечно, все это не было, что называется, «принципиальной позицией». И в отделе критики «Звезды», в котором Адольф Урбан проработал четверть века, публиковались замечательные литературоведы академической складки — кандидаты и доктора наук. И в целом немалая заслуга Урбана — так же, разумеется, как и возглавлявшей отдел в шестидесятые-семидесятые годы Нины Георгиевны Губко,— заключалась в том, что журнал, избежав соблазнов легкокрылого эстетизма, не впал и в грех заскорузлого идеологизаторства. К работе в журнале были привлечены в равной степени основательные и независимые (сочетание непротиворечивое) критические умы той поры. Во всяком случае, критика «Звезды» отличалась в те годы завидной для любого журнала непредвзятостью мнений.

Сегодня при всем разливанном море обступающей нас информации мы живем в весьма суженном культурном пространстве. Все видят *одно и то же*, говорят об *одном и том же* и в полемике используют *одно и то же* оружие — неважно, по какую сторону покамест призрачных баррикад.

Урбан и в этом смысле занимал отдельную, многим казавшуюся сторонней, позицию. И вообще, если можно так выразиться, был «человеком отдельным».

Стоит обратить внимание хотя бы на те ориентиры, что он избрал в публикуемой статье для рассуждения о таком априори современном жанре, как критика: Гете и Пушкин, Сент-Бев и Брюсов... Не говоря о совсем уж экзотическом для современного слуха имени Анатоля Франса...

Заголовок статьи «О критике» дан нами. На самом деле с этого никак не названного автором размышления должна была начаться новая книга Адольфа Урбана — о «шестидесятниках», к которым он причислял и себя. К сожалению, на бумагу легло лишь начало этого труда. Но и в этом отрывке Адольф Адольфович Урбан успел исчерпывающе сказать о роли и назначении критики в современном литературном процессе. Особенно хочется выделить его определение, выражающее неизменную в литературной жизни позицию: критик — «чернорабочий сцены. Осветитель». Именно так. Критик — не премьер, не баловень зрителя, не кумир... Но без него литература пребывает во мраке.

Андрей Арьев

Приступаешь к книге и знаешь, что она может устареть прежде, чем поставишь точку в ее конце.

Книги литературно-критические о том, что происходит в словесности сегодня, писать рискованно. Статьи и то стареют за несколько месяцев.

Не поспеть за темпом новых публикаций.

Трудно уследить за коловращением сталкивающихся идей, сменой авторитетов, «переакцентуаций», как назвал когда-то М. М. Бахтин новое восприятие старых явлений. И изменение в оценках хорошо известно.

Непросто определиться в напоре долго сдерживавшегося литературного потока, который прорвал плотину и хлынул на еще недавно скудную почву.

Впрочем, есть на зти вопросы и ответ совсем простенький: не надо суетиться, оглянитесь назад — не во вчера и позавчера — а до.

Там все стоит на месте: читайте «Историю государства Российского» Н. М. Карамзина в современном журнале. Читайте классику и не думайте, что перемены — благо. Умейте не только стоять на своем — или чужом, однако хорошо затверженном,— но и возвращаться вспять, туда, где и «Слово о полку Игореве» уже динамический сдвиг. К «Влесовой книге», например. Мифология подлинная и вновь нафантазированная не подведет. В ней все — высшая правда, потому что она — мифология. Одухотворяет, возбуждает чувства и не требует рациональных обоснований и достоверности доказательств 〈...〉

Тут легко не только написать. но и «наговорить» книгу. Или три короба, три тома, тридцать три магнитофонные кассеты. Мифологемы резко очерчены: силы добра и силы зла, гонимые и гонители, заговорщики и Божьи воины, отстаивающие правое дело.

Сегодня мы читаем одно, откладываем в сторону, а завтра читаем совсем другое. Одно принимаем как долгожданное наследство, другое — отвергаем.

Вот самый первый слой: «Пожар» В. Распутина, «Печальный детектив» В. Астафьева, «Плаха» Ч. Айтматова.

Слой следующий: «Белые одежды» В. Дудинцева, «Зубр» Д. Гранина, «Дети Арбата» А. Рыбакова, «Исчезновение» Ю. Трифонова.

Слой третий: «Доктор Живаго» Б. Пастернака 〈...〉

Слой глубинный — из раскопок: «Ювенильное море», «Котлован», «Чевенгур» А. Платонова, «Собачье сердце» М. Булгакова, романы В. Набокова...

В поэзии: «Реквием» А. Ахматовой, «По праву памяти» А. Твардовского, «Погорельщина» Н. Клюева...

Это я пишу сегодня.

И уже знаю, что через полгода надвинется еще несколько новых слоев сверху и ландшафт снова изменится. До многого мы еще не дошли н в поэзии, и в прозе, и, в особенности,— в философии.

Что же это в самом деле? Неожиданно свалившееся богатство? Открытие кладов? Стремительное созидание новых ценностей?

Вероятно, и то, и другое, и третье.

Так можно ли писать обо всем об этом книгу? Похоже, что нет.

О М. Булгакове — можно, об А. Платонове — можно, о Н. Гумилеве, А. Ахматовой, Н. Клюеве — можно. Обо всех сразу — нельзи. О каждом отдельно — будет ноао. О входящих в дверь сию минуту и толпой — старо.

Дверь открыта, и давние знакомцы, перемешавшись с незнакомцами, появляются решительно и быстро. А. Битов несет «Пушкинский дом», В. Каледин — «Смиренное кладбище», Ф. Искандер — «Кроликов и удавов», М. Кураев — «Капитана Дикштейна», В. Конецкий — «Пройденного пути никто не отберет». Что тут можно сказать, кроме самых общих объяснений.

И все-таки попробую написать книгу не о далеком, а о близком, отступив лишь на шаг в сторону, чтобы оказаться и внутри и вне этого потока. Посмотреть на него и на себя одновременно. Потому что, отрешившись от себя, писать сегодня вряд ли возможно. Особенно а критике.

Надо и по поводу критики изъясниться.

Еще Пушкин писал: «Состояние критики само по себе показывает степень образованности всей литературы вообще».

О литературе можно судить по критике. Развитие литературы без участия критики односторонне и неестественно. Критика — самосознание литературы. Развиваться, не давая себе отчета, куда и зачем развивается, что пишет и к каким результатам приходит, литература не может. Иметь цель лишь внутри себя для литератора едва ли достаточно. Он вольно или невольно оглядывается на предшественников и современников, участвуя тем самым в общем движении.

Критика здесь посредник между писателем и литературой в целом, между литературой и читателем. Она кратчайшим образом обеспечивает линию связи между писателем, литературой и обществом.

О критике говорят много возвышенных слов.

Говорят: критика не только судит о писателе и литературе, но и сама — литература.

Критик не только следует за мыслью художника, но и сам своего рода художник, личность, имеет полное право на самовыражение.

В крайности критика способна существовать словно бы помимо писателя, в сущности, помимо своего предмета, как бы сама для себя. Потому что, в конце концов, есть высокая теория, есть общие концепции, есть индивидуальность критика... Иными словами, есть будто бы некая автономная область, связанная с субъективным эстетическим суждением.

Я не хочу ограничивать возможности и сферу применения критики — они действительно широки, хотя и мог бы поспорить с некоторыми крайностями. Например, с персонифицированной необязательностью мнений. Сказать: «Я так думаю» — не значит еще убедить, что все так обстоит на самом деле. Даже гений — Пушкин — не позволял себе гоаорить: «Это хорошо, потому что прекрасно, а это дурно, потому что скверно».

У критики есть не только право на самостоятельное мнение, но и обязанность быть предельно точной. Или, по меньшей мере, мотивированной.

Но речь сейчас даже не об этом. А что если критика — прежде всего работа?! Не в том всеобщем смысле, что всякое дело — работа. И у́же — всякое литературное занятие требует усилий, труда, нервов, наконец, имеет свой материал и саои приемы. Но еще в более непосредственном, черновом и строгом смысле слова.

Короче говоря, если и критике есть место на Олимпе, то какой ценой и усилием достигает она олимпийских высот?

Перелистайте сборник Гете «Об искусстве» (М., 1975) — пример довольно необычный. На вершине Олимпа немного таких небожителей, как Гете. Еще не открыв тома, мы, пожалуй, готовы оправдать причудливость критических оценок субъективностью гения. Во всяком случае, право утверждать: «Я так думаю» — мы признаём за ним безоговорочно. Как бы он ни думал, даже — как бы ни ошибался, нам будут интересны его мысли и сами его ошибки. Шутка ли: *так сказал Гете*! *Так* он ошибался.

Но, удивительное дело, своими исключительными правами Гете не пользовался. Во всех его критических оценках поражает

исключительная добросовестность. Прежде чем произнести суждение, он подробно знакомит собеседника с произведением.

Уже одно это — дело, требующее труда и ответственности. Гете осознает невозможность адекватного «пересказа». «Искусство — перелагатель неизречимого; поэтому глупостью кажется попытка вновь перелагать его словами. И все же, когда мы стараемся это делать, разум наш стяжает столько прибыли, что это с лихвой восполняет затраченное состояние».

Пересказы Гете в кратком варианте как бы воспроизводят вещь. Он с возможной — порою даже педантичной — точностью и полнотой стремится перевести ее на язык критической прозы.

Даже когда речь идет о больших и многосложных явлениях, он, не опасаясь наскучить, стремится исчерпать факты. Характеризуя сборник народных песен «Волшебный рог мальчика», он на многих страницах дает краткие характеристики каждой отдельной песни. Знакомя читателя с сербскими песнями, он подряд перечисляет мотивы и фабулы 55 из них.

Гете не пренебрегает ссылками на источники. С великой радостью и удовольствием приводит родственные мнения, корректно отдавая предпочтение чужому открытию.

Даже за двумя-тремя страничками текста статьи всегда чувствуется глубокое профессиональное изучение предмета.

Скрупулезный пересказ древней рукописи «Священные волхвы» заканчивается ее описанием: «Льняная бумага с поперечными полосами и водяным знаком в форме виноградной кисти. На каждой стороне начерчен тонко разлинованный квадрат, замыкающий текст... Шрифт исключительно ровный и тщательно выписанный, со многими повторяющимися сокращениями, без знаков препинания... На полях неразборчивые замечания...» И только после этого — выводы и обобщения.

Это похоже на современные научные публикации и библиографические описания новых находок.

Однако для Гете нет особой разницы между древней рукописью и рукописью современной. Столь же основательно он знакомит и с любительской рукописью, озаглавленной им «Немецкий Жиль Блаз».

Это — «рукопись, содержащая ежегодные записки и дневники человека, которого с детства бросало в разные стороны». В ней нет профессиональных ухищрений, и потому она скорее напоминает «произведение природы». Но «все развитие жизни этого человека,— полагает Гете,— примечательно в его связях с внешним миром, когда он, гонимый и сам себя гонящий, становится очевидцем некоторых мировых событий нового времени».

Первый вариант этой статьи сегодня мы бы назвали «внутренней рецензией» (позже он написал предисловие к издаваемой книге). Гете принимает участие в безвестном авторе. Рекомендует его записки к изданию.

«Но при издании не следовало бы даже помышлять о редактировании, потому что настоящее художественное произведение в изящном вкусе из него все равно не получится, тогда как широкий размах в описании дней и лет, многообразные изменения чередующихся и все повторяющихся обстоятельств уже сами по себе характеризуют именно данный образ жизни».

Говоря современным языком, это утверждение мемуарно-документальной прозы. Причем в ее непарадном народном варианте, в ее предельной подлинности. Гете озабочен запечатлением судьбы не какого-нибудь царедворца, высокопоставленного чиновника, святоши. Он убежден, что не следует «пренебрегать этим бедным парнем», ибо «человеческая жизнь еще меньше заслуживает, чтобы ее презрительно третировали за то, что, по всей очевидности, самым главным в ней оказывается именно жизнь как таковая, а не ее результаты». И он стремится, чтобы ее обстоятельства и факты не были искажены поверхностной беллетризацией.

Наконец, Гете по-человечески хочет «накормить и поддержать такого в основе своей хорошего, способного, подвижного, беспокойного человека, умерив его страсти с помощью образования...»

И так почти во всем. Гете не проявляет и малейшей заботы о «самовыражении». Он деловит, прост, сердечно заинтересован тем, о чем пишет. Ни тени пренебрежения к рукописи, даже находящейся на грани литературы. Никакого олимпийского или самодовольного изощрения «по поводу» — а ведь всякое произведение дает возможность «показать» себя.

Но как раз именно такого рода попытки он и осуждает: «Каждый воодушевлен твердой верой в то немногое, что он собой представляет или чем бы он хотел быть, и хочет себя именно в качестве такового навязать другому, вернее, другим, полагая, что все дело в этом».

А дело не только в этом. Работа Гете-критика направлена вовне. Он заинтересован прежде всего предметом разговора. «Настоящая критика» для него — это «любовь к истине», которая сопровождает «через все лабиринты».

Гете-критик осуществляет себя в работе. «Самовыражение» его не в способе изъяснения, не в демонстрации тех или иных своих качеств, но в целостном содержании деятельности, в весомости честного критического суждения, связанного со всей полнотой фактов.

По другому поводу он писал: «Ведь ничего нет удобней, как, забыв о содержании, следить за способом выражения. Мыслящий человек лепит словесный материал, не заботясь о том, из каких он состоит элементов, бездарному же легко говорить чисто, поскольку ему сказать нечего. Как же ему почувствовать, какой жалкий суррогат он употребляет вместо слова значительного — ведь это слово никогда не было для него живым, ибо он над ним не задумывался».

У критика живое слово сверх его собственного веса отягощено реальностью того художественного мира, о котором он берется судить, связано с интенсивностью восприятия, переживания и воспроизведения этого мира средствами критической прозы.

А это — большая работа, труд читателя, исследователя, истолкователя. Чтобы проявить свои силы, критик должен поднять глыбы материала. Его внутренние возможности реализуются вовне, через овладение этим материалом, через восприятие чужого текста, через наведение связей между текстом и литературой, литературой и обществом. «Самовыражение» критика не может быть независимым от предмета критического исследования. Как только критик забывает, о ком и о чем он пишет, он перестает быть критиком. Он ищет, но не один, а вместе с писателем, о котором судит, независимо — плохой это или хороший писатель, превозносит он его или ниспровергает.

Как только писатель перестает быть для него реальностью, как только критик начнет демонстрировать себя, превратив имена писателей в своего рода фишки, которые произвольно передвигаются из одного ряда в другой, он перестает работать как критик.

При этом можно, конечно, остаться близ литературы. Быть исправным газетчиком, публицистом, избрать свою тему высказывания и манеру красноречия. Касаться известных литературных имен и популярных художественных произведений. Для этих линейных композиций как раз нужны «известные» и «популярные» по преимуществу, потому что они используются как знаки определенного круга явлений, символизируются, но не берутся во всей многогранности своего содержания. Они служат «конструктивными» элементами субъективного критического самовыражения.

В критике нужна другая методика, точнее — другое внутреннее отношение к предмету: полнота сопереживания, пристальность и подробность критического взгляда, наконец, та чернорабочая добросовестность, которая понуждает держать на примете весь доступный материал. То есть мы приходим к той грани, где объектом критики становится текст, художественная система, личность писателя, а основой критической профессии — исследование, анализ, работа с материалом.

Однако не слишком ли утилитарна такая ориентация критики? Не получится ли, что, подчеркивая ее рабочий характер, мы снова низводим критику с вершин Олимпа на окраины литературной жизни?

Попробуем еще раз взглянуть на эти вопросы с олимпийских высот. Вчитаемся в одну маленькую заметочку «О критике».

«*Критика вообще.* Критика наука.

Критика — наука открывать красоты и недостатки в произведениях искусства и литературы.

Она основана на совершенном знании правил, коими руководствуется художник или писатель в своих произведениях, на глубоком изучении образцов и на деятельном наблюдении современных замечательных явлений.

Не говорю о беспристрастии — кто в критике руководствуется чем бы то ни было, кроме чистой любви к искусству, тот уже нисходит в толпу, управляемую низкими, корыстными побуждениями».

Это — черновой набросок Пушкина. Но сколько в нем расставлено точных вех: критика — «наука», основанная на «знании правил, коими руководствуется художник», на «изучении образцов», «деятельном наблюдении современных явлений». А это парадоксальное сочетание «беспристрастия» и «чистой любви к искусству», которое — читайте! — поднимается против своеволия и корыстного расчета. В конкретном пушкинском понимании — против булгаринского торгашества.

Пушкин высоко ставил критику. Ее состояние — прямое свидетельство степени развития литературы. Это — своеобразная мера культурных ценностей. Но это ее достоинство происходит не от своеволия критической мысли, а от высокой творческой любви к предмету, от «знания», от «изучения». Понятие критики-работы не чуждо Пушкину.

Сам Пушкин был блистательным критиком. Его суждения о литературе непреходящи. Снова хочется оговорить *пушкинское* право быть субъективным, право гения создавать свои творческие законы и ими руководствоваться.

Пушкин, безусловно, знал цену себе, знал цену своим современникам. Он удивительно трезв в оценках. Хладнокровен в своей пламенной любви к словесности. Энергичен и краток в выражении мысли. Но в его критике нет завоевательского своеволия. Наивно думать — а такое случается читать,— что Пушкин ко всем ревниво примерял свой гений. В его критике нет и тени собственного превосходства. Он естествен, прост, внимателен, сокровенно пылок. Его критические парадоксы не придуманы — они всегда отражают противоречия творчества, противоречия писателя, о котором ведется разговор.

О Ф. Н. Глинке: «Небрежность рифм и слога, обороты то смелые, то прозаические, простота, соединенная с изысканностью, какая-то вялость и в то же время

энергическая пылкость, поэтическое добродушие, теплота чувств, однообразие мыслей и свежесть живописи, иногда мелочной,— все дает особенную печать его произведениям».

Благожелательное, дружественное отношение к поэту и жесткая прямота сталкиваемых определений: смелость оборотов и прозаизм, энергическая пылкость и вялость, однообразие мыслей и свежесть живописи... Вся характеристика построена на контрастах, на психологической смене противоборствующих чувств, споре достоинства и недостатков, переходящих друг в друга. Характеристика, можно сказать, всеобъемлющая.

Еще лаконичнее и острее — об элегиях В. Г. Теплякова, в которых Пушкин увидел «силу выражения, переходящую часто в надутость, яркость описания, затемненную иногда неточностью.— Вообще главные достоинства „Фракийских элегий": блеск и энергия; главные недостатки: напыщенность и однообразие». А Тепляков был поэтом пушкинского круга! И Пушкин одновременно щедро представлял его читателям «Современника», перепечатывая в своей статье огромные куски из стихотворений Теплякова. Пушкинская критика была строгой, бескомпромиссной и деятельной.

Настоящая критика — считал Пушкин — должна быть предельно точной и в своей высокой любви к словесности неукоснительно справедливой; и нравственно недостаточна бойкая журналистика, равная «отсутствию критики», которая судит «о литературе как о политической экономии, как о музыке, т. е. наобум, понаслышке, безо всяких основательных правил и сведений, а большей частью по личным расчетам».

«Личный расчет» критика почти всегда производится в ущерб писателю, подменяет задачи и цели художника умыслом истолкователя. «Правила» же и «сведения» — конечно, не о нормативных требованиях идет речь — залог необходимого нравственного и профессионального уровня критики, ее человеческого содержания и аналитической добросовестности.

Легкость писания ныне вещь распространенная. Критическая бойкость пера неоспорима. Однообразие и тяжеловесное занудство как будто уходят в прошлое.

Теперь критика разнообразна. Но частенько за счет произвольности. Необязательна — недоказательна — в выводах и оценках. Критики ищут «себя», «свой стиль», «свой способ», «свою идею» выражения и при этом нередко теряют предмет разговора.

Предмет заменяется поводом. Поводом для посторонней импровизации, для «самостоятельного» сочинительства. Как с некоторой даже гордостью заявлено в одной из статей о критике: наша профессия исходно нескромна, мы как раз это и делаем — выставляем себя.

Но каково тогда «предмету», если вспомнить, что предмет критики — литература, текст, писатель, творческая личность художника!

Одно из свидетельств «со стороны» — в «Банальной балладе» И. Волгина:

> Помню, как-то
> меня разнес один достойный критик.
> Его собрат — не менее достойный —
> меня вознес.
> Мне кажется, что оба
> тогда погорячились.
> Став взрослее,
> я осознал, что был предметом спора
> весьма принципиального, который
> едва ль касался собственно меня.

Ловишь иногда себя на мысли, что хочется прочесть статью не критика такого-то, занятого своим «принципиальным» спором, обходя суть произведения, а дельный очерк о писателе таком-то. Дельную рецензию, дельный обзор. Литературный портрет, близкий к оригиналу. Чтоб был конкретный материал, информация, анализ, доказательства. Если не исчерпывающие, то хотя бы вручающие путеводную нить.

Критики в литературе — чернорабочие. Не хочу яркость выражения противопоставлять труду критика. Но критика всегда начинается с работы.

Но откуда те блестящие страницы литературной критики или, как писал когда-то А. Макаров, *художественной* критики, которые мы читаем не с постно утилитарной целью получить информацию, но и истинным увлечением? Где внутренние источники критической прозы, прозы в полном смысле художественной, пробуждающей в нас глубокое эстетическое чувство?

В конце концов, есть такой жанр, как эссе — итог личного литературного опыта, плод субъективного эстетического суждения. Может быть, оно и дает искомую возможность освободиться от объекта, то есть перейти к независимому сочинительству, чтобы «выставить себя» настолько, сколько позволит вкус, чувство скромности и личного достоинства?

Распространенный сейчас «эссеизм» — вещь, конечно, приятная. Но мне кажется, иногда он пошло понят как средство «навеять» впечатление. Очаровать ли собеседника «тонкостью» и «изяществом», намекнуть ли на посвященность в тайны литературной «кухни» и личные знакомства с живыми «классиками», на «эмоциональный» ли опыт своих туристских поездок и бог весть еще на что.

Не стану ссылаться на «Опыты» Монтеня, положившие начало жанру и прославившие его. Перечитайте Сент-Бева, Франса, Моруа, поддержавших и утвердивших положение эссе в новейшее время, и вы поймете, что эссе — вещь, как для сочинения, так и для чтения, не столь легкая и приятная, сколь серьезная.

Сент-Бев переворошил горы первозданного материала. Он извлек из тьмы забвения, восстановил репутации не только таких поэтов, как Вийон, Дю Белле, Ронсар, но заново открыл весь XVI век французской литературы.

Он писал о деятелях французского классицизма и Просвещения, портреты современников составляют три больших тома. В сущности, вся французская литература находилась в поле его зрения. И это была не поверхностная начитанность, не только знакомство с высочайшими вершинами той или иной эпохи. Он знал литературу в подробностях, по уникальным источникам — рукописям, документам, редчайшим изданиям.

В очерке о Дидро Сент-Бев описал, как «сочиняется» эссе: «Меня всегда привлекало изучение писем, разговоров, мыслей, различных особенностей характера, нравственного облика — одним словом, биографии великих писателей, в особенности если никто другой до меня не занимался еще подобного рода сравнительной биографией и мне предстояло первому наметить ее план, строить ее на собственный страх и риск. Запрешься тогда недели на две, обложившись книгами этого прославленного мертвеца — поэта или философа: штудируешь его, трактуешь и так, и этак, ставишь всевозможные вопросы, пытаешься воскресить его живой облик; это почти то же самое, что провести две недели где-нибудь за городом, работая над портретом или над бюстом Байрона, Вальтера Скотта или Гете; только тут, наедине со своей моделью, как-то проще себя чувствуешь, и хотя общение с ней требует несколько большего напряжения сил, зато куда больше и рождающаяся между вами близость. Один за другим возникают все новые штрихи, и каждый из них укладывается в тот облик, который ты стремишься воспроизвести, подобно тому, как звезды на наших глазах загораются одна за другой и сверкают каждая на своем месте в ткани ясной ночи. К этому смутному, общему, абстрактному облику, который удается охватить первым же взглядом, примешиваются, постепенно сливаясь с ним, неповторимые характерные черты, сугубо индивидуальные, точно найденные, все более отчетливые и дышащие подлинной жизнью; вы чувствуете, как рождается, как возникает у вас на глазах подлинное сходство; а в тот час, в то мгновение, когда вам удается ухватить в нем нечто неповторимое — особую улыбку, какую-нибудь царапину, скорбную морщину на челе, прячущуюся под прядью уже редеющих волос,— анализ уже уступает место творчеству, портрет начинает дышать и жить, образ найден».

Дело тут даже не в упоительном труде реставратора. Портрет, который начинает «дышать и жить», художественный по своей эстетической силе образ, созданный критиком, не выдумывается, а рождается из «максимальной близости» критика и писателя. «Новые штрихи» — не красивый вымысел, а прояснение смысла — «каждая звезда загорается на своем месте».

Один из самых субъективных эссеистов — Анатоль Франс. Его литературно-критическое наследство огромно и разнообразно. Он был выдающимся критиком своего времени. Объем интересов Франса — книжника, эрудита, антиквара и одновременно язвительного публициста — необычайно широк: опять же — вся французская литература, литература античная, литература других стран и народов... И снова пристальное внимание к личности писателя, к деталям, реалиям.

В воззрениях Франса-критика немало скептических нот. Он мог в пылу полемики сказать: «Следует иногда разрешать несчастным смертным не согласовывать свои взгляды и чувства». Заявить, что «во всех книгах, не исключая самых великолепных, наиболее ценно не то, что в них содержится, а то, что вкладывает в них каждый, кто читает». Или: «Не существует объективной критики, как не существует и объективного искусства... Никак нельзя уйти от самого себя, „я" — это истина. И это наша величайшая беда... И лучшее, что нам остается делать, это, по-моему, беспрекословно подчиняться ужасному положению вещей; всякий раз, когда у нас нет сил молчать, мы говорим о самих себе».

Казалось бы, критику предоставлены все возможности уйти от писателя «легкой поступью гуляющего человека». Но Франс глубоко и искренне любит не себя в литературе, а самое литературу. И он не мог пройти «мимо» писателя, о котором писал, демонстрируя лишь свое «я». Он позволял «следовать своим вкусам, своим фантазиям, даже своему капризу,— но при условии, что он останется правдивым, искренним и доброжелательным; если он не будет все знать и все объяснять; и, признавая неизбежное разнообразие мнений и чувств, будет охотнее всего говорить о том, что достойно любви».

Франс во всеоружии знаний, с величайшим остроумием, вкладывая свой огромный художественный талант, говорил о писателях, достойных любви, о них — прежде всего о них.

Эссе Андре Моруа, изданные у нас книгой «Литературные портреты» (М., 1970), хорошо известны. Добротность их фактической основы и серьезность характеристик самоочевидны и не требуют доказательств.

Впрочем, и Сент-Бева, и Франса, и Моруа отличал повышенный интерес к жизни писателя. Это как бы создает естественные условия для художественной критики. Увеличивает вес и значимость деталей, драматических ситуаций, реалий обстановки.

Я думаю, что ходовая мысль, будто в русской литературе нет традиций литературного эссе, по меньшей мере, неточна. Достаточно назвать «Книгу отражений» и «Вторую книгу отражений» И. Анненского, «Далекие и близкие» В. Брюсова, статьи А. Блока... Правда, сам термин вошел в употребление недавно.

Откройте шестой том собрания сочинений В. Брюсова (М., 1975). Большую его часть составляют эссе, за которыми он признавал прежде всего «ценность непосредственного впечатления». Однако ценность этого иногда первого впечатления настолько прочна, что и сейчас, спустя многие десятилетия, мы не можем обойти брюсовских характеристик К. Фофанова, К. Случевского, Н. Минского, К. Бальмонта, Ф. Сологуба, И. Северянина и многих других поэтов.

В. Брюсов, в отличие от французских эссеистов, мало интересовался биографией. Он не без основания считал себя стиховедом. Его глубоко интересовали реалии стиха и коллизии поэтической мысли. Из этих реалий, входящих в конфликтные сцепления, иногда на трех-четырех страницах он составлял своеобразные художественные портреты «далеких и близких». Краски на этих портретах оказались яркими и долговечными.

В чем тут дело? В даровании? Конечно! Но и не только в нем. Готовя к печати очередную книгу статей «Miscellanea», В. Брюсов сделал такую запись: «В чем я считаю себя специалистом.

В наши дни нельзя быть энциклопедистом. Но я готов жалеть, когда я думаю о том, чего я не знаю...

Сейчас я чувствую себя сведущим, как никто, в вопросах русской метрики и метрики вообще. Прекрасно знаю историю русской поэзии, особенно XVII век, эпоху Пушкина и современность. Я специалист по биографии Пушкина и Тютчева и никому не уступлю в этой области. Я хорошо знаю также историю французской поэзии, особенно эпоху романтизма и движение символическое. Вообще осведомлен во всеобщей истории литературы. Работая над своим „Огненным ангелом“, я изучил XVI век, а также то, что именуется „тайными науками“, знаю магию, знаю оккультизм, знаю спиритизм, осведомлен в алхимии, астрологии, теософии.

Последнее время исключительно занимаюсь Древним Римом и римской литературой, специально изучал Вергилия и его время и всю эпоху IV века — от Константина Великого до Феодосия Великого. Во всех этих областях я в настоящем смысле слова специалист: по каждой из них прочел целую библиотеку.

В разные периоды жизни я занимался еще, более или менее усердно, Шекспиром, Байроном, Баратынским, VI веком Италии, Данте (которого мечтал перевести); новыми итальянскими поэтами... Я довольно хорошо знаю французский и латинский языки, сносно итальянский, плоховато немецкий, учился английскому и шведскому, заглядывал в грамматики арабского, еврейского и санскрита...

Но Боже мой! Боже мой! Как жалок этот горделивый перечень сравнительно с тем, чего я не знаю... Если бы мне иметь сто жизней, они не насытили бы всей жажды познания, которая сжигает меня».

Список интересов и занятий В. Брюсова приведен здесь с большими пропусками. Дело не в них как таковых. Дело в жажде познания, в страсти реализовать ее. «Герой труда» — назвала М. Цветаева свои воспоминания о В. Брюсове. Вместе с восхищением есть в этом названии и чуть ироническая усмешка, противопоставление рабочего усилия вдохновению.

Но для В. Брюсова работа одновременно была и вдохновением, страстью, жизнью.

Все же в заключение следует оговориться, что критическая «работа», «знание фактов» сами по себе могут и не дать ничего замечательного. Сколько мы знаем добросовестных пересказов! Сколько цитат, связанных друг с другом грубыми критическими вожжами. Сколько портретов, где, казалось бы, есть все: родился — написал — приобрел известность — скончался. Даты, цитаты, сноски. Все как будто так, и все, однако, мертво.

Снова из книги Гете «Об искусстве»: «Создания искусства разрушатся, как только исчезнет чутье к искусству».

Весь смысл в том, чтобы, взявшись судить о произведении, критик не обошел бы его. Это во-первых. И во-вторых — не разрушил.

Поэтому не стоит иллюзию свободного критического парения заменять иллюзией прямой борозды, прокладываемой мускулистыми волами.

Не стану доказывать, что критик может быть талантлив, что он тоже человек и что, подобно карамзинской бедной Лизе, чувствовать умеет. Об этом как будто уже не спорят.

Любое произведение — даже распадающееся на части — это целое или мыслимо в принципе как целое. Своими средствами, средствами критической прозы — а они разнообразны и индивидуальны — критик воспроизводит это целое. Иногда он даже сам его собирает, восстанавливает, резче прочерчивает неясный контур. Так что деятельность критика в высшей степени созидательная.

Тут-то он больше всего и проявляется как личность.

Целостное произведение, вернее, его образ, отраженный в критической прозе, вписывается в более широкую панораму литературной, историко-культурной, научно-теоретической, общественной жизни.

В этой творческой работе проявляются характер, темперамент, склонности, воля критика. Скажем даже так — его субъективность.

Осмысляя произведение, он прилагает к нему свою заветную мысль. Художественной, образной мысли писателя сообщает новое направление, может быть, точнее — продолжает ее в другой сфере интеллектуальной и общественной жизни.

Он может делать теоретические выводы, интересные в методологическом отношении.

Связывать литературу с другими сферами культурной жизни, с другими искусствами.

Интересоваться структурой художественного произведения по преимуществу.

Рассматривать его как историю современности.

Выступать как моралист.

Быть публицистом, соотносить идеи и образы с потребностями непосредственной жизни. Тут десятки и сотни вариантов, возможности самых разных подходов, а о способах разрешения взятой задачи и говорить нечего — их великое множество. В сфере переживания, критического воспроизведения и истолкования текста, в сфере реальной мысли — широчайшее поле для проявления творческой личности.

Я никогда не мог воспринять критику *только* как литературу. Хотя, признаюсь, многие критические сочинения читал с бо́льшим интересом, волнением и эстетическим удовольствием, чем произведения, которым они посвящены. Но определение «критика — литература» всегда казалось мне узким и не вполне конкретным.

Фантазировать на темы написанных произведений, то есть выражать через эти произвольные фантазии себя, по меньшей мере неделикатно. Так мы нарушаем суверенность личности художника. Захватнически используем его территорию для взращивания своих замыслов. По чести и сути будучи зависимыми от материала, рвем его на куски, чтобы сшить свой пестрый лоскутный плащ, демонстрирующий оригинальность и независимость мысли и вкуса.

Критик не прокурор и не судья, не адвокат и не конвоир, не палач и не лакей.

Кто же он?

Чернорабочий сцены. Осветитель. Исполнитель тех же ролей, что исполняют и его герои — писатели, с которыми он имеет дело, их персонажи, жизнь которых он мысленно должен прожить. Хочешь не хочешь, можешь не можешь, а должен. Иначе потеряешь почву под ногами. Потеряешь постоянную профессию. Превратишься в шабашника, ищущего выгоду, а не истину.

На критике — строю не индивидуальный, а обобщенный и многовариантный образ — лежит почти неподъемная тяжесть.

Со скучным писателем ему надо прожить скучную жизнь.

С авантюристом — полную приключений.

С эмоциональным — чувствовать. С философствующим — мыслить. С расчетливым — числить.

И при всем том, не выходя из роли, остаться самим собой. Постигнутое таким образом рассказать своим языком, языком критической прозы.

Сент-Бев сказал о себе: «Я лишь *рисовальщик*, создающий портреты великих людей.

Я всегда полагал, что перо окунать следует в чернильницу того автора, о котором намереваешься писать.

Критика для меня — перевоплощение. Я стараюсь раствориться в человеке, облик которого воссоздаю».

Сент-Бева хочется цитировать снова и снова, так молода и оригинальна его мысль, поставившая себя в зависимость от материала, от модели.

«Критическое дарование перерастает в гениальность, когда — в гуще революций, совершающихся в области вкуса, посреди развалин отживших, разрушающихся жанров, посреди новаций, прокладывающих себе дорогу,— требуется ясно, уверенно, без всякого снисхождения выделить в литературе все удачное, все, чему суждена жизнь, и когда требуется понять, *настолько ли велика подлинная оригинальность нового произведения, чтобы искупить его недостатки.*

Мы — дозорные, и всякий наш возглас, возвещающий о новом открытии, непременно будет исполнен волнения и радости...

Я всегда предпочитал судить о писателях по их прирожденной силе, как бы освобождая их от всего, что было приобретено впоследствии» [1].

Критик прежде всего — внимательный читатель. Читатель с артистическими способностями.

Но и аналитик. Сент-Бев считал, что он занимается *«естественной историей литературы»*.

Домосед, преодолевающий большие психологические пространства.

Путешественник во времени — в прошлое и будущее.

Мастеровой, с помощью простейших средств изъяснения, через таинственную художественную структуру способный проникнуть в иное измерение.

Слепец, обязанный прозреть вместе со своими героями и увидеть то, что порою и они не видят.

В критике меня больше всего привлекает не импровизация, а работа. Не мартышкин, разумеется, труд переливания из ничего

[1] Сент-Бев Ш. О. Из «Дневника». Зарубежная эстетика и теория литературы XIX—XX вв. Трактаты, статьи, эссе. М., 1987. С. 51—53 (курсив Сент-Бева).

в ничто, а работа с конечным, как теперь говорится, результатом. То есть достигающая своей цели и смысла.

Работа с текстом, выходящая за пределы текста.

С языком и образами, ими не ограничивающаяся.

С отношениями и психологией героев, сформулированными иными средствами, нежели в художественном произведении.

И как венец всех усилий — уяснение индивидуальности писателя, отличной от самоинтерпретации, переведенной на язык критической прозы с ее психологическими, историческими, социальными, религиозными, философскими аспектами. Если, конечно, они есть в произведении или можно найти их эквиваленты.

Это не совсем то, что писатель думает сам о себе. И уж определенно не в той форме, в какой он свои мысли выражает.

Критик дает не оригинал, а модель. В какой мере совершенную и достоверную — вопрос другой. Но безусловно ведущую свое происхождение от первоисточника, на него опирающуюся, ему следующую. И цель его — не удалиться от оригинала, а к нему приблизиться.

В степени этого приближения — тайна искусства критика, его собственной оригинальности и самостоятельности. Потому, прежде всего, что здесь он волен изобретать свои подходы, свои средства, свой язык и стиль.

Если можно называть критику литературой, то лишь в этой ее обязывающей роли. Не украшающей, беллетризирующей и самодовольно утверждающейся на чужом материале, а в него вживающейся в поисках истины, обоюдно связывающей писателя и критика.

Потому и оглядываю я не всю панораму, где полуразрушенные старые и наспех возведенные новые монументы являют картину неумело наведенного порядка и продуманно организованного хаоса, а выискиваю старых знакомцев, среди которых или рядом сам прожил жизнь. То совпадение во времени, которое было поводом для радости и причиной душевных травм.

Отдаю себе отчет, что моя тема может оказаться немодной. Даже боковой по отношению к действительно большим созданиям литературы, означившимся на горизонте. Но принимая и усваивая их — приходящие из прошлого и только возникающие, утверждаясь как начало будущего,— хочу еще побыть в собственном времени, достаточно протяженном, чтобы сразу явить несколько десятилетий, и еще не сжавшемся до последней точки, дальше которой текст навсегда обрывается 〈...〉

ВИКТОР КОЗЛОВ

В тени каракумского тамариска, сделав по глотку воды, мы неожиданно заспорили о рифме-вспышке внутренней, рифме-ударе начальной и рифме-грани в конце стихотворной строки, приводя по памяти примеры из классиков и народной поэзии. (Год — 52, жара — 52°). Я еще не знала, что нового сотрудника Хорезмской археолого-этнографической экспедиции зовут Виктор Сергеевич Козлов, но знала, что он — фронтовик — здорово разбирается в звездном небе, рельефах и почвах, неутомимый ходок, никогда не повышает голоса, умеет быть незаменимым и незаметным.

Топограф и спелеолог поколения 30-х годов, избороздивший Крым, Кавказ, Среднюю Азию, Алтай. Начинал он свою деятельность как автор, актер, организатор — театральных студий, Агитпропа, Молодежного театра в Москве — с той самоотдачей, потребностью в новизне, в общении с людьми, какими овеяны эти годы — для многих. Он не успел стать «печатным» драматургом и поэтом до переломного времени. А потом?..

Мне как-то довелось услышать отзыв известного писателя о младшем товарище: «Талантлив и мало печатается, а не озлобился». Но ведь озлоблялся тот, главным образом, кто «ломал себя» — ради печатания и преуспеяния! Скромнейший человек, Виктор Сергеевич Козлов выбрал себе другую судьбу. Он любил свою бродячую профессию, дружил с дорогой, дружил с людьми. И людям было уютно, надежно с ним. Но неистребимой страстью — на всех его дорогах — оставалось литературное творчество. Он не печатался, но он сберег свой мир и писал всю жизнь — вне компромиссов — сообразно совести и вкусу. Стихи и прозу он читал друзьям, для друзей устраивал свои прекрасные фотовыставки. И друзей было много! В московской квартирке — полуподвале, где он проживал с женой, тоже бродячей профессии,— ве так-то легко было отыскать хозяев среди гостей, прибывавших, отбывавших, кратковременных и постоянных. Настоящий караван-сарай!

После такой жизни (она оборвалась в 1985 году) в наследство от Виктора Сергеевича остались два рюкзака: маленький — с походными вещами и большой — с рукописями. Стихов хватило на книжку, она выпускается в издательстве «Художественная литература». Самое интересное в книге — поэма «Последний ужин Франсуа Вийона». И по форме — по своеобразному, чисто русскому преломлению французских интонаций, звучания, образности, и по сопричастности автора и трагизма нашего времени — судьбе и эпохе французского поэта. Поэма большая, пусть читатель познакомится с нею в книге.

А мы предлагаем подборку стихов, в которых В. С. Козлов по-своему решал трудную задачу: говорить «просто и понятно» о простых — самых сложных и драгоценных — человеческих чувствах.

М. Земская

* * *

Когда сидишь один, а новогодний вечер,
Снежинками кружась,
давно припал к окну,
И ветер за окном совсем по-человечьи
Вздохнул, притих, потом опять вздохнул,
И в доме нет огня, и трубку не ищи ты,
Мгла опустилась вниз, и убежать нельзя,
Я лишь у вас могу искать защиты,
Друзья мои! Ушедшие друзья.

* * *

В окошко месяц утешал:
«Есть в каждой комнате душа».
Но сердца стук уснуть мешал,
Предчувствий гулкий стук:
Есть в каждой комнате душа,
И есть в углу паук.

МЫШОНОК
1937 г.

Снег и ветер, шум его
Под окном неистов.
Завернуться с головой
В твой платок пушистый;
Обо всем бы позабыть,
Обо всем на свете,
Серой мышью тихо жить
В банке на буфете.
Знать мышиные места
И обыкновенно
В книжный шкаф ходить, листать
Диккенса и Твена.
Из щелей на свет ронять
Глазок черный бисер:
В необъятном свете дня
Комнатные выси.
По ночам затеять писк
С маленькой плутовкой.
Скажут: «Мыши завелись»,
Вынут мышеловку.
И когда в один нажим
Смерть возьмет в объятья,
Видеть кольца злых пружин
И не понимать их.

В СИБИРЬ

Волчий месяц — декабрь.
Волчьи тропы в сугробах
И колючей щетиной можжевельник в
снегу.
Из-за темных кустов поднимается робость,
И грызут удила рысаки на бегу.
Темный месяц — декабрь.
И не в добрую пору
Улюлюкает кто-то на буграх за мостом;
И дымит на реке почерневшая прорубь;
Волчья стая уносит перехваченный стон.
И выносят возок одичалые кони,
И стоят у ворот... И возничий стучит.
И шаги отвечают в нетопленном доме.
И дрожит отраженье пугливой свечи.

СЕНТЯБРЬСКАЯ ГРОЗА

Сентябрьская гроза над лесом
желто-черным.
В одно смешались ливень, листопад.
И мокрые стволы, как серый строй солдат,
Стоят в огне незыблемо, упорно.
Блеск молний отражен
на бронзе желтой кроны.
Орудия гремят. Кипит последний бой.
И надо отступать, терять свои знамена,
Свой славный стяг зелено-голубой.
Здесь иней на листве —
бинты случайной раны,
На луговинах снег и над рекой дымки.
Здесь полководец умный ветеранов
Уводит в тыл, формировать полки.
По-партизански просвистят метели.
Февраль на вылазках, апрель слепит глаза.
Ритм пулеметный у дневной капели,
А там атака — майская гроза.
И если выживу в землянке злую зиму,
И смерть не подобьет из-за угла,
Я буду здесь, когда заслоны снимут
Подточенные ветрами снега.
В прозрачный день, минуя ряд стволов,
Как знамя, молча поцелую
Листву, вернувшуюся из боев,
Зеленую и голубую.

Публикация М. Земской

Из литературного наследия

Михаил Пьяных

К ПОСТИЖЕНИЮ «РУССКОГО СТРОЯ ДУШИ» В РЕВОЛЮЦИОННУЮ ЭПОХУ

Максим Горький и Андрей Белый о России

Александр Блок весной 1918 года писал: «...Пора перестать прозевывать совершенно своеобычный, открывающий новые дали русский строй души. Он спутан и темен иногда; но за этой тьмой и путаницей, если удосужитесь в них вглядеться, вам откроются новые способы смотреть на человеческую жизнь».

Публикуемые ниже статьи «Русская жестокость» М. Горького и «О Духе России и „духе" в России» А. Белого относятся к числу тех художественных и философско-публицистических произведений, в которых по живым следам исторических событий был запечатлен «русский строй души» времен революции и гражданской войны 1917—1921 годов.

Надо сказать, что русская литература тех лет, особенно поэзия, не прозевала-таки, как полагают иные, эпохального периода в жизни страны и народа. «Прозевывание» началось в основном после революции, когда у нас оказались под запретом и не печатались многие произведения революционных лет, объявленные антисоветскими. Хотя на самом деле, указывая на негативные стороны революции, они предупреждали об их опасности для грядущих судеб страны. Сейчас можно только предполагать, каким было бы воздействие на общественное и индивидуальное сознание таких, например, произведений, как роман Е. Замятина «Мы», «Несвоевременные мысли» М. Горького, сборник «Из глубины», письма В. Короленко к А. Луначарскому, будь они доступны советским читателям. Несомненно одно: своевременное знакомство с этими и другими произведениями имело бы положительное влияние на общественное мнение и если не остановило бы развития негативных тенденций, то, во всяком случае, ослабило, помешало бы их почти беспрепятственному разрастанию.

Постижению «русского строя души» в революционную эпоху мешает и то, что литература тех лет, даже не запрещенная, многим неизвестна, мало кем читается, до сих пор остается плохо изученной. Как ни странно, но на восьмом десятилетии после революции мы не имеем сколько-нибудь приличной антологии, в которой была бы достаточно полно и разносторонне представлена проза или поэзия того времени. Нет у нас и целостного литературоведческого исследования поэзии революционных лет, а шире — и всей литературы революционной поры.

В результате жесточайшей цензуры, идеологического промывания мозгов мы лишились возможности знать свою литературу, а вместе с ней самих себя, особенности своего национального характера, плюсы и минусы психологии своего народа. За такое незнание, за такую социальную, духовно-нравственную и эстетическую слепоту наш народ заплатил дорогой ценой: уничтожением лучших людей, пробуждением низменных инстинктов, внутренним распадом, крушением высоких идеалов и устремлений.

Сегодняшнее незнание или полузнание о нашем прошлом дает о себе знать также и в идеализации самодержавия, дооктябрьской жизни народа, его социального и экономического положения, в наивных утверждениях, что Октябрьская революция была ошибкой, что она была не нужна и произошла только благодаря усилиям Ленина и его партии, что за все насилия и преступления времен гражданской войны ответственность несут только большевики.

Мы должны стремиться к полноте знания о прошлом, о хорошем и плохом в нем, ибо без него нет полноты и глубины знания о настоящем, знания о своем народе, необходимого для индивидуального и общего самосовершенствования, для национального возрождения. Это знание особое, не только фактологическое, позитивистское, рациональное, но и духовно-нравственное и эстетическое, включающее в себя представления о добре и зле, высоком и низком, уродливом и прекрасном, идеальном и реальном. Такое знание людям могут дать прежде всего литература и искусство. Человек, не чувствующий пре-

---

Пьяных Михаил Федорович (род. в 1929 г.) — кандидат филологических наук. Автор книг «Слушайте революцию. Поэзия Александра Блока советской эпохи» (1980), «Поэзия Александра Межирова» (1985), «Ради жизни на земле» (1985) и других. Неоднократно печатался в «Звезде». Член СП. Живет в Ленинграде.

красного и доброго, способен только осквернять и разрушать их, а не защищать и созидать.

Статьи Горького и Белого не относятся к художественной литературе, но они написаны художниками слова, и особенности художественного мировосприятия авторов сказываются в них. Статья «Русская жестокость» принадлежит реалисту, а статья «О Духе России и „духе" в России» — символисту, то есть романтику нового типа, характерного для русской литературы «серебряного века». В отличие от реалистов, романтики не только устремлены к высоким духовно-нравственным, эстетическим и социальным идеалам, но и воспринимают действительность в свете этих идеалов, воспринимают требовательно и критически, предъявляя ей высокие, идеальные критерии. Романтизм, вопреки расхожему представлению, не мешает правдивому изображению жизни, а, наоборот, способствует более глубокому постижению ее сущности. Романтические идеалы во всей своей полноте неосуществимы, их невозможно полностью реализовать (на то они и идеалы, а не просто образцы; реализованный идеал перестает быть идеалом), но к ним можно в чем-то приближаться, они являются прежде всего мощным стимулом для духовно-нравственного, социального и эстетического развития. В свете романтических идеалов и в периодическом столкновении их с косной действительностью глубже раскрывается человеческая жизнь с ее устремлениями, внутренними возможностями, трагическими коллизиями и перспективами.

В поэме Блока «Двенадцать» трагедийное преображение «русского строя души» в революционную эпоху показано в свете романтического идеала, связанного с образами Христа и Вечной Женственности. Эти образы, национальные и общечеловеческие по своему содержанию, имеют не только религиозно-нравственный, но и духовно-философский, культурно-исторический и эстетический смысл.

В творческом соперничестве с поэмой Блока Андрей Белый в поэме «Христос воскрес» (апрель 1918 года) создает свою художественную версию преображения России. В отличие от поэмы Блока, здесь национальное преображение под воздействием общечеловеческого христианского идеала изображалось как преображение чисто духовного и религиозного порядка. Поэму «Христос воскрес» Белый цитирует в конце своей статьи «О Духе России и „духе" в России», и это не случайно: вся статья является своеобразным комментарием к поэме, развивает ее идеи.

В статье Горького «Русская жестокость» реалистически рассмотрена только негативная сторона национальной психологии, которая получила массовое и гиперболическое проявление в годы революции и гражданской войны, причем не только у белых, как считалось до недавних пор, и не только у красных, как пытается кое-кто утверждать сегодня, а у тех и у других в равной степени. Можно сказать, что здесь писатель продолжил и обобщил одну из основных тем «Несвоевременных мыслей». Статья «Русская жестокость» не случайна и для всего творчества Горького. Тема «свинцовых мерзостей» русской жизни — одна из главных в произведениях писателя дооктябрьского периода и периода Октябрьской революции, и она связана прежде всего с изображением «окуровской», мещанской и крестьянской Руси. Как пишет Горький в очерке «В. И. Ленин», его отношение к крестьянству во многом определило отношение к Октябрьской революции и к Ленину этих лет: «Когда в 17 году Ленин, приехав в Россию, опубликовал свои „тезисы", я подумал, что этими тезисами он приносит всю ничтожную количественно, героическую качественно рать политически воспитанных рабочих и всю искренно революционную интеллигенцию в жертву русскому крестьянству. Эта единственная в России активная сила будет брошена, как горсть соли, в пресное болото деревни и бесследно растворится, рассосется в ней, ничего не изменив в духе, быте, в истории русского народа».

Русским националистам, которых можно назвать архипатриотами, не нравится горьковская характеристика русского крестьянства: ведь они, как и националисты других народов, все отрицательное в психологии своего народа стремятся не замечать или замазывать, критику негативных явлений в его жизни воспринимают как клевету, а поскольку негативные явления все-таки имеются и совсем скрыть их невозможно, то вину за них возлагают на инородцев, на людей других национальностей. Так, в наше время пытаются утверждать, что ответственность за грехи революции, за убийство Бога, за послеоктябрьский террор должны нести евреи, а не люди всех национальностей нашей страны, и прежде всего русские. В поэме Блока «Двенадцать» в незримого для них Христа стреляют по своей духовно-нравственной и эстетической слепоте красногвардейцы, из которых поэт ни одного не обозначает как инородца: все они, в отличие от своих евангельских предшественников — двенадцати апостолов,— русские. А христианские муки совести пробуждаются только у красногвардейца Петрухи, глубоко пережившего свою трагическую вину — непреднамеренное, нечаянное убийство любимой им женщины.

«Разбойники// И насильники —//Мы»,— заявляет А. Белый в поэме «Христос воскрес», говоря об общей вине за новое распятие Христа в годы революции и видя в признании этой вины каждым человеком условие искупления греха и духовно-нравственного возрождения России.

М. Горький, в отличие от А. Белого, писал не о преступлении в отношении духовного идеала человечности — Христа, а о реальной жестокости русских людей в отношениях друг с другом. Можно не сомневаться, что и сегодня найдутся архипатриоты, которые воспримут статью Горького как клевету на русский народ и будут утверждать, что жестокость не типична для русских, что для них, наоборот, характерны доброта и сострадание. Да, русским свойственны доброта, отзывчивость, сострадание и другие хорошие качества, но свойственны они не всем русским, а лучшим из них, на которых мы и должны равняться.

Писал Горький о жестокости русских людей в отношениях между собой не для того, чтобы оклеветать русский народ, а для того, чтобы помочь ему стать лучше, требовательно взглянуть на свои недостатки, не взваливая вину за них на кого-то, ужаснуться собственному зверству и скотству, очиститься от нравственной и физической скверны.

Как современно звучат слова Горького, сказанные им в мае 1918 года в «Несвоевременных мыслях»: «Отрицательные явления всегда неизмеримо обильнее тех фактов, творя которые, человек воплощает свои лучшие чувства, свои возвышенные мечты,— истина, столь же очевидная, сколь печальная. Чем более осуществимыми кажутся нам наши стремления к торжеству свободы, справедливости, красоты — тем

более отвратительным является пред нами все то скотски подлое, что стоит на путях к победе человечески прекрасного. ⟨...⟩ Надо только помнить, что все отвратительное, как и все прекрасное, творится нами, надо зажечь в себе все еще незнакомое нам сознание личной ответственности за судьбу страны».

Статьи Горького и Белого призваны способствовать не только ликвидации «белых пятен» в истории «русского строя души», но и его сегодняшнему возрождению, преображению и самосовершенствованию.

Статьи публикуются по журналу «Новая Россия», Пг.— М., 1922 (№ 2, май), с. 141—147.

РУССКАЯ ЖЕСТОКОСТЬ

Я видел и пережил много жестокостей. Я никогда не мог понять сущности жестокости. Всю жизнь меня мучил вопрос: где дно ее, из каких инстинктов вытекает человеческая жестокость?

Когда-то давно я прочел книгу под зловещим названием: «Прогресс — эволюция жестокости». Автор пытался доказать посредством целого ряда художественно сопоставленных и истолкованных примеров, что прогресс человечества содействует выявлению скрытого в крови человека наслаждения — мучить себе подобных телесно и духовно. Я с негодованием читал эту книгу, она меня не убедила, и скоро парадоксы эти изгладились в моей памяти.

Но теперь, после ужасающего безумия европейской войны и кровавых оргий революции, теперь я опять призадумался об этих парадоксах. Но нужно заметить, что именно в русской жестокости никакого, кажется, прогресса нет; ее формы не изменились.

В начале 17-го века в России практиковались следующие способы пытки: в рот жертве набивали порох и поджигали. У женщин разрезывали груди, через раны протягивали веревки и потом вешали жертву за эти веревки.

В 1918—1919 годах те же самые способы практиковались на Дону и на Урале: замучивали своих жертв до смерти — вбивая в пищевод патроны и поджигая их.

Я думаю, что превалирующая черта русского национального характера — жестокость, так же, как юмор — превалирующая черта английского национального характера. Это — жестокость специфическая, это — своего рода хладнокровное измерение границ человеческого долготерпения и стойкости, своего рода изучение, испытание силы сопротивляемости, силы жизненности.

Самая характерная черта русской жестокости — художественная изобретательность, дьявольская утонченность. Вряд ли можно объяснить эту особенность словами «психоз», «садизм» и др. Эти слова ничего не объясняют... Последствия алкоголя? Я не думаю, чтобы русский народ был более отравлен алкоголем, чем другие европейские народы, хотя нужно оговориться, что действие алкоголя на психику в России должно быть разрушительнее, чем где бы то ни было, т. к. в России питание простого народа хуже, чем в других странах.

Единственное, что способствует, по моему глубокому убеждению, развитию утонченной жестокости в России, это чтение житий святых, мучеников — излюбленнейшее занятие наших грамотных крестьян.

Я говорю о жестокости не как о проявлении вовне извращений или больной души отдельных индивидуальностей, такие случайности — дело психиатров. Я говорю здесь о массовой психике, о душе народа, о коллективной жестокости.

В одной сибирской деревне крестьяне придумали следующее: вырыли целый ряд ям, поместили в них, головой вниз, пленных красноармейцев, потом засыпали ямы землей наполовину, так что из земли торчали только ноги до колен. После этого они с любопытством следили за судорогами ног; по этим судорогам они могли судить о степени выносливости жертв.

В Тамбовской губернии пленных коммунистов прибивали гвоздями к стволам деревьев — гвозди вбивались только в левую руку да левую ногу,— и люди забавлялись видом того, как «полураспятые» бились свободной рукой и ногой...

Одного пленного пытали следующим образом: разрезали живот, вытащили конец тонкой кишки и гвоздем прибили к дереву (или телеграфному столбу); потом гнали несчастного вокруг дерева (или столба), наблюдая, как кишка выматывалась через рану.

Часть пленных офицеров была раздета донага; на плечах вырезали куски кожи величиной с погон и на место звездочек вбили гвозди. Потом содрали кожу на ногах полосами-ремнями — «лампасами». Эта операция повторялась потом часто и стала обыкновенным явлением. Это называлось «надеть мундир». Несомненно, эта операция требовала немалого времени и большой ловкости.

Таких и еще худших злодеяний развелось в России в последние годы множество; я не буду приводить более примеров.

Кто жесточе — красные или белые? Вероятно, одинаково, потому что все они — и красные и белые — одинаково русские.

Впрочем, на вопрос о степени жестокости дам определенный ответ. Именно: чем активнее, чем действеннее, тем жесточе...

Я не знаю, существует ли такое место на земле, где бы с женщиной обращались ужаснее и беспощаднее, чем в русской деревне, и, наверное, нигде нет такового множества таких жутких поговорок, как в России: «Бей ее дубиной — бей, брат! Посмотри, дышит ли? Врет она, шельма, ей еще хочется!» «Баба люба, как в дом ведешь да как на кладбище несешь». «За бабу да скотину и суда нет». «Хочешь вкусно поесть — поучи свою бабу».

В русской деревне — сотни таких афоризмов, содержащих в себе накопленную веками народную мудрость. Дети слышат их ежедневно, на них воспитывается молодежь.

И с детьми в деревне обращаются ужасно. Когда недавно я заинтересовался статистикой преступлений в Московской губернии и перелистывал судебные протоколы за десять лет — 1901—1910,— ужаснулся того огромного числа случаев жестокости по отношению к детям и других преступлений над несовершеннолетними. Вообще, в России любят бить — безразлично кого. «Народная мудрость» видит в избиении человека что-то крайне необходимое и полезное. «За битого двух небитых дают»,— гласит поговорка.

Я неоднократно спрашивал участников гражданской войны, не противно ли им убивать друг друга.

Ответ бывал всегда один и тот же: «Нет, нам не противно. У него оружие — и у меня оружие: мы в равных условиях. Что из того, что мы убиваем друг друга. На земле еще довольно нашего брата останется».

Однажды я обратился с этим вопросом к солдату, участвовавшему в европейской войне, а впоследствии получившему в командовние большую красноармейскую часть. Он дал мне следующий весьма оригинальный ответ:

«Что внутренняя война! Вот война с чужими — это совсем другое, это за душу хватает. Я вам правду скажу, товарищ: русского убить ничего не стоит; у нас людей хоть отбавляй, и делá у нас дрянь. Например, вот тут деревня — пропади она пропадом, куда она годна, кому нужна? И вообще, всё наше хозяйство, и все наши дела, и всё — ну их к черту! Другое дело — у пруссаков. Когда мы шли на них, ох и жаль мне было этого народа! Их деревней, их городов — и, вообще, их устройства! Что за чудный порядок! А мы всё это разрушили. И за что?.. С ума сойти можно было... Я рад был, когда меня ранило,— не участвовать больше в этом безумии...

Потом я побывал на Кавказе. Там нам попадались и турки, и другие черти черные — жалкий народ все, а вот — всё зубоскалит, и черт знает почему. Мне было их жаль — каждому ведь свое. Каждый имеет свою манеру, не правда ли? Каждый — свою жизнь...»

Этот человек был по-своему человеколюбив: он хорошо относился к своим солдатам; они любили и уважали его, и сам он любил свое военное ремесло.

Я попробовал рассказать ему о России и ее значении в мире. Он слушал, задумавшись, куря свою папироску. Наконец его глаза сделались грустными, и он вздохнул. «Да, конечно,— сказал он,— когда мы имели сильную государственную власть, мы представляли из себя нечто. А теперь? Теперь мы бесполезны, как крысы».

Я думаю, война создала немало такого рода людей, и наши бесчисленные «массовые вожди» — именно такие люди...

Когда речь идет о русской жестокости, нельзя обойти молчанием еврейские погромы. Тот факт, что еврейские погромы организовывались с одобрения глупых, подкупленных представителей власти, не извиняет ничего и никого. Те дураки и негодяи, которые разрешали грабить и бить евреев, не призывали к пыткам, не призывали отрезывать груди у евреек, убивать их детей или вбивать гвозди в лоб евреям. Все эти кровавые ужасы являются плодом инициативы самих масс.

Но где же — спрашивается наконец — тот добродушный и созерцательный русский крестьянин, неустанный искатель истины и справедливости, которого так прекрасно и убежденно описывала русская литература 19-го века?

В свои молодые годы я сам с восторгом искал этого человека по всей русской земле, но — я его не нашел. Я находил везде грубого реалиста, хитрого мужика, который, когда это бывало ему выгодно, умел прикидываться дураком. От природы он далеко не дурак, этот мужик,— и он знает это. Он сочинил много печальных песен, много суровых, диких, жестоких былин и составил тысячи поговорок, в которых нашли себе выражение его тяжелые, утомительные жизненные опыты.

Он знает, что «мужик — не дурак, а мир — овца» и что «мир силен, как река, а глуп, как свинья».

Он говорит: «не бойся черта, а бойся человека» и «бей своих, бойся чужих».

О правде он не особенно высокого мнения: «Правда не кормит», «Хоть кривда да кормит» и т. д.

Таких и подобных афоризмов у него тысячи, и он при всяком удобном случае умеет воспользоваться ими; он слышит их постоянно с детства и уже с детства чувствует, сколько в них суровой истины, горькой печали и презрения к человеку. Люди — особенно городские — мешают ему жить; он считает их лишними на земле — на той земле, которую он любит мистическою любовью и в которую верит мистической верой. Земля, с которой он

органически связан и душой и телом, которя — «его кровная собственность»,— эта земля хищнически отнята у него. Русский крестьянин, еще задолго до лорда Байрона, знал, что «пот крестьянина дороже, чем имущество господ».

Наша народническая литература, со своей идеализацией крестьянина, преследовала определенную политическую цель. Но уже в конце 19-го века в отношении литературы к деревне и крестьянину произошла перемена — литература стала менее жалостливой и более искренней. Новый взгляд на простонародье проводится уже Антоном Чехоным в его рассказах «Мужики» и «Бездна».

В первых годах 20-го века выходит том рассказов «Деревня» — одного из величайших русских художников слова Ивана Бунина. В этих рассказах, особенно в «Ночном разговоре», высказывается новый, почти критический взгляд на крестьянина, в этом рассказе — истина неприкрашенная.

Бунина обвиняли в аристократизме, говорили, что он как аристократ относится к мужику отрицательно, даже враждебно. Конечно, это — неверно. Бунин в высшей степени чуткий, исключительно художник.

Но в русской литературе настоящего столетия найдутся еще более ужасные доказательства духовной темноты русской деренни. Я особенно хочу указать на рассказ «Юность» орловского крестьянина Ивана Вольного и на рассказы москнича Семена Подьячева и сибиряка Всеволода Иванова. Этих писателей нельзя ведь заподозрить в аристократической вражде к мужику, все они из крестьян и принадлежат деревне телом и душой. Лучше, чем кто-либо, знают и понимают они жизнь простого народа, деревенские горести и грубые радости, слепоту разума крестьянина и жестокость его чувств.

Я заканчиваю эту невеселую статью рассказом: один участник научной Уральской экспедиции 1921 года сообщил мне: один из крестьян деревни, где останавливалась экспедиция, обратился к нему со следующим вопросом: «Вот вы ученый, разъясните мне. На прошлой неделе башкир один убил мою корову. Я, конечно, убил башкира, а потом забрал его корову. Скажите мне теперь: могут меня засудить за корову эту?»

Когда его спросили, не боится ли он, что его засудят за то, что убил башкира, мужик спокойно ответил: «Люди в нынешние времена дешевы».

Характерно тут слово «конечно». Убийство стало совсем обычным явлением, оно вошло в привычку. В этом ужас всей гражданской войны, всего грабежа.

Еще маленький пример, как деревенская мысль приспосабливается к новым идеям.

Деревенский учитель, сын крестьянина, пишет мне: «Так как известный ученый Дарвин научно подтверждает необходимость немилосердной борьбы за существование и ничто не имеет против удаления из жизни слабых и бесполезных людей, и так как в старину морили стариков голодом в землянках или сажали их на высокие деревья, чтобы потом отрясти их — и убить, то я хочу предложить удаление ненужных людей из жизни более человечным способом — так как я протестую против всякой жестокости. Мое предложение: отравлять вкусным ядом. Такие методы смягчили бы борьбу за существование. Таким манером нужно бы действовать и по отношению к слабоумным или идиотам, к обойденным природой и, может быть, также к неизлечимо больным, горбатым, слепым и т. д. Такое законодательство, конечно, не понравится нашей интеллигентной молодежи, но пришло время перестать считаться с их консервативными и контрреволюционными идеалами. Содержание бесполезных людей стоит народу слишком дорого, оборот этого товара нужно привести к нулю».

Многие сейчас в России выступают с такими и подобными письмами, проектами и просьбами. Они действуют удручающе, почти ошеломляюще, но, отбросив эту дикость, они все же дают ощущение, что мысль в деревне проснулась и что она, хотя еще грубая и молодая, начала работать в направлении, совершенно чуждом деревне до сего времени. Деревня пытается думать о государстве и его целях.

М. Горький

О ДУХЕ РОССИИ И «ДУХЕ» В РОССИИ

Мне хотелось бы дать очерки, живорисующие жизнь культуры России — теперешней; чувствую — приступить не умею я к ним, не сказавши о том впечатлении, которое неизбежно выносишь от духа России.

Что же собственно происходит в России?

И — знаешь: обычное слово не поднимает России; ни термин, ни образ, но живописать — это значит: перечертить ряд эпизодов с натуры, которая — ах, как трудна! Определить отношение в формуле? Но — в России теперешней формулы нет; есть плавление лавого процесса, то есть ландшафты сознания, ни на что не похожие ситуации, устремления, вкусы...

Да, голод и холод, болезни и смерти — все было, все есть, все то будет еще: миллионы страданий, деморализация, видная всем; все — известно... Так почему же вопрос? Стало быть: есть-таки «*что-то*» еще? Стало быть: «что-то» — точка вопросов?

Не справишься с химией без лаборатории; чтение учебника не гарантирует навыка в производстве химических опытов; а ведь Россия — лаборатория; пребывание в ней — исключительно ответственный опыт, который для лиц, не проделавших опыта,— утверждение, только.

— Позвольте же: почему вес атомный азота — «14», не «17»: — «14» — всё тут... Так «что-то» в России; ты знаешь его, осязаешь его; убедить в нем — не можешь; пожалуйте в лабораторию.

— «В России и то-то и то-то... („17“ есть вес азота)».

— «Не то-то, а „это“ („14“ — вес азота)»...

До Лавуазье полагали: горение — разложение, выделение невидного газа; и звали тот газ *флогистоном;* в сгоревшей России ее «флогистон» (специфический дух ее) испарился; Россия — бездушная, мертвая, движимая лишь процессами разложения.

Но — Лавуазье доказал: при горении — соединение с газом; так: если собрать перегары (золу, дым, пары, газы) — нес увеличится от слияния с «чем-то» иль — с кислородом.

— «Россия — распылена, как зола».— «Нет, расширена, вес увеличен ее...» Это я утверждаю из опыта, не доказуемого при помощи формул.

В России — неосязаемый «плюс» или «что-то» — чего прежде не было. Спрашиваете: «Что в России?» Ответ: «Что-то». Смеетесь. На «что-то» и «где-то» не строют ответов; но дикарю всякий «газ» — только «что-то»; приемы установления газоного закона, не поддающиеся осязанию пальцами,— чушь для него; между тем на законах Дальтона и Гей-Люссака отстроилась физика. На законах «чего-то», не видного глазу,— построена будет Россия; в ней «что-то» — проснувшийся дух, открывающий зеницы самосознания.

Твердое тело — отлично от газа; оно — неизменно, предметно, недвижно и форменно; газ — беспредметен, текуч, расширяем, бесформенен. Так и Россия: она изменила свое состояние; и из предметной, границами обрисованной формы она превратилась в бесформенное расширение прядающих паров; все увидели: в пламени — разложение тела; не увидели: соединения элементов ее (индивидуумов) с некой новой, духовной стихией — соединения, образующего великолепнейшее скопление паров над золой, из которого в будущем на золу изольются культурою плодотворящие ливни.

Сознание русских в России — расширено; я вот, писатель, был вынужден переменить ряд служб, писать в холоде , читать курс за ботинки и шапку; конечно — печально... Два года стремился из бедной, голодной, тифозной России; и понял на Западе, здесь, что в голодной, тифозной России вооружился единственным опытом выхождения из себя самого, позволяющим на себя самого, на писателя, поглядеть оком дворника, приобщая и дворника к интересам писателя; все бывали в России — во всех; опыт новый расширенный: Всё — во мне; и я — во нсём...

Так узнание, что коллектив — индивидуум, что индивидуум — в коллективе и что границы обычного, личного, собственнического сознания — фикция, все то складывает — космическое сознание России; но о сознании этом сказать здесь — решительно утверждать, что каналы на Марсе — произведение марсиан («Но позвольте, ученые до сих пор еще спорят».— «Ученые не были там, а я — был...»).

Так же дики мои утверждения: солдаты, матросы, рабочие вместе с доцентами там обсуждают проблемы культуры, сознания, мысли; с востока на запад и с севера к югу стоит соловьиное пенье поэтов, как будто бы стала Россия весенним ласкающим садом, а не гниющим, воняющим кладбищем. Вот ведь вопрос, почему там поется. А здесь не поется; мне — пелось, а я испытал и моральные, и материальные боли.

Предсмертное лебединое пение?

Все-таки: лебединая песнь по весне есть обет о весне уходящего в смерть; умирание — без него не восстанет никто; просто встанет, пожалуй, для... отбывания очередной суеты, от которой в миг смерти отвертываются, как от чего-то пустого, а пустоты-то и нет в ощущениях современной России; присутствует — «что-то», что весит; то — вес кислорода (сошедшего духа) в процессах перегорания и разложения.

Думаю: лебединая песня теперешней, с голоду, с холоду философствующей России есть песня Сократа над чашей с ядом. Сократа нам жаль; но что было бы, если бы не светил светлый образ Сократа, приявшего яд? Его знание, нас осветившее,— знание выпитой чаши, быть может? В тот миг, когда он выпивал свою чашу, Платон, может быть, отразил — светлый образ Сократа над чашей с ядом: векам?

Современный Сократ, отравляемый внешне и внутренне вознесенный, расширенный, соединенный с вещающим, внутренним гением (с кислородом) — теперешний русский; одет он в лохмотья; пришел — из хвостов, из промерзшего, вшивого помещения по загаженным улицам; он пришел — философствовать, сократический гул диалектики песней стоит над Россией; невероятными ужасами из сознания мужичка, разночинца, рабочего, интеллигента, студента выдавливается фаланга сократов, перед которыми ставится «чаша»: причастие Духом. Причастие Духом есть факт, отличающий новую культуру России, иль утверждение: «Вес азота — 14...»

— «Почему не 17?»

— «Пойдите за мной по моим перспективам».

А доказать тут нельзя.

Доказательство — оптимизм приезжающих из России, замученных, полубольных, истощенных; казалось, они бы должны черпать силы в довольных и сытых культурою зарубежниках — русских; но, нет: зарубежники-пессимисты их обрывают унынием:

— «Что вы распелись? Какой такой свет?»

Он — оттуда, из «чего-то», чего доказать вам нельзя, господа пессимисты; он — факт эмпирический. Он — факт сознания, имманентного жизни России; он — песня Сократа над ядом; она — нам поставлена так же, как Фаусту; но, поднесенная к горьким устам, опускается; слышим, как Фауст, мы: «Christ ist erstanden!» [1] Пусть там умирают, но — там умирают любя; живут здесь, но... но... сколькие русские здесь живут для проклятия. Здесь вышел Шпенглер написанной книгой; а там произносится много Шпенглером не написанных книг; вы — не верите? Жаль. Пропустив чрез себя вереницы собраний, бесед, лекций, студий, кружков,— утверждаю от опыта: «Вес атомный азота — 14, а не — 17».

Да, «чаша» экзамен России; перед чашею падают в скотоподобное состояние; над «чашей» взлетает из облачка обыденной обывательской — вигелический, шестикрылатый предтеча грядущего Русского, как устремление, как пар; и Россия — не в павших, а — в устремленных горé, в окрыленных и взывающих:

— «Буди!»

Великолепно описана Достоевским смерть старца Зосимы [2]; в монастыре ожидали, что — будет: прославится ль тело, или — протухнет оно; ждали чуда; иные ходили обнюхивать гроб, как один любопытный монашек: он первый разнес, что — «протух».

В отношении к современной России я наблюдаю два стиля; один — стиль Алеши; другой — стиль монашка, пришедшего к гробу «понюхать», удостовериться, что «протух»; напоминают иные из зарубежников-русских такого монашка; в оттенке вопросов («Ну что, как в России?») — понюхиванье; из всего постараются вывести:

— «Вы говорите там о каком-то процессе горения, расщепляющем на элементы, соединяемые с кислородом духовной культуры. По-нашему, эти процессы понятны; процессы, происходящие в трупе».

Материалисты одиноки, «принюхиваются» к гробу; они — иль монашки, или покойники рассказа «Бобок» [3], играющие словами «дух» («запах») и «Дух». Вывод их: «Дух — есть, есть: попахивает, сгнивает».

Канализация полуразрушена; и нечистоты с дворов не вывозятся (крупный профессор, покойный уже, в своей собственной комнате, где замерзла вода, на печурочке... разогревал, чтобы оттаяло то, что естественно выносимо из комнат). И все-таки: почему не о «духе» одних нечистот, а о Духе Святом говорили мы, вернувшиеся из России? Да потому, что мы видели — «что-то», чего не узнаешь, не поживя там; перед Алешей у гроба возникло виденье Зосимы сияющего; Алеша над гробом «протухшего» тела увидел — живое нетленное тело; увидел Христа трапезующего.

Не думайте, что современные русские не умирают в сомнениях, в разуверениях, в болях; всё — есть; но есть и иное: видение живой и нетленной России. Не «принюхивающимся» монашкам и не покойникам из рассказа «Бобок», бывшим людям, кончающим лозунгом «обнажимся и заголимся»,— не им различить Дух жизни России от «духа» улиц (испорчена канализация).

Помните: после видения Алеша выходит; и видит: синесапфирное небо, покрытое звездами; небо с огромной звездой над конюшнями *«скотопригоньевской»* жизни увидели мы; и утверждая *«Россия есть скотный»*,— должны бы договорить: там есть ясли с «младенцем», которому не позволили родиться нигде, кроме *«скотного»*, хозяева *«постоялых дворов»* прошлой жизни.

Взглянувши на нынешнюю Россию, вы созерцаете:

Проткнутые ребра,
Перекрученные руки,
Препоясанные чресла!

И восклицаете:

И это —
Был
Христос?

Но —
— Это —
Воскресло!

Андрей Белый

[1] Christ ist erstanden *(нем.)* — Христос воскрес.
[2] «Братья Карамазовы».
[3] Достоевского.

К 150-летию со дня гибели М. Ю. Лермонтова

Игорь Ефимов

ЖЕМЧУЖИНА СТРАДАНЬЯ

Лермонтов глазами русских философов

География человеческой души — наука крайне сложная, противоречивая, до сих пор не выработавшая четких формул и представлений, не умеющая сказать нам, где у исследуемого предмета север, где восток, где запад, где верх, где низ. Но все же какие-то разрозненные сведения об этом загадочном материке у нас имеются, какие-то описательные схемы завоевали более или менее широкое признание. Одна из таких схем представляет духовный мир человека в виде четырех больших государств — по числу главных человеческих устремлений: к Богу, к Добру, к Красоте, к Правде.

Почти все философы оперируют этими понятиями, но при этом очень мало найдется мыслителей, которые признали бы известную степень независимости четырех метафизических государств и удовлетворились бы скромной ролью дипломатических представителей, старающихся поддерживать мир между ними, уточняющих естественные границы, их разделяющие. Как правило, философ выбирает себе подданство по вкусу, объявляет себя гражданином одного из четырех государств, а затем идет завоевательным походом на три остальных — во имя Бога, Добра, Красоты или Правды. Всё, что встречается ему на дороге, он испытывает критериями своей державы, пытаясь понять, годится ли данный предмет для расширения ее могущества.

Представляется интересным проследить, как обошлись с одним и тем же духовным феноменом — с творчеством Лермонтова — четыре русских мыслителя конца XIX— начала XX века, каждый из которых был верным подданным и страстным защитником одной из четырех метафизических держав, описанных выше.

Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

«Когда я сомневаюсь, есть ли что-нибудь, кроме здешней жизни, мне стоит вспомнить Лермонтова, чтобы убедиться, что есть. Иначе в жизни и в творчестве его все непонятно — почему, зачем, куда, откуда,— главное, куда?»

Так писал Дмитрий Сергеевич Мережковский в своей статье, называвшейся «Лермонтов. Поэт сверхчеловечества».

В наши дни почти не осталось уже поклонников Мережковского-романиста. Но, к сожалению, мало кто знает Мережковского — великого религиозного мыслителя. Какое-то представление об этой стороне его творчества дают его книги о Гоголе, Толстом

Ефимов Игорь Маркович (род. в 1937 г.) — прозаик, эссеист. Автор книг «Высоко на крыше» (1964), «Смотрите, кто пришел» (1965), «Таврический сад» (1966), «Лаборантка» (1974), «Свергнуть всякое иго» (1977). В 1970-е годы проза Ефимова печаталась в «Звезде». В 1978 г. эмигрировал. За рубежом изданы книги «Метаполитика» (1978; под псевдонимом Андрей Московит), «Без буржуев» (1979), «Практическая метафизика» (1980), «Как одна плоть» (1981), «Архивы страшного суда» (1982), «Кеннеди, Освальд, Кастро, Хрущев» (1987), «Седьмая жена» (1990). Владелец и директор изд-ва «Эрмитаж» (Tenafly, N. J., USA). Живет в США.

и Достоевском. (Надо надеяться, что нелепые препятствия, стоящие на пути русского издания его жизнеописаний Лютера, Кальвина, Паскаля, будут наконец преодолены, и тогда русский читатель сможет по-настоящему оценить этого тончайшего знатока религиозных исканий души человеческой.) Извилисты пути, ведущие человека к Богу, и нет в русской культуре проводника, который знал бы их лучше, чем Мережковский. Мы обязаны вслушаться в его свидетельство с особым вниманием.

Каждому человеку свойственно предощущение вечности. Чувство это столь сильно, что нам очень трудно совместить его с точным знанием о неизбежности собственной смерти. Пытаясь устранить противоречие между чувством и знвнием, душа наша тянется к вере в загробную жизнь, в воскресение из мертвых. Уникальность Лермонтова, с точки зрения Мережковского, была в том, что душа его обладала острейшей памятью и о вечности, предшествовавшей его появлению на свет.

И в творчестве, и в письмах, и в поступках поэта Мережковский находит множество подтверждений своей догадке.

«На дне всех эмпирических мук его — эта метафизическая мука — неутолимая жажда забвенья:

Спастись от думы неизбежной
И незабвенное забыть!..

«Незабвенное» — прошлое — вечное.

Печорин признается: «нет в мире человека, над которым прошедшее приобретало бы такую власть, как надо мною. Всякое напоминание — болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки... Я ничего не забываю, ничего...»

К тому, что было до рождения, дети ближе, чем взрослые. Вот почему обладает Лермонтов никогда не изменяющей ему способностью возвращаться в детство, то есть в какую-то прошлую вечную правду».

Мережковский сознается, что лет в десять он не любил Пушкина, а Лермонтова очень любил, потому что чувствовал, что он «такой же ребенок, как я». В этом же феномене — памяти о том, что было до рождения,— разгадка образа Демона.

«Если Демон не демон и не ангел, то кто же?

Не одно ли из тех двойственных существ, которые в борьбе дьявола с Богом не примкнули ни к той, ни к другой стороне? — не душа ли человеческая до рождения? — не душа ли самого Лермонтова в той прошлой вечности, которую он так ясно чувствовал?»

Демонизм лермонтовской музы — не поза, не тщеславие. Скорее, в нем жило «обратное тщеславие — желание быть, как все». Отсюда и готовность, с которой он порой окунался в житейскую пошлость, опускался даже и до обыкновенных низостей.

Еще одна исключительная сторона лермонтовской судьбы: он единственный крупный русский писатель, который не откликнулся на призыв «смирись, гордый человек!». И в этом Мережковский готов оправдать его и с историко-социальной, и с религиозной точки зрения.

В историческом плане Мережковский видит связь между судьбой России и торжеством созерцательного начала над началом действующим, воплощением которого был Лермонтов.

«Нельзя, конечно, обвинять ни Пушкина, ни Достоевского за то, что сейчас происходит в русской литературе и в русской действительности. Но должна же существовать какая-нибудь связь между последним полевком нашей литературы и нашей действительности, между величием нашего созерцания и ничтожеством нашего действия. Кажется иногда, что русская литература истощила до конца русскую действительность: как исполинский единственный цветок Victoria Regia, русская действительность дала русскую литературу и ничего уже больше дать не может...

Как лунатики, мы шли во сне и очнулись на краю бездны.

Что же привело нас к ней?

Созерцание без действия, молитва без подвига, великая литература без великой истории — это никакому народу не прощается — не простилось и нам».

В плане же религиозном оправдание богоборческих мотивов в творчестве Лермонтова Мережковский видит через призму страданий и судьбы библейского Иова.

«Смутно, но неотразимо чувствует он, что в его непокорности, бунте против Бога есть какой-то божественный смысл.

Когда б в покорности незнанья
Нас жить Создатель осудил,
Неисполнимые желанья
Он в нашу душу б не вложил.
Он не позволил бы стремиться
К тому, что не должно свершиться.

...Кто знает, не скажет ли Бог судьям Лермонтова, как друзьям Иова: „Горит гнев Мой за то, что вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов“ — раб Мой Лермонтов».

В. С. СОЛОВЬЕВ

Описанная выше работа Мережковского («Лермонтов. Поэт сверхчеловечества», 1908) представляет из себя в значительной мере полемический ответ на статью Владимира Соловьева, появившуюся девятью годами раньше. Единственное, в чем согласны два мыслителя,— что творчество Лермонтова было ярчайшим выражением ницшеанства задолго до Ницше. Но если Мережковский готов видеть в ницшеанском умонастроении почву для плодотворного богоборчества, то для Соловьева оно — предел духовного ничтожества.

При всем многообразии философских и религиозных исканий Владимира Соловьева скрытой внутренней пружиной почти всех его работ остается та тема, которая стала названием его главного заключительного труда: «Оправдание добра». Добро — его родина, его держава, и он полон страстного стремления подчинить благодетельной власти Добра три другие государства человеческого духа. «Красота есть только ощутительная форма добра и истины»,— пишет он в одном месте. «Эти ⟨этические⟩ принципы не принадлежат сами по себе ни одному из вероисповеданий,— пишет он в «Оправдании добра»,— а образуют тот общий трибунал, к которому равно обращаются все». То есть добро универсальнее даже Веры. Ведь вер много, а Добро — единая, сияющая, всех объединяющая вершина.

С точки зрения добра — в интерпретации Соловьева — и жизнь, и творчество Лермонтова объявляются полным падением, изменой полученному свыше Дару. Любование злым началом в человеческой душе, потакание собственным низким страстям, самовозвеличивание, эгоизм, неспособность к любви, употребление своего таланта на соблазнение и развращение доверчивых душ — в чем только не обвиняет Соловьев Лермонтова! Основываясь на нескольких строчках из прозаического отрывка «Я хочу рассказать вам...», Соловьев даже доказывает, что уже в детстве Лермонтов с удовольствием ломал цветы, давил мух и швырялся камнями в куриц.

Но самый страшный грех поэта — непомерная гордыня.

«Глубоко и искренно тяготился Лермонтов своим падением и порывался к добру и чистоте. Но мы не найдем ни одного указания, чтобы он когда-нибудь тяготился взаправду своею гордостью и обращался к смирению. И демон гордости, как всегда хозяин его внутреннего дома, мешал ему действительно побороть и изгнать двух младших демонов (злобы и нечистоты), и когда хотел — снова и снова отворял им дверь...»

Комментируя эти страстные нападки Соловьева, Мережковский приводит отзыв полковой канцелярии о поручике Лермонтове, посланный в военное министерство в 1840 году: «служит исправно, ведет жизнь трезвую и ни в каких злокачественных поступках не замечен». И дальше замечает: «Полковой писарь оказался милосерднее христианского философа».

Даже понятию «сверхчеловек» Соловьев пытается дать собственную — не очень вразумительную — интерпретацию:

«Гордость для человека есть первое условие, чтобы никогда не сделаться сверхчеловеком, и смирение есть первое условие, чтобы сделаться сверхчеловеком; поэтому сказать, что *гениальность обязывает к смирению*, значит только сказать, что гениальность обязывает становиться сверхчеловеком».

Битвы на границе между Добром и Красотой — характернейшая черта духовной жизни человечества еще со времен Платона, изгнавшего художников и поэтов из идеального государства. В рассматриваемую эпоху в России жил другой страстный защитник Добра от искусов искусства — Лев Толстой. Приговор, вынесенный Соловьевым Лермонтову, по своей безжалостности и предвзятости может сравниться только с приговором,

вынесенным Толстым Шекспиру в статье «О Шекспире и драме». Но, как это ни парадоксально, к Лермонтову Толстой относился восторженно. Он не только ценил его литературный талант, но многократно отмечал высоту и силу его нравственного чувства. Расхваливая статью О. П. Герасимова о Лермонтове, Толстой писал в журнал «Русское богатство»:

> «Он показывает в Лермонтове самые высокие нравственные требования, лежащие под скрывающим их напущенным байронизмом. Статья очень хорошая».

В разговоре с Гольденвейзером: «Вот в ком было это вечное сильное искание истины. У Пушкина нет этой нравственной значительности...» Особое место, занимаемое Лермонтовым в душе Толстого, видно из двух высказываний в разговоре с навестившим Ясную Поляну Г. А. Русановым:

> «Тургенев — литератор, Пушкин был тоже им, Гончаров — еще больше литератор, чем Тургенев; Лермонтов и я — не литераторы...
> Вот кого жаль, что рано так умер! Какие силы были у этого человека! Что бы сделать он мог! Он начал сразу, как власть имеющий. У него нет шуточек... шуточки не трудно писать, но каждое слово его было словом человека, власть имеющего».

Интересно, что сказал бы Владимир Соловьев, если бы ему стали известны эти высказывания? Не отнес бы он и Толстого к числу тех «малых сил», которых Лермонтов вовлекал на ложный путь, «облекая в красоту формы ложные мысли и чувства»?

В. В. РОЗАНОВ

«Нет чувства пола — нет чувства Бога!»

Это восклицание Розанова могло бы быть взято эпиграфом к любой монографии о нем. Причем речь здесь идет в первую очередь именно о литераторах. На той же странице в статье «Из загадок человеческой природы» дается расшифровка, уточнение формулы:

> «Лермонтов, Толстой и Достоевский... неоспоримо „чресленные“ писатели, „беременные“... Эти писатели, которых внимание так постоянно приковано к началу, зиждущему в мире жизнь,— мистичны, трансцендентны, религиозны; то есть, как мы подводим итог — рождающие глубины человека действительно имеют трансцендентную, мистическую, религиозную природу».

Чувство — чувственность — красота — Бог — вот струна, пронизывающая все мироздание в восприятии Розанова, струна, на которую он приземляется снова и снова, как птица или как канатоходец из самых головоломных философских прыжков и кульбитов. Здесь его родина, его дом, и горе всему, в чем он не признает своего, родного, теплого, близкого.

Горе уму:

> «Какое в нем (в Грибоедове) нищенское миросозерцание; какое совершенное забвение „миров иных“!.. Ни земли, ни сора, ни мокроты, ни Бога!»

Горе морали:

> «Я особенно не люблю Толстого (мыслителя.— *И. Е.*), Соловьева и Рачинского. Не люблю их мысли, не люблю их жизни, не люблю самой души».

Не остановится Розанов и перед тем, чтобы даже к Библии подступиться чуть ли не с ножницами:

> «Отроду я никогда не любил читать Евангелия. Не влекло. Читал — учась и потом — но ничего особенного не находил... Напротив, Ветхим заветом я не мог насытиться: все там мне казалось правдой и каким-то необыкновенно теплым, точно внутри слов и строк струится кровь, притом родная!»

Но Лермонтов для Розанова свой. Близкий. Он возвращается к его творчеству снова и снова, пишет статьи о нем, цитирует, перефразирует, превозносит. В восхвалениях часто не знает меры, не может не принизить других русских писателей. Лермонтов — верхушка растущего древа русской литературы. «Верхушка была срезана, и дерево пошло в суки».

> «Лермонтов только нескольких месяцев не дожил до величины Байрона и Гете... Мы получили бы, Россия получила бы такое величие блвгородных форм духа, около которых Гоголю со своим „Чичиковым“ оставалось бы только спрятаться в крысиную нору, где было его надлежащее место. Бок о бок с Лермонтовым Гоголь не смел бы творить».

Философские силы ума Розанова целиком поставлены на службу одной задаче: доказать, что Лермонтову были знакомы те же самые мистические озарения и ощущения, что и ему, Розанову. Не одному Лермонтову: еще и Достоевскому. А так как мистика — дело тонкое, для логики неуязвимое, доказательства можно подцеплять как угодно далеко и приносить их обратно, соломинка за соломинкой, на свою главную струну и строить, строить на ней свое гнездо.

Характернейший пример такого построения — параллель между сном Свидригайлова и одной строфой из лермонтовской «Сказки для детей». Рассуждение это имеет форму эссе, которое почти без изменений включено в две статьи: «Вечно печальная дуэль» (1899) и «Из загадок человеческой природы» (1901).

«Сказка для детей» — это по сути ироническая переработка «Демона», начатая и не оконченная Лермонтовым в 1839 году.

> Я прежде пел про демона иного:
> То был безумный, страстный, детский бред.
> . . . .
> Но этот черт совсем иного сорта —
> Аристократ и не похож на черта.

Но Розанов не желает замечать ни иронии, ни поэтической самопародии. Для него главное: Мефистофель пробрался в спальню юной девы и склоняется над ее головой. Деве всего четырнадцать лет. Откуда это известно? Возраст дан двенадцатью строфами ниже, говорит Розанов. Бесполезно было бы указывать философу, что четырнадцатилетняя девушка — вовсе не та, что спит, а упоминается уже в рассказе Мефистофеля, который как бы выполняет обещание Демона «прилетать // и на шелковые ресницы сны золотые навевать». (Мефистофель, похоже, выбрал увлекательнейший из всех сюжетов — рассказать спящей о ее собственной жизни.) Неважно — упоминание возраста совпадает с точно указанным возрастом утопленницы, окруженной цветами, которая снится Свидригайлову. Цветы, цветы, всюду цветы — вот второй совпадающий мотив. Но, простите, в «Сказке для детей» вроде нет никаких цветов? Неважно — цветы, или вообще растительность, есть неподалеку, в стихотворении Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива»: там и «малиновая слива», и «зеленый листок», и «ландыш серебристый». И этот же стих кончается словами: «И в небесах я вижу Бога». То есть мотив молитвы. А в сне Свидригайлова мотив божественного дан через формулу отсутствия: «ни образа, ни зажженных свеч не было у этого гроба и не слышно было молитв». Но зато там есть «ангельски-чистая душа» и «последний крик отчаяния». То есть то же, что у Тамары, в настоящем «Демоне» — «мучительный, протяжный крик». А что такое четырнадцать лет? Это возраст, когда «впервые лопается „граафов пузырек“ и из него выходит таинственная, столь новая в мире, никем из ученых и никогда не разгаданная детская клеточка; дитя, еще у не рождавшей матери, лоно которой и тянет с неодолимою силою теперь, сейчас поэта».

Нужно, поистине, выучиться летать мыслью, как бабочка, чтобы поспеть за Розановым в этих перелетах с цветка на цветок цитат, ассоциаций, причудливых интерпретаций. И если вам это удастся, вы можете согласиться с выводом мыслителя:

> «Достоевский — менее поэтично, более грубо и реально, в сущности вечно рисует вечную же тему Лермонтова: тот же старый „дубовый листок у корня юной чинары“; и назвал это „карамазовщиною“, мы же переименуем ее в „святую землю“, в священный корень бытия, нашего и всемирного».

Розанов знал за собой эту неудержимую страсть растекаться мыслью по ассоциативному древу. Художественным чутьем он, в конце концов, нащупал оптимальную форму — аскетический жанр короткого афоризма — и прославился сборниками их «Уединенное» и «Опавшие листья». И именно там можем мы найти горько-ироничное определение собственного места в мироздании, которое философ сформулировал в одной строчке: «Господь держит меня щипцами. Господь надымил мною в этом мире». Тем не менее его острое ощущение мистического начала в Лермонтове следует признать важным, указующим, симптоматичным.

В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ

В начале своей статьи, приуроченной к пятидесятой годовщине со дня смерти Лермонтова, великий историк задается простым вопросом: как мог такой яркий и неисправимый индивидуалист сделаться всенародным поэтом, включенным во все хрестоматии и школьные учебники?

> «Педагогический успех поэзии Лермонтова может показаться неожиданным. Принято думать, что Лермонтов — поэт байроновского направления, певец разочарования, а разочарование — настроение, мало приличествующее школьному возрасту и совсем неудобное для педагога как воспитательное средство. Между тем после старика Крылова, кажется, никто из русских поэтов не оставил после себя столько превосходных вещей, доступных воображению и сердцу учебного возраста».

Разгадку этого странного феномена Ключевский видит в созвучии русского национального мироощущения главной ноте лермонтовской души — *грусти.* Статья так и называется — «Грусть». Анализируя специфику этого чувства, автор проводит тонкое различие между ним и столь похожей на него *печалью, скорбью.* Скорбь, особенно так называемая мировая скорбь психологически связана с разочарованием в идеале. Идеал при этом остается неразрушенным — гибнет лишь вера в его достижимость. Если же разрушается сам идеал, наступает отрезвление.

> «Отрезвленный радуется торжеству здравого смысла над нелепою мечтой; разочарованный скорбит о торжестве нелепой действительности над разумным стремлением. Грусть — ни то, ни другое; ее источник — не торжество рассудка и не поражение идеала... Грусть есть скорбь, смягченная состраданием к своей причине... и согретая любовью к ней».

Когда человек утрачивает предмет своей страстной любви, он как бы остается перед выбором: либо впасть в отчаяние, либо убедить себя в том, что предмет не стоил любви. Однако есть еще и третья возможность: сохранить свою любовь, смирившись с невозможностью слияния с тем, что любишь. Как писал Кьеркегор: «Великое дело отказаться от своего желания, но остаться при нем, отказавшись от его исполнения,— дело еще более великое». И как правило, душу человека, совершающего этот третий выбор, наполняет грусть. Вечная погоня людей за счастьем, идолопоклонство перед счастьем кажется Ключевскому гибельным увлечением, всегда обреченным на разочарования и душевные катастрофы. Он противопоставляет ему христианское отношение к миру:

> «Не мир своими благами обязан служить притязаниям лица, а лицо своими делами обязано оправдать свое появление в мире... Христианин растворяет горечь страдания отрадною мыслью о подвиге терпения и сдерживает радость чувством благодарности за незаслуженную милость. Эта радость сквозь слезы и есть христианская грусть, заменяющая личное счастье».

Нет, Ключевский не пытается объявить грусть Лермонтова христианским чувством. С его точки зрения, она вырастала из все той же погони за личным счастьем, которая домчалась до осознания недостижимости его и остановилась, провожая неразлюбимый (не раз любимый!) предмет грустным взором. Но глубина и искренность этого чувства были выражены поэтом с такой художественной силой, что творчество его оказалось созвучным главной струне русского сердца. Что же это за струна? Она слышна и в тоне русской песни, и в русском пейзаже, и в картинах русских художников, в ней есть что-то печальное и что-то веселое, она отзывается и на «чету белеющих берез», и на «избу, покрытую соломой», и на холодное молчание степей, и «на пляску с топаньем и свистом» — это грусть.

> «Личное чувство поэта само по себе, независимо от его поэтической обработки, не более как психологическое явление. Но если оно отвечает настроению народа, то поэзия, согретая этим чувством, становится явлением народной жизни, историческим фактом...
>
> На Западе знают и понимают эту *резиньяцию*; но там она — спорадическое явление личной жизни и не переживалась как народное настроение. На Востоке к такому настроению примешивается вялая, безнадежная опущенность мысли и из этой смеси образуется грубый психологический состав, называемый фатализмом. Народу, которому пришлось стоять между безнадежным Востоком и самоуверенным Западом, досталось на долю выработать настроение, проникнутое надеждой, но без самоуверенности, а только с верой».

Хочется добавить — с верой, полной грусти.

Ключевский, пожалуй, глубже всех других почувствовал страдальческое и благородное настроение, пронизывающее творчество Лермонтова последних лет его жизни. Но даже он не очень верит в искренность страданий поэта. В начале статьи он пишет:

> «До конца своего недолгого поприща не мог он (Лермонтов) освободиться от привычки кутаться в свою нарядную печаль, выставлять гной своих душевных ран, притом напускных или декоративных,— словом, казаться лейб-гвардии гусарским Мефистофелем».

Великий историк пытается соотнести душевное состояние художника с историческими драмами, свидетелем которых ему довелось оказаться.

> «Настроение, которое в поэзии обозначается именем великого английского поэта, сложилось из идеалов, с какими западно-европейское общество переступило через рубеж XVIII века, и из фактов, какие оно пережило в начале XIX века,— из идеалов, подававших надежду на невозможность подобных фактов, и из фактов, показавших полную несбыточность этих идеалов. Байронизм — это поэзия развалин, песнь о кораблекрушении. На каких развалинах сидел Лермонтов? Какой разрушенный Иерусалим он оплакивал? Ни на каких и никакого».

Историку свойственно преувеличивать воздействие мировых событий на боль нашей души. Глубоко верующему христианину, каким был Ключевский, свойственно забывать, через что проходят люди, лишенные благодати веры. И все же странно, что он отказывается принять свидетельство самого поэта, который без конца описывал в стихах и прозе «развалины, на которых он сидел», давал им точное название: юношеские мечты, вера в идеал, вера в правоту искреннего чувства, «надежды лучшие и голос благородный // неверием осмеянных страстей».

Конечно, на это можно сказать, что все мы в юности лелеяли какие-то идеалы, все испытали разочарование, все так или иначе примирились с земной реальностью. И реальность, окружавшая Лермонтова, была уж наверное не тяжелее той, которая накатила на нас в веке двадцатом. Однако, проводя такое сравнение, мы упускаем одну важнейшую деталь: настоящие обольщения миновали нас. Обман, окружавший нас с ранних лет, был таким кроваво-примитивным, легко разоблачимым, плакатно-сусальным, что поддаться ему могли только очень простые души, на которые он и был ориентирован. Мы были избавлены от разочарований тем, что нам нечем было очаровываться в реальной жизни.

Не такова была судьба четырех любимых персонажей нашего прошлого: Пушкина, Онегина, Лермонтова и Печорина. О, эти знали соблазны настоящей славы, настоящей любви, настоящей красоты, настоящего богатства. Они умели опьяняться пряными ароматами большого света, умели впивать блеск театра, шум бала, «французской кухни лучший цвет» (Онегин, 1-16), умели отдавать сердце и ум «науке страсти нежной» (Онегин). Но и не только это. В юные годы высший свет должен был действительно казаться им тем местом, где благородство ценилось так высоко, что за него надо было платить кровью. И талант получал признание. И любовь была таким счастьем, что утрата ее могла завершиться самоубийством. И Бог был так высок, что даже сам царь преклонял перед ним колена.

Неважно, что, вступив в свет, они обнаружили прорехи, заплаты, «позор мелочных обид», порок «под сению закона», мир, который «как ветхая краса... привык морщины прятать под румяны...». Здесь еще оставалась возможность сохранить достоинство, сделать правильный выбор, смело стать против «палачей свободы, гения и славы». Страшнее было другое. Оказалось, что им с детства давали неправильные карты души, что она ничем не похожа на гору Синай, на вершину которой надо подняться за скрижалями — и дело с концом. Оказалось, что в ней нет простого верха и низа, что вершин как минимум четыре, что и торчат они, похоже, в разные стороны, так что сплошь и рядом, порываясь к Правде, Красоте, Добру или Вере, ты явно удаляешься от трех других.

Не от того разочарование, что в мире оказалось гораздо больше зла, уродства и низости, чем виделось в юности, а оттого, что душа, по-настоящему рвущаяся ввысь, должна разорваться на части.

> И пусть меня накажет Тот,
> Кто изобрел мои мученья.

Есть в душе Лермонтова некий болевой центр, откуда расходятся лучи, пронизывающие и все его творчество, и всю его жизнь. Эта фокусирующая точка находится в том месте, где жажда свободы пересекается с жаждой любви. Конечно, каждый человек имеет такую точку, знает об этом страшном противоречии. Но спасаясь от душевной боли, мы учим себя смиряться либо с утратой свободы, либо с утратой любви. Величие настоящего поэта в том и состоит, что он отказывается смириться. И мы вслушиваемся в его стоны,

вчитываемся в его строки с таким волнением отчасти потому, что хотим узнать: что же происходит с несмирившимся? как высшие силы обходятся с бунтарем?

Понятно, что речь здесь идет не только о любви к женщине. Противоречие между живым чувством двух влюбленных, свободно избравших друг друга в толпе, и несвободой брачных отношений — просто самый наглядный пример этой вечной драмы. Ни Лермонтов, ни Печорин просто не способны влюбиться в девушку на выданье именно потому, что они не могут поверить в искренность ее чувства к ним: каждое ее слово, каждый ее жест попадают под подозрение в неискренности, в завлекании жениха, на которое ее толкают родители, свет, предрассудки общества. (Безжалостно и убедительно описана эта ситуация в «Княгине Лиговской», где Екатерина Сушкова, за которой ухаживал Лермонтов в 1830-м и потом, в 1834 году, изображена под именем перезрелой невесты Елизаветы Негуровой.) Свобода выбора оказывается под подозрением — и любовь умирает. Они могут влюбляться только в замужних (уж эти точно не ловят женихов) или играть с идеей, что хорошо бы заполучить женщину, например, разбоем — «Бэла», «Тамань» — или даже выиграть в карты, как в «Казначейше».

Трудно, очень трудно полюбить что-то в этом мире человеку, чуткому к утрате или даже к ущемлению чувства свободы. Полюбить Правду, царство разума? Но это значит подчинить себя целиком законам рационального рассудка, то есть утратить свободу откликаться на голос собственного сердца, десять раз на дню неразумно говорящего нам: это красиво, а это безобразно, это доброе — это злое, это высокое — это низкое. Служить только красоте? Но она бывает так своевольна, непредсказуема, жестока, деспотична, что может разрушить всё остальное, что человек любит в этом мире. Добро? Какая же ценность в добре, если людская мораль *требует* от нас, чтобы мы подчинялись заповедям добра, то есть опять же отнимает свободу. Да и присоединиться к верующим в Бога свободолюбцу нелегко, потому что он никогда не знает: то ли эти люди действительно любят Бога, то ли боятся наказания на том свете, адских мук.

Говорить, что Лермонтов — или его герои — красуется своею тоскою, могут только читатели, либо никогда не знавшие этой драмы, либо забывшие о ней, либо не чувствующие горькой самоиронии автора, самоиронии, уничтожающей самолюбование. В «Бэле» есть эпизод: Печорин рассказывает Максим Максимычу о своих страданиях, о ненасытности своего сердца, о том, что ему всего мало, о разочаровании, об опустошенности души.

> «Штабс-капитан не понял этих тонкостей, покачал головою и улыбнулся лукаво:
> — А всё, чай, французы ввели моду скучать?
> — Нет, англичане.
> — А-га, вот что!..— отвечал он,— да ведь они всегда были отъявленные пьяницы!»

Перед нами прошли четыре замечательных мыслителя, каждый из которых страстно отстаивал интересы избранной им духовной державы: Веры (Мережковский), Добра (Соловьев), Красоты (Розанов) или Правды (Ключевский). Но чем отличаются они от поэта? В его душе мы чувствуем «жемчужину страданья» (стихотворение «Кинжал»), а в их душах — нет. Как простодушный Максим Максимович, они стараются закрыть глаза на истинно ужасное, на трагизм человеческого бытия. Они пытаются представить нам мир, в котором душевная смута вырастает либо из козней злых сил, либо из заблуждений, либо из-за того, что человек подпал под дурное влияние пьяниц-англичан. Но тайным инстинктом мы понимаем, что это не так. Мы видим, что ради достижения душевной гармонии они только делают вид, будто между четырьмя царствами нет неодолимых границ, что они одно. Мир души, удовлетворенность бытием и мирозданием — большое счастье. Но сердце зовет и зовет нас почему-то назад, к строчкам того, кто «увы, счастия не ищет и не от счастия бежит». Ибо что-то говорит нам, что жемчужина его страдания не менее драгоценна, чем евангельская жемчужина, та самая, за которую не жалко отдать всё, что имеешь, потому что лишь она может приблизить четыре разделенные царства нашей души к Царству Небесному.

Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он,—

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,—
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога.



Галина Гампер

ИСПЫТАНИЕ АБСУРДОМ

О поэте Андрее Крыжановском

1

В начале 1990 года в Ленинграде вышла поэтическая кассета «Октава». В ней я хочу обратить внимание читателя на книжку «Звездный муравейник» Андрея Крыжановского: до сих пор он был известен только в очень узком кругу.

Сборник вышел в канун сорокалетия автора, так что вывод о нелегко сложившейся судьбе поэта, типичной, впрочем, для его поколения, напрашивается сам собой.

Но сама типичность в данном случае нетривиальна.

В наше время слово «непризнанность» (как и многие другие слова) утратило свою первозданную суть и стало скорее означать высокое качество и степень признанности.

Мы жили в стране, где границы общества совпадали с государственными границами и оппозиционная деятельность была равнозначна антигосударственной. Поэт мог быть непризнанным официальными инстанциями именно потому, что его чтила «оппозиция». Но тогда и сама непризнанность оказывается фикцией.

Виктору Кривулину и Олегу Охапкину, прекрасным поэтам, чьи первые на родине книги тоже вышли в «Октаве», было тяжело материально и неуютно духовно, было трудно, но они заслужили непризнание явной принадлежностью к самой «оппозиции».

Сколько, однако ж, было и других людей, что, разбросав по своим опусам знаки принадлежности ко «второй культуре» — от поминутного поминания всуе Господа до полной абракадабры в выражении чувств и культивирования откровенных непристойностей,— сколько их без всякого риска достигли тех или иных степеней «признания своей непризнанности».

Андрей Крыжановский не принадлежит ни к первым, ни ко вторым. Ему просто чуть-чуть не повезло с годом рождения, на праздник «второй культуры» он опоздал. Годика бы на три-четыре раньше, и он мог бы стать одним из тех, кто формировал ее эстетику.

«Вторая культура», при всей ее неоднозначности,— детище 60-х годов. Тогда создавались «правила игры» и, что немаловажно, правила поведения.

Быть одним из творцов этих правил Андрей не успел, принять их как данность, стать, по его выражению, «конформистом от нонконформизма» ему, видимо, не позволил характер и еще, я думаю,— хорошо устроенная жизнь.

Это «хорошо» сказано без иронии. Дело в том, что родиться он опоздал, но при рождении ему повезло: он появился на свет внуком крупнейшего нашего драматурга — Евгения Шварца. Это не означало выключенности из нормального советского быта, но гарантировало прочность бытия не только в материальном, а и в духовном плане.

Казалось бы, при унаследованных литературных связях дорога к печати должна была стать намного легче, чем у всех прочих. Так нет же, и тут путь к признанию оказался долгим и трудным и, в сущности, не пройден до сих пор. И это несмотря на то, что первая большая вещь, комедия о Митрофанушке, поступавшем в вуз, вещь,

Гампер Галина Сергеевна — поэт, переводчик, автор книг «Крыши» (1965), «Точка касания» (1970), «Крыло» (1977), «Заклинание» (1983), «На исходе лета» (1987). Неоднократно печаталась в «Звезде». Член СП. Живет в Ленинграде.

во всяком случае, не ученическая, была написана Крыжановским в восемнадцатилетнем возрасте.

Как заметила Майя Борисова, Андрей «не умел быть молодым». Когда он пришел к Глебу Семенову, замечательному поэту и педагогу, тот сказал: «Мне нечему учить вас».

Конечно, сыграл свою роль и замкнутый самолюбивый характер.

Так или иначе, но непризнанность тут была практически абсолютной — ни кружка, ни друга. Как можно было совершенствоваться в таких условиях, мне непонятно. Но в результате выработался тот необычный стиль и угол зрения, который дает мне право выбирать из многих настоящих и серьезных поэтов — этого.

Я отважусь на ход, в критике не принятый, но в данном случае оправданный, хотя бы морально: временно дам слово самому поэту, но пусть он говорит не о себе, но о поэзии вообще — о другом.

2

«...Посмотрев фильм Марка Захарова по шварцевскому „Дракону", я был разочарован. Не получилось, в отличие от „Обыкновенного чуда". Сразу по просмотре было просто раздражение — зачем так отступать от авторского текста ⟨...⟩ Вообще допустимо ли при экранизации классической пьесы выдать Офелию за Гамлета, сохранив жизнь обоим?

Мне возразили, ссылаясь, кстати, и на опыт Шварца, и, при всех оговорках, со многими возражениями пришлось согласиться.

Фильм, тем не менее, не получился. Теперь я уже могу ответить, почему — его авторы вторглись не только во внешнее течение сюжета, но и в самое существенное, хочется сказать, сущностное — в мирочувствование Шварца — и заменили его своим. Дело тут не в том, что Шварц чувствовал мир лучше или правильнее Захарова, но в итоговом хаотическом смешении двух если не враждебных, то непримиримых начал.

У Шварца Ланцелот — бродяга, прохожий, и это хорошо. Цыгане, которых даже в энном поколении продолжает преследовать Дракон, для Шварца и его героя — „славные, смелые люди". Дорога проходит сразу за видимым пространством сцены, это постоянно в подтексте. Дорога лечит смертельно раненного Ланцелота. Ланцелот приходит и приносит с собой ощущение дали, забытое обитателями города: „В пяти годах ходьбы отсюда в Черных горах есть пещера..."

И то, что в пространстве называется дорогой, то во времени и пространстве, более даже во времени,— обретает достоинство пути, и выражение „пути-дороги" здесь точно разграничивает смыслы. Пути Ланцелота и история, которая с первых же диалогов пьесы набирает дыхание и все энергичнее начинает двигаться к некой вершинной точке, к торжеству добра. Само время шварцевских пьес имеет смысл, выходящий за рамки чисто драматургической, со взлетами и спадами напряжения, постройки, эстетическое тут неотделимо от этического, сущностного, Бердяев сказал бы — христианского.

И все иначе у Марка Захарова. Город — царство замкнутых кривых, лабиринт, обнесенный неприступной стеной. Медленно крутится гигантское колесо с подвешенными за ноги пытаемыми. Огромный ресторанный зал уставлен повторяющими друг друга столами, даже редкие открытые пространства ограничены близким горизонтом. И таково же время — в финале все возвращается на круги своя после бессмысленной гибели Дракона, бессмысленного и беспощадного бунта толпы, новой — только ради чего? — победы Ланцелота. Дурная бесконечность. История абсурдна, как и жизнь, человек должен переживать такое положение как безнадежное, что дает поводы самому циничному образу мыслей и действий или отчаянию, но это не Шварц.

Какой уж там Шварц, если Ланцелота привозят в город связанным и его вызов Дракону оказывается актом свободной воли в самой малой степени.

Столкнулись две несочетаемые системы, смешались в фильме, и он не получился.

Несмотря на огромную фору, которую имеет живой и вольный как угодно менять текст режиссер (причем мастер!) перед мертвым автором, абсурдистская эстетика не смогла перемолоть шварцевскую.

И даже хорошо, что такой опыт поставлен.

Захарову, вероятно, показалось, что Шварц устарел, что „Дракон" нуждается в модернизации, а получилось — нет, мы живем до второго пришествия Ланцелота (кстати, эта перекличка, кажется, до сих пор никем замечена не была). Хотя Лжеланцелоты уже явились во множестве в разных сферах и на разных этажах общества. Игра не кончена, и за кем будет победа, неясно. Мы еще не вышли за сферу шварцевского предвидения».

3

Это, конечно, не только защита Шварца, но и себя самого.

Мир, окружающий нас, абсурден, и закономерно, что первый всплеск русского абсурдизма пришелся на годы становления Шварца — обериуты были его ближайшими друзьями. Но сам он, хотя и писал иногда стихи в духе Олейникова, а то и в соавторстве с ним, обериутом не стал. Его

мир оставался полным глубокого религиозного смысла. К слову, спор с обериутами идет и в шварцевских сказках — мне говорили, что у коммерции советника из «Снежной королевы» есть реальный прототип — это Даниил Хармс.

Так вот, Крыжановскому свойственно то же стремление к преодолению столь очевидного, в наши дни даже назойливо очевидного, абсурда.

История не бессмысленна, жизнь не бессмысленна, «циничный образ мыслей и действий» не имеет под собой почвы, циник и злодей терпят поражение в истории. Добро, в конце концов, должно победить, оно в основании мира.

О давлении абсурда и самого абсурдизма как образа мыслей и действий у Крыжановского есть стихотворение. Оно начинается так:

И я испытал этот искус —
писать не понятно
ни себе, ни другим, пусть они
истолкуют превратно
стиховое пространство,
пусть вложат свое — тут как раз
кстати лавры и тернии в доску
талантливой жертвы,
обещающей обществу
«Нетрудовые резервы»
радость избранности и полета
над косностью масс,—
вот условья игры...

Дальше эта суховатая «почти проза» переходит в виртуозную игру гоголевских мотивов — от конкретной «носологии» («вместо римского носа тебе сторговали еврейский») до обобщенной темы судьбы художника, искушаемого возможностью легкого успеха. И о тяжести этого соблазна. А в итоге:

...Город тянется к ночи.
На Думе ударят часы.
Лошадиные силы устанут вливаться
в колеса...
...Что за грустная вещь —
всюду видеть сплошные носы,
даже ежели вдруг с человеком столкнешься
нос к носу.

Абсурд не приговорен заранее, он включен в стихотворение, герой проходит испытание абсурдом и выдерживает его: истина, добро и красота не отдают классического, христианского, по Бердяеву, смысла.

И совершенно естественно, что Крыжановский заговаривает о церкви. Вернее, о человеке, церкви и Боге. Стихотворение «Звездный муравейник», давшее название книге, безусловно, религиозное, христианское. Но церковь в ее нынешнем состоянии в нем отрицается. Она, по Андрею Крыжановскому, засекретила Бога:

Ты заметишь, он, они заметят,
и в молчании благоговейном
думаешь — мы в братстве муравейном
с небом,— значит, Бога рассекретят...

Получается, что человеку самому простому, «культмассово-торговому» — и не место в храме. Однако его самостояние — реальность. Возрождение его личности возможно и вне церковных стен. Поэтому проза быта, то, чего у Крыжановского вообще много, обретает в стихотворении привлекательность тайны. Автор указывает на нее, не расшифровывая: тайна остается тайной, ее можно только угадать. Вообще поэт у Крыжановского — «во фразе только связка». И сам стих «Звездного муравейника» — редкий для «интеллигентной» поэзии хорей — подчеркнуто простонароден.

Стихотворение это отлично сделано, но, признаться, и не слишком люблю его, отсутствует «момент узнавания».

— Откуда ему взяться,— сказал мне Андрей,— ведь это об отлученном от церкви, о тяжком наказании, скажем, как у нас — исключение из круга «порядочных людей».

— Что это за «порядочные люди», о которых так иронично?

— А вот именно те самые, что взяли на себя обязанность мыслить «антигосударственно»...

Нет, и не соглашаюсь с такой трактовкой, хотя и не впервые слышу о «мафии порядочных людей». Пожалуй, тут больше мнительности: «Ах, если бы не мнительность в упряжке с донкихотством...» Да не сам ли поэт себя и отлучил?

В неопубликованном его стихотворении написано:

И, может быть, только
почувствовав грунт
и локоть другой обездоленной твари,
я понял, что выносил право на бунт
и счастье работы больших полушарий.

Так, может, это было внутренней потребностью — ощутить себя своим среди тех людей, на которых «мир стоит»? «Мы отделились от корней, их нет ни в почве, ни в народе»,— сказано в раннем стихотворении. Елена Игнатова, написавшая предисловие к «Звездному муравейнику», считает, что «это книга об обретении корней», и она права, конечно. Думаю, именно потому человек с филологическим образованием, чьи работы даже за границей переводились, оказался своим среди слесарей. И об этом его цикл «Подвал и чердак» — о людях дна, но не о люмпенах. Хотя люмпенство все время рядом, как угроза: «Батюшки-светы, я сдох бы, как сотни других, жизни поставивших в счет вытрезвительский счетик». Но что-то его удерживает. Что?

4

В стихотворении Крыжановского «Антипророк» шестикрылый серафим предлагает человеку могущество всеведения, на что получает характерный для поэта ответ:

— Влей и тебе всеведенье, и стало б
светлеть пространство, раздвигаться ум,
пронзил бы уши горней речи шум...
— А если он не даст услышать жалоб?

Опять же сравним со шварцевским «Драконом»: «В пяти годах ходьбы отсюда в Черных горах есть огромная пещера. И в пещере этой лежит книга, исписанная до половины,— рассказывает Ланцелот Эльзе.— Кто пишет?! Мир! Горы, травы, камни, деревья, реки видят, что делают люди... От ветки к ветке, от капли к капле, от облака к облаку доходят до пещеры в Черных горах человеческие жалобы... Если бы на свете не было этой книги, то деревья засохли бы от тоски, а вода стала бы горькой».

Трудно не заметить, что Шварц говорит здесь и об одной из ипостасей искусства. Всякая хорошая книга — о жалобах, это очень по-русски и очень верно вообще. И книга Крыжановского — из их ряда.

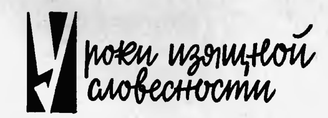
Мы не знаем, что такое лиризм. То ли жизнь души, воплощенная в языке, то ли жизнь языка, запечатленная душой, не определить, но именно это я называю лирикой, собственно поэзией, суть которой — музыка, щебет, лепет и разговор на праязыке, оформленный современным содержанием. Эта музыка едина для всех, но у каждого значительного поэта свои. В филологическом просторечии это называется стилем.

В «Звездном муравейнике» есть стихотворение, которое меня изумляет. Оно начинается словами «Прилепившись к кому-то, как тень к занавеске, прикнопясь...». Все оно — одна огромная фраза, которой описывается целая человеческая жизнь — с детством, любовью, «работой с предельной отдачей», искусством и смертью. В его длительности «времени больше нет» — как в смерти. Но в «смерти», отмененной самой грамматикой стихотворения, потому что предложение — это грамматически выраженная одновременность. Фраза Крыжановского вообще часто огромна — и тут, конечно, и мастерство, и глубина дыхания... Но не это главное, а то, что она одновременно открыта для самых как будто бы неслиянных пластов мысли и языка. Открыта многообразию мира.

Эта тяга к одновременному описанию всего сразу не убивает времени, но придает ему эсхатологический смысл, история таким образом не перестает быть, а, напротив, обретает стремление и цель, спасается от абсурда. Но никакое спасение не дается просто, и стихи Крыжановского балансируют порой на грани «отчаяния и цинизма».

Корни, а главные из них — это, конечно, и глубоко понятая народность («если я и „один из“, то только один из народа»), и культурный пласт, и детство, о котором у Андрея очень много, пока держат. Удержат ли они его на свирепеющем ветру времени, не испортит ли поэта и его стихи «испытание абсурдом»? Наконец, повернется ли читатель к этому человеку, «окликнутому из толпы», как определил поэта А. Кушнер? Как знать. Об оптимизме у нас легко говорить, да трудно в него поверить. Но все же, судя по стихам Андрея Крыжановского (одним из них, до сих пор не опубликованным, я и хочу закончить эти заметки), и оптимизм может быть исполнен ненавязчивого лирического обаяния:

Сегодня дождливо и холодно,
но переносом
капризов погоды на судьбы мою и твою
увлекшийся, взгляд подыму,
задаваясь вопросом:
а что же нас ждет и прольется
на мельницу чью?
Спаси и помилуй мя, Господи,
но осчастливь мя
не просто случайной удачей, а тем,
что уже
дарил,— чтобы мир, будто в фокусе,
собранный в рифме,
остался собой, не распавшимся
на вираже,
чтоб слово и собственно жизнь,
как кремень и огниво,
нелепые порознь,
теперь, при слиянье и одно,
могли осветить,
восстанавливая перспективу,
хоть тот же проспект,
заливающий мраком окно,
хоть мертвый фонарь,
представитель и рода, и ряда,
который, как дерево,
росшее перед окном,
был с детства не больше
чем точкой отсчета для взгляда,
а нынче впервые замечен,
пусть вскользь и бегом.



Петр Вайль, Александр Генис

ВМЕСТО «ОНЕГИНА»

ПУШКИН

Бросается в глаза неуверенность всех писавших о «Евгении Онегине». Критики и литературоведы как бы заранее сознают порочность замысла и ничтожность шансов на успех. Даже смелый и независимый Белинский оговаривался с первой же строки: «Признаемся: не без некоторой робости приступаем мы к критическому рассмотрению такой поэмы, как „Евгений Онегин“». Тексты Чернышевского, Добролюбова, Достоевского, позднейших исследователей пестрят неопределенностями, оговорками, вводными словами вроде «кажется».

Так с опаской пробует воду ранний купальщик, но уже прыгнув, с силой гонит волну, поднимая шум и брызги. Так поступил Писарев, вложивший в разбор «Евгения Онегина» необычную для русской словесности лихость. Пушкинский герой назван не только «Митрофанушкой», но и на современный фельетонный манер «нравственным эмбрионом» и «вредным идиотом». В пылу обличения Писарев поднялся даже до истинного комизма, утверждая, что «Онегин скучает, как толстая купчиха, которая выпила три самовара и жалеет о том, что не может выпить их тридцать три».

Это размашистое и безоглядное поношение — не что иное, как реакция на долгое топтание у берега. Брызгая и шумя, Писарев заглушает негромкий, но внятный голос сомнения. Для него ясна трактовка идей и образов, но — как и все!— он не знает, что делать со стихами, которыми написан роман. Как и все, он чувствует ускользающую плоть текста, для которой слишком крупна социальная ячея. Да, впрочем, крупна и любая другая. «Пушкин постоянно употребляет такие эластичные слова, которые сами по себе не имеют никакого определенного смысла...» Это жалоба храбреца Писарева на собственное бессилие. Потому он обсуждал не столько «Евгения Онегина», сколько мнение Белинского о романе. Теперь можно обсуждать мнение Писарева. И так далее.

Но как же все-таки быть с пушкинским текстом?

Оценки, разнесенные полутора веками, удивительно совпадают. И если «Московский телеграф» в 1830 году называет роман «опытом поэтического изображения общественных причуд», то именно за это извиняется современный пушкинист: «Кажется, что автор ничего не хотел доказать, никакой ясной, конкретной идеи в свой роман не вкладывал». Разница в том, что комментаторы пушкинской эпохи не были связаны авторитетом всенародного гения, а сегодняшний исследователь находится в зависимости от поэта и его неземной славы. Но в искренних, ненасильственных абзацах неизбежно прорывается все та же полуторавековая растерянность: о чем же всё это? Зачем?

Непонятость Пушкина — точнее: принципиальная невозможность до конца понять — перемножена на десятилетия более или менее бесплодных попыток. Этот беспрецедентный в русской словесности феномен привел к тому, что прочесть «Евгения Онегина» в наше время — невозможно.

В недавние годы были проведены, правда, два успешных опыта чтения — использующих противоположные методы. Первый — максимальное погружение «Онегина» в контекст истории, литературы, социальной психологии. Второй — незамутненное, абсолютно непредвзятое чтение текста. Для одного опыта понадобилась неисчерпаемая эрудиция Юрия Лотмана («Комментарий к „Евгению Онегину“»), для другого — конквистадорский талант Андрея Синивского («Прогулки с Пушкиным»).

Дли остальных существует третий, самый распространенный и практически единственный путь — чтение без текста.

Стоит перечитать «Евгения Онегина», чтобы убедиться: внимание сосредоточиваетси на нескольких поразивших новизной строчках, не замеченных ранее или забытых — трогательных или смешных. Сам же роман ничуть не меняется, как не меняется привычная картина, если стереть с нее пыль: только и выяснится, что дерево в левом углу — береза. Вся психологическая и литературная игра, доверху наполняющаи «Онегина», ускользает от взглида и слуха, засоренных сотнями толкований.

Дело даже не и школьной трактовке. Пушкин вообще, и «Евгений Онегин» в частности, шире хрестоматии и учебника — это часть жизни, о которой каждый имеет не конкретное, но свое представление. (Так каждый разбирается в медицине, футболе или воспитании детей.) И даже тот, кто «Онегина» не читал, воспримет пересказ содержания романа как оскорбление.

Вся классическая литература поступает к читателю в готовой упаковке. Но онегинский «хрестоматийный глянец» — особого рода. Будто попечением какого-то благотворительного пушкинского общества выпущены рвзные хрестоматии по числу читателей, с учетом индивидуальности каждого, и для каждого — свой глянец. Все мы живем со своим личным «Евгением Онегиным» — вполне интимно. У нас с ним свои счеты — как с женой.

Это происходит оттого, что читатель общается не с романом, а с неким метатекстом — чем-то большим и вязким, что пролегает между романом в стихах, написанным Александром Сергеевичем Пушкиным, и читательскими усилиями. На этой дистанции «Онегин» успевает измениться и подладиться к восприятию. Все известно про этот роман, и на самом деле читать его совершенно не обязательно: и без того он с нами в виде бесчисленных словесных, образных, идейных цитат. Русский человек с малолетства знает, что чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. У нас у всех дядя честных правил, даже если дяди нет.

Однако при всей сугубой индивидуальности подхода к феномену «Онегина» существует все же единый схематичный его образ. Опять-таки — как с женой. Нет и не может быть определенных рекомендаций, но приблизительно известен образ идеальной жены: хранит верность, вкусно готовит, не ругается. Так же имеется обобщенный образ великого романа.

«Евгений Онегин» — это красивые люди, красивые чувства, красивая жизнь.

Подобно тому, как Татьяна «влюблялася в обманы и Ричардсона и Руссо», Россия была покорена обманом Пушкина.

Кровь и горе разливаются по сюжету «Онегина», а мы ничего не замечаем. Поруганные чувства, рвзбитые сердца, замужество без любви, безвременная смерть. Это — полноценная трагедия. Но ничего, кроме блаженной улыбки, не появляется при первых же звуках мажорной онегинской строфы.

Конечно, ответственность за это несет и одноименная опера. Поколении русских людей обмирают от жалости и печали, когда тенор выводит за Ленского: «Куда, куда вы удалились, весны моей златые дни?» Высокие, недоступные простым смертным, эмоции льются усилиими двух гениальных обманщиков — Пушкина и Чайковского — и нет ни сил, ни охоты подметить черный юмор поэта, заставившего героя произносить перед смертью пародийный набор штампов.

В оперное, праздничное настроение стихов не вписывается ничто низменное, и далеко не с первого прочтения попадаются на глаза такие строки:

...К старой тетке,
Четвертый год больной в чахотке,
Оии приехали теперь.
Им настежь отворяет дверь,
В очках, в изорваином камзоле,
С чулком в руке, седой иалмык.

Эти строки и не надо помнить, потому что они не из Пушкина, а из Гоголя, например, или разночинцев. В «Евгении Онегине» нет и не может быть чахотки, чулок, нацменьшинств. А есть вот это: «Шум, хохот, беготня, поклоны, галоп, мазурка, вальс...» Список продлевается по желанию.

У российского человека обычно вызывают праведное раздражение зарубежные интерпретаторы русской классики. Но в чем-то существенном они правы. Лишенные рабского преклонения перед текстом, они не стесняются следовать не букве, даже не духу, а — образу, ощущению, метатексту. Пьер Безухов привязывает квартального к медведю. Долохов прогибается и не падает с карниза с бутылкой рома. А что же Онегин? Он поздно просыпается, серебрится морозной пылью и в чем-то широком (боливаре?) мечет пробку в потолок.

Джентельменский набор царит в пушкинском романе. Все тут диковинное, богатое, заграничное: кларет, брегет, двойной лорнет. Не простой, ординарный лорнет, как у всех, а двойной. Наряднаи экзотическая вышивка и еда, разговор о сравнительных достоинствах аи и бордо — как у Ремарка с Хемингуэем. Аи — любовница, бордо — друг, ром — молоко солдата. Повсюду ножки. Даже бесплотный Ленский выказывает понимание: «Ах, милый, как похорошели у Ольги плечи, что за грудь!»

Обаянию изищной жизни поддавались и разночинские критики. Белинский, известный тем, что опрокинул красное вино на белые штаны Жуковского, даже чрезмерно уважительно относился к воспитанному сословию: «К особенностям людей светского общества принадлежит отсутствие лицемерства...» Непримиримый Писарев неохотно говорил о том, что грязь жизни у Пушкина незаметна, о веселье и легкости, о картинах романа, нарисованных «светлыми красками». Эта светлость такова, что даже пушкинские обличения воспринимаются как похвала:

Среди лукаиых, малодушных,
Шальных, баловаиных детей,
Злодеев и смешиых и скучиых,
Тупых, привязчивых судей,
Среди кокеток богомольных,
Среди холопьев добровольиых,
Среди вседневных, модных сцен,
Учтивых, ласковых измен...

Красота стиха завораживает, все вызывает восторг и умиление: и «кокетки богомольные», и «измены ласковые» — все хорошо!

По строфам «Онегина» разносится, по замечательному выражению Надеждина, «разгульное одушевление веселого самодовольствия»... В том и заключалось невольное пушкинское лицемерство, что он — как опытный лакировщик действительности — вывел только праздничную сторону жизни. Но именно — невольное. В романе, если приглядеться, происходит то же, чем славна русская словесность: бьют служанок, сдают в солдаты крестьян, царит крепостное право. Но приглядываться нет никакой возможности — все внимание занято стихами. Точнее — тем впечатлением, которое они оставляют.

Из самих стихов, если читать их пристально и буквально, можно извлечь решительно все: на то и большая форма, «энциклопедия». Так, Достоевский легко доказал, что «Онегин» — произведение славянофильское, и почвенница Татьяна противостоит западнику Евгению. Эта талантливая спекуляция не вошла в читательский «образ» романа, в его метатекст — как слишком серьезная и основательнаи, а потому выпадающая из стиля «Онегина». Зато другая выдумка Достоевского — вошла: он впервые назвал мужа Татьяны стариком. Старик и остался, как ни бьются комментаторы, доказываи, что муж и Онегин — почти ровесники. Это естественно: для картины общей красоты необходима антитеза молодого возлюбленного и старого мужа — такова традиция. Ведь убитая жестокосердием Татьяна вышла с отчаяния за кого попало, а в чем же жертва — выйти за богатого, знатного, да еще и молодого?

«Онегинский» метатекст произвел необходимый отбор, презрев и распределение красоты между сестрами, задуманное Пушкиным. В тексте прямо говорится о необыкновенной прелести Ольги, а про Татьяну дважды — в начале и в конце — сказано: «Ни красотой сестры своей... не привлекла б она очей» и «Никто б не мог ее прекрасной назвать». Но, вопреки воле автора, у читателя нет сомнения в том, что Татьяна — томная красавица, а Ольга — здоровая румяная дура. Снова законы красивой жизни оказываются сильнее авторского намерения: несправедливо, чтобы лучшая из героинь мелькнула и упорхнула с безымянным уланом, а читателю восемь глав коротать с худшей.

Лучшие российские критики — и читатели вслед за ними — рассуждают о том, что чистой и умной Татьяны не достоин испорченный и пустой Евгений, который книжек не пишет, а читает — не те. Как мог он отвергнуть ее, будучи явно хуже? Но ведь как раз Татьяну Евгений вполне устраивал: «Я знаю, ты мне послан Богом, до гроба ты хранитель мой...» Та же история произошла у Пушкина и в личной жизни: только тут он оказался Татьяной, а Евгением — Наталья Николаевна. Правда литературы и правда истории не значат ничего: вина Евгения перед Татьяной и Натальи Николаевны перед Пушкиным в читательском сознании — неоспорима.

Персонажи — и книг, и жизни — судятся не по законам справедливости, а по законам красоты сюжета. Сюжет «Евгения Онегина» принадлежит не Пушкину, а русскому читателю. Массовому сознанию, метатексту, обобщенному образу. Пушкину принадлежат — стихи.

Стихи, подобных которым не было, нет и не может быть в русской поэзии — как нельзи достичь скорости света. Гармония пушкинского текста способна сама по себе, одним своим стройным звучанием создать самостоятельный мир, который мы и воспринимаем — вне

зависимости от того, какой смысл имеют слова в этом тексте. Окутывающее роман стиховое поле столь же осязаемо и реально, как текст первоначальный, авторский, написанный материальным пером на материальной бумаге. Это и есть чтение без текста.

«Евгений Онегин» более не доступен для непосредственного прочтения. Вместо романа у нас есть его аура — бесплотная и бесконечная субстанция, неиссякаемый образ совершенства и красоты.

В конце 5-й главы романа Пушкин спохватывается:

Пора мне сделаться умней,
В делах и в слоге поправляться
И эту пятую тетрадь
От отступлений очищать.

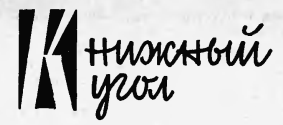
Слава Богу, это осталось лишь угрозой (или кокетством). Убрать необязательную болтовню, избыточные описания, отступления о ножках и бордо — останется трагедия о разбитых и простреленных сердцах. А «Евгений Онегин» — совсем не то.

Это крепкая бодрость: зима, крестьянин, торжествуя.

Это романтическая любовь: свеча, слезы, гусиное перо.

Это былое веселье: с ананасом золотым, страстью нежной, толпою нимф, щетками тридцати родов, кавалергарда шпорами, ножкой Терпсихоры, огнем нежданных эпиграмм.

Это та жизнь, которая должна быть, но нету.



Раздел ведет Ив. Толстой

«БЕСЕДА»

Религиозно-философский журнал *Б* выходит в Париже с 1983 года, всего вышло девять номеров. На титульном листе журнала место издании обозначено «Ленинград—Париж»: такое обозначение — знак непрерывающейся связи с родиной и ориентации на ту «вторую», неофициальную культуру, которая сложилась в нашем городе в 70-е годы. Основатели и редакторы журнала: Татьяна Михайловна Горичева и ее муж, Павле Рак, эмигрант из Югославии, ныне афонский монах. Татьяна Горичева была в 70-е годы в центре культурной жизни «подпольного» Ленинграда. Философ по образованию и интересам (окончила философский факультет ЛГУ), она организовала в Ленинграде совместно с тогдашним своим мужем, поэтом Виктором Кривулиным, религиозно-философский семинар. На семинаре читались доклады о гностиках, об Отцах Церкви, о современных западных теологах. По номеру квартиры на Курляндской улице, 20 назывался и литературный журнал «37», выпускаемый Горичевой и Кривулиным. Он сыграл большую роль в становлении ленинградской «самиздатской» периодики.

Вся эта деятельность вызывала естественное беспокойство властей. В июле 1977 г. в журнале «Огонек» появился фельетон некоего Кострова «Вторая ипостась Теодора Фоорта», где, в частности, говорилось о Кривулине и Горичевой: «Он закончил филфак, она — философский. У обоих — гипертрофированное, уязвленное самолюбие: считают себя незаслуженно непризнанными поэтом и философом. Его стихи, ее философские заумные суждения приправлены религией. Но это камуфляж — какие они верующие» («Огонек», 1977, № 27, с. 28).

В 1979 г. Горичева вместе с Мамоновой, Малаховской и Вознесенской организует в Ленинграде независимое женское движение, первой акцией которого был выпуск альманаха «Женщина и Россия». Альманах был переведен сначала на французский, а затем на многие другие языки и имел большой резонанс. Ответные меры не заставили себя ждать. В июне 1980 г. Горичеву заставили покинуть СССР, как и остальных «феминисток».

Горичева — одна из основных авторов *Б*. Ее статьи объединяет критическая позиция по отношению к современной духовной ситуации на Западе. Характерна в этом смысле ее дневниковая запись, приведенная ею же в статье «Юродивые поневоле» (*Б*, № 2). Горичева вспоминает о своем выступлении с лекцией в каком-то австрийском городке: «Подхожу к церкви, читаю объявления: „Ремонт фасада“, „Советы для семьи“, „Берегите здоровье!“, „Гимнастика для мужчин“ и наконец „Духовная жизнь в России. Т. Горичева“. Самое мне место. Вот чем занята церковь. Мне становится еще тоскливее» (с. 55).

Пожалуй, самая критическая по отношению к современной цивилизации статья Горичевой — «Эпоха постнигилизма» (*Б*, № 4). В ней она пишет: «...Наступает время постнигилизма. Это не прежний нигилизм противостояния, разрушения, богоборчества и греха. Постнигилизм становится по ту сторону добра и зла, преступления и наказания» (с. 86).

Горичева остро ощущает «банализацию жизни» на Западе: «Все доступно в „свободном мире“ и даже сверхдоступно. Пропадает тайна, „аура“ вещи. Более всего страдает от банализации жизни именно религия. Ведь тайна тайн — это Церковь. Мы видим, как на Западе церковь часто теряет таинственность, превращаясь в политический провинциальный клуб или, еще хуже, в „бюро услуг“» (с. 96).

Не следует, однако, думать, что Горичева — сторонница упрощенного противопоставлении «бездуховного Запада» «духовной России». Она противопоставляет Западу вовсе не современную Россию, а «живую воду» православной традиции. Значение той «духовной брани», которую она ведет на страницах *Б*, для нас в том, что «экзистенциальный вакуум», обнаруженный ею в антитоталитарном мире, угрожает и нам. Забвение ценностей, утрата чувства священного, отмирание за ненадобностью чувства долга и подмена его ложным стремлением к «счастью» — все это не только «их», но и «наши» проблемы. В конце концов фундаментальная проблема человека — обретение им смысла своей жизни — одна и та же во всех странах и при всех режимах.

Другой постоянный автор *Б* и представитель журнала в ФРГ — Борис Гройс — философ и теоретик современного искусства. Гройс закончил отделение математической лингвистики Ленинградского университета. С 1982 г. он живет в Германии, печатается на немецком и русском языках. Гройс — теоретик «постмодернистского» искусства. Чтобы дать представление о диапазоне его интересов — приведем название неко-

торых статей: «О философии», «По ту сторону утопии в антиутопии», «Как жить после постмодернизма?», «Да, Апокалипсис, да, сейчас», «Об индивидуальности».

Одна из задач журнала — знакомить русского читателя с тем новым, что происходит в религиозной и философской жизни Запада. Эту «культуртрегерскую» миссию *Б* осуществляет разными путями — это и переводы статей из западной периодики, и рецензии, и интервью редакторов журнала с философами и религиозными деятелями и, наконец, аннотации на только что вышедшие книги. Редакционные интервью появляются почти в каждом номере. Вот имена некоторых из интервьюируемых: Карл Ранер — крупнейший современный католический богослов; Жан-Пьер Роза — редактор католического издва «Новый город»; о. Афанасий (Евтич) — ректор богословского факультета в Белграде; Николаус Лобковиц — президент Католического университета Айхштетт (ФРГ); Массимо Серетти — итальянский философ; Вильгельм Ниссен — доктор философии (ФРГ); Карла Мартенс — доктор философии (ФРГ); о. Мари Доменик Филипп — французский богослов, монах-доминиканец; Матия Бечкович — сербский поэт.

Почти в каждом из этих интервью есть вопрос об отношении к русской культуре и русской философии в частности. «Собеседники» основателей *Б* оценивают русскую философскую традицию достаточно высоко. Приведу два высказывания.

Вильгельм Ниссен: «В отличие от западной философии, в основании русской — глубокий вопрос о вере. Вы можете мне поверить — я учился во многих немецких университетах и теперь уже много лет — духовник здесь, в Кельнском университете,— о таких глубоких вопросах в немецкой философии речь вообще не идет» (*Б*, № 4, с. 212).

О. Афанасий (Евтич): «Много русских теологов и философов приехало в Сербию после русской революции. Невозможно переоценить их значение для нашей молодой культуры. Может быть, у нас и не было настоящей философской мысли, пока не прибыли русские эмигранты» (*Б*, № 2, с. 221).

Другая форма знакомства читателей с современной европейской мыслью — рецензии. Перечислю некоторые из отрецензированных на страницах журнала книг: Филипп Немо «Иов и проблемы зла»; Мишель Серра «Паразит»; Петер Слотердайк «Критика цинического разума»; Ги Ландро «Дискурс философский и дискурс религиозный»; Джордж Стайнер «Антигоны».

Составители *Б* не ставят, однако, перед собой только «культуртрегерские» задачи, они стремятся прежде всего к диалогу с «властителями дум» нынешнего дня. Так, статья Гройса «Да, Апокалипсис, да, сейчас» построена на критическом разборе книги современного французского философа Деррида «О недавно появившемся апокалиптическом тоне в философии». Насыщены ссылками на современных европейских мыслителей и статьи Горичевой.

Много внимания уделяет *Б* православному богословию. Здесь следует прежде всего отметить печатающийся с № 2 журнала фундаментальный труд профессора Свято-Сергиевского института в Париже, ученика Владимира Лосского — Оливье Клемана «Вопросы о человеке». Это попытка построить христианскую антропологию, опираясь прежде всего на восточную патристику. Знакомит *Б* своих читателей и с современной греческой и сербской православной мыслью. В № 4 напечатан обзор «Из современного греческого богословия», а в № 9 — сочинение епископа Никейского Иоанна Зизиуласа «От маски (личины) к личности» и статья о. Афанасия (Евтича) «Введение в исихастскую гносеологию».

Особое место в журнале занимает тема Афона как центра православной духовности. Начал эту тему Павле Рак своим рассказом о паломничестве на Святую Афонскую Гору («Из садо Пресвятой Богородицы».— *Б*, № 2). В № 7 напечатаны «Афонские разговоры», а в № 9 уже появилась особая рубрика «Афон».

Художественная литература рассматривается на страницах журнала прежде всего в связи с религией. Из материалов этого рода хотелось бы отметить статью архимандрита Киприана (Керна) «О религиозном пути Александра Блока», статью известной исследовательницы творчества Цветаевой Вероники Лосской «Цветаева — буитарь» (№ 5) и работу Юрия Глазова «К интерпретации главы „За коньячком" в „Братьях Карамазовых"» (№ 5).

В первых двух номерах *Б* был раздел «Поэзия», где были опубликованы стихи ленинградских поэтов: Виктора Кривулина, Елены Шварц, Олега Охапкина, Александра Миронова и автора этих строк. Попытка рассмотреть феномен религиозной поэзии на материале творчества Шварц, Миронова, Охапкина и Стратановского была предпринята в статье Евгения Пазухина «В поисках утраченного бегемота» (№ 2).

В последнее время редакторы *Б* часто приезжали в Ленинград. Одним из результатов этих поездок было появление в № 8 журнала рубрики «Круглый стол». Под этой шапкой напечатаны материалы двух дискуссий, состоявшихся на ленинградских квартирах: о ересях и о Бердяеве.

Думаю, уместно окончить этот краткий обзор словами из интервью профессора Николауса Лобковица, президента Католического университета Айхштетт (№ 3). Охарактеризовав русскую религиозную философию как достойную преемницу византийской патристики, профессор Лобковиц сказал: «Я благодарен вашему журналу за то, что он продолжает эти христианские философские традиции России».

С. Стратановский

P.S. С журналом можно ознакомиться в Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

СОДЕРЖАНИЕ

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении. Рукописи объемом менее двух печатных листов не возвращаются.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ

Сообщаем, что всеми вопросами доставки журнала занимаются местные отделения «Союзпечати». Редакция не имеет свободных экземпляров журнала для рассылки читателям.

SUMMARY

PROSE

Issues № 4—8 publish the fourth and final volume of A. Solzhenitsyn's novel «March 1917» — a part of his world famous epic synthesis of the Russian revolution «The Red Wheel».
N. Katerli's «Sennaya square» is a story about the illusory nature of existence and about a certain fantastic reality which exists side by side with drab and boring everyday life and which can be reached by an individual quite unexpectedly, given some casual circumstance. The story was published both in Russian and in English by «Ardis» (USA) under the title «Barsukov's triangle» in 1981.

POETRY

Though only a small part of the work of the Leningrad poets Evgeny Rein, Nina Koroleva, Vladimir Ufland, Oleg Okhapkin has been published, they have been well known by poetry-lovers since the 60's.

FROM THE LITERARY HERITAGE

A Leningrad literary critic Mikhail Pjanych publishes two essays written in the time of the revolution: «Russian Cruelty» by M. Gorky and «On Russian spirit and „The Spirit“ in Russia» by Andrey Bely. Igor Efimov's essay «The Pearl of Suffering» (Russian philosophers' views on Lermontov) is published to mark the 150th anniversary of Lermontov's death.

CRITICISM

G. Gamper's article on the young poet Andrey Kryzhanovsky. In the section «The lessons of belles lettres» Peter Veil and Alexander Genis discuss Pushkin's «Eugene Onegin». The section «Book Corner» introduces readers to the magazine «Beseda» published in Paris.

JOURNALISM

The final chapters of Antonov-Ovseenko's narrative «The executioner's career» tell readers about the activities of Stalin's favourite Beria between 1951 and 1953, about the circumstances accompanying Stalin's death and about Beria's end — his trial and execution on the 23rd December 1953.
Mikhail Ivin «The liberating occupation». The author of this documentary essay took part in the events he describes. He remembers the invasion of Soviet troops into Latvia and the impression which the prosperous and well-kept Latvia made on the soldiers who came «to liberate it from bourgeois oppression».